

БАЛКАНСКА ИСТОРИЈА ИСТОРИЈЕКОТО РОМАНА



В настоящем издании публикуются в новых переводах два романа первой серии «Национальных эпизодов», которую автор начал в 1873 г., когда Испания переживала последние конвульсии пятой революции XIX века. Гальдос, как искренний патриот, мечтал видеть страну сильной и процветающей. Поэтому обращение к истории войны за независимость Гальдос рассматривал как свой вклад в борьбу за прогресс современного ему общества.

- [Бенито Перес Гальдос](#)
 -
 - [Предисловие](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [Двор Карла IV](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)
 - [XVIII](#)
 - [XIX](#)
 - [XX](#)
 - [XXI](#)
 - [XXII](#)
 - [XXIII](#)
 - [XXIV](#)
 - [XXV](#)
 - [XXVI](#)
 - [XXVII](#)
 - [XXVIII](#)
 - [XXIX](#)

- [Сарагоса](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [XXIX](#)
- [XXX](#)
- [XXXI](#)

- [Комментарии](#)

- [Двор Карла IV](#)
- [Сарагоса](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
-



Бенито Перес Гальдос
Двор Карла IV. Сарагоса

Бенито Перес Гальдос (1843–1920) по праву считается самым выдающимся испанским писателем-реалистом нового времени. Некоторые почитатели Гальдоса (а их немало) даже ставят его в один ряд с Сервантесом. «Без преувеличения можно утверждать, — пишет, например, Федерико Саинс де Роблес, — что Гальдос является непосредственным преемником Сервантеса и что между ними не было ни одного романиста такого исполинского масштаба... Гальдос не имеет равных в нашу эпоху, как Сервантес в свою. Сервантес и Гальдос. — два гениальных романиста Испании»^[1].

Литературное наследие Гальдоса поражает не только огромным количеством произведений, но и жанровым разнообразием. Гальдос прежде всего романист (он написал 78 романов), но его перу принадлежат также многочисленные драматические произведения, публицистические статьи, путевые очерки, литературно-критические исследования, мемуары.

Романы Гальдоса делятся на исторические (их 48) и романы из современной жизни. И те и другие объединяет общая идея — показывая борьбу между реакцией и прогрессом на разных этапах развития испанского общества, автор возлагает ответственность за все трагедии Испании и ее народа на противников прогресса.

Важное место в творчестве Гальдоса принадлежит историческим романам. Поставив перед собой задачу изложить в художественной форме основные события испанской истории за семьдесят пять лет, с 1805 по 1880 год, он развернул в пяти сериях романов, объединенных общим названием «Национальные эпизоды», гигантское историческое полотно: перед читателем проходят картины пяти революций, двух кровопролитных династических войн, многочисленных народных восстаний, военных переворотов и других потрясений, благотворных и губительных, совершившихся в Испании на протяжении XIX века.

Из пяти серий «Национальных эпизодов» наиболее яркой оказалась первая, посвященная периоду с 1805 по 1812 год, то есть предыстории и истории войны за независимость. В серию эту входят десять романов: («Трафальгар», «Двор Карла IV», «Девятнадцатое марта и Второе мая», «Байлен», «Наполеон в Чамартине», «Сарагоса», «Херона», «Кадис», «Хуан Мартин эль Эмпесинадо», «Сражение при Арапилях». Гальдос написал их буквально на одном дыхании, в фантастически короткий срок — за два с половиной года: первый роман был закончен в феврале 1873, десятый — в марте 1875 года.

Приступая к созданию «Национальных эпизодов», Гальдос уже имел собственную концепцию исторического процесса, отличную от концепций, господствовавших в то время в буржуазной литературе. Прежде всего Гальдос решительно отвергал «то, что обычно называют историей», когда «повествуют лишь о женитьбах королей к принцев, договорах и союзах, морских и сухопутных сражениях и начисто забывают обо всем остальном, из чего, собственно, и складывается существование народов»^[2]. Гальдос считал народ главной движущей силой истории. Эту идею он положил в основу своего повествования, и первая серия «Национальных эпизодов» приобрела характер героической эпопеи, показывающей, как в решающий для судеб испанской нации момент народ в едином патриотическом порыве поднялся на борьбу с захватчиками, проявил в этой борьбе беспримерное мужество и сумел в конечном счете одолеть могущественного, казавшегося непобедимым врага.

Характеризуя сущность событий, происходивших в Испании в 1808–1812 годах, Маркс писал: «И так случилось, что Наполеон, который — подобно всем людям своего времени — считал Испанию безжизненным трупом, был весьма неприятно поражен, убедившись, что если испанское государство мертво, то испанское общество полно жизни, и в каждой его части бьют

через край силы сопротивления»^[3].

Эти слова с полным основанием можно было бы поставить эпиграфом к первой серии «Национальных эпизодов». Непримиимый противник абсолютизма, тирании, клерикализма, поборник свободы и прогресса, Гальдос с большой художественной силой показал оба важнейших фактора испанской действительности начала XIX века — мертвое, нежизнеспособное государство и полный сил и энергии народ.

Помимо тезиса о народе как творце истории, историческая концепция Гальдоса включает активное отношение к прошлому. Это означает, что для Гальдоса обращение к истории — не самоцель, а одно из средств решения тех проблем, перед которыми стояло современное ему общество. С точки зрения Гальдоса, история представляет собою бесценное хранилище человеческого опыта. Черпая из этого хранилища то, что необходимо сегодня, люди могут преодолеть возникшие трудности. Поэтому важно уметь произвести отбор, брать не все, а только то, что поучительно и полезно.

Именно этими соображениями и руководствовался Гальдос, обращаясь к истории Испании начала XIX столетия. Он исходил из того, что для его страны период с 1805 по 1834 год был равнозначен периоду Великой буржуазной революции конца XVIII века для Франции. «Эти двадцать девять лет, — писал романист в предисловии к «Национальным эпизодам», — были нашим восемнадцатым веком, колыбелью нынешней цивилизации»^[4]. В этот период закладывались основы испанской нации, зарождались проблемы, которые не удалось решить до конца и в то время, когда Гальдос начинал свой титанический труд.

Как уже отмечалось, Гальдос приступил к работе над «Национальными эпизодами» в начале 1873 года, когда Испания переживала последние конвульсии пятой революции XIX века и испанское общество раздирали острейшие социальные противоречия между монархистами и республиканцами, карлистами и альфонсистами, сторонниками федеративного устройства и приверженцами швейцарской кантональной системы, марксистами и бакунистами... Искренний патриот, еще не определивший окончательно своего места в сложной политической борьбе, но мечтавший видеть Испанию сильной и процветающей, Гальдос был убежден, что непременным предварительным условием для достижения этой цели является прекращение междоусобиц и восстановление утраченного единства. Справедливость подобного взгляда, по его глубокому убеждению, доказывали те удивительные результаты, которых добились испанцы в годы войны против Наполеона, когда, забыв о своих распрях, они объединились под национальным знаменем. Поэтому обращение к истории войны за независимость Гальдос рассматривал как свой вклад в борьбу за прогресс современного ему общества.

Воскресить в памяти людей подвиг их предков — значило, как полагал Гальдос, содействовать возрождению угасшего патриотического чувства, которое способно превратить народ в монолит, в совокупность индивидуумов, каждый из которых ставит превыше всего национальные интересы. Именно это единство Гальдос считал главной чертой войны за независимость, и такой взгляд predetermined некоторую односторонность его трактовки событий.

Характеризуя сопротивление испанского народа французским захватчикам, Маркс писал: «В целом движение, казалось, было направлено скорее *против* революции, чем за нее. Будучи национальным, поскольку оно провозгласило независимость Испании от Франции, оно было в то же время династическим, так как противопоставляло «возлюбленного» Фердинанда VII Жозефу Бонапарту, — реакционным, так как противопоставляло древние учреждения, обычаи и законы рациональным новшествам Наполеона, — суеверным и фанатичным, так как противопоставляло «святую религию» так называемому французскому атеизму, или уничтожению особых привилегий римской церкви... Всем воинам за независимость, которые

велись против Франции, свойственно сочетание духа возрождения с духом реакционности, но нигде эта двойственность не проявлялась так ярко, как в Испании»^[5].

Преследуя совершенно определенную цель — доказать необходимость единства нации, Гальдос подчеркивает в истории войны за независимость то, что Маркс называет «духом возрождения», а «дух реакционности» почти не показывает. Читатель не найдет в его романах описания внутренней борьбы в испанском лагере. Между тем известно, что среди противников французского нашествия было немало реакционеров, которые присоединились к поднявшемуся на борьбу народу только для того, чтобы не допустить революционного преобразования общества, сохранить феодальные порядки, абсолютизм и господство католической церкви в духовной жизни страны. И наоборот, значительную часть так называемых «офранцузенных» (afrancesados), не выступивших против интервентов, составляли люди, стремившиеся перенести на испанскую почву прогрессивные идеи французской революции, выкорчевать феодализм, абсолютизм и клерикализм, расчистить дорогу буржуазным отношениям.

Если бы Гальдос был исследователем-историком, мы с полным основанием могли бы поставить ему в вину эту односторонность в трактовке событий. Но Гальдос — романист, художник, и имеет полное право по собственному усмотрению отбирать факты, выделять из всей совокупности событий ту сторону, которая кажется ему первостепенной.

Гальдос иногда допускает исторические ошибки, но они легко объяснимы, если учесть довольно низкий уровень исторической науки того времени, неполноту, а подчас и противоречивый характер источников, которыми пользовался писатель.

Итак, частные фактические ошибки у Гальдоса есть, и они отмечены в комментариях, но, несмотря на это, романы первой серии «Национальных эпизодов» подлинно историчны и создают в основном правильное представление о героической борьбе испанского народа против французского нашествия. Исторический роман может быть признан удачным, если он посвящен наиболее существенным явлениям действительности, если поднимаемые в нем проблемы волнуют современное романисту общество, если, наконец, писатель сочувствует силам прогресса, передовым классам и идеям.

Первая серия «Национальных эпизодов» отвечает этим требованиям. Гальдос проник в самые недра испанского национального характера, он создал яркое и страстное эпическое произведение, направленное против лжи и лицемерия, бесчестия и подлости, предательства и трусости, фальши и криводушия, фанатизма и раболепия. Он прославил искренность и смелость, благородство и самопожертвование, бескорыстие и патриотизм. Испания XIX столетия предстает в его романах полной жизненной правды, мы видим страну с ее достоинствами и язвами, а народ — во всем его величии.

В данном издании публикуются в новых переводах два романа первой серии «Национальных эпизодов»: второй — «Двор Карла IV» (1873) и шестой — «Сарагоса» (1874). Естественно, что полного представления обо всей серии они дать не могут. Однако отбор произведений для этого издания не случаен; в романе «Двор Карла IV» с беспощадной правдивостью показано, что испанское государство того времени было действительно мертво, а «Сарагоса» с силой эпической поэмы рассказывает, как в момент грозной опасности в испанском обществе пробудились могучие силы сопротивления захватчикам.

Чтобы читателю стали ясны обстоятельства, при которых вспыхнула война за независимость, необходимо кратко обрисовать обстановку, сложившуюся в Испании к тому времени, с которого Гальдос начинает свое повествование.

Во второй половине XVIII века на непродолжительное время приостановился быстро прогрессирующий упадок Испании. Умеренные реформы, осуществленные министрами Арандой, Флоридабланкой и Кампоманесом, в какой-то мере способствовали развитию промышленности, науки и культуры, ограничивали могущество церкви и инквизиции. Однако, как только началась Великая французская революция, реформаторская деятельность в Испании оборвалась. Глава правительства граф Флоридабланка, отражая страх господствующих классов перед распространением революционных идей, объявил их ересью, наглухо закрыл французскую границу, стал беспощадно преследовать все проявления «вольнодумства».

Королевский двор погряз в разврате. Так, жена безвольного и ничтожного короля Карла IV Мария-Луиса сделала своим любовником солдата гвардии Мануэля Годоя и осыпала его градом милостей: за три года он прошел путь от гвардейца до первого министра Испании. Понятно, что такая баснословная карьера безвестного юноши (в 25 лет он уже был первым министром) вызывала всеобщее возмущение, ибо ни для кого, кроме, пожалуй, Карла IV, не были секретом подлинные причины его возвышения.

Испанское правительство проводило активную политическую кампанию против революционной Франции и подстрекало другие европейские государства к походу на Париж. Эти провокационные действия вынудили Францию в марте 1793 года объявить Испании войну. Французские революционные войска заняли Наварру, Бильбао, города и крепости Каталонии.

В это время во Франции произошел контрреволюционный переворот 9 термидора и была свергнута якобинская диктатура. Пришедшая к власти термидорианская буржуазия чувствовала себя непрочной, очень нуждалась в мире и подписала его с Испанией в Базеле (1795) на гораздо более умеренных условиях, чем можно было предполагать. Обрадованный Карл IV объявил главного виновника войны Годоя миротворцем и присвоил ему титул «Князя Мира».

Вскоре, однако, выяснилось, что уступчивость Франции была далеко не бескорыстной. В августе 1796 года она вынудила Испанию подписать в Сан-Ильдефонсо союзный договор, предусматривавший совместную войну против Англии, а если потребуется, то и против Португалии, и обязывавший Испанию выступать совместно с Францией во всех войнах, которые она будет вести. Очевидно, что это обязательство прямо противоречило национальным интересам Испании.

В результате Испании пришлось вступить в новую войну, на этот раз против Англии. Война потребовала колоссальных расходов, которые Испании были не под силу. Дефицит ее бюджета рос как снежный ком, торговля резко сократилась, так как английский рынок был закрыт, а испанское побережье блокировано. Возмущение политикой Годоя росло, и в 1798 году Карл IV был вынужден сместить его с поста первого министра.

В 1799 году во Франции произошел новый государственный переворот и к власти пришел Наполеон. Полный воинственных замыслов, он нуждался в союзниках и стремился выжать из Испании максимум возможного. Именно такую задачу он и поставил перед своим братом Люсьеном, отправляя его послом в Мадрид.

К этому времени Годой полностью восстановил свои временно пошатнувшиеся позиции как в сердце королевы, так и на капитанском мостике государственного корабля. Более того, он получал все новые титулы и должности, так что их перечисление занимало два десятка газетных строк: «Сеньор дон Мануэль де Годой и Альварес де Фариа Риос Санчес Ярсоса, Князь Мира, герцог Алькудиа, гранд Испании первого класса, пожизненный рехидор Мадрида и городов Сантьяго, Кадиса, Малаги, Эсихи и Севильи, почетный кавалер ордена Золотого Руна... (далее шло перечисление всех орденов Годоя), государственный советник, первый государственный секретарь, секретарь королевы, главный суперинтендант почт и дорог, протектор Королевской академии изящных искусств и Королевского института естественной истории, ботанического сада, химической лаборатории и астрономической обсерватории, королевский камергер, генералиссимус королевских вооруженных сил, генерал-адмирал, кардинал, инспектор и начальник королевского лейб-гвардейского корпуса...»^[6]

Несмотря на то, что Годой состоял в тайном браке с Хосефой Тудо, королевская чета женила его на племяннице Карла IV и позволила на этом основании добавить к фамилии Годой королевскую фамилию Бурбон.

Между тем Люсьен Бонапарт в 1801 году подписал с Испанией соглашение о войне с Португалией. Военные действия должны были вести испанские войска с помощью пятнадцати тысяч французских солдат.

Португалия была совершенно не способна к сопротивлению. «Зачем нам сражаться? — сказал командующий португальской армией герцог Лафоэнс испанскому генералу Солано. — Португалия и Испания — выючные мулы. Нас толкнула Англия, нас подгоняет Франция; будем скакать и звенеть бубенчиками, но, ради бога, не будем причинять друг другу зла, чтобы не стать посмешищем»^[7].

Не удивительно, что Испания добилась легкой победы. В историю эта война вошла под названием «Апельсиновой», так как солдаты от нечего делать поглощали апельсины и украшали свои кокарды ветками апельсиновых деревьев.

Внутреннее положение Испании становилось все более тяжелым. Курс песеты неуклонно падал, жизнь дорожала. Андалузию охватила эпидемия желтой лихорадки, испанский флот нес большие потери в морской войне. Поэтому в Испании с чувством облегчения восприняли заключение Амьенского мира между Францией и Англией (1802).

Впрочем, мирная передышка оказалась непродолжительной, и через год война между обеими державами за господство над Европой и миром вспыхнула с новой силой. В соответствии с условиями договора в Сан-Ильдефонсо Испания была обязана опять выступить против Англии, но все понимали, что новая война грозила ей неминуемой катастрофой.

Однако Наполеон настаивал на выполнении Испанией ее союзнических обязательств. Уступив в конце концов мольбам Карла IV, доказывавшего, что Испания воевать не в состоянии, он согласился вместо военной помощи принять денежные субсидии. В ответ на попытки Годоя увильнуть и от этого Наполеон заявил, что, если Испания немедленно не вступит в войну или не подпишет соглашение о субсидиях, он введет на ее территорию войска и прогонит испанских Бурбонов. Чтобы не было никаких сомнений в реальности этой угрозы, в Байонне, у самой испанской границы, создали военный лагерь для готовившихся к вторжению в Испанию французских войск.

Испанскому правительству не оставалось ничего иного, как подписать соглашение о

субсидиях, по которому оно обязалось ежемесячно выплачивать Наполеону шесть миллионов ливров и заключить выгодный Франции торговый договор.

В ответ на это английский премьер-министр Питт заявил, что страна, оказывающая финансовую помощь противнику Англии, не может считаться нейтральной, и потребовал, чтобы Испания тотчас же прекратила выплату субсидий Наполеону. Англичане стали захватывать испанские корабли с золотом, следующие из Латинской Америки, а в ноябре 1804 года объявили Испании войну.

В это время Наполеон задумал высадить войска на Британских островах и одним ударом покончить с Англией. Для осуществления этого плана ему был необходим испанский флот и он потребовал немедленно привести в боевую готовность испанские военные корабли, которые должны были примкнуть к французской средиземноморской эскадре и вместе с ней направиться в Булонь. Там на них предполагалось погрузить войска, предназначенные для высадки в Англии.

Испанский военный флот состоял преимущественно из устаревших, не приспособленных к длительным переходам кораблей. Наспех отремонтированные, они двинулись в путь, но после прохода через Гибралтар были атакованы английской эскадрой под командованием адмирала Нельсона. 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар произошло морское сражение, в котором франко-испанский флот был наголову разбит. Союзники потеряли почти все свои суда и около шести тысяч человек. Много дней морской прибой выбрасывал на побережье трупы погибших. После Трафальгара Наполеону пришлось окончательно отказаться от планов высадки на Британских островах.

Разгром под Трафальгаром был воспринят испанским обществом как величайшая трагедия. В стране впервые пробудилось подлинное национальное чувство. Поражение все считали незаслуженным, потому что испанские моряки проявили отвагу и самопожертвование, дававшие им право на победу, но не добились ее из-за преступной беспечности и предательства власти имущих.

Постепенно в испанской литературе сложилась традиция освещения Трафальгарской битвы как начала пробуждения народа от летаргического сна, в который он был погружен на протяжении многих десятилетий. Чуть ли не каждый испанский поэт и писатель XIX века писал о Трафальгаре как о «славном поражении», его воспевали как бессмертную эпопею, как проявление героизма, равного по силе мужеству победителей при Лепанто.

При этом допускались и преувеличения, которые подметил английский писатель Ричард Форд, не без иронии констатирующий в своей книге «Руководство для путешественников по Испании» (1869), что «теперь испанцам уже немного осталось до того, чтобы объявить поражение, которое они потерпели под Трафальгаром, крупной победой»^[8].

Задумав серию романов, чтобы показать мужество и патриотизм испанского народа, который, хотя и терпит неудачи, оказывается сильнее победителей, Гальдос избирает началом этой серии сражение под Трафальгаром, по его собственным словам, «первое великое событие XIX века»^[9]. В битве под Трафальгаром, раскрывшей пропасть между государством и народом, он увидел источник того невиданного патриотического подъема, который проявился в годы войны за независимость.

Второй роман этой серии — «Двор Карла IV» — Гальдос посвятил тем, кто нес прямую ответственность за поражение при Трафальгаре, за все несчастья и беды многострадальной Испании.

Действие романа «Двор Карла IV» происходит осенью 1807 года. Главными событиями тогда были вступление французских войск в Испанию и так называемый Эскориальский заговор.

Португалия по-прежнему доставляла немало беспокойство Наполеону. Несмотря на поражение во время «Апельсиновой войны», она продолжала оставаться союзницей Англии. Французский император твердо решил стереть португальское государство с карты Европы. Вместе с тем Наполеон не доверял испанским Бурбонам и вынашивал план лишить их престола, заменив Карла IV одним из своих братьев. По понятным соображениям Наполеон не торопился раскрывать свои замыслы. Сначала необходимо было заставить Испанию подписать соглашение о совместной войне против Португалии, затем на основе этого соглашения ввести в Испанию французские войска, оккупировать и расчленив Португалию и лишь после всего этого, опираясь на военную силу, отобрать престол у испанских Бурбонов. Задача казалась Наполеону несложной, так как ему было хорошо известно, сколь непопулярны король, королева и ее всемогущий фаворит.

Чтобы заинтересовать Годоя в походе против Португалии, император обещал предоставить ему южную часть этой страны в наследственное владение. Переговоры пошли успешно, и 20 октября 1807 года в Фонтенбло был подписан секретный договор между Францией и Испанией. Он предусматривал совместную войну против Португалии и ее раздел. Одновременно было подписано соглашение, по которому Франции разрешалось ввести в Испанию двадцать восемь тысяч солдат для войны с Португалией и сосредоточить в Байонне еще один корпус, который, однако, мог вступить в Испанию только с согласия ее правительства. Но еще до подписания соглашения в Фонтенбло, 18 октября 1807 года, французские воинские части перешли

пограничную реку Бидасоа и вступили на испанскую территорию.

Другое событие, в еще большей степени усложнившее обстановку в Испании, произошло 27 октября в резиденции испанских королей Эскориале. Там был раскрыт заговор наследника престола Фердинанда против Карла IV, Марии-Луисы и Годоя.

Фердинанд был человеком порочным. В романе «Золотой фонтан» Гальдос дал ему следующую характеристику: «Фердинанд был самым отвратительным из всех чудовищ, божьей милостью восседавших на троне. Как человек, он сочетал в себе все дурные стороны человеческой природы; как король, он слил в себе воедино все постыдное и презренное, что может таиться в могуществе монарха..., он проследовал добродетель, доблесть, науку; он покровительствовал невежеству, лицемерию, трусости»^[10]. Однако все эти качества Фердинанда полностью раскрылись позднее, а во время событий, описываемых в романе «Двор Карла IV», о нем говорили и писали очень мало. Было известно, что принц Астурийский (титул наследника испанского престола) не пользуется любовью своих родителей, что Годой лютой ненавистью его ненавидит, а Фердинанд платит ему тем же. Естественно, что такое положение принца позволяло распространять о нем различные слухи, утверждать, что опала наследника объясняется его стремлением покончить с пороками двора, установить справедливость, править в интересах народа.

Такие слухи распространяли, в частности, группировавшиеся вокруг Фердинанда представители высшей знати, оттесненные Годоем от власти и мечтавшие ее вернуть. Всех их, в том числе коварного интригана каноника Толедского собора Хуана Эсконкиса и герцога де Инфантадо, мало беспокоила судьба народа. Учитывая, что Карл IV был серьезно болен и мог в любой момент умереть, они стремились заранее подчинить себе наследника престола и готовили его к борьбе против возможных в этом случае происков королевы и Годоя. Чтобы пресечь эти происки, нужно было заручиться поддержкой Наполеона. Поэтому Фердинанд по их совету через посредство французского посла в Мадриде Богарнэ обратился к императору с просьбой выдать за него замуж какую-нибудь из его многочисленных родственниц. Расчет заговорщиков был прост: слухи о намерении Наполеона убрать Карла IV и посадить на испанский престол верного человека уже дошли до приближенных Фердинанда, и они надеялись, что Наполеона вполне устроит замена Карла IV принцем Астурийским, женатым на французской принцессе и, следовательно, зависящим от императора.

Однако сохранить все эти планы и дела в тайне не удалось. Во время обыска в апартаментах наследного принца было обнаружено неотправленное письмо Фердинанда отцу, в котором говорилось, что Годой намерен оттеснить Карла IV и занять престол, и высказывалась просьба арестовать первого министра и его сообщников; письмо Эсконкиса принцу Астурийскому с советом добиваться руки французской принцессы и шифры для тайной переписки. Решив воспользоваться удобным случаем, чтобы расправиться с наследником, Годой представил дело так, будто бы принц собирался организовать убийство короля и королевы.

Вызванный на допрос трусливый Фердинанд признался во всем, что было и чего не было, и тотчас же выдал своих советчиков. Когда же Карл IV написал письмо Наполеону, обвиняя французского посла в интригах и тайных сношениях с наследным принцем, император со свойственной ему беззастенчивостью от всего отрекся, притворился крайне возмущенным возведенной на него клеветой и закончил свою гневную тираду, обращенную к испанскому послу во Франции, недвусмысленной угрозой: «Если в Мадриде еще раз посмеют оскорбить моего посла и если объединенная армия немедленно не отправится в Португалию в соответствии с нашими соглашениями, я объявлю войну Испании, сам возглавлю армию, которая ее оккупирует, отзову своего посла и выгоню вас из Парижа...»^[11].

Карлу IV не оставалось ничего иного, как бить отбой. Фердинанда заставили написать

раболепные письма родителям (их текст приведен в романе), король и королева великодушно простили сбившегося с пути сына, сурово наказали его советчиков и ни словом, ни намеком не упомянули о Наполеоне и Богарнэ. Франко-испанская армия в установленный в Фонтенбло срок двинулась на Португалию.

Дело, однако, этим не кончилось. Опустевший было военный лагерь в Байонне вновь заполнился: Наполеон отдал приказ сосредоточить там крупные силы и постепенно вводить их в Испанию. Свержение Бурбонов было уже окончательно предreshено.

На этом историческом фоне разворачиваются события в романе «Двор Карла IV». Как и в других романах первой серии «Национальных эпизодов», главным героем является юноша из бедной семьи Габриэль Арасели. Повествование ведется от его имени. Этот прием, отнюдь не новый для испанской литературы и широко применявшийся, в частности, в плутовском романе, придает изложению большую достоверность, создавая впечатление рассказа непосредственного участника событий. Правда, при таком методе наложению самому Гальдосу приходится нелегко: стремясь осветить все важнейшие факты и познакомить читателя со всеми главными деятелями эпохи — королем, королевой, Годоем и другими, писатель вынужден изобретать самые невероятные ситуации, дающие Габриэлю возможность буквально все и всех видеть, все пережить, во всем принять участие. И, однако, Гальдос, за редким исключением удачно справляется с этой сложной задачей.

В романе «Двор Карла IV» Габриэль выведен как мальчик на посылках сначала у актрисы Ла Гонсалес, а затем у близкой ко двору графини, выступающей не под своим подлинным именем, а под псевдонимом Амаранта. Это скромное положение позволяет, однако, Габриэлю слышать сокровенные беседы самых высокопоставленных особ, включая даже королеву Марию-Луису. Он оказывается в курсе не только уже свершившихся событий, но даже намерений и планов приверженцев и противников Годоя, сторонников и врагов принца Фердинанда, короче говоря — всей высшей испанской аристократии. Кроме того, пребывание в доме актрисы дает ему возможность близко познакомиться с бытом и нравами актерской среды и связанными с ней театральными баталиями.

«Двор Карла IV» раскрывает, как далеко зашло разложение правящей верхушки страны. Габриэль Арасели успел убедиться, что благополучие и процветание высшего общества достигаются далеко не честными путями, что там царят лицемерие, наглость, взяточничество, интриги, притворство, корыстолюбие, подкуп, разврат. Графиня Амаранта с крайней непосредственностью рассказывает Габриэлю: «Моя горничная, например, выхлопотала два места каноников, один обычный бенефиций и должность в ведомстве по надзору за выморочным имуществом... Назначает их министр, но разве может министр отказать, когда рекомендую я, и разве я могу отказать девушке, которая так славно меня причесывает?»

Королю, королеве, Годую, министрам, Амаранте, Лесбии и другим придворным, о которых нельзя сказать хорошего слова, Гальдос противопоставляет простых людей, подлинных патриотов — Инес, ее мать Хуану, доброго священника дона Селестино дель Мальвар и, особенно, точильщика Пакорро Чинитаса. В его образе Гальдос воплотил народную мудрость, трезвость суждений, здравый смысл, проницательность. Именно Чинитас дает самую точную характеристику планам Годоя, Наполеона, Фердинанда. Он понимает, что в решающий час народу самому придется спасать страну: «Вот увидишь, Габриэлильо, вспомнишь мои слова. Дела будут серьезные, и надо нам быть наготове, потому как от короля нашего толку мало и придется самим все делать».

Значительная часть событий, описываемых в романе «Двор Карла IV», происходит в среде актеров, и Гальдос подробно рассказывает об их нравах, а также о борьбе, развернувшейся тогда вокруг путей развития испанского театра.

Конец XVIII и начало XIX столетия ознаменовались острой борьбой между двумя направлениями в испанской драматургии. Леандро Фернандес де Моратин возглавлял тот лагерь, который считал театр не развлечением, а средством распространения просветительских идей, воспитания принципов добродетели и высоких нравственных устоев, борьбы с общественными пороками. Сторонники Моратина придерживались эстетики французского классицизма, но стремились сочетать ее с традициями испанской национальной драмы эпохи Возрождения.

Гальдос сочувствует взглядам Моратина, а его основного противника Лусиано Франсиско Комелью изображает в карикатурном виде. Комелья — явный эпигон, его пьесы слащавы и сентиментальны, лишены литературных достоинств, грубо искажают историю, рассчитаны на зрителя с дурным вкусом. Однако большинству актеров, с которыми сталкивается Габриель, Комелья ближе и понятнее, чем Моратин.

«Двор Карла IV» принадлежит к числу лучших исторических романов Гальдоса. Благодаря своим художественным достоинствам, увлекательной фабуле, убедительности образов, прозрачной ясности языка он сразу был высоко оценен читателями. «Благосклонность, с которой публика приняла «Двор Карла IV», — писал Гальдос, — вдохновила меня и осветила мне дорогу»^[12]. Только после появления восторженных откликов на этот роман Гальдос утвердился в своем намерении написать «Национальные эпизоды», окончательно определил их план и характер.

В трех последующих романах первой серии — «Девятнадцатое марта и Второе мая», «Байен» и «Наполеон в Чамартине» Гальдос рассказывает об основных событиях, совершившихся с ноября 1807 до конца 1808 года.

Португалия была быстро оккупирована французскими и испанскими войсками. Казалось, теперь нет никаких оснований для дальнейшего пребывания французских солдат в Испании, но в тот самый день, когда был занят Лиссабон, Наполеон отдал второму армейскому корпусу приказ вступить на испанскую территорию. Французы захватили ряд крепостей на севере страны, включая Барселону.

Осознав, что дело плохо, королевская чета и Годой решили, пока не поздно, бросить Испанию на произвол судьбы и, последовав примеру правителей Португалии, бежать в американские колонии. Однако об этом стало известно, и 18 марта 1808 года толпы возбужденных мадридцев устремились в резиденцию короля — Аранхуэс, чтобы помешать осуществлению вероломного плана. В ночь на 10 марта там произошло восстание против Годоя и его покровителей Испуганный Карл IV был вынужден сначала объявить о низложении Годоя и лишении его всех титулов и званий, а затем, поскольку восстание не прекратилось, отречься от престола в пользу Фердинанда.

Наполеон считал, что события в Аранхуэсе облегчают его задачу. Он объявил испанский престол вакантным и приказал ввести войска в Мадрид. На следующий день после вступления французов в столицу прибыл Фердинанд. Жители Мадрида горячо приветствовали нового монарха, считая его своим заступником.

Фердинанд всячески добивался признания со стороны Наполеона. Воспользовавшись этим, французский император хитростью заманил его на территорию Франции, в Байонну; затем туда же были доставлены Карл IV, Мария-Луиса и Годой. В байоннской западне оказалась вся королевская семья, кроме младшего сына Карла IV Франсиско. Наполеон приказал привезти в Байонну и его.

Теперь истинные намерения французов стали ясны всем. Поэтому 2 мая 1808 года, когда к королевскому дворцу в Мадриде были поданы кареты для инфанта и его свиты, у дворца собралась огромная толпа. Французы открыли по ней артиллерийский огонь. В ответ началось всеобщее восстание. Мадридцы пустили в ход камни, палки, пистолеты, навахи. В уличных боях принимали участие мужчины, женщины, даже подростки. Испанские воинские части, дислоцировавшиеся в столице, несмотря на официальный запрет, приняли участие в борьбе на стороне народа. Восстание продолжалось весь день 2 мая и часть ночи на 3 мая. Однако перевес был на стороне французов — только в Мадриде они имели двадцать пять тысяч солдат. К утру 3 мая очаги восстания были ликвидированы, а затем в течение трех дней в парке Ретиро и других районах города происходили массовые расстрелы патриотов.

События 2 мая положили начало войне испанского народа за независимость.

Между тем в Байонне Наполеон заставил Карла IV и Фердинанда отречься от престола в его пользу а потом передал испанскую корону своему брату Жозефу. Всех своих пленников он оставил во Франции. В Байонну были доставлены представители испанской знати, утвердившие первую в истории этой страны конституцию. Однако, хотя по своему характеру она была, несомненно, прогрессивной, осуществить ее на практике не удалось. Война за независимость ширились и принимала все более ожесточенный характер. Попытки французов овладеть крепостями Сарагоса и Херона кончились полным провалом. На юге Испании, неподалеку от города Байлена, капитулировала перед испанцами более чем двадцатитысячная армия

наполеоновского генерала Дюпона. Наполеон впервые столкнулся с подлинно народным сопротивлением.

Поражения, понесенные его войсками заставили императора лично возглавить двухсоттысячную армию, действующую в Испании. 2 декабря Наполеон подошел к Мадриду, расположился в монастыре Чамартин и потребовал немедленной капитуляции. Под угрозой разрушения города французской артиллерией столичные власти капитулировали. Мадрид был взят. Полагая, что порядок наведен, Наполеон уехал во Францию, но война против интервентов возобновилась с еще большей силой. Одним из важнейших эпизодов этой войны стала вторая осада Сарагосы, описанная Гальдосом в одноименном романе.

Сарагоса выдержала две осады: первая продолжалась с июня по август 1808 года и успеха французам не принесла, вторая началась 20 декабря 1808 года и завершилась падением города 21 февраля 1809 года. В романе Гальдоса речь идет о второй осаде, но повествование то и дело прерывается рассказами участников первой, так что читатель, в общем, получает представление об обеих фазах борьбы.

Историческая канва романа основана на тщательно изученной Гальдосом трехтомной «Истории двух осад Сарагосы которые вели войска Наполеона в 1808 и 1819 годах», написанной хронистом Агустином Алькайде Ибьейкой, который добросовестно и точно изложил ход событий.

Сопротивление жителей Сарагосы было поистине героической страницей испанской истории. Трех маршалов сменил Наполеон под стенами арагонской столицы, но и после того, как французам удалось ворваться в город, борьба продолжалась. «Каждый дом превратился в крепость: каждый сарай, конюшню, погреб, чердак нужно было брать с бою... Солдаты Ланна убивали без разбора всех, даже женщин и детей, но и женщины и дети убивали солдат при малейшей их оплошности. Французы вырезали до двадцати тысяч гарнизона и больше тридцати двух тысяч городского населения. Маршал Ланн... был подавлен видом этих бесчисленных трупов, вповалку лежавших в домах и перед домами, этих мертвых мужчин, женщин и детей, плававших в лужах крови. «Какая война! Быть вынужденным убивать столько храбрых людей или пусть даже сумасшедших людей! Эта победа доставляет только грусть!» — сказал маршал Ланн, обращаясь к своей свите, когда все они проезжали по залитым кровью улицам мертвого города»^[13].

В описании Гальдоса оборона города предстает во всем своем величии. Хотя и здесь повествование ведется от имени Габриэля Арасели, в отличие от других романов его личная судьба, его любовь к Инес, его суждения и взгляды отступают на задний план. Габриэль видит и говорит, как правило, только то, что Гальдос почерпнул из документальных источников. Выражаясь современным языком, Габриэль в «Сарагосе» играет роль «скрытой камеры», фиксирующей события и доносящей их до читателя-зрителя.

В романе, по существу, нет индивидуальных героев, их заменяет герой коллективный — народ, обороняющий родной город. Это не значит, что Гальдос не называет имен, не дает характеристик участникам обороны. В «Сарагосе» есть и фабула, и портреты людей, как реально существовавших, так и вымышленных, но индивидуальные характеристики призваны лишь в еще большей степени оттенить общность целей и устремлений всего населения осажденного города. Люди эти, такие, как крестьянин дядюшка Гарсес, женщина из народа Мануэла Санчо, занимающий сравнительно высокое положение на социальной лестнице дон Хосе де Монторья, совсем разные, в обычных условиях между ними не может быть ничего общего, но во время обороны их объединяет и сплачивает воедино любовь к своему городу и стране, одинаковое понимание чести, достоинства, патриотизма.

Есть в романе и отрицательный персонаж — ростовщик Кандьола, единственный урод в семье защитников арагонской столицы. Сталкивая его с доном Монторьей, Гальдос

противопоставляет стяжательство самоотверженности, эгоизм — высокому патриотизму.

Роман «Сарагоса» представляет собой удивительный сплав сугубо реалистического повествования и героического эпоса. И это сочетание в данном случае вполне оправдано: оборона Сарагосы была событием эпического масштаба, и самые простые люди совершали легендарные подвиги, которые по плечу героям эпических поэм.

Очень многое в «Сарагосе» перекликается с современностью. Нельзя не согласиться с американским исследователем Стефаном Гилманом, отмечавшим, что ожесточенной борьбой за каждый дом, за каждую комнату оборона Сарагосы напоминает Сталинградскую битву и что «другие реалии нашего времени, выжженная земля, пятая колонна, массированные бомбардировки, депортация политических заключенных, тотальная война — все это в какой-то степени перекликается с происходившим там, и обо всем этом Гальдос говорит в разных местах своего повествования»^[14].

* * *

Публикуемые в данном издании романы Гальдоса воскрешают героические страницы истории испанского народа, боровшегося против иноземного вторжения. Своей последующей историей и, в частности, самоотверженной борьбой против фашизма и итало-германской интервенции в 1936–1939 годах испанцы доказали, что героизм, самопожертвование и высокий патриотизм, проявленные ими в прошлом, не были случайностью, а представляют собой стойкие черты национального характера.

Д. Прицкер





Не имея ни занятия, ни заработка, ни родных, ни друзей, бродил ваш покорный слуга по Мадриду, проклиная тот злополучный час, когда ему вздумалось променять родной город на негостеприимную столицу, и, наконец, дабы подыскать себе какое-нибудь пристойное место, прибегнул к помощи «Мадридской газеты». Печатное слово свершило чудо — ровно через три дня после того, как голодный, холодный, одинокий, отчаявшийся Габриэль предал гласности высокие достоинства, коими, как он полагал, наделила его природа, он был взят в услужение актрисой театра «Дель Принсипе» Пепитой Гонсалес, или, короче, Ла Гонсалес, Случилось это в конце 1805 года, но то, о чем пойдет мой рассказ, происходило два года спустя, в 1807 году, когда мне — если я хорошо считаю — уже минуло шестнадцать лет и вскоре должно было исполниться семнадцать.

О хозяйке своей расскажу потом. Для начала же должен заявить, что служба моя, хоть и хлопотная, была для юноши, желающего в короткий срок узнать жизнь, весьма увлекательной и полезной. Перечислю дела, которыми я занимался с утра до ночи с величайшим усердием, вкладывая в их исполнение все свои силы умственные и физические. Итак, служба у комедиантки налагала на меня следующие обязанности.

Помогать во время причесывания моей хозяйки, которое совершалось искусным неаполитанцем, маэстро Рикьярдини, чьим чудодейственным рукам вперялись самые сановные

головы нашей столицы.

Ходить на улицу Разочарований за жемчужными белилами, черкесским эликсиром, помадой султанши или пудрой á la Maréchale — драгоценными снадобьями, коими торговал мосье Гастан, унаследовавший секрет их изготовления от придворного алхимика самой Марии-Антуанетты.

Ходить на улицу Королевы, номер 21, первый этаж, в мастерскую, где делали набивные узоры, ибо в те годы было принято носить шелковые платья светлых тонов, украшенные модным рисунком, а когда мода менялась, ткань заново покрывали иными букетами и арабесками, счастливо сочетая в назидание потомкам моду с бережливостью.

Относить после обеда кастрюлю с остатками супа, куски хлеба и другие объедки дону Лусиано Франсиско Комелье, сочинителю весьма знаменитых в свое время комедий, подыхавшему с голоду в домишке на Баклажанной улице вместе с дочкой-горбуньей, его помощницей в литературных трудах.

Начищать мелом корону и скипетр, с которыми появлялась моя хозяйка, исполняя роль монгольской царицы в комедии под названием «Потерять все в один день ради слепой и безумной любви, или Самозванный царь Московии».

Помогать хозяйке учить роли, особенно в комедии «Жильцы сэра Джона, или Индийское семейство Хуанито и Колета», в которой я подавал реплики лорда Лаллесвинга, чтобы хозяйке была понятней ее роль миледи Пенкофф.

Нанимать портшез, в котором хозяйка отправлялась в театр, а при надобности и таскать сие сооружение.

Бывать на галерке в театре «Де ла Крус», чтобы безжалостно освистывать «Когда девицы говорят «да», комедию, которую я терпеть не мог, как, впрочем, и все остальные пьесы того же автора.

Прогуливаться по площади Святой Анны, причем для виду глазеть на витрины, а на самом деле украдкой прислушиваться о чем толкуют в кружках собирающихся там комедиантов и танцоров, и стараться не упустить ни слова из злопыхательских речей актеров театра «Де ла Крус» против актеров театра «Дель Принсипе».

Ходить за билетами на бой быков либо в кассу, либо на дом к бандерильеро Эспинилье, который всегда приберегал для моей хозяйки место на балконе как дань дружеским чувствам, столь же нежным, сколь давним.

Сопровождать хозяйку в театр, где мне надо было держать скипетр и корону, пока она дожидалась выхода после второй сцены второго акта «Самозванного царя Московии», чтобы появиться в облике царицы, повергая в смятение Ослова и магнатов, которые считали ее уличной торговкой пирожками.

Подробно наставлять «мушкетеров», указывая те места в комедии и в тонадиле, где им надлежит хлопать изо всех сил, а также оповещать их о всяком новом спектакле у «тех самых», дабы разжечь патриотический пыл и боевой дух.

Навешать ежедневно Исидоро Майкеса якобы для того, чтобы выяснить кое-какие детали театральных костюмов; на самом же деле, чтобы узнать, находится ли у него некая особа, имя которой я пока не буду называть.

Исполнять маленькие роли, например, роль пажа, который входит с письмом и произносит лишь: «Вам письмо», или «первого человека из народа», который, отделившись от толпы, вызывает к королю: «Правосудия, государь!», или восклицает: «Я припадаю к царственным стопам, о венценосный образ солнца!» В эти вечера я чувствовал себя счастливым.

В таком же духе были и прочие мои дела, занятия и обязанности; перечислять их не стану, ибо не хочу злоупотреблять терпением моих читателей. В ходе сей правдивой истории они и так

получают представление о моих подвигах, а заодно — о разнообразных и сложных поручениях, которые я выполнял. А теперь я познакомлю вас со своей хозяйкой, несравненной Пепитой Гонсалес, и постараюсь не упустить ни одной мелочи в описании окружавшей ее среды.

Хозяйка моя была девушки скорее очаровательная, чем красивая, но первое из этих качеств сообщало ей такую ослепительную прелесть, что все в ней казалось совершенством. Все чары красоты телесной, которой в более высоком смысле соответствуют такие понятия, как выразительность, обаяние, изящество, грация и т. д., сосредоточивались в ее черных глазах — а они умели: выразить одним взглядом больше, чем все рассуждения Овидия в его поэме о том искусстве, которому невозможно научиться и которому все обучены. Кто видел глаза моей хозяйки, для того уже не звучали гиперболой выражения «испепеляющие аспиды» и «огненосные оптические стрелы», коими Каньисарес и Аньорбе описывали взгляды своих героинь.

Думая о людях, встречавшихся нам в юности, мы обычно вспоминаем либо самые примечательные их черты, либо же черты вовсе не существенные, но почему-то навеки врезавшиеся в нашу память. То же происходит и со мной, когда я вспоминаю Пепиту. Лишь подумаю о ней, как мне чудятся ее несравненные глаза и стук ее туфельек, «жалких сих темниц для двух колонн прелестных», как сказал бы Вальядарес или Монсин.

Не знаю, довольно ли этого, чтобы вы составили себе верное представление о столь восхитительной женщине. Я же, воскрешая ее в памяти, прежде всего вижу огромные черные глаза и слышу легкую поступь — тук-тук. И этого достаточно, чтобы в туманной мгле моего воображения возник ее облик, — да, это она. Теперь мне вспоминается, что любое платье, любая мантилья, лента или побрякушка были ей на диво к лицу; вспоминается также особая грация ее движений, исполненных неизъяснимой прелестью, определить которую удастся лишь тогда, когда язык наш станет богаче и мы сумеем обозначить одним словом лукавство и скромность, робость и задор. Сочетание, казалось бы, невозможное, однако заметим, что чинные манеры иных недотрог — не что иное, как величайшее лицемерие, и что коварство давно уже научилось побеждать скромность ее же оружием.

Как бы там ни было, а малютка Ла Гонсалес сводила публику с ума изяществом своих жестов, красивым голосом, патетической декламацией в сентиментальных пьесах и искрящимся остроумием в комических. Каждое ее появление было триумфом — и когда она, направляясь на бой быков, проезжала по улице в шарабане или пролетке через толпу своих поклонников и «мушкетеров», и когда после спектакля покидала театр в портшезе. Стоило показаться в окошке носилок ее улыбающемуся личику, обрамленному кружевами белой мантильи, как сразу гремели аплодисменты и приветственные возгласы: «Дорогу красе вселенной! Да здравствует кумир Испании!» или другие восклицания в таком же духе. Эти уличные оvation доставляли большое удовольствие восторженной толпе, а также их виновнице и ее слугам, ибо слуги всегда мнят себя причастными к славе господ.

Пепита была в высшей степени чувствительна и, как мне кажется, способна к порывам пылким и безоглядным, но из-за привычки постоянно держать себя в руках, которая стала второй натурой, все считала ее холодной. Могу, кроме того, удостоверить, что она была очень сердобольна и с радостью помогала всем, кто нуждался в поддержке. Толпа бедняков осаждала ее дом, особенно по субботам, — одна из самых хлопотных моих обязанностей заключалась в том, чтобы распределять между ними медяки и куски хлеба, если что оставалось после визита сеньора де Комелья, которой изнывал от голода, хотя был «чудом нашего века» и первым драматургом в мире. Жила Ла Гонсалес уединенно, в небольшом особнячке, вместе со своей бабушкой, восьмидесятилетней доньей Домингитой, и прислуживали ей только девушка-служанка да я.

После того, как я сказал столько хорошего, годится ли говорить дурное о характере и поведении Пепы Гонсалес? Нет, об этом я умолчу. Прошу помнить в оправдание черноокой красотки, что она выросла в театре, ибо мать ее выступала во второстепенных ролях на подмостках достопочтенных театров «Де ла Крус» и «Де лос Каньос», а отец играл на контрабасе в «Лос Ситиос» и в Королевской капелле. От этого не очень счастливого и дружного союза родилась Пепита, которую с детства начали приучать к актерскому ремеслу; уже двенадцати лет она впервые появилась на сцене в комедии донна Антонио Фрументо «Портной, король и преступник в одном лице, или Астраханский портной». Зная ее жизненную школу и достаточно свободные нравы веселого актерского племени, которому всеобщее презрение как бы дает право вести себя хуже обычных людей, разумно ли было требовать от моей хозяйки строгой нравственности? Обстоятельства ее жизни были таковы, что, веди она себя безупречно, ее следовало бы причислить к лику святых.

Теперь мне остается познакомить вас с нею как с актрисой. По этому пункту могу лишь сказать, что в то время она казалась мне непревзойденной — не знаю, какое впечатление произвела бы на меня ее декламация теперь, если бы я увидал Пепиту на подмостках какого-нибудь нынешнего театра. А тогда она была в зените славы, и ей не приходилось опасаться соперниц. Мария дель Росарио Фернандес, по прозвищу «Ла Тирана», умерла в 1803 году; не менее знаменитая Рита Луна удалилась со сцены в 1806 году; Мария Фернандес, прозванная «Ла Карамба», также исчезла из поля зрения. Ла Прадо, Хосефа Вирг, Мария Ривера, Мария Гарсиа и другие знаменитости тех лет не блистали талантом, и если моя хозяйка стояла не намного выше их, то, во всяком случае, ее звезду не затмевало сияние ни одного враждебного светила. Только Майкес был тогда в Мадриде предметом единодушного восторга и поклонения, однако актрисы не видели в нем соперника — соревнование и вражда возможны лишь между божествами одного пола.

Пепа Гонсалес принадлежала к партии противников Моратина, и не только потому, что они составляли большинство в кругу ее друзей, но также по неким тайным причинам, которые вызывали у нее неодолимое отвращение к этому выдающемуся поэту. Тут я вынужден сделать одно замечание не к чести моей хозяйки, но истина для меня превыше всего, и под страхом прогневить тень покойной Пепиты Гонсалес осмелюсь высказать свое мнение. Насколько я мог заметить, литературный вкус у примадонны театра «Дель Принсипе» был не из лучших — как в выборе театральных пьес, так и в книгах, чтение которых было ее любимым занятием. Увы, бедняжка никогда не читала ни Лусано, ни Монтиано, понятия не имела о сатирах Хорхе Питильяса, и ни один смертный не удосужился объяснить ей Баттё или Блэра, ибо на уме у всех, кого она дарила своей дружбой, был скорее Овидий, чем Аристотель, и скорее Боккаччо, чем Депрео.

Потому-то хозяйка моя выступала под знаменами донна Элеутерио Криспина де Андорра, не во гнев будь сказано нашим суровым Аристархам. Просто вкус ее был ограничен, и она никогда не поняла бы хитроумного обоснования трех единств, даже если бы ей проповедовали о них босоногие монахи. Надобно уведомить вас, что аббат Кладера, чьим портретом можно назвать славного донна Гермохенеса, был близким другом отца нашей героини, и, вероятно, еще в детские годы этот блестящий педант заронил в ее ум семена тех самых принципов, которые в другой голове дали столь роскошный плод, как «Великая осада Вены».

Не мудрено, что моей хозяйке нравились творения Комельи, хотя она и не решались в этом признаться перед людьми пишущими и просвещенными, ибо к тому времени сей театральный бог был уже низвергнут с вершин славы в пучину нищеты и забвения. Как я мог заметить, слушая ее речи и стараясь уяснить ее литературные предпочтения, пьесы Комельи нравились ей потому, что в них были пышные выходы и уходы, парады войск, голодные дети, требующие материнской

груди, декорации, изображавшие «большую площадь с триумфальной аркой», могучие бородачи — всякие там ирландцы, московиты или скандинавы — и роскошный слог, изъясняясь которым героиня в трудную минуту восклицала: «Я стала статуей живою изо льда!», или же: «О злоба, притворимся! О ненависть, открою ль сердце! О хитрость, помоги мне!»

Помнится, частенько случалось мне слышать ее сетования по поводу того, что новый вкус изгнал со сцены «перекрестные» диалоги, вроде следующего, который, если не ошибаюсь, содержится в комедии «Милосердие Леопольда Великого»:

Маргарита. Смелей, любовь...

Надастль. О ненависть...

Эрин. О робость...

Карлос. Безумие...

Альбуркерке. Смятенье...

Ульрика. Бед начало...

Все шестеро. Надеждой льстимся мы теперь, что время

Откроет то, о чем ты умолчала.

Но так как пьесы этого сорта выходили из моды, моя хозяйка лишь изредка имела удовольствие участвовать в драмах, вроде «Петра Великого во время осады Полтавы», где царь приказывает своим солдатам есть сырую конину без соли и клянется, что сам он будет питаться камнями, но города не сдаст. Должен заметить, что в этих предпочтениях больше сказывалась жгучая неприязнь к моратинистам, нежели необразованность: могла ли признать превосходство новой школы моя хозяйка, истая, воинствующая испанка до кончиков ногтей, полагавшая, что правила и хороший вкус — величайшее зло, ибо ввезены из-за границы, и что всякий настоящий патриот должен цепляться, как за святую хоругвь, за нелепости наших доморощенных поэтов. Что касается Кальдерона и Лопе де Вега, то их она ставила очень высоко именно потому, что классицисты их презирали.

Здесь я охотно сделал бы небольшое отступление, чтобы поделиться своими мыслями о тогдашних театральных партиях, о вкусах народа в целом и, в частности, о вкусах тех, кто столь яростно оспаривал его благоволение. Однако боюсь надоесть читателям и слишком отклониться от главного предмета — я вовсе не собирался пускаться в ученые споры о вещах, которые, возможно, читателю известны лучше, чем мне. Оставим же неуместные здесь рассуждения и, установив вкусы моей хозяйки, которые испортили бы репутацию любой нынешней маркизе, артистке или львице так называемого высшего света, но в то время ничуть не умаляли очарования Пепиты, пойдем дальше.

Итак, вы с ней уже познакомились. Теперь можно приступить собственно к рассказу. Но нет, как же это я забыл! Я ведь не могу продолжать, не сообщив, какую роль я, себе на горе, сыграл во время на шумевшей премьеры «Когда девицы говорят «да», — и без того натянутые отношения между моей хозяйкой и Моратином, отчасти из-за меня, резко ухудшились, и наступил полный разрыв.

Дело было еще до событий, о которых я намерен дальше рассказать, но это не беда. Премьера «Когда девицы говорят «да» состоялась в январе 1806 года. Моя хозяйка тогда играли в театре «Лос Каньос дель Пераль», так как театр «Дель Принсипе», сгоревший несколько лет назад, еще не был отстроен. О комедии Моратина, читанной им на вечерах у Князя Мира и у Тинео, говорили как о литературном событии, которое должно было увенчать его славой. Соперники по перу (их было немало) и завистники (их было большинство) распускали злостные слухи, утверждая, что эта комедия еще более снотворна, чем «Ханжа», более вульгарна, чем «Барон», и еще более антипатриотична, чем «Кафе». Задолго до премьеры уже ходили по рукам в списках сатиры и памфлеты, не дозволенные к печати. Было применено самое сильнодействующее по тем временам средство — призывы к духовной цензуре не допустить представления. Однако талант нашего первого драматурга взял верх над всем, и комедия «Когда девицы говорят «да» была поставлена двадцать четвертого января.

С понятным для такого юнца восторгом я принял участие в грозном заговоре, составленном в костюмерной театра «Лос Канос дель Пераль» и в других темных закоулках, где среди «вуалей паутины» прозябал кое-кто из драматургов прошлого века. Возглавлял заговор некий поэт, чей облик и стиль вы можете легко вообразить, вспомнив наглого писаку, которого Меркурий избирает из галдящей толпы, чтобы представить Аполлону. Имя я забыл, зато отчетливо помню его лицо, лицо человека презренного и ничтожного, чей духовный и физический облик словно слеплены матерью-природой из отбросов. Душа его была иссушена завистью, тело — нуждою, из года в год он становился все безобразней и гнусней; плоды его пошлого ума, испробовавшему все жанры от героического; до дидактического, уже внушали отвращение даже приверженцам его школы, и он перебивался тем, что сочинял грубые пасквили и дрянные памфлеты против всех, кто был враждебен его покровителям, не требовавшим взамен за свои благодеяния ничего, кроме лести.

Этот сын Аполлона повел нашу внушительную процессию в раек театра «Де ла Крус», где нам предстояло, заранее прорепетировав свои роли, выразить возмущение выдумками классической школы. В зал мы проникли с немалым трудом — стечение публики и тот вечер было огромное, но так как мы пришли рано, нам удалось занять лучшие места в райских эмпиреях, наполненных нестройным гулом страстных литературных споров и дурными запахами исходившими от не слишком опрятной публики.

Вы, наверно, думаете, что внутренний вид театров в те времена мало чем отличался от нынешних наших колизеев. Величайшее заблуждение! На верхней галерее, где виршеплет расположил свой шумный батальон, была устроена перегородка, отделявшая мужчин от женщин — воображаю, как ликовал мудрый законодатель, измыслив эту штуку, как потирал руки и хлопал себя по высокому челу, полагая, что сим новшеством приблизил установление гармонии меж особами разного пола. Где там! Разделение лишь подогревало в мужчинах и женщинах естественное желание вступить в беседу; сиди они рядом, можно бы переговариваться шепотом, теперь же приходилось кричать во все горло. Между двумя станами велся перекрестный огонь, сыпались нежные словечки, насмешки, сальности, шутки, от которых все изысканное общество покатывалось со смеху, вопросы, на которые отвечали бранью, и остроты, вся соль, которых заключалась в том, что их выкрикивали как можно громче. Нередко от слов переходили к делу, и тогда с одного полюса на другой летели брошенные меткой рукой пригоршни каштанов, орешков и апельсиновые корки, — эти забавы, правда, мешали смотреть спектакль, зато доставляли огромное удовольствие обеим половинам райка.

Надо однако, сказать, что эта же самая публика, по внешности столь грубая, обнаруживала большую чувствительность, рыдая вместе с Ритой Луной в драме Коцебу «Мизантропия и раскаяние» или разделяя возвышенный ужас славного Исидоро в трагедии «Орест». Несомненно и то, что нигде в мире публика не умела так беспощадно высмеять писателей и поэтов, пришедшихся ей не не вкусу. Равно готовая веселиться и плакать, она, как малое дитя, поддавалась внушениям сцены. Если автор не умел снискать ее благосклонность, виноват был он сам.

Театральный зал, если взглянуть на него сверху, представлял невообразимо унылое зрелище. Тусклые масляные лампы, которые служитель зажигал, перепрыгивая со скамьи на скамью, едва мерцали в полутьме: при их скудном свете нельзя было даже через подзорную трубу как следует рассмотреть выцветшие фигуры на закопченном потолке, где выделял антраша красавчик Аполлон в алых сапожках и с лирой в руке. А сколько хлопот доставляло зажигание главной люстры, которую, по завершении сей сложной процедуры, медленно подтягивали кверху при помощи блока под громкие возгласы райка, не упускавшего случая подурачиться и пошуметь.

В зале тоже была перегородка — внушительное бревно, прозванное «плахой», которое отделяло кресла первых рядов от собственно партера. Ложи походили на тесные, темные курятники — там располагалась чистая публика, и так как дамы, по давнему обычаю вешали свои шали и накидки на барьер, ярусы в целом имели вид декорации, изображающей улицу Почты или Суконные ряды.

Театральный устав, изданный в 1803 году, должен был навести в театрах порядок, однако никто не трудился ему следовать, и лишь с развитием культуры и просвещенности публика научилась нести себя более пристойно. Вспоминаю, что еще много лет после описываемого мною времени зрители продолжали судить в шляпах, хотя в одном из пунктов устава было ясно сказано: «Зрителям в ложах всех ярусов, без какого-либо исключения, возбраняется сидеть в шляпах, шапках и прочих головных уборах, однако дозволяется при желании не снимать плащей и пальто».

В ожидании, пока поднимется занавес, поэт называл мне одно за другим свои творения — а было их несметное множество во всех жанрах: драматическом, комическом, элегическом, эпиграмматическом, буколическом, сентиментальном и смешанном. Тут же он изложил мне содержание трех-четырёх трагедий, которые дожидались лишь протекции некоего мецената, чтобы быть поставленными на сцене. И словно я недостаточно был наказан за мои грехи выслушиванием этого вздора, он обрушил на меня еще несколько сонетов, которые хоть и не вполне были равны знаменитому: «О, светоч дивный, от берегов Дуная до Амазонки ты сияешь гордо», — однако походили на него, как одна тыква на другую.

Перед самым началом поэт орлиным взором окинул недра партера, дабы убедиться, что прочие не менее влиятельные вожди заговора против комедии Моратина явились в театр. Да, все были на местах и пылали рвением вступить за честь нации. Вон стекольщик с улицы Сковороды, один из славнейших предводителей мушкетерского полка; вон книготорговец с улицы Горка Ангелов, знаток изящной словесности; вон «Полторы квартиры», который своей могучей глоткой один заставлял умолкнуть всех приверженцев «Ханжи»; вон жестянщик с улицы Трёх Крестов, отважный боец, прятавший под широченным плащом блестящий и громкозвучный котел, чтобы в нужную минуту поразить публику музыкальным номером, не обозначенным в программе; вон великолепный Роке Памплинас, цирюльник, ветеринар и кровопускатель, который, заложив два пальца в рот, мог потягаться со всеми флейтистами Греции и Рима, — словом, собрался цвет рыцарства, свершивший немало подвигов на литературном ристалище. Поэт остался доволен смотром своего войска, и мы устремили взгляды на сцену, ибо занавес уже поднялся.

— Ну и начало! — сказал поэт после первого диалога между доном Диего и Симоном. — Разве можно так начинать комедию! Показывает нам гостиницу! Но что интересного может произойти в гостинице? Во всех моих комедиях — а написано их у меня немало, хоть ни одна не ставилась, — действие начинается «в коринфском саду с, грандиозными фонтанами по обе стороны и с храмом Юноны в глубине сцены» или «на большой площади, где выстроены три полка, а на заднем плане виден город Варшава и ведущий к нему мост» и так далее. Только послушайте, какие пошлости изрекает этот старикан! Он, видите ли, намерен жениться на девушке, которая воспитывалась в Гвадалахарском монастыре. Эка невидаль! Да ведь о таких браках мы слышим сплошь да рядом!

Треклятый поэт своими замечаниями мешал мне следить за действием. Я почтительно кивал и бормотал: «Да, да! Конечно!», в душе желая ему провалиться в преисподнюю. Ни на минуту он не умолкал, а когда на сцене появились донья Ирене и донья Пакита, его возмущению не было предела. Как посмел автор предлагать нашему вниманию этих двух особ, из которых одна в точности похожа на его квартирную хозяйку, а другая — самая обычная девушка, не принцесса, не маркиза, не аббатиса, не ландграфиня, даже не владычица России или Монголии!

— Скучнейший сюжет! Какое убожество мыслей! — восклицал он так, чтобы слышали все вокруг. — Кому нужны такие комедии? Да ведь то, что говорит эта сеньора, могла бы сказать какая-нибудь донья Марикита, донья Гумерсинда или тетушка Кандунгас! Что был-де у нее родственник епископ, что монахини воспитали девочку в строгости, не кокетка, не притворщица; что сама-де она из бедных, девятнадцати лет вышла замуж за дона Эпитафио; что народила ему два десятка детей... Да чтоб ей лопнуть, экая дрянная старушонка!

— Давайте сперва послушаем, — заметил я, досадуя на неуместную болтовню нашего главаря. — Высмеять Моратина мы еще успеем.

— Не могу я спокойно слушать такую чепуху! — не унимался он. — Стоит ли ходить в театр, где показывают то, что каждый день видишь на любом перекрестке, в любом доме. Вот если бы эта сеньора не докладывала нам о своих родах, а вбежала бы на сцену, проклиная жестокого врага, в войне с которым у нее погибли двадцать один сын и остался лишь двадцать второй, еще грудной младенец; если бы она, рыдая, искала, где спрятать малютку, чтобы его не съели изголодавшиеся жители осажденного города, — тогда действие стало бы куда интересней и публика набила бы себе мозоли на ладонях... Дружище Габриэль, надо погромче выразить свое возмущение. Топайте, стучите по полу палками, пусть знают, что мы негодуем, что нам это надоело. А потом начните зевать во весь рот, чтобы челюсти трещали, да оборачивайтесь лицом назад! Пусть все зрители в задних рядах — а они уже поняли, что мы кое-что смыслим в литературе, — видят, как нам тошно от этой глупейшей, бездарнейшей пьесы.

Сказано — сделано. Мы принялись топать и стучать, потом стали дружно зевать, приговаривая: «Какая скука!.. Сил нет, надоело!.. Зря потратили деньги!..» Эти и им подобные возгласы произвели должное впечатление. Зрители в партере поддержали наши патриотические действия. Вскоре весь зал наполнился нетерпеливым гулом голосов. Но, кроме врагов Моратина, здесь были и его друзья, сидевшие в ложах и в креслах; они не преминули ответить на нашу демонстрацию, громко хлопая в ладоши, требуя, чтобы мы замолчали, осыпая нас бранью и угрозами. Но вот из глубин партера раздался зычный голос: «Долой колбасников!», грянул взрыв аплодисментов, и нам пришлось умолкнуть.

Виршеплет весь дрожал от ярости. Делая замечания по ходу действия, он говорил:

— Я уже знаю, что будет дальше. Сейчас окажется, что донья Пакита любит вовсе не старика, а военного, который еще не появлялся, — он племянник этого старого козла дона Диего. Нечего сказать, интрига... Прямо не верится, что образованные люди могут аплодировать такой пьесе. Я бы этого Моратина на галеры сослал и до конца дней запретил писать подобные

пошлости. Ну, скажи, Габриэлито, неужели это комедия? Да ведь тут ничего нет. Где завязка, где развитие, неожиданности, недоразумения, обманы, «кви про кво»? Никто не переодевается, чтобы выдать себя за другого, нет ни одной сцены, где два врага после смертельных оскорблений вдруг узнают, что они — отец и сын... Пусть этот дон Диего возьмет да и прикончит племянничка где-нибудь в подземелье, а потом устроит пир и велит подать невесте жаркое из мяса своей жертвы, приправленное перцем и лавровым листом, — тогда я признаю, что у автора есть выдумка... И зачем эта девчонка хитрит? Насколько эффектней было бы, если б она наотрез отказалась выйти замуж за старика, прокляла его, назвала тираном и пригрозила, что утопится в Дунае или в Дону, коль он осмелится посягнуть на ее невинность... Нет, нынешние поэты не умеют изобрести настоящий сюжет — это сплошное жульничество, рассчитанное на глупцов, зато-де по правилам! Смелей, друзья! Всем приготовиться! Сперва еще несколько гневных возгласов, потом сделаем вид, будто спорим: одни будут говорить, что эта вещь хуже «Ханжи», другие — что «Ханжа» хуже. Кто умеет громко свистеть, валяйте *ad libitum*^[15], остальные — топайте, сколько влезет. Когда донья Ирене будет уходить со сцены, браните ее последними словами.

Сказано — сделано. Повинуясь приказам нашего вождя, мы к концу первого акта подняли адский шум. А когда друзья автора тоже стали возмущаться, мы завопили: «Долой полячишек!» Обе партии, войдя в азарт, обменивались отборной руганью под неистовый галдеж в райке и в партере. Второй акт прошел не лучше первого. Но должен признаться — да простит мой приятель виршеплет! — я слушал диалоги с большим вниманием, и комедия казалась мне очень даже недурной, хоть я и не мог бы тогда объяснить, чем она мне нравится.

Упорство доньи Ирене, стремящейся из корыстных соображений выдать дочь за дона Диего, ее тупое нежелание понять происходящее, ее уверенность, что дочь дала согласие вполне искренне (как же иначе, ведь девочка воспитывалась у монахинь!), здравый смысл дона Диего, который держится настороже и не очень-то доверяет умильной покорности маленькой плутовки, пылкая страсть дона Карлоса, проделки Каламочи — словом, все перипетии, главные и второстепенные, пленяли меня. В то же время я смутно чувствовал, что в основе этого сюжета есть мысль, глубоко нравственная идея, которой подчинено все развитие страстей, все душевные движения персонажей. Однако я остерегался высказать вслух свои впечатления — это было бы воспринято как гнусная измена славному воинству свистунов — и, верный долгу, неустанно повторял, размахивая руками: «Вот дрянная пьеса!.. И подумать только, пишут такую чепуху!.. А, опять на сцене старушка... Так ему и надо, старому дурню... Ух, скучища! Ну и остроты!» и т. д.

Второй акт прошел, как и первый, под бурные возгласы обеих партий, однако друзья Моратина явно брали верх. Было очевидно, что беспристрастным зрителям пьеса нравится и что успех ее обеспечен вопреки подлым интригам, в которых участвовал и я. Третий акт — бесспорно самый лучший; я прослушал его с благоговейным восторгом, отмахиваясь от злобного поэта; в прекраснейшем месте пьесы он счел нужным разразиться самой гнусной бранью.

В этом акте есть три сцены, непревзойденные по красоте. В первой донья Пакита признается доброму дону Диего, что в ее сердце идет борьба между чувством и долгом, понуждающим ее исполнить волю старших, которым она притворно покорилась. Во второй выступают дон Карлос и дон Диего, и в их полном благородства объяснении развязывается узел интриги. Третья сцена — забавнейшая беседа дона Диего и доньи Ирене: старик хочет ее убедить, что о браке не может быть речи, а она ежеминутно перебивает его своими неуместными репликами.

Тут я уж не сумел скрыть своего восхищения, эта сцена показалась мне верхом естественности, остроумия и комического интереса. Поэт сурово призвал меня к порядку, обвинив в измене делу «колбасников».

— Простите, сударь, я обмолвился. Но не кажется ли вам, что эта сцена не так уж плоха?

— Сразу видно, что ты новичок и еще ни одного стиха не сочинил. Ну что особенного в этой сцене? Ни патетики, ни исторических событий...

— Зато все естественно... Как будто сам видел в жизни то, что автор показывает на сцене.

— Болван! Тем она и плоха. Вспомни «Фридриха Второго», «Екатерину, владычицу России», «Рабыню Негропонта» и другие столь же замечательные произведения — разве в них найдешь что-нибудь, напоминающее житейские дела? Там все необычайно, удивительно, исключительно, невероятно, поразительно! И в этом их красота. Нет, далеко нынешним поэтам до гениев моего времени — искусство пришло в полный упадок.

— Прошу прощения, сударь, но я, я думаю, что... Впрочем, раз вы говорите, что пьеса никудышная, я должен с вами согласиться — вам оно виднее. И все же мне кажется похвальным замысел автора: как я понимаю, он хочет здесь высмеять недостатки нынешнего воспитания, показать, что девицы приучаются в монастырях лицемерить и лгать... Так ведь и сказал дон Диего: девушка слывет добродетельной, если научилась молчать, скрывать свои чувства, и мамаша не нарадуется, когда бедняжка покорно говорит «да», которое сделает ее несчастной навеки.

— А зачем автору лезть в эти философские дебри? — возразил педант. — Что общего между моралью и театром? Вот, к примеру, «Астраханский маг», «Испании святой закон Астурия признала и Леон», «Торжество доня Пелайо» — комедии, которыми восхищается весь мир, А разве есть в них хоть слово о воспитании девиц?

— Вспоминаю, я где то слышал или читал, что театр должен развлекать и поучать.

— Вранье! Вдобавок сеньору Моратину здорово достанется на орехи, — и поделом, нечего осуждать систему воспитания почтенных монахинь. Несдобровать ему, когда за него возьмутся епископы и святейшая инквизиция — кое-кто уже собирался писать донос в трибунал на эту пьеску, и напишут, будьте уверены.

— Давайте смотреть финал, — сказал я, любуясь трогательной сценой, в которой дон Диего отечески благословляет влюбленных.

— Какая убогая развязка! Тут и дураку ясно, что дон Диего должен жениться на донье Ирене.

— Что вы! Дон Диего на донье Ирене? Да как может такой серьезный, разумный человек жениться на этой вздорной старухе?

— Ах, оболтус, ничего ты не понимаешь! — возмутился педант. — Само собой, дон Диего должен жениться на донье Ирене, дон Карлос на Паките, а Симон — на Рите. Вот это был бы отличный конец, а еще лучше, если бы девушка оказалась незаконной дочерью доня Диего, а дон Карлос — внебрачным сыном доньи Ирене от какого-нибудь переодетого короля, владыки Кавказа или приговоренного к смерти командора. Насколько сильнее стал бы финал, да еще кабы Пакита воскликнула: «Отец мой!», а дон Карлос: «Мать моя!», и все бы потом обнялись и переженились, чтобы произвести на свет кучу наследников мужского пола.

— Ну вот, уже закончилось. Кажется, публика довольна, — заметил я.

— Теперь нажимайте, ребята! Приставьте ладони ко рту, кричите: «Мерзость! Бездарная комедия!»

Распоряжение было немедленно выполнено. Я тоже, не посмеяв послушаться, засунул пальцы в рот и... О, тень Моратина, тысячу раз прости! Не хочу продолжать, малодушие мое очевидно, и я отдаю себя на суд читателям.



Но злая судьба устроила так, что большинство публики приняло комедию с восторгом. Наши свистки вызвали бурю аплодисментов не только в креслах и ложах, но даже в райке и в проходах.

Да, и ценителям в райке был присущ верный художественный вкус — они поняли достоинства комедии и дали отпор нашему доблестному воинству: на самых рьяных воинов нашего отряда внезапно посыпались палочные удары. Больше всего запомнилось мне забавное приключение с сыном Аполлона в этой краткой стычке, им же вызванной. Носил он шляпу с непомерно высокой тульей, и вот, когда он обернулся назад, чтобы ответить оскорбившему его субъекту, чей-то могучий кулак обрушился на этот гиперболический головной убор и нахлобучил его по самые плечи поэта. Бедняга беспомощно замахал руками — ему никак не удавалось высвободить голову из темной клетки, в которую ее засадили.

Мы все, друзья-приспешники, кинулись на помощь и после немалых усилий стащили шляпу. С пеной у рта поэт клялся свершить месть скорую и кровавую, однако дело тем и ограничилось: все вокруг потешались, а он даже не пытался на кого-нибудь нападать. Мы выволокли виршеплета на улицу, там он поостыл, и мы расстались, условившись встретиться завтра на том же месте.

Так прошла премьера «Когда девицы говорят «да». После поражения, постигшего нас в первый вечер, еще была надежда провалить пьесу на втором или третьем представлении. Было известно что министр Кабальеро ее не одобряет и даже поклялся наказать автора, — это весьма ободряло партию свистунов, которым мерещилось, что Моратин, осужденный святейшей

инквизицией, щеголяет в колпаке, в санбенито и с веревкой на шее. Но уже во второй вечер все мечты рухнули: на спектакле присутствовал Князь Мира, пришлось помалкивать, и даже самые заядлые антиморатинисты не посмели выразить свое неудовольствие. С той поры Моратин, узнав, что заговорщики собирались у моей хозяйки, порвал с ней отношения, и прежде не слишком дружеские. Ла Гонсалес ответила на этот шаг самой чистосердечной ненавистью.

Рассказав об этом происшествии, случившемся задолго до того, что будет описано в моей книге, я могу начать повествование. В нем я коснусь также событий осени 1807 года, хорошо памятной мадридцам, — той осенью был обнаружен знаменитый Эскориальский заговор.

И тут я прежде всего хочу познакомить вас с одной особой, которая в то время заняла в моем сердце самое почетное место и, как вы увидите, сыграла важную роль в моей судьбе, — знакомство с ней стало для меня живым уроком и сильно повлияло на становление моего характера.

Все театральные и прочие наряды моей хозяйки шила некая портниха с улицы Каньисареса, женщина добрейшая и почтеннейшая, еще не старая, хотя до времени увядшая от тяжелого труда, в высшей степени разумная и обходительная, — можно было даже подумать, что она из благородных и не всегда жила в такой бедности. Да, внешность обманчива, но ведь куда чаще случается обратное: глядя на многих дворян, ни за что не догадаешься, что они знатного рода. У доньи Хуаны — так звали эту святую женщину — была пятнадцатилетняя дочь по имени Инес, помогавшая матери во всех ее трудах с усердием поразительным в таком юном и хрупком создании.

Инес была прелестна, но, кроме того, отличалась незаурядной трезвостью суждений, какой я никогда больше не встречал ни у женщин, ни у мужчин, даже умудренных годами. Она была наделена особым даром ставить все на должное место, судить обо всем с необычайной тонкостью и проницательностью, которые, вероятно, были ниспосланы ее выдающемуся уму, чтобы восполнить то, чем обделила ее фортуна. За всю свою долгую жизнь я не видал женщины, подобной ей, и убежден, что многие сочтут этот образ моей выдумкой, — трудно поверить, что среди сонма дочерей Евы могла существовать одна, столь отличная от всех прочих. Но даю слово чести — она вправду существовала.

Если бы вам посчастливилось знать Инес, наблюдать невозмутимое спокойствие ее лица, верного зеркала души, самой безмятежной, уравновешенной, ясной и неколебимой, какая когда-либо теплилась в брэнном человеческом теле, вы бы не усомнились в моих словах. Все в ней дышало простотой, даже ее красота, не пробуждавшая греховных желаний, но приводившая на ум те идеальные понятия, которые нам не дано видеть воплощенными в жизни, но порою можно узреть очами духовными, когда мечты, теснясь в нашем уме, стремятся облечься в некие видимые формы, озаряющие светом темные закоулки нашего мозга.

И речи ее также были исполнены простоты; все, что она говорила, неизменно поражало меня, как самая очевидная и непреложная истина. В беседах с нею, открывавших мне справедливость и разумность существующего, мой ум обретал уверенность, твердость, которые обычно не были ему присущи. Сравнивая ум Инес со своим собственным и пытаясь определить глубокое различие между нами, я сказал бы, что у нее была некая точка опоры, а у меня — нет. Мой ум блуждал наугад, увлекаемый случайными впечатлениями, противоречивыми и мимолетными чувствами; мои мысли были подобны бродячим метеорам, которые, повинувшись влечению более массивных тел, то вспыхивают, то гаснут, то мчатся вперед, то останавливаются; у нее же мысли двигались в стройной гармонической планетной системе, где центром притяжения, источником теплоты и движения была чистая совесть.

Ктонибудь, возможно, посмеется над этими психологическими домыслами, но мне, человеку, в таких материях не искушенному, хотелось бы точно выразить свои ощущения; другой, возможно, сочтет нелепой самую идею описать подобную героиню и возмутится моей дерзкой попытке составить из черт бедной модисточки некую Беатриче. Но я не боюсь насмешек и смело

продолжаю.

Узнав Инес, я ее полюбил любовью в высшей степени странной. Я питал к ней живейшую привязанность, однако привязанность эта напоминала поклонение, которым окружают нечто божественно совершенное, и была подобна религии, возвышающей благородную часть нашего существа и предоставляющей другой его части предаваться мирским страстям. Инес была для меня, бесспорно, первой из женщин однако же я считал себя вправе влюбляться в других представительниц прекрасного пола, которые встречались на моем пути и так или иначе пленяли мое сердце. Мною замечено, что люди, посвятившие себя служению идеалу, почти никогда не отдаются ему целиком — какую-то сторону своей жизни они оставляют для мира, даже если их объединяет с ним лишь земля, по которой они ступают. Это грустное наблюдение, быть может, сделает более понятным необычное состояние моей души в то время и мои чувства к столь благородному созданию. Да, она были всего лишь модистка, модисточка! Смейтесь, ежели вам угодно!

Третьим членом этого почтенного семейства был падре Селестино Сантос дель Мальвар, брат покойного мужа доньи Хуаны и, следовательно, дядя Инес, с юных лет принявший духовный сан, человек простодушный, большой добряк, но, вероятно, самый незадачливый из священников — ни ренты, ни капеллании, ни каких-либо бенефиций! Разумеется, его скромность, доверчивость и безграничная кротость в немалой мере были причиной того, что он уже много лет прозябал в нищете, — несмотря на всю ученость, ему никак не удавалось получить место. Он только и делал, что писал прошения Князю Мира, которому приходился земляком и даже другом детства. Однако ни Князь Мира, ни кто-либо другой не принимал в нем участия.

Когда-то, став министром, Годой пообещал назначить ему приход или пребенду, с тех пор уже прошло четырнадцать лет, а дон Селестино дель Мальвар все ждал обещанного, причем долгие годы ожидания нисколько не ослабили его наивной доверчивости. На вопросы он всегда отвечал одно: «Я получу назначение на будущей неделе, это сказал чиновник в министерстве». Так прошло четырнадцать лет, а «будущая неделя» все не наступала.

Когда моя хозяйка посылала меня к модистке с каким-нибудь поручением, я старался задержаться там подольше и все свободное время также проводил у них — мне нравилось наблюдать мирную жизнь этой семьи, которая вызывала во мне самую глубокую симпатию. Донья Хуана и ее дочь вечно сидели с иголкой в руке все шили и шили бесконечные платья. С того и кормились все трое, ибо падре Селестино, который приводил время, играя на флейте, сочиняя латинские стихи или изводя чернила и бумагу на длиннейшие прошения, не приносил в дом ничего, кроме надежд, — зато этот капитал у него возрастал неукоснительно, по сложным процентам.

За приятной беседой часы летели незаметно. Я рассказывал случаи из своей жизни, забавлял всех фантастическими планами на будущее, а порой мы беззлобно подшучивали над доверчивостью дон Селестино. Побывав в министерстве, где он наводил справки о своем деле, добряк возвращался домой с ликующим видом, клал на стол соломенную шляпу и накидку и, потирая руки, усаживался рядом с нами.

— Ну вот, — говорил он, теперь дело двинулось по-настоящему. На будущей неделе — обязательно. Говорят, получилась маленькая задержка, но, слава богу, с нею покончено. На будущей неделе — обязательно.

Однажды я ему заметил:

— Мне кажется, дон Селестино, вы не можете добиться своего только потому, что вы — тихоня, не умеете ловчить... Да, да, ловчить.

— А что это означает — «ловчить», дитя мое? — спросил он.

— Ну, как бы сказать... Слышал я, что в нынешние времена, если хочешь получить пять,

надо требовать двадцать. А всякие там заслуги, ученость — это чепуха. Главное, надо быть нахальным, пролезать во все щели, искать расположения влиятельных лиц — словом, поступать так, как поступали другие, чтобы достичь высоких постов, — теперь-то все ими восхищаются.

— Ох, Габриэль! — сказала донья Хуана. — Честолюбив ты не в меру! И кто это вбил тебе в голову такие мысли? Уж верно, ты надеешься, что каким-то чудом окажешься, самое меньшее, при дворе и, весь в галунах будешь повелевать и распоряжаться в кабинете министров.

— Именно так, милостивая сударыня! — воскликнул я, смеясь и следя за выражением лица Инес, с которой не раз уже толковал на эту тему. — Хотя и нет у меня ни матери, ни отца, ни рваного пальтеца а все же почему бы мне не надеяться на то, что получили другие, не ученой меня. Каньете на что был мал, а господь его услышал.

— У тебя большие задатки, Габриэль! — с важностью промолвил дон Селестино. — Ничуть не удивлюсь, если в один прекрасный день мы увидим тебя важной персоной. Тогда ты не захочешь с нами разговаривать, в дом не заглянешь. Но, сын мой, тебе необходимо изучить латинских классиков, иначе фортуна не распахнет перед тобой свои врата. Кроме того, советую тебе научиться играть на флейте, ибо музыка улучшает нравы, смягчает самые черствые души и снискивает благоволение сильных мира сего к тем, кто в ней искусен. Не веришь, посмотри на меня. Разве сумел бы я чего-либо достигнуть, если бы не посвятил долгие годы сим двум божественным искусствам, развившим мой ум?

— Бесценный совет! — ехидно сказал я. — Постараюсь не засунуть его в дырявый карман. Ведь всем известно, чему обязан своим возвышением самый могущественный человек в нынешней Испании, — разумеется, после короля.

— Клевета! — возмутился священник. — Мой земляк, друг и покровитель, светлейший Князь Мира, возвысился благодаря своим великим достоинствам, политической мудрости и такту, а вовсе не из-за умения обращаться с гитарой и кастаньетами, как утверждает тупая чернь.

— Будь по-вашему! — согласился я. — И все же факт налицо: из простых лейб-гвардейцев этот человек поднялся до таких высот, выше некуда. Все ясно.

— И ты не сомневаешься, что достигнешь того же, — с иронией заметила донья Хуана. — Недаром говорят: «Епископы тоже из людей делаются».

— Совершенно верно! — подхватил я ее шутку. — А потому я клянусь сделать дона Селестино архиепископом Толедо.

— Довольно, сын мой! — строго сказал священник. — На такую должность я не пойду, ибо ее недостойн. Мне хватило бы какого-нибудь прихода в Рейес-Нуэвос или места архидиакона в Талавере.

Так, полушутя, полусерьезно, беседовали мы, пока донья Хуана и священник не вышли из комнаты, оставив нас с Инес вдвоем.

— Видишь, дружок, как они потешаются над моими планами! — сказал я. — Но ты, конечно, понимаешь, что такому человеку, как я, стыдно оставаться всю жизнь слугой актрисы. Вот я сейчас перечислю, кем бы хотел стать, а ты скажи, что тебе больше нравится. Ну, выбирай! Хочешь, чтобы я стал главнокомандующим или великим герцогом, имеющим кучу подданных и солдат, или владыкой огромной страны, или первым министром, который увольняет и назначает кого ему вздумается, или епископом?.. Нет, епископом не хочу быть, а то я не смогу на тебе жениться.

Инес весело рассмеялась, как будто ей рассказывали одну из тех сказок, вся соль которых в нагромождении нелепостей.

— Можешь смеяться, но все-таки ответь мне: что тебе больше нравится?

— Что мне нравится? — повторила Инес, перестав шить. — Изволь, будь генералом, первым министром, великим герцогом, императором или архиепископом, но только с условием,

чтобы, укладываясь вечером на свою пуховую перину, ты мог сказать себе: «Нынче я никому не причинил зла, и по моей вине никто не погиб».

— Но послушай, радость моя, — сказал я, все больше увлекаясь этим разговором, — если мне удастся стать кем-нибудь из тех, кого ты назвала, — а это вполне возможно! — какое будет дело мне до того, что по моей вине или ради блага государства погибнет несколько моих ближних, которые для мира ровно ничего не значат.

— Пусть так, — сказала она, — но пусть их убивают другие. Если ты и впрямь станешь важной особой и тебе, чтобы удержаться на месте, которого ты недостойн, придется губить сотни людей, можно тебя только пожалеть.

— Какая ты щепетильная, Инесилья! Послушать тебя, так мне следовало бы всю жизнь провести в четырех стенах. Подумаешь, губить сотни людей! Я буду исполнять свои обязанности, а те, другие... пусть выпутываются, как умеют. И главное — если я кому-то причиню зло, зато многих облагодетельствую, мои добрые дела все искупят, и совесть моя будет спокойна. Нет, я вижу, тебя мои мечты не вдохновляют, ты не можешь меня понять. Хочешь, я буду откровенен? Так вот, слушай. У меня почему-то нейдет из головы, что, когда я стану старше, я займу такое положение в обществе... такое... даже голова кружится. Как я его достигну, кто подаст мне руку, чтобы я одним скачком одолел столько ступенек, — сказать не могу, но достаточно, что лишь об этом я мечтаю. И вот мне чудится, что я возведен в самый высокий сан хлопотами некоей знатной дамы, которая возьмет меня к себе секретарем, или важного сановника, которому я окажу ценные услуги... Не сердись, малютка, ведь такие случаи бывают. Да еще когда с утра до вечера думаешь об одном и том же, то в конце концов мечты сбываются. Мне это ясно, как то, что сейчас день.

Инес не сердилась, она смеялась. Потом снова принялась шить и, делая иголкой стежки в такт своим словам, заговорила:

— Видишь ли, родись ты в княжеской колыбели, я бы и слова не сказала. Но ты сын бедного рыбака, ничему не обучен, читаешь еле-еле, а пишешь того хуже, и если ты станешь человеком знатным и могущественным не потому, что окажешься способней и умней других, а потому что взбалмошной даме или богатому старичку взбредет в голову тебя осчастливить — как случилось со многими, о ком всякие чудеса рассказывают, — то помни; быстро вознесешься, быстро упадешь, и тогда даже куры над тобой будут смеяться.

— Это уж как бог пошлет, — ответил я. — Либо упадем, либо нет. Хоть мы и не шибко грамотные, а в житейской грамоте кое-что сомыслим.

— Ох, глупыш! Слушай, мне говорили, — нет, никто мне не говорил, просто я сама это знаю, — что все в мире происходит так, как должно происходить.

— Королева моя, — сказал я, — ты ошибаешься. Тогда бы мы были богачами, а мы бедны.

— Все так рассуждают, голубчик, и надо, чтобы кто-нибудь да ошибался. Так вот, все в мире заканчивается так, как должно закончиться. Не знаю, ясно я говорю?

— Да, я тебя понял.

— Мне сказали... нет, не сказали, я и так уже тысячу лет это знаю... Да, я знаю, что всему в мире определены свои законы. Все происходит так, а не иначе, дурачок ты мой, не потому, что кому-то так вздумалось, а потому, что так назначено. Птицы летают, червяки ползают, камни не двигаются, солнце светит, цветы пахнут, реки текут вниз, а дым поднимается вверх, потому что так им положено. Понял?

— Это мы все знаем, — ответил я, посмеиваясь в душе над рассуждениями Инесильи.

— Отлично, дружок. А считаешь ли ты, что черепаха может научиться летать? Вот будет долго-долго махать своими толстыми лапами и вдруг полетит?

— Конечно, нет.

— Так вот, когда ты мечтаешь стать могущественным вельможей, — а у самого ни знатности, ни богатства, ни знаний, ты похож на черепаху, которой хочется взлететь на самый высокий пик Гвадаррамы.

— Но послушай, владычица моя и королева, я ведь не собираюсь взлететь сам, я надеюсь встретить, как бывало с другими, какого-нибудь человечка, который меня возвысит в единый миг. Ну, скажи на милость, много ли было знаний и богатств у «того», когда его сделали герцогом и генералиссимусом.

— Ах, простите, сеньор герцог! — весело ответила она. Да, да, этот человечек возвысит вас — в точности, как орел или ястреб схватил бы черепаху за панцирь, чтобы поднять в воздух. Да, он тебя поднимет, но, когда вы будете вверху, птице надоест тащить в лапах такой груз, и она скажет: «Теперь, голубчик мой, держись сам!» Захлопаешь ты лапками, а крыльев-то нет, и — хлоп! — вот ты уже на земле и разбился вдребезги.

— Ну и дуреха! — с горячностью воскликнул я. — Твой пример годится для мира зримого и осязаемого, но ведь мысли наши и чувства — это особый мир. Что между ними общего?

— Ты-то больно умен, — возразила Инес. — И в мире мыслей и чувств все происходит точно так же. Любишь ты кого или ненавидишь, в том ты не волен. Ах, дружок, сердцу тоже определен свой... ну, что ли, закон, и если умная твоя головушка о чем то думает, ей эти мысли назначены и определены свыше.

— Но скажи, малышка, откуда ты все это знаешь, — спросил я.

— А что тут знать? — простодушно удивилась она. — Все это знают, и ты тоже. Право, мне это пришло на ум только теперь, когда ты говорил, а прежде я никогда о таких вещах не думала.

— Плутовка! Да у тебя, наверно, где-то припрятана куча книг, и ты потихоньку готовишься стать доктором в Саламанке.

— Вовсе нет, дорогой, никаких книг я не читаю, кроме божественных и «Дон-Кихота Ламанчского». А кстати, с тобой будет так же, как с тем рыцарем, только у него-то крылья были, да вокруг не было воздуха, потому он, бедняжка, и не мог взлететь.

Инесилья умолкла. Я тоже притих — как я перед тем ни горячился, а все же понимал, что в словах моей подружки заключен глубокий смысл. И это говорила простая модистка, модисточка! Ridete, cives!^[16]

— А я знаю одно, — наконец сказал я, не в силах сдержать порыв нежности. — Знаю, что люблю тебя, обожаю, преклоняюсь пред тобой, твое слово для меня закон, ты — моя богиня, и я клянусь ничего не делать без твоего совета. Прощай, королева, завтра расскажу, что принесет мне нынешний вечер. Как знать, как знать, может, и нам удастся... А почему бы нет? Главное, быть готовым ко всему, ибо лестница почестей крута, и если, как ты сказала, свернешь себе шею...

— Все равно еще останется лестница небесная, — закончила Инес, снова склоняясь над шитьем.

— Ух, ты так умна, что даже страшно. Прощай, Инесилья, мое солнышко, моя радость!

С этими словами я откланялся и вышел. Уже на улице я услышал, что Инес напевает, — ее мелодичному голосу, причудливо диссонировав, вторила флейта, на которой играл в соседней комнате дон Селестино. Я всегда покидал их дом с чувством удивительного спокойствия, умиротворенности, какой-то свежести в душе, — правда, оно быстро улетучивалось от соприкосновения с людьми совсем другого склада. Об этом я теперь и расскажу, но прежде должен признаться: Инесилья была права, высмеивая мои безумные планы. Дело в том, что все вокруг только и говорили о всяких ничтожествах, которым какой-нибудь придворный устраивал головокружительную карьеру. И мне втемяшилось в голову, что провидение — в награду за мое сиротство и бедность — уготовило мне одно из тех молниеносных, скандальных возвышений,

какие тогда нередки были у нас в Испании. Эта мысль так крепко засела в моем уме, что стала чем-то вроде символа веры. Что и говорить, в юности мы все глуповаты, ибо не каждому дано все знать «уже тысячу лет», как знала Инесилья.

Цепь особых обстоятельств лишь укрепила во мне эту дурацкую надежду. Но, чтобы писать о них, мне надо вас познакомить с другими лицами, которые, надеюсь, вам понравятся. Итак, поговорим о театрах.

Театр «Дель Принсипе» был отстроен в 1807 году архитектором Вильянуэвой, и там выступала труппа Майкеса, чередуясь с оперой, которой управлял знаменитый Мануэль Гарсиа. Моя хозяйка и актриса Ла Прадо были примадоннами в труппе Майкеса. Вторые любовники этой труппы немногого стоили, так как великий Исидоро, столь же талантливый, сколь самолюбивый, не терпел, чтобы кто-либо блистал на театральных подмостках, ставших пьедесталом его необычайной славы. Опасаясь соперничества, он и не думал посвящать других в тайны своего мастерства. Поэтому его окружали одни лишь, посредственности. Супруга Майкеса, актриса Ла Прадо, и моя хозяйка играли по очереди роли первых любовниц — Клитемнестры в «Оресте», Эстрельи в «Санчо Ортис де лас Роэлас» и другие. Но с особенным успехом моя хозяйка исполняла роли доньи Бланки в «Гарсиа дель Кастаньяр» и Эдельмиры (Дездемоны) в «Отелло».

Оперная труппа была превосходна. Кроме самого Мануэля Гарсиа, певца первоклассного, там пели его жена Мануэла Моралес, итальянец Кристиани и Ла Брионес. Эта женщина, будучи любовницей Мануэля Гарсиа, в следующем, 1808, году произвела на свет чудо-певицу, королеву оперы Марикиту Фелисидад Гарсиа, которая прославилась под фамилией Малибран.

Судите же сами, любезные читатели, как весело мне жилось. Каждый вечер я смотрел спектакль или слушал оперу, причем бесплатно. Не беда, что видел я все это из-за кулис и впечатление, конечно, было неполным, зато я не пропустил ни одной из самых прекрасных и шумевших в Мадриде вещей, встречался с красавицами актрисами и подружился с актерами, заставлявшими смеяться и плакать всю столицу.

Но не подумайте, что я вращался только среди актеров, сословия по тем временам не слишком уважаемого. Мне часто случалось видеть и весьма важных особ, заглядывавших в актерские уборные, — многие очаровательные и родовитые дамы не считали для себя зазорным пачкать подолаы своих юбок в пыли подмостков.

Вот об этом-то я и хочу теперь рассказать, а именно, о двух близких приятельницах моей хозяйки, придворных дамах, чьи фамилии из числа самых громких и знаменитых, с древних времен украшавших нашу историю, я называть не стану, чтобы не вызвать неудовольствие у еще живущих членов этих семейств. Итак, фамилии не будут здесь упомянуты, хотя я их отнюдь не забыл, и я впредь буду называть этих двух прелестных дам вымышленными именами.

Вспоминаю, что в ту пору я однажды видел изготовленный в мастерской святой Варвары роскошный ковер, на котором были изображены две премилые пастушки. Когда я спросил, кто они такие, мне сказали «Это дочери Артемидора — Лесбия и Амаранта». Эти два имени, по моему, как нельзя лучше подойдут для моих целей. Итак, запомните, любезные читатели: именем «Лесбия» я обозначаю герцогиню Х., а именем «Амаранта» — графиню Х. Что до их красоты, то убогое мое перо не в силах описать ее достойно, ибо они были восхитительны, особенно графиня де... то бишь Амаранта. Обе были тонкими ценительницами искусства: оказывали поддержку живописцам и актерам; брали под свое покровительство первые представления пьес наших поэтов; коллекционировали ковры, вазы, табакерки; первыми подхватывали и вводили у нас крикливые моды всевластного Парижа; отправлялись в портшезах во Флориду; завтракали с Гойей у Канала и сокрушались, вспоминая трагическую смерть Пепе-Хильо, случившуюся в 1803 году.

Не мудрено, что такой образ жизни, неумная жадность к новшествам и сильным впечатлениям могли вовлечь их в лабиринт опасных приключений, о которых я вам поведаю. Бедняжки не знали ничего лучшего, они утратили все, что могло им дать старомодное испанское

воспитание, и не приобрели ничего взамен, чтобы заполнить пустоту. Не будем судить их слишком строго. Пожалуй, их можно было бы упрекнуть — и не без основания — кое в чем другом, но — ах!.. — они ведь были красавицы.

Как-то вечером моя хозяйина вернулась из театра мрачнее тучи. Ей изрядно досталось — за что, не знаю — от Исидоро, а этот великий актер обращался со своими подчиненными, как с сопливыми ребятишками. Войдя в дом, Пепита мне сказала:

— Прибери поскорей, сегодня ко мне придут ужинать сеньоры Лесбия и Амаранта.

Уборка была несложная: мне полагалось обмахнуть тряпкой мебель в гостиной, чтобы стереть пыль или, вернее, перегнать ее на другое место; подлить масла в лампы; купить, если были надобность, приму для гитары; сбегать за доном Хигинио, чтобы настроил клавикорды; протереть зеркала; отправиться за новой порцией помады *à la Maréchale* и т. д. Что ж до ужина, его нам доставляли готовым из трактира. Исполнив все эти обязанности, я пошел за новыми распоряжениями. Однако моя хозяйка все еще была в дурном настроении; не слушая меня, она спросила:

— Он не говорил тебе, что придет вечером?

— Кто?

— Исидоро.

— Нет сударыня, он мне ничего не сказал.

— Но ведь он с тобой разговаривал после спектакля...

— Он только сказал, что если я еще буду шнырять за кулисами, когда он играет, то он с меня шкуру сдерет.

— Ну и характерец! Я пригласила его, а он даже не ответил.

Больше она ничего не сказала и с видом унылым и мрачным заперлась в своей комнате, чтобы переодеться с помощью служанки. Я продолжал хлопотать по хозяйству. Вскоре Пепита появилась в гостиной.

— Который час? — спросила она.

— Пробило девять на часах Святой троицы.

— Чу, я слышу в подъезде шум! — с тревогой сказала она.

— Нет, сударыня, это вам померещилось.

— Значит, он так-таки и не сказал тебе, придет или нет?

— Кто? Исидоро? Нет, сударыня, ничего он мне не сказал.

— Уж он таков! Да еще сегодня вечером разозлился. Но все же я думаю, он придет. Ведь я его вчера пригласила. Правда, он ни слова мне не ответил, но... это в его духе.

Ее лицо выражало беспокойство, волнение, даже страх — несомненно, она была в сильнейшем душенном смятении. И чего это она так тревожится о том, придет ли Исидоро? Ведь они ежедневно видятся в театре.

Пепита окинула рассеянным взором гостиную — все ли в порядке — и уселась в ожидании гостей. Наконец мы услышали звук отворяемой входной двери, и на лестнице раздались мужские шаги.

— Это он; — вскочив с места, прошептала моя хозяйка и, сама не своя, принялась кружить по комнате.

Я побежал открывать, минуту спустя великий актер вошел в гостиную.

Исидоро в то время было тридцать восемь лет; высокого роста, очень бледный с небрежными манерами, он обладал таким выразительным лицом и взглядом, что, увидав однажды, нельзя было не запомнить его навсегда. В тот вечер он был в темно-зеленом сюртуке, лосинах и польских сапогах — все безупречного изящества и сидело на нем так ловко, как ни на ком другом. Его одежда как бы составляла часть его личности, он сам устанавливал моду, не в

пример обычным щеголям, слепо ей покоряющейся. Если бы другой нарушил ее законы, это было бы смешно, но когда их нарушал Исидоро, создавалась новая мода.

С его игрой на сцене я познакомлю вас потом. А пока несколько характерных черточек его поведения, по которым вы сможете судить о нем как о человеке. Войдя в гостиную, он сразу же уселся в кресло, бросив моей хозяйке лишь краткое фамиллярное приветствие, какие в ходу у людей, привыкших часто видаться. Затем он довольно долго сидел, не говоря ни слова, мурлыкал какой-то мотивчик и глядел то на стены, то на потолок, похлопывая тростью по сапогам.

Я зачем-то вышел из гостиной и, возвратившись, услышал слова Исидоро:

— Как скверно ты нынче играла, Пепилья!

Моя хозяйка смутилась, точно школьница перед грозным учителем, и в ответ на грубый попрек лишь пробормотала несколько сбивчивых фраз.

— Да, да, — продолжал Исидоро, — в последнее время я просто тебя не узнаю. Сегодня все друзья были возмущены, говорили, что ты играешь сонно, без души... На каждом шагу ты сбивалась, была рассеянна, — мне то и дело приходилось подталкивать тебя, чтобы хоть немного расшевелить.

Действительно, в тот вечер я слышал за кулисами, что моя хозяйка играла роль Бланки в «Гарсиа дель Кастаньяр» очень неудачно. Это было для всех неожиданностью, так как прежде она обычно блистала в этой трудной роли.

— Сама не знаю, — дрожащим голосом отвечала Пепита. — Мне кажется, я сегодня играла так же, как всегда.

— В некоторых сценах, пожалуй, но в тех, где ты играла со мной, зрелище было жалкое. Ты как будто забыла роль, говорила лениво, нехотя. В сцене, где мы выходим вместе, ты прочитала сонет отвратительно, впору какой-нибудь актрисульке из «Барахаса» или «Какабелоса», А когда ты мне говорила:

Тебя я жажду, как цветы — росы,
что солнце пьет из чашечек душистых...

голос у тебя дрожал, будто ты в первый раз очутилась на сцене. И рука, когда ты мне ее подала, была горячая, как при лихорадке. Да, да, ты все время путалась, будто не замечала даже, что я нахожусь на сцене.

— О нет, сейчас все объясню. Я просто боялась сбиться, боялась, что ты рассердишься, — ведь ты так гневаешься на нас, когда мы ошибаемся...

— Так знай, если хочешь остаться в моей труппе, надо научиться владеть собой. Ты что, больна?

— Нет.

— Влюблена?

— О, нет, нет! — смущенно пролепетала актриса.

— Уверен, ты так невнимательно читала стихи, потому что слишком уж внимательно смотрела на кое-кого в ложе.

— Ах, нет, Исидоро, ты не прав, — промолвила моя хозяйка, стараясь казаться веселой.

— Самое удивительное, что следующие сцены, особенно сцену с доном Мендо, ты провела превосходно, но потом, в третьем акте, когда тебе снова пришлось играть со мной, снова все пошло из рук вон.

— Разве я плохо прочитала монолог в лесу?

— Нет, не скажу, ты нашла верную интонацию в стихах:

Куда, несчастная, спешу?
Совсем одна, без сил, в тоске едва дышу,
так страшно в чаще дикой!
О, плачьте, очи, над бедой моей великой. —

И в сцене с королевой ты была очень хороша, и в диалоге с доном Мендо. Восклицание: «Да, у меня есть муж!» — ты произнесла с большим чувством. Недурны были и стихи

Да, мой друг.
Пусть поклонник молод, статен,
но, хоть, беден и незнатен,
мне милее мой супруг. —

Но как только я вышел на сцену и ты меня увидела...

— Об этом-то я и говорю. Я боялась сбиться и рассердить тебя...

— Ну и рассердила дальше некуда. Когда ты воскликнула: «Гарсиа, мой супруг!» — мне захотелось дать тебе подзатыльник тут же на сцене, перед всей публикой. Бестолковая! Ведь я тысячу раз тебе объяснял, как надобно произносить эти слова. Неужели ты до сих пор не поняла, в чем суть этой сцены? Бланка боится, как бы муж не заподозрил ее в неверности. И в этой фразе к радости, которую она испытывает при виде его, должен примешиваться страх. Ты же вместо того, чтобы выразить эти чувства, кинулась ко мне, как влюбленная модистка, которая вдруг очутилась наедине со своим другом-приказчиком. И потом, когда ты умоляла убить тебя, в твоей игре не было и намека на то, что мы называем трагическим величием. Казалось, ты на самом деле хочешь, чтобы я тебя прикончил, даже стала предо мной на колени, а ведь я решительно запретил это делать — разумеется, кроме тех мест, которые я сам отметил. В десимах

Пусть бог хранит тебя, Гарсиа...

ты без конца сбивалась, а когда я сказал:

О милая моя супруга,
какой раздор в моей душе!

ты сразу бросилась в мои объятия. Надо было немного выждать, не мог же я, терзаемый мыслью об оскорбленной чести, предаваться любовным ласкам! Ты провалила финал, Пепилья, испортила комедию и опозорила меня.

— Разве я могу тебя опозорить!

— Еще как! Сама видела, нынче вечером мне аплодировали куда меньше, чем обычно, и в этом виновата ты, только ты. Тупа, упряма, не слушаешь, что я тебе говорю, не стараешься мне угодить. В конце концов, мне придется лишить тебя первых ролей, перевести на вторые или даже в статистики, а если ты и дальше будешь небрежна я, ей-ей, буду вынужден удалить тебя из труппы.

— Ах, Исидоро! — сказала моя хозяйка. — Я всегда стараюсь играть как можно лучше,

чтобы ты не сердился и не бранил меня. Но я безумно боюсь твоих упреков; стоит тебе появиться на сцене, как меня кидает в дрожь. Поверишь ли, когда мы играем вместе, я даже опасаюсь играть слишком хорошо: если публика награждает меня аплодисментами, мне кажется, что я присваиваю часть успеха, принадлежащего только тебе, и я боюсь, как бы ты не рассердился, что хлопают не тебе одному. А еще когда ты взглянешь грозно или с досадой поправишь меня, тут я совсем теряюсь, начинаю заикаться и лепетать, порой сама не понимаю, что говорю. Но ты не беспокойся, я исправлюсь, тебе не придется выгонять меня из труппы.

Что последовало за этими словами, я не слышал: мне надо было унести из гостиной лампу, которая начала чадить. Когда я вернулся, этот разговор был уже закончен. Исидоро все так же сидел, развалясь в кресле, всем своим видом выражая величайшую скуку.

— Что ж не идут твои гости? — спросил он.

— Еще рано. Я вижу, тебе скучно в моем обществе, — вздохнула моя хозяйка.

— Да нет! Но согласись, у нас тут пока не слишком весело.

Исидоро достал сигару и закурил. Должен отметить, что знаменитый актер не употреблял нюхательного табака, в отличие от большинства великих людей своего времени — Талейрана, Меттерниха, Россини, Моратина и самого Наполеона, который, — если не лжет история, — чтобы не трудиться вытаскивать и открывать табакерку, носил ароматический порошок прямо в кармашке сюртука, подбитом клеенкой. Под Иеной, командуя передвижением своих эскадронов, или при переговорах в Тильзите он, говорят, ежеминутно засовывал в означенный кармашек большой и указательный пальцы и подносил щепотку к ноздрям. Из-за этой странной привычки его желтый сюртук и лацканы, прикрывавшие отважное сердце героя своего века, были-де так перепачканы, что среди всей нечисти, заполонившей Европу, вряд ли нашлось бы что-нибудь грязней.

Фаринелли тоже набивал себе ноздри в паузах между арией и речитативом, и, как явствует из некоторых старинных документов, лучшим подарком, какой могли преподнести итальянскому музыканту, живописцу — словом, любому виртуозу восторженная дама или поклонник, был ящик табаку.

Аббат Пико де ла Мирандола, Рафаэль Менгс, тенор Монтаньяна, певица Париджи, скрипач Алаи и другие знаменитости театра «Буэн-Ретиро» нюхали первосортный табак, прибывавший из Америки на королевских галеонах.

Прошу простить за это отступление. Итак, теперь вам ясно, что Исидоро нюхательного табака не употреблял.

Часов около десяти в гостиную торжественно вошли две дамы, о которых я упоминал выше. Лесбия! Амаранта! Возможно ли забыть вас тому, кто хоть раз вами любовался? Само собой, обе явились инкогнито, в карете, а не в портшезе, чтобы их не узнала любопытная чернь. Бедняжкам очень нравились такие вечеринки в интимной компании, где они отдыхали душой от сурового этикета.

В те годы на традиционных званных вечерах в знатных семействах или при дворе деспотически царила истинно испанская церемонность, не допускалось ничего такого, что могло бы вывести гостей из состояния чинной скуки. Ни шумных разговоров, ни — упаси бог! — шуток или смеха. Дамы располагались на эстрадо, мужчины в остальной части гостиной, беседы были так же пресны, как напитки. Вот кто-нибудь заиграет на клавикордах или на гитаре, общество слегка оживляется, но ненадолго — вскоре музыка умолкает, и вновь вступает в свои права нагоняющая сон благопристойность. Порой танцуют менуэт — тогда влюбленные могут вкушать возвышенное платоническое наслаждение, касаясь друг друга кончиками пальцев, и после бесконечных реверансов под музыку в гостиной опять воцаряется благопристойность, богиня, которой милей всего молчание.

Так можно ли удивляться, что иные дамы, наделенные пылким воображением, искали среди людей с менее строгими правами развлечений, соответствующих своей натуре. Тут мне приходит на память «Когда девицы говорят «да», комедия, где осуждается лицемерие не только в воспитании, но лицемерие как таковое, свойственное во все эпохи нашим национальным традициям. В то время повсюду замечалось стремление к чуть более свободным правилам, к более непосредственному, в границах приличий, общению между обоими полами — словом, к такому образу жизни, при котором меньше бы опасались зла и больше доверяли добру, не считая, что основами общества должны быть подозрительность и боязнь греха. А лицемерия было и тогда предостаточно; что не полагалось делать открыто, свершалось тайно, — строгостей было больше, чем теперь, но нравы от этого не становились лучше.

Лесбия и Амаранта вошли с реверансами, изъясняя обворожительными улыбками самую сердечную радость. Их сопровождал дядюшка Амаранты, старый маркиз, дипломат. Но прежде чем говорить о нем, несколько слов о дамах.

В красоте герцогини де Х. (Лесбии) было что-то хрупкое, почти детское — нежный цветок, с которым поэты обычно сравнивают красавиц! Кажется, что от малейшего дуновения ветерка или от знойных лучей солнца он вмиг увянет, а при первом порыве бури поникнет, сломленный навеки. Однако бури, волновавшие сердце Лесбии, ничуть не вредили ее чарам, по крайней мере, в то время.

Взглянув на нее, вы бы сказали, что она вчера только вышла из под опеки почтенных сестер монастыря в Чамартин де-ла Роса и способна болтать лишь о монастырских пышках, о букашках в саду, об уставе святого Бенедикта да о доброте матушки Сиркунсьон. Но ах! Стоило плутовке открыть уста, и это обманчивое впечатление вмиг рассеивалось. Она много смеялась, причем так искренне и заразительно, что в ее присутствии всем становилось весело. Белокурая, невысокого роста, она была стройна и резва, как пташка. Все в ней дышало радостью, довольством, однако природное веселье сочеталось со своенравием — подчинить ее своей воле не удавалось никому. Любая попытка такого рода прежде всего рассердила бы Лесбию, а когда она сердилась, половина ее очарования пропадала.

Среди многих привлекательных черт особенно украшали Лесбию незаурядные способности к декламации. Она была прирожденной актрисой, и, как я узнал позже, ее талант, принесший бы

ей славу на сцене, блистал не только в домашних театрах на фоне размалеванных полотен, но и на более обширном поприще. Если у кого-нибудь из высшей столичной знати давали помпезный домашний спектакль, лучшая роль предоставлялась Лесбии. В те дни Майкес готовил с ней роль Эдельмиры в трагедии «Отелло», которую собирались поставить на домашнем театре у одной маркизы. Сам Исидоро и моя хозяйка также должны были принять участие в этом спектакле, судя по приготовлениям, весьма пышном.

Лесбия была замужем. Прошло уже три года, как она, девятнадцатилетней девушкой, вступила в брак с неким герцогом, который, по примеру Немврода, проводил все время на охоте в своих огромных поместьях. Иногда он, загорелый, как мужик, наезжал в Мадрид испросить прощения у супруги и поклясться, что отныне не будет ее огорчать столь долгой разлукой. Могу поручиться, хоть никто мне об этом не докладывал, что Лесбия в таких случаях произносила своим нежным голоском немало жалостливых слов, остерегаясь, однако, слишком настаивать, — не то, упаси бог, супруг и в самом деле вздумает изменить свой образ жизни.

Амаранта составляла полную противоположность своей подруге. Лесбия нравилась, Амаранта вызывала восторг. Безмятежная, грациозная прелесть Лесбии доставляла тем, кто ее видел, мимолетное наслаждение. Строгая и величавая красота Амаранты возбуждала чувство необычное, близкое к грусти. Думая об этом, я прихожу к выводу, что сильнейшее душевное потрясение, которое испытываем мы, созерцая совершенную красоту, вызывается мыслью о собственном ничтожестве, сознанием, что для тебя-то вовсе нет надежды привлечь внимание такой красавицы, милостей которой домогается рой жадных щеголей.

За всю свою жизнь я не встречал женщины со столь пленительной, покоряющей наружностью, образ Амаранты до сих пор стоит перед моими глазами, и, размышляя о совершенных созданиях природы, я всегда для сравнения ставлю рядом с ними дивное лицо и царственную осанку Амаранты. В ту пору ей было, по-видимому лет тридцать. Да, Андалузия, ты можешь гордиться, что произвела на свет подобную женщину, а также ты, Тарифа, окраина Испании, отдаленный уголок Европы, уберегший лучшие черты испанского типа красоты от чужеземных нашествий.

Думаю, теперь вы отчасти представили себе, какова была несравненная графиня де Х., она же Амаранта. О подробностях говорить не стану, их вы без труда дополните сами: горделивый стан, белоснежный цвет лица, благородные черты, томный и страстный взгляд, черные кудри и многое, многое другое, что мне все равно не удастся описать. Понятливый читатель сумеет их вообразить, прочувствовать и отдать им дань восхищения, не требуя от нас более обстоятельных сведений, — он знает, что для волшебной силы этих неуловимых мелочей пагубно всякое прикосновение и ухищрения словесной алхимии чаще лишь разрушают то, что мы хотели бы воссоздать.

Как одевалась Амаранта, в точности не припомню. Прежде всего мне видится черная кружевная мантилья, ниспадающая из-под зубцов щегольского гребня; сквозь легкие волны ее пышных складок просвечивает алый атлас, на плечах и рукавах скрытый пеной черных кружек, оборок и рюшей. Юбка из красного же атласа, узкая и туго стянутая в талии, как требовала мода тех лет, обрисовывает изящный стан, утопая ниже колен в черном вихре кружев и заканчиваясь подолом с массивной златотканой оторочкой; из-под него выглядывают остроносые туфельки, то появляясь, то прячась, будто прелестные игривые зверюшки. И в игре этой словно заключен тайный смысл, как и в жестах Амаранты, когда она увлекается беседой, — тут вы убеждаетесь, что слушать ее не менее приятно, чем видеть, — и красноречивыми взмахами веера подкрепляет выразительность своих слов.

Это о наружности и наряде графини. Что ж до Лесбии, она вспоминается мне вся в голубом. И вам я предлагаю вообразить ее в белой мантилье и голубом платье, отороченном

черными кружевами, — не поручусь, что оно было именно таким, но это вполне вероятно.

До того вечера, о котором идет речь, я уже раза три видел этих прелестных дам у моей хозяйки. Я сразу понял, что обе они замешаны в придворных интригах, хотя на тайных вечеринках у нас в доме стараются этого не показывать. Случалось, между ними возникали ожесточенные споры, из чего я заключил, что в их отношениях нет полной гармонии. Кроме того, они порой упоминали о государственных делах или о ком-нибудь из членов королевской семьи, но тут обычно задавал тон маркиз, дядя Амаранты, — ему не терпелось при всяком удобном случае показать, какая он важная персона, и потолковать, к месту или не к месту, о дипломатических тонкостях, в которых он считал себя большим докой.

Достопочтенный дядюшка, как вы уже знаете, также посетил нас в тот памятный вечер. Самой замечательной чертой этого господина была его привязанность к племяннице, он находился при ней неотлучно, будто пришитый к юбке, исполнял роль ее провожатого в церкви, телохранителя на прогулках и кавалера на балах. Не помню, сказал ли я, что Амаранта была вдовой. Коли сказал, прошу простить за повторение.

Маркизу (его фамилию не называю по тем же причинам, по которым решил скрыть имена дам) перевалило уже за шестьдесят, в свое время он занимал различные дипломатические должности. Возвысил его Флоридабланка, поддерживал Аранда и, наконец, Годой сместил, из-за чего он возымел к этому министру жгучую ненависть, — любимой темой его бесконечных разглагольствований была возможность падения фаворита. Тщеславный, чванливый пустомеля, он принадлежал к числу тех людей, которые, возомнив о себе, полагают, что предназначены вершить судьбу государства. Над его напыщенной болтовней, сочетавшейся с самым постыдным малодушием, издевались даже друзья, во всех светских гостиных он служил посмешищем. «Что же предпримет Россия?», «Неужели Австрия поддержит столь коварный замысел?», «Нам грозит величайшее бедствие!», «О, южным державам придется туго!» — изрекал он с загадочным видом, чтобы придать себе вес: хорошо заучив свою роль, он всегда ограничивался туманными намеками, ни о чем не говорил прямо, — тогда, надеялся он, слушатели, обуреваемые догадками и сомнениями, станут упрашивать его объясниться.

Пишу обо всем этом, чтобы вы знали, какие чучела встречались тогда и над чем смеялось мое поколение. Меня самого всегда интересовали подобные образцы человеческой суетности, они, без сомнения, и забавны, и поучительны.

Как человек, отнюдь не расположенный к «опасным новшествам» и враг якобинизма, маркиз стремился сделать свой облик верным зеркалом столь возвышенного образа мыслей: решительно пренебрегал модой и любил удивлять столичных и придворных щеголей ветхозаветными костюмами, какие можно было увидеть только на приехавших из-за моря добропочтенных советниках по делам Индий. Если до 1798 года он носил камзол со сборками и жабо, то в 1807 году еще никак не решался надеть смокинг и коротким жилет — наряд, прозванный поэтами-сатириками того времени «английский шик».

Прибавлю, что, несмотря на антиякобинские взгляды и пудренный парик, достойный украшать члена совета в Кобленце, маркиз был человеком довольно легкомысленного нрава. Ко времени моего рассказа годы несколько остепенили его, проказам пришел конец, бывший повеса лишь участвовал в похождениях своей племянницы и потакал всем ее капризам. Он с готовностью сопровождал ее на гулянья и завтраки в лугах у Канала или во Флориде, не гнушаясь обществом самого невысокого пошиба. И ничего дурного не находил он в том, чтобы быть ее кавалером на развеселых пирушках у Ла Гонсалес или у Ла Прадо — и дядюшке и племяннице нравилось якшаться с актерами и другими людьми такого же рода. Разумеется, подобные вылазки совершались втайне и единственно с целью рассеяться, освободиться хоть ненадолго от оков этикета. Жалкие люди! Общаясь с простым народом, чтобы вкусить запретной

свободы нравов, эти аристократы, сами того не ведая, осуществляли идеи революции, которой так страшились, — еще до прихода французов, вольтерьянцев и конституционалистов они закладывали основы будущего равенства.

Похлопывая Исидоро веером по плечу, Лесбия говорила:

— Я очень сердита на вас, сеньор Майкес, да, да, очень сердита.

— За то, что я плохо играл? — спросил актер. — В этом виновата Пепилья.

— Вовсе не за то, — возразила дама, — и придется вам за все со мной расквитаться.

Исидоро склонил голову, Лесбия придвинулась к нему и стала что-то говорить, но очень тихо, остальным не удавалось разобрать ни слова. Лишь по улыбкам Майкеса можно было догадаться, что дама говорила вещи, весьма для него лестные. Этой беседе шепотом, казалось, не будет конца. И он и она слушали речи друг друга с таким интересом, так выразительно и страстно переглядывались, огорчение и радость, уныние и веселье сменялись на их лицах так резко и внезапно, что даже глупец понял бы: тут замешался плутишка-амур.

Между тем — уж расскажу обо всем сразу — дипломат умильно поглядывал на Ла Гонсалес. Однако ей было не до него: она не могла отвечать на его авансы, ибо все ее внимание было приковано к нежно беседующим Исидоро и Лесбии. Она краснела и бледнела, будто терзаемая страхом, лицо ее то загоралось гневом, то искажалось жестокой мукой; она пыталась вмешаться в разговор, вставляла какие то неуместные замечания и, в конце концов, уже не владея собой, с сильной досадой сказала:

— Когда же закончится эта исповедь? Еще немного, и мы все затянем «Помилуй, господи, мя, грешного».

— А тебе-то что? — сердито оборвал ее Майкес тем деспотическим тоном, каким обычно обращался к актерам своей труппы.

Моя хозяйка смутилась и замолчала надолго.

— Им есть о чем поговорить, — с коварной улыбкой заметила Амаранта. — Вот и в прошлый раз было точно так же. Но это пройдет, сеньор Майкес. Счастье недолговечно. Спешите же пользоваться радостями жизни, пока их не отравила беспощадная скука.

Тут Лесбия взглянула на подругу, вернее, обе они обменялись взглядами, которые отнюдь не свидетельствовали о дружеских чувствах.

Исидоро и его дама продолжали секретничать все более доверительно, страстно, нетерпеливо. Казалось, они боятся, что не успеют все высказать, торопятся, перебивают друг друга. Амаранта скучала, маркиз тщетно пытался пламенными взорами и нежными речами тронуть сердце моей хозяйки. Пепита ничего не замечала, ее тревога все усиливалась, глаза то загорались ревнивым огнем, то гасли в страдальческой покорности, она и не думала поддерживать разговор и как бы вовсе забыла о своих гостях. Наконец маркиз решил, что наступила благоприятная минута завести речь — пусть только перед дамами — на его любимые политические темы, и прервал тягостное молчание:

— Вот мы с вами тут развлекаемся, а в эти самые часы назревают события, узнав о которых завтра мы будем удивлены, поражены, потрясены.

В душе моей хозяйки, как я сказал, боролись гнев и смирение; первое из этих чувств взяло верх, и она, чтобы назло «тем» затеять разговор с дипломатом, быстро отозвалась:

— А что происходит?

— К чему вам знать! Даже не верится, что в такое время вы все так спокойны, — проямлил маркиз, умышленно оттягивая объяснение.

— Ах, не надо об этом говорить, здесь не место! — с досадой сказала его племянница.

— Те, те, те! — воскликнул дипломат, изображая на лице крайнее возмущение. — Почему же не место? Уверен, что Пепа очень хочет узнать о последних событиях, причем узнать из моих

уст, от человека авторитетного. Не так ли?

— О да, разумеется, я хочу, чтобы вы мне обо всем рассказали, — поспешно ответила моя хозяйка. — Я обожаю политику. И мне сейчас так... так весело. Давайте же поговорим, сеньор маркиз.

— Ах, Пепа, я вами очарован, — молвил старец, с нежностью устремив на нее свои мутные, осоловевшие глаза. — Очарован настолько, что хотя в течение всей моей дипломатической карьеры славился сдержанностью, сейчас я не могу таиться от вас и готов открыть вам самые важные тайны, от которых зависят судьбы народов.

— О, я обожаю дипломатов! — с лихорадочным возбуждением сказала моя хозяйка. Прошу вас, расскажите мне все, что знаете, хоть бы нам пришлось говорить до утра. Вы, сеньор маркиз, такой милый, приятный, такой увлекательный собеседник, в жизни не встречала никого умнее вас.

— Ничего нового он не скажет, Пепа. Лишь то, что уже всем известно, — поморщилась Амаранта. — Идет слух, будто в эти часы войска Наполеона вступают в Испанию.

— Ах, как это мило! — сказала моя хозяйка. — Говорите же, сеньор маркиз.

— Право, Амаранта, ты испытываешь мое терпение! — воскликнул маркиз с необыкновенно важной миной. — Дело не в том, вступают или не вступают войска, а в том, что они идут на Португалию — завладеть этим королевством и разделить его...

— Разделить? — все так же возбужденно подхватила Ла Гонсалес. — Отлично, я очень рада. Пусть разделят.

— Прелестная Пепа, как можно рассуждать столь легкомысленно! — строго заявил маркиз. — О, чувствую, мне придется многому учить вас.

— Совершенно верно, — подтвердила Амаранта. — Португалию решено разделить на три части: — Северную отдадут королеве Этрурской, среднюю часть возьмет Франция, а из провинций Алгарвес и Алемтежо создадут маленькое королевство, и его корону возложит на свое чело сеньор Годой.

— Чепуха, племянница, чистейшая чепуха! — сказал маркиз. — Об этом было немало толков в прошлом году, но теперь никто и не вспоминает о такой комбинации! Ты вовсе не разбираешься в политике... Кстати, надеюсь, мне не стоит повторять, что все, что я скажу, надлежит хранить в полной тайне?

— Ах, не тревожьтесь! — успокоила его Пепита. — Что до меня, я просто без ума от этой беседы.

— Так вот, в минувшем году сеньор Годой вел через Искьердо, своего тайного представителя, переговоры с Наполеоном. Насколько я знаю, все было улажено. Но император внезапно передумал, и тогда дон Мануэль, чье самолюбие было задето и надежды обмануты, решил показать Наполеону свою силу: он опубликовал знаменитый октябрьский манифест и направил в Англию человека с тайной миссией вести переговоры о присоединении к коалиции северных держав против Франции. Я это знаю совершенно точно... При моей проницательности, моем огромном опыте в таких щекотливых материях, разве возможно что-либо от меня скрыть? Так обстояли дела, когда Наполеон разбил пруссаков под Иеной, и тут наш дон Мануэль перетрусил, как нашкодивший монастырский служка, — он испугался мести императора, глубоко оскорбленного манифестом, который и у нас, и во Франции восприняли как объявление войны. Он спешно послал Искьердо в Германию просить прощенья, в конце концов его простили, но больше уже не было речи ни о разделе Португалии, ни о королевстве Алгарвском. Все это, милые дамы, святая правда, Человек с таким прошлым, с такими связями, как я, не может не быть в курсе всех этих вопросов — мало того, что я наблюдаю за нашим двором, многие иностранные дипломаты сообщают мне разные сведения, разумеется,

совершенно доверительно. Нынче, милая племянница, никто уже не заикается о разделе Португалии. Назревают события куда более серьезные и... Впрочем, некие тайны мы не имеем права разглашать. Помолчу, пока страшная катастрофа не разразится. Вы одобряете мою скрытность, дорогая Пепа? Вы согласны что скрытность — родная сестра дипломатии?

— Ах, дипломатия! — с преувеличенной живостью воскликнула моя хозяйка. — Я обожаю дипломатию. Коварный Альбион! Договоры! Бонапарт! Коалиция! Какие божественные слова! Признаюсь, раньше они нагоняли на меня скуку, но сейчас, в этот вечер, мне безумно хочется говорить только о политике. Да вы просто околдовали меня, сеньор маркиз!

— Хвалиться не стану, — сказал дипломат, облизываясь от удовольствия, — но вряд ли кто способен рассуждать об этих предметах так тонко, разумно и, скажем прямо, так остроумно, как я. Когда я был в Вене в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году, меня всегда окружала толпа придворных дам, и, смею уверить, они слушали меня с восхищением...

— О, я их понимаю, я тоже готова слушать вас без конца, — подхватила моя хозяйка. — Умоляю, расскажите мне об Австрии, о Турции, о Китае, о договорах и о войне, особенно о войне.

— Не будем портить этот вечер такими скучными разговорами, — наставительно молвила Амаранта. — Надеюсь, дорогой дядюшка, вы не собираетесь повторять нелепые толки о том, будто Годой намерен с помощью Бонапарта выслать королевскую семью в Америку и стать королем Испании.

— Племянница, ради всех святых, не затрагивай эту тему, не вынуждай меня нарушить великий принцип, гласящий, что скрытность — родная сестра дипломатии.

— Столь же нелепо думать, — продолжала племянница, — что Наполеон послал свои войска в Испанию с целью сделать королем принца Фердинанда. Наследник престола не станет прибегать к поддержке иностранного государя вопреки воле своих августейших родителей.

— Довольно, сударыня, довольно. Столь серьезные дела не могут быть предметом светской болтовни. Поверьте, если бы я решился вам кое-что открыть, вы перепугались бы насмерть и не смогли бы ужинать.

В это время принесли из трактира ужин, я накрыл стол. Исидоро и Лесбия, по приглашению хозяйки, прервали свое увлекательное объяснение и, сев за стол, приняли участие в общей беседе.

— О чем тут говорят? — любопытствовала Лесбия. — Ах, о политике! Ну, кому это интересно? Неужели мы затем пришли сюда?

— А о чем, по-вашему, мы должны говорить?

— Мало ли о чем! О балах, о бое быков, о комедиях, о стихах, о туалетах...

— Фи, какая пошлость! — поморщилась моя хозяйка. — Впрочем, вы можете шептаться, о чем хотите, а уж мы поговорим о том, что нам интересно.

— Теперь я понимаю, почему Пепа стала так рассеянна! — ехидно сказал Майкес. Она, видите ли, решила заняться политикой и дипломатией. Ну ясно, это ей больше подходит, чем театр.

Пепита хотела было ответить на насмешку, но слова замерли у нее на устах, и она густо покраснела.

— Мы пришли сюда развлекаться, — напомнила Лесбия.

— О, легкомысленная младость! — воскликнул маркиз, осушив порядочный бокал вина. У нее на уме лишь развлечения, когда вся Европа...

— Опять он со своей Европой!

— Только Пепилья понимает всю серьезность положения. Да, вы, прелестная волшебница, принадлежите, как и я, к тем немногим, кого не удивит катастрофа.

— Да объясните же наконец, что за намеки!

— Ради бога и всех святых! — воскликнул дипломат с видом мученика. — Умоляю, не просите, не заставляйте меня высказать тайну, которую я обязан хранить. Да, я человек осторожный, и все же мне становится страшно: если вы будете еще терзать меня, я могу проговориться — одна фраза, одно слово, и... Богом заклинаю, молчите! Дружеские чувства имеют надо мной неотразимую власть, и я не хочу, чтобы они вынудили меня забыть о моей чести, о славном прошлом.

— Что ж, тогда мы помолчим, сеньор маркиз, — сказал Майкес, зная, что самый верный способ уязвить старика — это ни о чем его не спрашивать.

Наступила тишина. Маркиз, которому не удалось блеснуть красноречием, с усердием принялся за ужин и вступил в дипломатические переговоры с каплуном, избрав своим посредником отличный цикорийевый салат. Одновременно он без усталости любезничал с моей хозяйкой, любовь, а может быть, вино, зажгла огонек в его тусклых глазах, они мутно поблескивали из-под морщинистых век и густых седых бровей, всегда напряженно сдвинутых, словно маркиз читал старинные рукописные документы. Ла Гонсалес теперь молчала, она была поглощена наблюдением за влюбленной парочкой, хоть и не глядела на них. Амаранта же, которую, видимо, волновали совсем иные мысли, не смотрела ни на Исидоро, ни на Лесбию, ни на мою хозяйку, ни на своего дядю. Она — решусь ли сказать! — смотрела... на меня. Но это заслуживает отдельной главы, и посему я пока ставлю точку, чтобы собраться с силами.

Да, да, — поверите ли? — она смотрела на меня, и как смотрела! Причину столь упорного любопытства я не мог понять и, сказать по чести, до сих пор пребываю в сомнении. Только представьте себе — прислуживаю я, как водится, за столом и вдруг замечаю, что эта прелестная дама, предмет самого пылкого моего восхищения, устремила на меня свои дивные очи, прекраснее всех очей, когда-либо глядевших на свет божий с тех пор, как мир стоит. Я менялся в лице, кровь то прилиwała к моим щекам, окрашивая их густым румянцем, то вся собиралась в моем трепещущем сердце, и я становился бледен, как мертвец. Уж не помню, сколько тарелок разбил я в тот вечер. Руки у меня тряслись, я прислуживал отвратительно, путал порядок блюд и подавал соль, когда у меня просили сахару.

«Что бы это означало? Может, у меня выпачкано лицо? Почему она так на меня смотрит?» — спрашивал я себя. Забегая на кухню, я бросал торопливые взгляды в осколок зеркала, висевший там, но не находил в своем лице ничего необычного. Я возвращался в гостиную, и снова Амаранта вперяла в меня пристальный взор. На минуту я даже подумал... Но нет, нет, меня самого рассмешило такое самомнение. Неужто эта прекрасная и знатная дама могла почувствовать... Я, кажется, даже произнес про себя слова, которые потом встретил в знаменитых стихах современного поэта, — правда, у него это звучало как раз наоборот. Конечно, все было лишь плодом ребяческого воображения. Возможно ли, чтобы небесная звезда глядела на земляного червя — разве что ради забавы, чтобы потешиться собственной красотой и великолепием.

Однако я заметил кое-что еще, а именно — когда моя хозяйка бранила меня за промахи, которые я совершал один за другим, на лице Амаранты появлялась ласковая улыбка, словно просившая извинить меня. Я был смущен до крайности; казалось, могучие флюиды, растекаясь по жилам, вызвали во мне прилив жизненных сил, жажду деятельности, которую, вдруг сменяло тупое оцепенение.

Беседа мало-помалу оживлялась и наконец стала общей. Маркиз, видя, что никто ни о чем его не спрашивает, ерзал на стуле и беспокойно поглядывал на окружающих, выискивая очередную жертву. Однако никто не выказывал желания слушать его, и тогда маркиз с досадой заявил, что, если его и дальше будут так настойчиво просить высказаться, он впредь поостережется и будет избегать общества людей, не питающих никакого уважения к дипломатическим тайнам.

— Но мы ведь и словечка вам не сказали! — расхохоталась Лесбия.

А Исидоро, знавший о ненависти маркиза к Годоя, лукаво заметил:

— Я уверен, что Князю Мира с его умом и проницательностью не страшны интриги врагов. Сам Наполеон поддерживает его, и он, я думаю, получит из рук его императорского величества не то что корону Алгарвеса или даже всей Португалии, а кое-что получше. Я знаю Наполеона, встречался с ним в Париже, — ему по душе смелые люди, вроде Годоя. Помяните мое слово, любезный маркиз, мы еще дождемся дня, когда вас призовут в Сонет при особе нового короля или же уполномочат представлять его при каком-нибудь из европейских дворов.

Маркиз утер рот салфеткой и, откинувшись назад, громко засопел от удовольствия. Затем вперил взор в стакан, словно надеясь там найти точку опоры для своих высоких дум, и медленно заговорил:

— Мои враги — а их немало — пустили по всей Европе ложный слух, будто я с ведома Годоя состою в тайной переписке с князем Талейраном, с князем Боргезе, с князем Пьембино, великим герцогом Аренбергом и с Люсьеном Бонапартом и обсуждаю с ними пункты договора,

по которому Испания якобы намерена уступить Франции каталонские провинции в обмен на Португалию и на Неаполитанское королевство, — тогда-де Милан достанется королеве Этрурской, а Вестфальское королевство испанскому инфанту. Я знаю, что об этом говорили. — Тут он повысил голос и с силой ударил кулаком по столу. — Да, господа, знаю, что об этом говорили, слух дошел до меня! Клеветникам удалось убедить государей Австрии и Пруссии, мне были сделаны запросы, Россия, ничтоже сумняшеся, стала повторить этот навет, и мне пришлось употребить все свое влияние, весь свой дипломатический такт, чтобы рассеять мрачные тучи, сгустившиеся на горизонте моей репутации.

Маркиз произнес это патетическим тоном, как будто выступал на конгрессе перед виднейшими политическими деятелями Европы. Шумно высморкавшись, он продолжал:

— К счастью меня хорошо знают, и, что бы там ни было, все вышеупомянутые царственные особы отзывались обо мне с величайшим уважением, чем я весьма польщен. О, теперь-то я выяснил, какую цель ставили перед собой клеветники, и где источник клеветы. Да, этот чудовищный заговор созрел в доме Годоя, они надеялись, что, подкрепленный моим именем, хитрый план будет в какой-то мере признан Европой. Но, как и следовало ожидать, затея провалилась, ибо всей Европе ясно, что Князю Мира и мне никак невозможно действовать совместно, тем паче вступать в негоциации, в которых заинтересованы все великие державы.

— Стало быть, — сказал Исидоро, — вы не являетесь тайным другом Годоя, как говорят?

Дипломат нахмурил брови, презрительно скривился и, заправив в ноздри понюшку, продолжал так:

— До чего нелепы слухи, распускаемые клеветой! До чего гнусны козни, изобретаемые коварством и лицемерием против человека разумного и честного! Сколько раз мне бросали это обвинение, и всегда я с негодованием отражал его. Но, вижу, теперь придется повторить то, что я уже говорил неоднократно. Я давно дал себе торжественную клятву забыть об этих делах, однако упорство моих друзей и настояния общества понуждают меня высказаться. Что ж, я готов. Прошу лишь об одном: если в пылу самозащиты я поведу разоблачительные речи, которые кое-кому, возможно, не понравятся, вините тех, кто заставил меня говорить, а не меня, — когда под угрозой моя незапятнанная репутация, я обязан защитить ее любой ценой.

Лесбия, Исидоро и моя хозяйка насилу сдерживали смех, с каким пылом этот старикашка защищает от воображаемых нападок свою персону, которой уже никто не интересуется, разве что он сам! Амаранта, казалось, была поглощена своими мыслями, однако время от времени устремляла на меня свои восхитительные очи.

— В тысяча семьсот девяносто втором году, — продолжал маркиз, — был низложен с поста первого министра граф де Флоридабланка, человек, задавшийся целью положить предел губительному влиянию французской революции. Простой народ не ведал, чьей тайной властью был свергнут с поста государственного секретаря сей доблестный муж, поседевший на службе у короля. Но от людей проницательных, разумеется, не удалось скрыть всю эту махинацию со сменой министров. Виновником ее, а также возвышения графа Аранды, был некий молодой человек, двадцати пяти лет от роду, пользовавшийся особой благосклонностью королевской четы, имевший свободный доступ во дворец и даже право выступать и голосовать в Советах. Участвовал ли я в этом деле? Нет, нет, тысячу раз нет. Я в ту пору был прикомандирован к испанскому посольству при дворе императора Леопольда и, право же, никак не мог содействовать тому, чтобы пост первого министра занял мой друг граф Аранда. Но, увы, власть его была кратковременна, вскоре опять начались интриги; графа свергли, и в ноябре того же года Испания и весь мир были поражены, увидев, что высшего государственного сана удостоен тот самый двадцатипятилетний юноша, которого осыпали незаслуженными милостями — герцогство Алькудиа, звание Гранда Испании первого класса, большой крест Карла Третьего,

крест Сантьяго, чин генерал-адъютанта гвардейского корпуса, дивизионного генерала королевских войск, действительного камергера его величества, начальника королевской лейб-гвардии, государственного советника, генерального суперинтенданта почт и дорог и так далее и тому подобное. Бразды правления Годой взял в чрезвычайно трудные времена: люди дальновидные, в том числе и я, понимали, что грядут великие бедствия, и делали все возможное, дабы их предотвратить. Незадачливый герцог Алькудиа объявил войну Франции вопреки мнению Аранды и всех, кто, подобно мне, имел кое-какой опыт в делах политических. Но разве нас слушали? Нет. Разве следовали нашим советам? О, нет. Посмотрим же теперь, к чему привело заключение мира с Францией.

Король продолжал осыпать своего фаворита всевозможными знаками отличия и почестями, в конце концов даже устроил его брак с принцессой из королевского дома. Такое благоволение к человеку ничтожному, способному ради корысти на гнуснейшие поступки, вызвало у всех испанцев недовольство и отвращение. Фаворит, разоривший государственную казну, развративший правосудие, торговавший должностями, неминуемо должен был пасть. И тут я обязан признаться, хоть это и противоречит моим строгим правилам в отношении государственных тайн, что я ничем не способствовал вступлению сеньоров Сааведры и Ховельяноса на посты министра финансов и министра юстиции. Умоляю вас не разглашать эту тайну, которая сегодня впервые сорвалась с моих уст.

— Мы будем немы, как каменные тумбы, сеньор маркиз, — заверил Исидоро.

— К сожалению ничего нельзя было поделать, — продолжал дипломат, обводя взором все уголки гостиной, как будто выступал перед большим собранием. — Ховельянос и Сааведра, естественно, не могли поладить в правительстве с человеком, являвшим собой воплощение бездарности и коррупции. Французская республика действовала против фаворита, Ховельянос и Сааведра старались избавиться от столь опасного компаньона; в конце концов, король, уступив их настояниям и гласу народа, в марте тысяча семьсот девяносто восьмого года принял отставку Годоя. И я здесь заявляю раз навсегда, что не принимал участия в его падении, что бы там ни говорили. Разумеется, тут можно бы рассказать кое-что, о чем я знал и всегда молчал, но... я не вполне уверен в благоразумии моих слушателей и предпочитаю не упоминать об одном щекотливом обстоятельстве, никому, кроме меня, не известном. Довольно вам и того, что я не способствовал падению Годоя в тысяча семьсот девяносто восьмом году.

— Но опала дона Мануэля была непродолжительной, — заметил Исидоро, — ибо министерство Ховельяноса и Сааведры существовало недолго, а министерство их преемников, Кабальеро и Урхико, также оказалось недолговечным.

— Да, да, все шло к тому, — подтвердил маркиз. — Королевская чета жить не могла без своего любимца. Он снова занял пост первого министра и, желая украсить себя воинскими лаврами, затеял пресловутый поход в Португалию, чтобы заставить ее порвать отношения с Англией. Уже тогда наш министр думал лишь о том, как бы содействовать замыслам Бонапарта в ущерб Испании. Он сам повел армию, вооружить которую стоило огромных жертв, а когда бедняги-португальцы оставили Оливенсу, даже не вступив в настоящий бой, фаворит устроил в честь своей мнимой победы театральное действо, почему эта кампания и была прозвана «Апельсиновым сражением». Вы, конечно, знаете, что король и королева прибыли тогда на границу. Фаворит приказал соорудить носилки и украсить их гирляндами цветов; королева взойшла на это сооружение, в таком нелепом виде ее понесли перед строем войск к генералиссимусу, которые вручил ей померанцевую ветвь, сорванную нашими солдатами в Эльвасе. Больше я не скажу ни слова, не стану повторять язвительные остроты по поводу этого события, передававшиеся из уст в уста. Пусть каждый сам отвечает перед своей совестью и найдет в себе силы защитить свое поведение с такой же энергией, с какой я сейчас отстаиваю

свою правоту. Перейдем к следующему вопросу.

И тут я опять готов хоть тысячу раз повторить, что не принимал участия ни в договоре в Сан-Ильдефонсо, ни в заключении соглашения о совместных действиях нашего и французского флотов, приведшего к Трафальгарской катастрофе. О договоре мне известны любопытнейшие вещи, благодаря генералу Дюроку, но, сколько бы вы ни настаивали, я не вправе о них говорить. Нет, нет, и не просите! Я не смею разглашать тайну, не испытывайте мою стойкость! Есть вещи, о которых не дозволено упоминать даже в кругу самых близких друзей. Я должен молчать, и я буду молчать. Но если б я заговорил... Как легко бы я посрамил Князя Мира и всех тех, кто изображает меня соучастником его подлых делишек с Бонапартом! У меня была одна цель, — противодействовать его махинациям, и могу с гордостью заявить, что это мне удавалось неоднократно. Потому-то он и тщится очернить мен и перед всей Европой, перед государственными деятелями, которые удостаивали меня доверия; потому то и пытаются связать мое имя с интригами, которые Искьердо плетет в Париже. Но нет, у меня хватит сил и ума, чтобы уничтожить клеветников и спасти мое доброе имя. О, когда б я мог вот так же спасти королевскую чету и страну нашу от гибели, к которой их слепо ведет этот ужасный человек, известно каким путем возвысившийся и ныне стоящий у государственного кормила, — этот бездарный тупица, этот наглый выскочка.



Маркиз умолк, с истинно дипломатической важностью сделал понюшку, высморкался, издав громоподобный звук, и оглядел всех поверх носового платка, бормоча невнятные фразы,

выдававшие смятение его великой души. Посмотреть на него, можно было подумать, что за этим столом, который я накрывал, решают сложнейшие вопросы европейской политики, делят государства и создают нации, как за столами в Кампоформии, в Прессбурге или в Люневиле.

— Нам уже совершенно ясно, сеньор маркиз, — сказала Лесбия, что вы нисколько не повинны в бедствиях, причиненных стране Князем Мира. Однако вы не объяснили, что за катастрофа угрожает нам теперь.

— Больше я не скажу ни слова, ни единого слова — заявил маркиз, повышая голос. — Поэтому довольно вопросов. Все ваши старания тщетны, милые дамы. Я тверд, я непоколебим, никакими хитростями, никакими уловками вам не вырвать тайну из моих уст. Я умолял ни о чем не спрашивать, теперь же я не прошу, а просто приказываю оставить меня в покое, не надейтесь изъяснениями дружеских чувств совратить и подкупить человека, известного своим умением молчать.

Слушая дипломата, я вспоминал одного вряля из Кадиса, некоего дона Хосе Марию Малестину. Как и маркиз, он был сама спесь, однако если мой знакомый из Кадиса врал бесстыдно и безудержно, то маркиз никогда не искажал действительных событий и был грешен лишь в том, что мнил себя бог весть какой персоной, у которой тьма врагов, и делал вид, будто знает важные тайны, но не смеет их разглашать. Сие свидетельствует о бесконечном разнообразии, которое творец являет вам в мире нравственном, как в мире телесном.

Исидоро и Лесбия встали из-за стола и снова пустились в бесконечные любовные объяснения. Моя хозяйка, казалось, забыла о своем намерении быть приветливой с маркизом. Напрасно он уверял, что готов ей рассказать обо всем, открыть то, что ни один смертный еще не слышал из его уст. Прелестную Ла Гонсалес, видимо, не слишком привлекали обещания посвятить ее в планы всех европейских держав, — словечки и фразы, которые она бросала своему усердному обожателю, были едки, как желчь.

Задумчивость Амаранты мало-помалу рассеивалась, ее глаза опять впились в меня, и я прочел в них явное желание заговорить со мной. В самом деле, когда я, собирая стоявшие перед ней пустые тарелки, подошел поближе, Амаранта, против всех правил приличия, улыбнулась мне своей дивной улыбкой и произнесла слова, пронзившие мое сердце:

— Ты доволен своей хозяйкой?

За точность не поручусь, но помнится, что я, не глядя на нее, ответил:

— О да, сударыня.

— И ты не хотел бы переменить место? Не пошел бы служить в другой дом?

Опять-таки в точности не уверен, но, кажется, ответил я так:

— Смотря у кого служить.

— Я вижу, ты — малый смысленый, — заметила она с улыбкой, наполнившей меня райским блаженством.

Тут уж я уверен, что ничего не ответил. После короткой паузы — сердце у меня отчаянно колотилось, вот-вот выскочит из груди — я вдруг расхрабрился, чему до сих пор не перестаю удивляться, и спросил:

— А что, ваша милость хочет взять меня на службу?

Амаранта звонко рассмеялась, и я ужасно смутился: не сболтнул ли чего лишнего. Схватив стопку тарелок, я выбежал на кухню и, немного отдышавшись, стал размышлять, какое место занимаю я в чувствах Амаранты. Что только не приходило мне в голову! Наконец я решил: «Завтра же обо всем расскажу Инес. Посмотрим, что она об этом думает».

Когда я возвратился в гостиную, картина была та же, но вскоре все изменилось — явился еще один гость. Сперва мы услышали веселые голоса в подъезде и звуки гитары, а вслед за тем на пороге показался молодой человек, которого я не раз видал в театре. С ним были друзья, однако они простились еще на улице, и в дом вошел он один, но с таким шумом, будто целый полк становился к нам на постой. Хорошо помню, что на нем был народный испанский костюм — вышитая куртка, мохнатая шляпа, похожая на треуголку, только гораздо меньше, и алый плащ, подбитый узорчатым бархатом. Но не подумайте, что это был какой-нибудь франт из Лаваньеса или гуляка из Маравильяса, нет, одежда, которую я описал, украшала особу одного из знатнейших дворян в столице. Просто он, как многие в ту эпоху, любил развлекаться в обществе людей низкого звания и был завсегдатаем салонов Полонии Кабатчицы, Хулианы Зеленщицы и других красоток, о которых говорил весь Мадрид. Для ночных своих походов он всегда надевал такой наряд и, надо признать, был в нем чудо как хорош.

Этот петиметр служил в королевской гвардии, его ученость ограничивалась познаниями в геральдике — тут он был знатоком, — в бое быков и фехтовании. Излюбленным его занятием было волочиться за женщинами, знатными или из народа; в гостиных или на танцульках. Казалось, о нем написаны знаменитые стихи:

Ариесто, видишь франта в шерстяном плаще,
широком, точно балахон?..

— А, дон Хуан! — воскликнула Амаранта.

— Добро пожаловать, сеньор де Маньяра!

Будто по волшебству, все общество оживилось, как только вошел этот юноша, воплощение веселья и молодого задора. Я заметил, что лицо Амаранты внезапно просветлело, в глазах вспыхнул лукавый огонек.

— Сеньор де Маньяра, — непринужденно сказала она, — вы пришли вовремя. Лесбия так скучала без вас!

Лесбия бросили на подругу уничтожающий взгляд, а черты лица Исидоро исказились от ярости.

— Сюда, дон Хуан, садитесь рядом со мной! — радушно позвала моя хозяйка, указывая Маньяре на стул слева от себя.

— Я не думал встретить вас здесь, обожаемая герцогиня, — сказал петиметр, обращаясь к Лесбии. — И все же, как видите, я пришел, повинуюсь зову сердца, — теперь мне ясно, что оно не всегда ошибается.

Лесбия несколько смутилась, однако она была не из тех женщин, что боятся острых положений: тут же между нею и Маньярой завязалась веселая перепалка — остроты, колкости, шутки так и сыпались с обеих сторон. Майкес становился все более мрачен.

— Этот вечер для меня счастливый, — сказал дон Хуан, доставая шелковый кошелек. — Я был у Ловкачки и выиграл там около двух тысяч реалов.

И он высыпал на стол золотые монеты.

— Много было там народу? — спросила Амаранта.

— О да, но Маркизочка не смогла прийти, у нее разболелись зубы. Ну и повеселились же мы!

— А я полагала, — с нескрываемым ехидством заметила Амаранта, что для вас нет веселья

там, где нет Лесбии.

Герцогиня снова метнула на подругу гневный взор.

— Потому я и пришел сюда.

— Не хотите ли еще раз попытать счастья? — сказала моя хозяйка. — Габриэль, карты!

Поддай нам карты!

Я повиновался. Черви, бубны, трефы, пики замелькали в руках петиметра, тасовавшего с молниеносной быстротой, которая дается лишь опытом.

— Вам и быть банкиром.

— Согласен. Приступим.

Легли первые карты, партнеры выложили деньги, глаза с тревогой устремились на роковые знаки, и игра началась.

В первые минуты слышались только отрывистые, но выразительные восклицания: «Три дура на даму!», «Ставлю снова на семерку треф...», «Король взял...». «Я выиграл...», «Опять проигрыш...», «Десятку мне...», «Проклятый валет!»

— Что-то вам нынче не везет, Майкес! — усмехнулся Маньяра, подвигая к себе деньги актера, проигрывавшего одну за другой все свои ставки.

— Зато мне удача! — сказала моя хозяйка, прибавляя еще несколько монет к порядочной кучке, лежавшей перед ней.

— О, Пепа, вам всегда во всем удача! — воскликнул банкомет. — Но вспомните поговорку: «Кому везет в игре, тому не везет в любви».

— Зато вы, Маньяра, можете сказать, что равно удачливы и в той и в другой игре, — заметила Амаранта. — Ведь так, Лесбия?

И, обращаясь к Исидоро, который проиграл уже большую сумму, прибавила:

— А к вам, бедный мой Майкес, эта поговорка никак не относится — вам во всем равно не везет. Правда, Лесбия?

Кровь прилила к лицу Лесбии. Казалось, она готова ответить резкостью коварной подруге, но нет, она овладела собой — буря не разразилась. Маркиз все проигрывал, но прекратил игру лишь тогда, когда расстался с последний песетой. Майкес же, опустошив свой кошелек, занял денег у банкомета, и игра продолжалась, пока не пробило половину второго, — тут гости начали собираться домой.

— Я вам должен тридцать семь дура, — сказал Майкес.

— Да, кстати, — вспомнил петиметр, — какую пьесу выбрали для спектакля у сеньоры маркизы?

— Остановились на «Отелло».

— О, это чудесно! — осклабился Маньяра. — Друг мой Исидоро, я мечтаю увидеть вас в роли ревнивца.

— А не хотели бы вы взять роль Лоредано? — спросил актер.

— Нет, нет, он слишком несимпатичен. К тому же я для театра не гожусь.

— Я вас подучу.

— Благодарю. А с Лесбией вы уже прошли ее роль?

— Она знает ее назубок.

— Скорей бы настал этот вечер! — сказала Амаранта. — Но ответьте мне, Исидоро: если бы вы оказались в положении Отелло, если бы вас обманула любимая женщина, вы тоже впали бы в такую необузданную ярость? И были бы способны убить свою Эдельмиру?

Эта стрела должна была уколоть Лесбию.

— Чепуха! — вскричал Маньяра. — Такое бывает только в театре.

— Я бы убил не Эдельмиру, а Лоредано, — с твердостью промолвил Майкес, устремив

огненный взор на петиметра.

Наступила минутная пауза. Наблюдая за Лесбией, я видел на ее лице явные признаки сильнейшего негодования.

— Пепа, ты меня даже ничем не угостила нынче, — сказал Маньяра. Я, правда, поужинал, но ведь уже два часа ночи, деточка.

Я подал ему вино и, выйдя из гостиной, услышал из-за двери следующий разговор.

— Дамы и господа, я пью за нашего возлюбленного принца Астурийского, — сказал Маньяра, поднося к губам наполненный бокал. — Пью за то, чтобы святое дело, которое он возглавляет, завершилось в ближайшие дни блестящим успехом, пью за падение фаворита и свержение королевской четы.

— Великолепно! — захлопала в ладоши Лесбия.

— Полагаю, я здесь среди друзей, — продолжал юноша. — Полагаю, что искренний приверженец нового короля может здесь без боязни выразить свою радость и свои надежды.

— Какой ужас! Вы с ума сошли! Замолчите, молодой человек! — возмутился дипломат. Как вы смеете разглашать...

— Осторожней, — с живостью подхватила Лесбия, — осторожней, сеньор Маньяра, тут находится наперсница ее величества королевы.

— Кто?

— Амаранта.

— Ты тоже ее наперсница, и, говорят, тебе известны самые важные тайны.

— Но не такие, как тебе, милочка, — сказала Лесбия, дерзко глядя на подругу. — Все знают, что теперь ты — хранительница всех заветных тайн нашей дорогой государыни. Для тебя это большая честь.

— Разумеется, — возразила Амаранта, едва сдерживая гнев. И я верна своей благодетельнице. Неблагодарность — худший из пороков; я не собираюсь следовать примеру тех, кто за милости платит оскорблениями. О, говорить о чужих недостатках очень выгодно — тогда собственные не так бросаются в глаза.

Лесбия не сразу нашлась, что ответить. Ссора принимала серьезный оборот, и мы, без сомнения, слышали бы немало колкостей, если бы не вмешался маркиз.

— Ради бога, сударыни! — сказал он с истинно дипломатическим тактом. Что это значит? Ведь вы — близкие подруги. Неужели такой пустяк может омрачить лазурное небо вашей дружбы? Подайте друг другу руки, и выпьем последний бокал за здоровье Лесбии и Амаранты, соединенных узами нежной и нерушимой любви.

— Я согласна. Вот моя рука, — молвила Амаранта, спокойно протягивая руку.

— Мы еще поговорим, — пробормотала Лесбия, с досадой пожимая руку подруги. — А пока — не будем ссориться.

— Да, да, мы еще поговорим.

Тут я вошел в гостиную и, взглянув на обеих дам, понял по их лицам, что они вовсе не расположены к искреннему примирению. Этой неприятной стычкой, которая, к счастью, была вовремя прекращена, закончился вечер. Все поднялись. Пока дипломат и Маньяра прощались с моей хозяйкой, Амаранта приблизилась ко мне и украдкой шепнула мне на ухо слова, которые громом отдались в моем мозгу.

— Мне надо с тобой потолковать.

Я обомлел. Но чудеса на этом не кончились. Я пошел проводить гостей, неся впереди фонарь, как было принято в то время, ибо даже там, где было ночное освещение, оно не могло рассеять царившую в городе крошечную тьму. На улице Каньясареса мы подошли к роскошному зданию — там, на антресолях, жила Инес, но к ней надо было подниматься по черной лестнице.

В патио этого здания, принадлежавшего маркизу, или, вернее, его сестре, стояли портшезы, в которых должны были доставить домой обеих дам. Прежде чем сесть в свой портшез, Амаранта отозвала меня и велела прийти завтра в этот самый дом и спросить Долорес, — я сразу догадался, что это ее служанка или доверенная. Такое приказание наполнило меня радостью, я увидел в нем залог будущих своих успехов.

Чуть не бегом я вернулся домой и застал свою хозяйку в большом волнении — она быстро ходила по нашей маленьком гостиной и разговаривала сама с собой, точно безумная.

— Ты не видел, — спросила она, Исидоро и Маньяра не поссорились на улице?

— Кажется, нет сударыня, — ответил я. — Да и с чего бы этим двум кабальеро ссориться?!

— Ах, Габриэль, если б ты знал, как я рада, как я счастлива! — воскликнула Ла Гонсалес.

Взор ее блуждал, в голосе слышалась лихорадочная дрожь, мне даже стало страшно.

— Отчего, сударыня? — спросил я. — Но уже время ложиться, вам, по-моему, нужно отдохнуть.

— Ах, дурачок, я в эту ночь не усну. Пойми, я не смогу уснуть! О, как мне было приятно его отчаяние!

— Я вас не понимаю.

— Куда тебе это понять, малыш, ступай спать. Нет, нет, погоди. Скажи мне, ведь правда можно подумать, что сам бог его карает? Этот простофиля не видит, что держит в своих объятиях змею.

— Вы о ком? Об Исидоро?

— О нем, конечно. Ты же знаешь, он влюблен в Лесбию. Просто помешался, никогда с ним ничего подобного не бывало. Он, такой гордый, унижается, ползает в ногах у этой женщины! Он привык повелевать, а теперь им повелевают, — вот уж будут потешаться и сплетничать о его безумной страсти и в театре, и в городе!

— Но, кажется, сеньор Майкес пользуется взаимностью?

— Так было. Благосклонность Лесбии недолговечна. И поделом ему. Ведь Лесбия — само непостоянство.

— Никогда бы не поверил. Она так приветлива, так хороша собой.

— Да, да, ангельское личико, небесная улыбка, невинный вид, а на самом деле она коварная, опасная кокетка.

— Возможно, сеньор Маньяра?..

— Это совершенно ясно. Теперь у нее в милости Маньяра, а с Исидоро она любезничает, только чтобы позабавиться, поиграть его сердцем. Увы, сердце Исидоро теперь — что клубок, ниток в лапах шалуньи-кошки. Но разве он этого не заслужил? О, я вне себя от радости.

— Потому, видно, сеньора Амаранта все время подпускала ей шпильки... — подхватил я, надеясь, что хозяйка поможет мне разобраться в событиях и разговорах этого вечера.

— Ну да, Лесбия и Амаранта, хоть и приходят сюда вместе, друг друга терпеть не могут, прямо-таки ненавидят лютой ненавистью. Прежде они очень дружили, но с, некоторых пор... Должно быть, что-то случилось во дворце, и в этом причина их вражды, началась она не так давно, но, кажется, будет войной не на жизнь, а на смерть.

— По всему видно, что они не ладят.

— Как мне говорили, во дворце бушуют страсти идет ожесточенная борьба. Амаранта предана королевской чете, а Лесбия, насколько я знаю, одна из самых деятельных интриганок в партии принца Астурийского. Их взаимная неприязнь так сильна, что они уже не в силах ее скрыть.

— А что, у Амаранты такой же скверный характер, как у ее подруги? — спросил я, желая побольше разузнать о той, в которой видел свою покровительницу.

— Напротив, — возразила Пепита. — Амаранта — настоящая знатная дама, ее ум не уступает красоте, и поведение безупречно. Она щедро помогает беднякам, сердце у нее нежное, к чужому горю чувствительное, если кто просит поддержки, она не способна отказать. Влияние при дворе у нее огромное, чуть ли не больше, чем у самих короля и королевы; кто попадет к ней в милость, тот проси хоть луну с неба.

— Так я и думал, — сказал я, очень обрадованный столь лестным отзывом.

— Я надеюсь, что Амаранта, — сказала моя хозяйка все с той же болезненной горячностью, — поможет мне отомстить.

— Кому отомстить? — с испугом спросил я.

— Кажется, спектакль у маркизы будет отложен, — продолжала она, не обращая внимания на мой вопрос. — Такая досада, никто не хочет играть негодяя Песаро, из-за этого нельзя будет поставить пьесу в назначенный день. Может, ты сыграл бы эту роль? А, Габриель?

— Я, сударыня? Нет, я не справлюсь.

Она глубоко задумалась, нахмутив брови и опустив взор, потом снова заговорила все о том же.

— Да, я удовлетворена, — молвила она, и скорбное веселье прозвучало в ее голосе, выдавая глубокую душевную муку. — Лесбия ему неверна, Лесбия его обманывает, Лесбия его дурачит, Лесбия его терзает... О, боже всемогущий! Теперь я вижу, что есть справедливость на земле.

Немного успокоившись, она отослала меня. Только я вышел, как услышал, что она, оставшись наедине со служанкой, разрыдалась громко и безудержно. «Вот и хорошо, — подумал я, — выплачется, на душе станет легче, и мысли придут в порядок». На просьбу служанки, убеждавшей ее прилечь, она отвечала одно:

— Зачем мне ложиться, если я знаю, что в эту ночь не усну?

Я удалился в свою тесную и темную каморку, куда даже днем не проникали лучи света. С тяжелым сердцем лег я в постель, мне было жаль Пепиту, страдавшую от несчастной любви. Но к этим мыслям стали примешиваться мечты об ожидавшем меня блестящем будущем, думать о нем было приятно, и я вскоре заснул, видя перед собой образ Амаранты, который, как луч луны, озарял мою клетушку и, припоминая легенду о Диане и Эндимионе — они были изображены на одной из гравюр, висевших у нас в гостиной.

Едва я открыл глаза, рой мыслей и образов, волновавших меня на накануне, снова нахлынул на меня. Я был уверен, что Амаранта мною увлечена, это предположение сводило меня с ума, в чем читатель легко убедится, когда я ознакомлю его с нелепыми, фантастическими мечтами, которым я предавался в то утро.

«Не дождусь часа, — говорил я себе, — когда смогу явиться к этой даме. Не сомневаюсь, я ей понравился. Чему тут удивляться? Мне не раз говорили, что я недурен собой. Как сказала донья Хуана, «и епископы из людей делаются». Кто знает, может, не пройдет и пяти-шести лет, как я, чего доброго, стану герцогом, графом или адмиралом, — повезло же другим, которые забрались высоко лишь потому, что попали в милость к важным особам. Будем откровенны, Габриэль. Разве тебе не приходится каждый божий день слышать о некоем господине, который прежде был бедняком, голодранцем, а теперь достиг вершин славы и богатства. И все почему? Потому что полюбился сиятельной даме. Но если это случилось с одним человеком, почему и с другим не может случиться то же самое? Правда, этот господин, как я слышал, красавчик, но и я как будто не урод, — многие мне говорили, что я им нравлюсь и что у меня взгляд какой-то особенный, любой женщине вскружит голову... Смелей, сеньор Габриэлито! Хозяйка сказала, что Амаранта — самая влиятельная дама при дворе, возможно, она даже королевской крови. О, божественная Амаранта! Как мне стать достойным тебя? Но если я и впрямь достигну высоких постов, клянусь господом и спасением своей души, — я буду самым добросовестным правителем в мире. И никто не обвинит меня, как того, другого, во всяких плутнях. Уж за это я ручалась... Дела у меня будут всегда в ажуре, а на себя я буду тратить только самое необходимое. Прежде всего я устрою так, чтобы не было бедняков, чтобы Испания не вступала снова в союз с Францией и чтобы на всех рынках нашего королевства были вывешены цены на съестное — тогда подданные смогут покупать все по дешевке. Сумею и мы приказывать не хуже других. Со мной шутки плохи! Если мои приказы не будут исполнять, тогда, тогда... Да чего тут церемониться! Кто ослушается, тому голову долой, вот и вся недолга... Все будут по струнке ходить, узнают, что мое слово свято. С французами путаться не станем. Пусть Наполеон сам управляет со своими врагами, а мы будем делать то, что нам выгодно. И пусть он поостережется сердить меня, я человек вспыльчивый... О, если бы все так было, то-то обрадовалась бы моя бедняжка Инес, небось перестала бы мне твердить про черепаху и орла. Что говорить, Инес немного ограничена, а все же она очень хорошая, я всегда буду ее любить... Но ведь я должен любить Амаранту... А как я могу разлюбить Инес?... Но я обязан больше всех на свете любить Амаранту... А Инес такая милая, такая добрая, такая... Но Амаранта меня пленила, околдовала, свела с ума... Но Инес... Но Амаранта...»

Так я рассуждал, паря в заоблачных высях на крыльях фантазии. Читатель, верно, уже заметил, что, вообразив себя предметом любви знатной женщины, я прежде всего размышлял о своем собственном возвышении и загорелся жаждой почестей и славы. Впоследствии я понял — в этом суть нашего испанского характера. Всегда мы были такими и пребудем вовеки.

Я поднялся, взял кошелку и отправился за покупками. Обходя рыночные лотки, покупая картошку и капусту, я думал о том, сколь неприлично и унижительно заниматься этими пошлыми делами юноше, которому суждено вскоре стать генералиссимусом морских и сухопутных войск, верховным адмиралом, министром, а может — чем черт не шутит — даже королем какого-нибудь крошечного королевства, которое перепадет ему при разделах Европы.

Но оставим на время мою персону и все ее тревожения. Сейчас я вам расскажу, что тогда говорил народ по поводу политических событий. Немало толков я слышал на рынке, да и на

улицах прохожие, встречаясь, осведомлялись о новостях и выкладывали друг другу слухи, либо тут же сочиненные, либо в простоте души добросовестно повторенные. Я сам перекинулся словом-другим с несколькими знакомыми; попытаюсь изложить беспристрастно их взгляды — люди это были очень разные и по положению и по образованности, а потому их замечания могут послужить верным зеркалом общественного мнения в те дни.

Бакалейщик — наш постоянный поставщик и большой любитель посплетничать — был чрезвычайно весел и встречал всех своих клиентов шуточками.

— Какие новости в городе? — спросил я.

— О, большие новости! Французы вступили в Испанию. Как я рад! — Понизив голос, он с сияющим лицом прибавил. — Они возьмут Португалию! Я, как узнал, чуть не спятил от радости.

— Я, сударь, что-то не понимаю...

— Ах, Габриэлильо, ну откуда тебе понимать такие дела! Подойди поближе, глупыш; как ты думаешь, на что им сдалась Португалия? Ну, ясно — чтобы подарить ее Испании.

— Вот уж не думал сеньор Куакос, что королевства можно брать и дарить, как кулек мушмулы.

— Очень даже просто. Наполеон — превосходный человек. Он Испанию любит, он на все готов, чтобы нам лучше было.

— Дался вам этот Наполеон! Разве он нас любит ради наших прекрасных глаз? Просто ему это выгодно, мы даем деньги, корабли, солдат, все, что он ни пожелает, — возразил я, укрепляясь в своем решении порвать с Францией, как только стану министром.

— За что любит — это неважно. Главное, он скоро избавит нас от сеньора Годоя, который всем осточертел.

— Объясните мне, пожалуйста, что такого сделал этот господин? Почему его так ненавидят?

— И ты еще спрашиваешь?! Разве ты не слышал, что он обманщик, наглец, развратник, мошенник, интриган? Все знают, какими путями он пришел к власти, — конечно, винить следует не его, а тех, кто ему потакает. Точно известно, что он торгует должностями, да еще с каким бесстыдством! У кого жена хорошенькая или дочь девица, тому его высочество ни в чем не откажет. Но теперь он совсем обнаглел — задумал выслать королевскую семью в Америку, чтобы самому стать королем Испании... Только плохо рассчитал, голубчик! Вот уже идет к нам Наполеон, и все твои планы полетят к черту... Да, в ближайшие дни произойдут большие события! Я думаю так: Наполеон всегда был другом и почитателем нашего славного принца Астурийского, вот он и посадит его на трон. Это как пить дать. А короля Карла и его распрекрасную супругу отправят куда подальше.

На этом наша беседа закончилась. Я пошел в лавку доньи Амбросии купить по поручению хозяйки кусок шелка. Почтенная лавочница стояла за прилавком, глядя кошку и прислушиваясь к разговору двух своих покупателей — дона Анатолио, владельца писчебумажной лавки по другую сторону улицы, и аббата дона Лино Крохобора, выбиравшего себе зеленые и голубые подвязки.

— Можете не сомневаться, донья Амбросия, — говорил лавочник, — уж на этот раз мы избавимся от Колбасника.

— Видно, нашелся-таки добрый человек, — ответила донья Амбросия, — отправился во Францию да рассказал славному императору, какие мерзости творит здесь Годой. Вот он и послал сюда тьму своих солдат, чтобы прогнать мошенника.

— С вашего позволения замечу, — вмешался аббат Крохобор, отрываясь от своих подвязок, — что в высшем обществе, где мне случается бывать, совсем по-иному судят о намерениях Наполеона, нежели в народе. Наполеон послал армию не против Годоя, а в его защиту; надобно вам знать, что заключен тайный договор, — это, конечно, между нами, —

решено выдворить из Португалии семейство Браганца и разделить это королевство между тремя правителями, одним из коих будет Князь Мира.

— Да, такие слухи ходили прежде, — пренебрежительно заметил дон Анатолио, — но сейчас о разделе никто не думает. Я знаю из самых достоверных источников, что Наполеон собирается отнять Португалию у англичан, и — слово чести — это отлично придумано.

— А мне говорили, — вставила донья Амбросия, — будто Годой хочет выслать в Америку принца и его братьев, чтобы самому сесть на трон. Но мы не должны этого допустить. Правда ведь, дон Анатолио? Ишь, что задумал наглец! Да можно ли ждать чего-либо путного от человека, у которого две жены!

— И, наверное, обе сядут с ним за стол — одна справа, другая слева, — усмехнулся дон Анатолио.

— Ради бога, потише! — боязливо прошептал дон Лино Крохобор. — Об этих делах не следует говорить громко.

— Никто нас не слышит, да, кроме того, если бы хватали всех, кто об этом толкует, в Мадриде скоро не осталось бы ни души.

— Правда ваша, — кивнула донья Амбросия, понижая голос. Покойный мой муженек, царство ему небесное, зря болтать не любил, таких людей теперь поискать, так он рассказывал, — а ему-то уж говорили верные люди, — дескать, когда Колбасник потребовал, чтобы государственный совет назначил королеву регентшей, на уме у них было... как бы это сказать... словом, хотели они отправить голубчика нашего короля на тот свет, а потом...

— Какие чудовищные слухи! — воскликнул аббат.

— И все — чистая правда, — подтвердил дон Анатолио. — Я тоже это слышал от человека осведомленного.

— Но об этом нельзя говорить, господа, об этом надо молчать, — возразил Крохобор. — Мне, признаюсь, вовсе не интересно слушать подобные речи. Дело опасное — а вдруг дойдет до Князя Мира, подумайте, какие могут быть неприятности!

— А мы у него пребенд не получали и содержания не просим...

— В общем, отпустите меня, сеньора Амбросия, я тороплюсь. Эти зеленые подвязки вполне приличны, а вот насчет голубых, не знаю, вряд ли я отважусь явиться в них к сеньоре графине де Кастро Лимон.

Покупку аббата, а потом и мою, завернули с поспешностью, которая меня раздосадовала, — я охотно побыл бы к лавке еще и послушал разговоры о политике. Оттуда я пошел прямо домой. По пути мне повстречался брат Хосе Салмон из Ордена милосердия, прекраснейший человек, навещавший донью Домингиту, бабушку моей хозяйки, всякий раз, когда плоть ее нуждалась в поддержке знатока Гиппократова искусства или же когда ее душою овладевало желание подготовиться к благолепной кончине. И в том, и в другом брат Салмон был великий искусник, лишь еще одного «о» не хватало в его фамилии, чтобы сравняться с библейским мудрецом. Он остановил меня посреди улицы и с неизменной своей учливой улыбочкой спросил:

— Как поживает наша бесценная донья Доминга? Помог ли ей изготовленный мною декокт из коры малины, сиречь *tetragonia ficoide*, о коей упоминает Диоскорид?

— Замечательно помог! — ответил я, хотя слышал об этом декокте впервые.

— Вечерком я занесу ей чудеснейшие пилюли... — продолжал он. — Не будь я отец Салмон из Ордена милосердия, если наша старушка, отведавши их, не начнет бегать, как молодая... Однако, малыш, отличные груши ты купил! — прибавил он, засовывая руку в мою кошелку и вытаскивая грушу покрупней. — Ты, я погляжу, мастер выбирать фрукты.

Не спрашивая разрешения, он понюхал грушу и преспокойно упрятал ее в длиннющий рукав своей рясы.

— Передай донье Доминге, — сказал он с самым невинным видом, — что нынче вечером я непременно приду рассказать, какие удивительные новости я слышал.

— Святой отец, — сгорая от любопытства, взмолился я, — ведь вы все знаете. Так не объясните ли мне, зачем идут к нам французские солдаты?

— Эх, малый, знал бы ты хоть половину того, что знаю я, — отвечал он, — тогда я попытался бы тебе растолковать, как много у меня причин радоваться прохождению этих молодцов. Но, может быть, тебе известно, что именно Наполеон после всех ужасов и ересей революции восстановил во Франции истинную религию? Может, ты слышал, что и здесь, у нас, есть нечестивцы, которые замышляют дерзостные козни противу святой церкви? А кто все это знает, тому совершенно ясно, что французские войска вступили в нашу страну не для чего иного, как для того, чтобы покарать по заслугам этого закоснелого грешника, этого бесстыжего двоеженца и заклятого противника прав духовенства.

— Выходит, сеньор Годой не просто мошенник и проходимец, но еще враг церкви и священнослужителей? — удивился я, видя, что с каждым часом список прегрешений фаворита все растет.

— Несомненно, — ответил монах. — Иначе как понимать проект реформы нищенствующих орденов, по которому собираются лишить добрых наших братьев права жить в монастырях и хотят заставить их служить в обычных лазаретах? А еще в его сатанинском мозгу созрел проект забрать из наших житниц излишки, чтобы, как он выражается, основать школы сельского хозяйства, но мы-то знаем, какие это будут школы! Да, будь правдой то, что говорят, — прибавил он, протягивая руку к моей кошелке, чтобы вторично исследовать ее содержимое, — будь правдой то, что говорят об отчуждении части наших владений, принадлежащих нам, как они это называют, по «праву мертвой руки»... Но не стоит говорить об этом, они достойны скорее смеха, чем ненависти. Лучше обратим взоры свои на восходящее светило Галлии, на сего божественного воителя, который грядет, дабы избавить нас от тирании всевластного невежды и возвести на трон августейшего принца, на чью мудрость и благоразумие мы уповаем.

Сказав это, он переместил из моей корзинки в рукав своей рясы еще одну грушу и с полдюжину слив и начал рассыпаться в похвалах моему умению покупать фрукты.

Я поспешил распрощаться с таким опасным собеседником, — слишком уж накладны были его уроки политической мудрости.

В конце-то концов я мало что узнал, и мои сомнения насчет того, что мы теперь называли бы политическим положением, отнюдь не рассеялись. Одно стало более или менее ясно — всеобщая ненависть к Князю Мира, которого называли развратником, расточителем, беспутником, взяточником, многоженцем, врагом церкви и вдобавок обвиняли в намерении усеститься на трон вместо нашего короля, что мне казалось верхом наглости. Также было очевидно, что люди всех сословий любят принца Астурийского, причем те, кто жаждал его скорейшего восшествия на престол, возлагали особые надежды на дружеские чувства к нему Бонапарта, чьи войска, направляясь в Португалию, уже входили в Испанию.

Я вернулся на рынок, чтобы восполнить урон, нанесенный моей корзинке его преподобием, и вдруг повстречал там... Кого бы вы думали? Горемычный пиит в сопровождении своей дочери Хоакины, которую судьба сделала «поэтессой меж двух кастрюль», брал на лотках в долг мясные обрезки и требуху — обычную свою снесь. Он выбирал куски, горбунья торговалась, и они вместе тащили свою корзинку, которая не была бы тяжела и для пятилетнего ребенка. Нужда запечатлела уродливые следы своих когтей на лицах дочери и отца, до крайности тощего и бледного, — казалось чудом, что этот скелет может жить и двигаться, разве что его гальванизировали таинственные флюиды поэтического вдохновения. Надо ли мне называть имя? То был Комелья.

— Сеньор дон Лусиано, рад вас видеть! — сказал я с почтительным поклоном; бедняк вызывал во мне горячее участие.

— А, Габриэль! — отвечал он. — Как там поживает Пепита? Как донья Доминга? Давно я их не видал. Но они знают — хоть я и не навещаю их, потому что работы много, — я бесконечно им благодарен.

— Сегодня я как раз собираюсь зайти к вам, занести маленький гостинец, — сказал я, давая словесный ответ на немую мольбу, которую прочел в глазах дочери поэта, изъяснявшихся со мной на языке голода.

— Да, да, обязательно приходи — продолжал поэт, кладя руку мне на плечо и всем своим видом показывая, что намерен сообщить нечто чрезвычайно важное. — Мне сказали, что ты присутствовал при трафальгарском деле; хотелось бы посоветоваться с тобой кое о чем. Я, видишь ли...

— Понимаю. Вы пишете историю этого сражения.

— Нет, не историю, а так, небольшую драму, от которой у всех этих господ глаза на лоб полезут. Сам увидишь — чудо! Называется «Третий Фридрих Великий и битва двадцать первого числа».

— Название отличное, — согласился я. — Только не понимаю, что это за «Третий Фридрих».

— Ну и глуп же ты! «Третий Фридрих Великий» — это Гравина. Был ведь в Пруссии Фридрих Великий, он же Второй. Теперь ты понял, как это остроумно и много значительно — поставить нашего адмирала в один ряд со всеми прочими Фридрихами Великими, какие были в истории.

— О да! Такая мысль могла появиться только у вас.

— Хоакина уже записала первые сцены, превосходнейшие. Там изображена палуба «Святейшей Троицы», справа корабль Нельсона, вдали замки и башни Кадиса. Я, знаешь ли, показал Нельсона влюбленным в дочь Гравины, который отказывается отдать ее в жены англичанину. Действие начинается бунтом исламских матросов; они требуют хлеба, на всем корабле не осталось ни крошки. Адмирал приходит в ярость, кричит, что они трусы, что у них не хватает духу выдержать без еды каких-нибудь три дня, и дабы подать пример похвальной воздержанности, приказывает поджарить себе кусок каната. Появляется Нельсон, он говорит, что все их беды кончатся, если ему отдадут девушку, — а он намерен увезти ее в Англию. Тут из каюты выходит она сама, вышивая платочек, и...

Продолжить ему не удалось — я прыснул, не в силах больше сдерживать смех. Комелья слегка смутился, но я, чтобы не рассердить его, стал уверять, будто рассмеялся, вспомнив один забавный эпизод тех дней.

— Сцена голодного бунта уже написана. Можешь мне поверить, она безупречна.

— Не сомневаюсь, что в ней бездна совершенств, — не без лукавства заметил я. — Особенно, если к ней приложила руку сеньорита Хоакина.

— Мы уже написали во все театры Италии — они ведь, как обычно, затеют спор о праве перевести нашу пьесу, — сказала горбунья.

— О, здесь не умеют ценить истинный талант. Верно сказано: нет пророка в своем отечестве. Разумеется, потомство восстановит справедливость, но пока эта справедливость придет, мы, люди с талантом, влачим жалкое существование, умираем с голоду, точно какие-то бродяги, и ни одна живая душа о нас не вспомнит. Сам посуди: ну какой мне сейчас прок от мавзолеев, надписей, статуй, которые мне воздвигнут в грядущем, когда умолкнет зависть и всем станут ясны немеркнущие достоинства моих творений? Не веришь? Вспомни Сервантеса, его судьбу, столь сходную с моей. Разве не жил он в нищете? Разве не умер, всеми забытый? Разве

доставила ему хоть толику житейских благ слава первого писателя своего времени? Вот и со мной то же самое, и лишь одно меня утешает — мысль о том, как устыдится будущая Испания, узнав, что автор таких пьес, как «Екатерина в Кронштадте», «Фридрих Второй в Глатце», «Чувствительный негр», «Мнимая больная, притворившаяся из-за любви», «Кадма и Синорис», «Шотландка из Ламбрума», и многих других долгое время обедал кровяной колбасой на два куарто и прочей дрянью, которую и называть не хочу из уважения к искусству поэзии, ибо, унижая себя, я унижаю и самое поэзию... Но довольно, говорить об этом — только тоску нагонять, начинаешь ненавидеть свое отечество, не умеющее награждать достойных, и свой век, в котором вельможи оказывают покровительство завистникам, а талант терпит гонения.

— Успокойтесь, сеньор дон Лусиано, — с чувством сказал я ему в тон, как будто и меня волновало скорейшее торжество таланта над завистниками. — Вслед за нашими временами придут другие. Быть может, уже завтра все переменится!

— Да, да, мне тоже говорили, — молвил Комелья, понизив голос и радостно улыбаясь, — Неужели правда, что Наполеон поддерживает принца Астурийского и что Годой будет свергнут?

— Не сомневайтесь. Ведь для Наполеона важнее всего благо испанцев.

— Верно. Хоть и были они с Годоем друзья-приятели, но кажется, француз уже раскусил этого мерзавца, понял, что все мы любим наследника, а раз так, он, бесспорно, постарается сделать нам приятное. Что до Годоя, я вполне согласен: худшего негодяя нет на всем земном шаре. Можно простить ему способ, каким он возвысился, можно простить и то, что он двоеженец, атеист, палач, корыстолюбец и прочие его грехи; но ничем нельзя оправдать — и это вернейший признак страшного упадка нравов — то, что он покровительствует всякой бездарии, а поэтов талантливых и вдобавок народных, истинных испанцев, вроде меня, делает посмешищем. Мы, видите ли, не желаем перенимать всю эту чужеземную дребедень — правила, единства и тому подобное, — которой Моратин и другие пачкуны морочат дураков. Ты со мной согласен?

— Совершенно согласен! — отвечал я. — Вот увидите, сеньор дон Лусиано, как только французы наведут порядок в Португалии, они займутся Испанией, и тогда уже никто не станет покровительствовать бездарным поэтам.

— Дай-то бог! Но уже поздно, нам пора домой. До завтрака мы еще должны закончить сцену объяснения Нельсона с дочерью Гравины.

— Это так срочно?

— К концу месяца пьесу надо отдать в театр «Де ла Крус» У нее будет бешеный успех. Вот посмотришь, Габриэлильо. Тебе непременно надо будет пойти, поддержать нас. Я сильно опасаюсь, что клака Эсталы, Мелона и Моратина ополчится против меня. Надо и нам не плошать. Но пусть власти на их стороне, нас этим не запугают: потомство рассудит, кто прав. Итак, прощай.

Они поспешно удалились, а я задумался над тем, сколько же злодейств совершил Князь Мира, если против него настроены даже плохие поэты. Лишь годы спустя я узнал, что наряду со множеством поступков, достойных порицания, этот баловень фортуны совершил немало таких, которые заслуживают благодарной памяти потомства.

По дороге домой мне предстояло выслушать еще одно мнение, сильно отличавшееся от предыдущих, — а именно, авторитетнейшее, на мой взгляд, мнение Пакорро Чинитаса, точильщика, стоявшего со своим нехитрым станком на углу нашей улицы. Как сейчас его вижу: вот он начинает быстро вращать точильный камень, прижимает к нему стальное лезвие, и от камня отлетает по касательной веер искр, похожий на хвост маленькой кометы. Беседуя с сим Юпитером-огнеметателем, я обычно смотрел как зачарованный на его станок, и картина эта врезалась мне в память.

Пакорро Чинитас выглядел старше своих лет — состарили же его домашние невзгоды, в которых была повинна его благоверная, знаменитая пирожница с Растро, по прозвищу «Милашка». Придется сказать несколько слов об этом, увы, не образцовом супружестве, ибо Пакорро и его жена играют кое-какую роль в последующих событиях, о которых, надеюсь, мне удастся поведать, ежели господь продлит мои дни и терпение читателей.

Итак, Пакорро Чинитас, человек кроткий и благоразумный, не смог ужиться с Милашкой, чья слава гремела от одного полюса до другого, то есть от улицы Страстей господних до портика Святого Бернардино. То была отчаянная спорщица и драчунья, способная одной затрециной свернуть скулу противнику, однако, несмотря на свои подвиги, она ни разу еще не попадалась в руки полиции. В конце концов, Чинитас решил расстаться с женой; отныне его одиночество скрашивал лишь точильный камень, сыпавший искрами. В эту пору я и познакомился с ним. Мы подружились, он много рассказывал мне о выходках своей бывшей половины, и хотя, в общем, был человеком сдержанным, на эту тему мог говорить без конца — при каждой встрече он потчевал меня очередной главой из долгой истории своих супружеских мытарств. Меня привлекали в этом человеке зрелость суждений и природный здравый смысл; он казался мне умнее всех, кого я знал, а его речи — верхом мудрости, хотя я бы не мог объяснить, почему беседы с простым, необразованным точильщиком доставляют мне такое удовольствие. Но теперь, после многих размышлений о прошлом, я могу смело заявить, что в те дни мнение приходилось беседовать с более проницательным человеком, чем точильщик с улицы Бани.

Для примера приведу мой разговор с ним.

— Эй, Чинитас, как дела? Что слышно новенького? Стало быть, французы-то уже в Испании?

— Так говорят, — отвечал он. — Народ радуется.

— Они, слышно, хотят завоевать Португалию?

— Вроде бы так.

— По-моему, здорово. На кой она нужна, эта Португалия?

— Видишь ли, Габриэлильо, — сказал он, распрямляясь и отводя ножницы от камня, отчего на миг перестали сыпаться искры, — мы с тобой люди темные, в господских делах ни черта не смыслим. И все же — а ну-ка, подойди поближе! — и все же, сдается мне, эти господа, что так рады французам, сами не знают, какого кота им продали в мешке, — не пришлось бы потом горько каяться. Что ты об этом думаешь?

— А что мне думать! Годой — это всем ясно — последний мерзавец. Что ж плохого, если Наполеон скинет его и посадит на трон принца Астурийского? Уж этот — все говорят — в делах государственных орел.

Чинитас снова приложил лезвие к камню, нажал ногой на педаль, и камень завертелся. Мои слова вызвали на его лице пренебрежительную гримасу.

— А я говорю и повторяю, — сказал он, — что все эти господа не иначе как сдурели. Иной

раз мы, люди простые, неграмотные, разбираемся куда лучше. Они, видишь ли, слишком высоко сидят, власть слепит им глаза, как солнце, а мы глядим на это солнце снизу. Ну, подумай сам — ведь только слепец может вообразить, будто Наполеон так прямо и выложит, что у него на уме. Позабыли они, что ли, что этот молодчик перевернул весь мир вверх тормашками? Что он отобрал троны у королей и посадил на престол своих братцев и сестриц? Говорят, нам дадут в короли принца Астурийского, а Колбасника, мол, прогонят. Слушать смешно. Да ведь Наполеон и Годой — одна шайка, от них всего можно ждать. Уж это-то я понимаю. Наполеону плевать, кто у нас будет королем — Фернандито или же дон Мануэль. Ему что нужно? Ему нужно отхватить Португалию — один кусок он сунет Годой, а другой — инфанте, которую сделали королевой этой, как бишь ее, Патрулии или Трурии...

— Пускай себе отхватят и поделят, — сказал я, не испытывая никакой жалости к соседям. — Нам-то что? Главное, чтобы нас избавили от этого злодея.

— Сегодня они возьмут Португалию, потому что она маленькая, а завтра возьмут Испанию, потому что она большая. Зло берет глядеть на остолопов, что ходят тут мимо, на всех этих аббатов, франтов, монахов, канцеляристов и лощеных господ! Как услышат, что Наполеон хочет прикарманить Португалию, радуются, хохочут, им только бы гвардейца скovyрнуть, и нисколько их не волнует, что француз-то может и кусочек Испании оттяпать, — как раз кстати ему будет утробу свою насытить.

— Но люди говорят, что у Колбасника грехов не перечесать...

— Знаешь, мальчуган, — твердо сказал он, пробуя пальцем лезвия ножниц, — за все эти разговоры я гроша ломаного не дам. Красавчик наш, конечно, проходимец, ему бы только руки погреть. Но ежели он достиг таких чинов, стал герцогом и генералом, князем и министром, не имея никаких заслуг, — чья тут вина, как не тех, кто дал ему все? Вот придут к тебе и скажут: «Габриэль, завтра ты станешь тем то и тем-то, потому что мне так угодно, и для этого тебе не придется даже над латынью корпеть» Что ты ответишь? Ты ответишь «Я согласен».

— Ясное дело.

— И хотя бы этот человек был доподлинным негодяем и натворил кучу злодейств, половина того, что о нем говорят, брехня. Ты, верно, заметил — нынче на него плюют многие из тех, кто прежде пел ему хвалу. Знают, что он скоро свалится, а в тени трухлявого дерева никому быть не интересно. Ох, верь мне, мы еще увидим большие перемены, да, приятель, большие! Говорю и повторяю: все обернется так, как никому и не снилось, и те самые люди, что сегодня потирают руки, завтра будут утирать слезы. Помяни мое слово.

Эти речи показались мне весьма разумными, я призадумался. Считая себя большим знатоком людей, я решил, что мудрый точильщик достоин занять почетное место среди моих приближенных, когда я стану генералиссимусом или первым секретарем короля, словом, архиважной птицей, какой я надеялся сделаться при покровительстве божественной Амаранты.

— А мое желание такое, — сказал я. — Я хочу, чтобы к власти пришел наш славный принц, он в два счета наведет порядок. Вы со мной согласны?

— Видишь ли, мальш, — возразил Чинитас торжественно-пророческим тоном, голову даю на отсечение, что от наследника нам проку не будет. Только громко говорить об этом нельзя — услышат нас, камнями побьют. Когда была жива сеньора принцесса Астурийская — царство ей небесное! — все говорили, что Фернандито ненавидит французов и Наполеона за то, что Наполеон помогает Годой. А теперь оказывается, что французы нам милее всех на свете и Наполеон лучший друг, а все потому, что он как будто поддерживает принца Астурийского. Нет, Габриэлильо, порядочные люди так не поступают. Как я понимаю, принцу не терпится унаследовать трон еще при жизни отца; правда, я готов поверить, что ему заморочили голову каноник толедский и другие сановные лица, они настраивают его против отца, надеясь, что им

перепадут чины и почести. Да, там, наверху, народ честолюбивый, рассуждают о благе страны, а на самом деле хотят одного — власти. Помни об этом, малыш. Хоть меня не учили читать и писать, в житейской грамоте я понаторел, в людях разбираюсь. Думают, мы простофили, нам что ни скажи все проглотим, а мы, бывает, правду видим яснее, чем все эти ученые головы, и отлично понимаем, к чему дело идет. Потому я говорю тебе: мы увидим важные события. Придет время, вспомнишь мои слова.

Чинитас умолк. Простившись с ним, я направился домой. Помнится, по дороге я пытался свести воедино различные мнения, которые слышал в то утро и в предыдущие дни об одном и том же предмете. Каждый судил, как подсказывали ему страсти, и мне, невежественному юнцу, не под силу было постичь значение происходящего: обуреваемый ложным патриотизмом, я был убежден, что великий завоеватель имеет полное право завладеть маленьким королевством, которому, по моему мнению, и не следовало существовать. Что касается Годоя, то его падения желали все — торговцы, аристократы, петиметры, простолюдины, монахи и даже плохие поэты; одни из убеждения в бездарности этого выскочки, кое-кто из зависти, большинство же потому, что слепо верили — вот придет к власти наследник, и всем нам станет лучше. Странно подумать, насколько ошибочно все представляли себе ход дальнейших событий, надеясь, что вопиющие непорядки можно будет легко и быстро устранить; странно подумать, что слепой оптимизм мешал большинству понять то, что было ясно здравомыслящему точильщику с его грубоватым недоверием к громким фразам. Да, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что Пакорро Чинитас был одной из примечательнейших личностей того времени.

Разговоры, которые я вел в то утро, или же что другое подействовали на меня, но мой пыл несколько остыл. «Какой вздор мне мерещился! — думал я. — Скорее всего Амаранта увидела во мне только расторопного слугу, не больше».

И все же любопытство не давало покоя — я не находил себе места, все валилось у меня из рук. В тот день я даже не успел сходить к Инес: — как только покончил с домашними делами, принялся готовиться к назначенной встрече. Одевшись как можно тщательней, я сосредоточил свои мысли на том, чтобы наружность вашего покорного слуги поразила даму изяществом и всеми неисчислимыми совершенствами, кои дарованы юности природой. Осколок зеркала, протертый дочиста, укрепил мое лестное о себе мнение, подтвердив, что физиономия слуги Пепиты Гонсалес не лишена приятности. Впервые я испытал приступ самодовольства; вспоминая об этом теперь, я готов дать себе пощечину.

Мне бы, конечно, хотелось предстать перед Амарантой в самом дорогом, роскошном, щегольском наряде, какой только можно вообразить, а пришлось удовольствоваться моим весьма скромным, но опрятным костюмом; зато я хорошенько умылся и старательно причесался. Одет я был просто, но знал, что лицо мое и манеры располагают ко мне. Заготовив несколько изящных, учтивых фраз для ответа на милостивые речи богини, я набрался духу и вышел из дому, никому не сообщив, куда направляюсь.

И вот я у особняка на улице Каньисареса, где проживает маркиза, сестра старого дипломата. Я спросил Долорес, она вышла ко мне и, не говоря ни слова, провела меня по длинным, полутемным коридорам в роскошный будуар, где оставила, сказав, чтобы я подождал. За стеной слышались женские голоса, там говорили, смеялись, мне даже почудился гнусавый голос дипломата. Амаранта не заставила себя долго ждать. Когда я услышал звук отворяемой двери и увидел величавую красавицу, которая приближалась ко мне с приветливой улыбкой, у меня захватило дух, словно при виде неземного существа.

— Вот и хорошо, что ты пришел, — сказала она. — Так как же — хочешь поступить ко мне на службу?

— Сударыня, — отвечал я, вдруг позабыв все заготовленные фразы, — сударыня, я буду счастлив угождать вам во всем и выполнять все ваши приказания.

— Либо я сильно ошибаюсь, — сказала дама, усаживаясь напротив, — либо ты из хорошей семьи, сын благородных родителей, вынужденный заниматься делом, тебя недостойным.

— Мой отец был рыбаком в Кадисе, — ответил я, впервые в жизни огорчившись, что происхожу не из знатного рода.

— Какая жалость! — воскликнула Амаранта. — Впрочем, это неважно. Пепа мне сказала, что ты очень исполнительен, а главное, молчалив; что тебе можно доверять во всем; и еще сказала, что у тебя есть способности и ты мог бы стать человеком выдающимся.

— Моя хозяйка, — сказал я, стараясь скрыть свое удовольствие, — отозвалась обо мне слишком лестно.

— Я думаю, ты понимаешь — продолжала дама, — что поступить ко мне на службу без особых рекомендаций, только благодаря хорошему поведению — это для тебя огромная удача. Но мне почему-то кажется, что ты мог бы занять более высокое положение в обществе. Надеюсь, фортуна не обойдет тебя своими милостями. Как знать, что тебя ожидает!

— О да, сударыня, как знать! — повторил я в совершенном восторге от ее слов.

Амаранта, как я сказал, сидела напротив меня; на груди у нее висел большой, усыпанный бриллиантами медальон, которым она забавлялась, — снопы радужных искр слепили мне глаза,

благодарность и восхищение переполняли меня, я едва удержался, чтобы не упасть перед ней на колени.

— Для начала я ничего от тебя не требую — только полной преданности. Тех, кто мне верно служит, я всегда щедро награждаю, а ты мне особенно полюбился — твое сиротство, одиночество, скромность и благоразумие трогают мое сердце.

— Сударыня! — воскликнул я в порыве благодарности. — Чем я смогу отплатить за такую милость?

— Преданностью и точным исполнением моих приказов.

— Я буду вам предан, сударыня, до конца дней.

— Вот видишь, я требую немногого. А я для тебя, Габриэль, могу сделать то, о чем ты и не мечтал. Поднялись же другие люди, с меньшими достоинствами на высоту невообразимую. Не случилось ли тебе думать, что и ты мог возвыситься, если б кто-нибудь тебе помог?

— О да, сударыня, случилось, и эти мысли едва не свели меня с ума, — отвечал я. — Когда ваша милость соизволила обратить на меня свой взор, я подумал, что, видно, бог пробудил в вашем сердце сострадание к сироте и что отныне все, чего я в жизни был лишен, будет мне даровано сразу.

— Неплохо надумал! — улыбнулась Амаранта. — Что ж, будь мне предан, исполняй мои приказания, и мечты твои сбудутся. Теперь слушай. Завтра я еду в Эскориал, ты должен там быть при мне. Хозяйке своей ничего не говори, я все улажу, она не станет противиться твоему переходу на другую службу. И вообще никому не проболтайся о нашей встрече. Понятно? Послезавтра ты должен явиться ко мне, из моего дома сможешь выехать в одной из карет, которые отправятся в полдень. В Эскориале мы пробудем всего неделю — придется вскоре вернуться, чтобы присутствовать на спектакле, его будут давать здесь, в этом доме. Тогда ты, пожалуй, сможешь несколько дней побыть у Пепы.

— Опять у нее? — удивился я.

— Да, у нее. Придет время, я скажу, что тебе надо будет делать. А пока ступай! Помни же, приходи послезавтра.

Я обещал быть точным и поклонился. Она ласково, почти по-дружески протянула мне руку для поцелуя, и, когда я коснулся губами белой, нежной кожи, по мне словно мороз пробежал. Ее взгляды ее манеры, все ее обращение было вовсе непохоже на обращение госпожи со слугой. Она держалась со мной, как с равным; миг охладев ко всему, что не было связано с Амарантой, я устремился очертя голову в сферу протяжения этого солнца, наполнявшего мою душу светом и теплом.

Я вышел на улицу. С кем бы поделиться своей радостью? Вспомнив про Инес, я бегом взбежал по лестнице на антресоли, — я, кажется, уже говорил, что мои друзья жили в том же доме. Инес была очень грустна. Когда я спросил, что случилось, она рассказала, что донья Хуана, измученная непосильной работой, захворала.

— Инес, Инесилья! — воскликнул я. — Мне надо поговорить с тобой. Знаешь, куда я еду?

— Куда? — с любопытством спросила она.

— В королевский дворец, ко двору, удачи искать. Теперь уже ты не будешь надо мной смеяться, плутовка, теперь это на самом деле.

— Что — на самом деле?

— А то, что фортуна распахнула предо мной свои врата. Помнишь, дорогая, о чем мы с тобой давеча говорили? Ты думала, я все шутки шучу. Но как же ты не понимаешь, королева моя, что все это проще простого.

— Что — проще простого?

— Да то, что если другие смогли безо всяких заслуг достичь головокружительных высот

лишь потому, что некоей сиятельной особе вздумалось их приласкать, то не диво, если и со мной произойдет то же самое. Да-с, любезная синьорита!

— Ну, конечно. Когда окажешься наверху, пришли весточку. Выходит, ты, чего доброго, уже завтра сделаешься генералом или министром?

— Не надо шутить, ладно? Завтра не завтра, а всякое может быть.

Инес весело рассмеялась, а мне почему то стало неловко.

— Послушай, ты, глупышка, — сказал я ей очень серьезно (теперь мне даже смешно об этом вспоминать). — Разве ты не знаешь, что все вокруг толкуют об одном человеке, который был ничем, а стал всем, о человеке, который служил в гвардии и за одну ночь...

— Та-та-та! — безжалостно передразнила меня Инес. — Так вот в чем дело, сеньор Габриэль! Долго же вы таились! Можно ли узнать, какая это дама влюбилась в вас?

— Влюбилась, влюбилась, вот глупая! — сердито сказал я. Не в том суть. Я же не чучело какое-нибудь, ну и... Всякий человек, даже самый маленький, может встретить особу, которая...

Инес все смеялась, но я почувствовал, что последние мои слова ее огорчили, — бедняжке стоило немалых усилий сохранять веселый вид. Притворяться она не умела, смех резко оборвался, лицо стало серьезным.

— Отлично, ваше сиятельство, — сказала она, делая глубокий реверанс. — Теперь мы хотя бы знаем, как с вами держаться.

— Напрасно ты сердисься, — сказал я, уже вполне оправившись от смущения. — Сама понимаешь — поскольку некая особа намерена мне покровительствовать, я не могу быть с нею невежливым. Ах, если б ты с нею познакомилась, Инесилья, если б ты видела, какая это женщина, какая важная дама!.. Прямо слов нет, потому ничего и не рассказываю.

— И эта дама в тебя влюбилась?

— Опять ты за свое! Да тут совсем другое, детка. Пока я всего только поступаю к ней на службу, но кто знает, что будет дальше. Посмотрела бы ты, как она держится со мной! Ну точно я ей ровня. Она принимает во мне горячее участие, и она очень богата, и живет она в роскошном дворце, здесь, поблизости, и у нее уйма слуг, и в медальоне что висит у нее на шее, бриллиант величиной с яйцо, и стоит ей взглянуть на тебя, ты уже сам не свой, и она очень красивая, и при дворе ее слушаются, как самого короля, и зовут ее...

Тут я вдруг вспомнил, что Амаранта запретила мне болтать о встрече с нею, и умолк.

— Так, так, — сказала Инес. — Теперь я не сомневаюсь, что ваша милость в два счета станет преважной птицей, в галунах и орденах, — то-то будет разговоров в народе, то-то приятно вам будет слышать, как вас обзывают вором, мошенником, интриганом и прочими нехорошими словами.

— Эх, никак тебе не растолкуешь! — с досадой сказал я. — С чего ты взяла, будто все знаменитые и влиятельные люди — обязательно воры и мошенники? Ерунда это, среди них бывают порядочные, так почему бы и я не мог... Ну вот, представь себе, малышка, что сам дьявол помог мне, и я стал... Не смейся, Каньете на что был мал, — и все мы дети Адама, и Наполеон Бонапарт такой же человек из плоти и крови, как я... Перестань же смеяться, не то я замолчу.

— А я не смеюсь, — сказала Инес, с трудом удерживаясь от того, чтобы опять не расхохотаться. — Все, что ты говоришь, мой мальчик, весьма разумно. Ну да, надо только захотеть. Что стоит сделаться генералиссимусом, министром, князем, герцогом? Ничего. И зачем слепить глаза над книгами, изучать всякие премудрости, которые надо знать, чтобы толково управлять страной? Видно, водоносы и грузчики, бакалейщики и монахи только по глупости своей не бегут все в королевский дворец, где их наверняка ждет жалованье советника, лишь подмигни какойнибудь даме. И если не у всякой придворной дамы нежное сердце, пожмешь локоток придворной кухарке — и все в порядке.

— Да нет же, ты не понимаешь! — сказал я, не зная, как бы получше объяснить. — Ты говоришь: «изучать», «толково управлять» — все это ни к чему. Конечно, в прежние времена чтобы продвинуться, надо было быть человеком ученым, а теперь, малышка, другие порядки. И не один Годой, сотни тысяч таких сидят на высоких постах, а самим цена — ломаный грош. Было бы немного нахальства! Уж я — то знаю, что говорю.

— Слушай, Габриель, — сказала Инес, откладывая шитье. — Все в мире происходит так, как предназначено. Это я твердо знаю, хоть никто мне этого не говорил. Люди, которые повелевают другими людьми, занимают свое место по праву рождения, потому что... потому что так устроен мир и короли рождаются от королей. И ежели какой-то человек, не родившийся в королевской колыбели, делается владыкой мира, значит, господь наделил его особым даром, небесным даром, какого нет у других. Не веришь, вспомни Наполеона — весь мир ему подвластен, тысячи, миллионы солдат повинуются его воле; но достиг этого он сам, потому что с детства старался выучиться всем наукам — учителя только ахали, когда оказывалось, что он знает больше, чем они. А если кто возвысился, не имея заслуг, — так это по случайности, или с помощью интриг, или по прихоти королей. И что они делают, чтобы удержаться наверху? Морочат народ, угнетают бедняков, набивают себе карманы, торгуют должностями, не брезгают никакой подлостью. Зато по делам и плата: все их ненавидят, все ждут не дождутся их падения. Ах, малыш, неужели ты не понимаешь? Ведь это ясно, как божий день!

Но хотя это было ясно, как божий день, я не понимал. Куда там! Я был ослеплен, мною владело тщеславие, и разумные речи модисточки показались мне до крайности неуместными, даже дерзкими. Исполненный гордыни, я счел нужным обидеться — чванный павлин вытянул шею, развернул колесом радужный хвост и гадкими своими лапами принялся топтать скромную голубку.

— Поговорим начистоту, Инес, — сказал я. — Мне ясно, что некие вещи ты понять не способна. Ты очень хорошая, поэтому я тебя люблю и уважаю. Не сомневайся, и теперь, и в будущем я сделаю все, что смогу, ради твоего блага. Да, ты очень хорошая, но, надо признаться, ума у тебя маловато. Что поделаешь — женщина, а вашей сестре только носки вязать да кастрюли на огонь ставить, во всем остальном вы ни черта не смыслите. Толкуешь с тобой о деле, но, видно, не с твоими куриными мозгами в нем разобраться. Это по силам нам, мужчинам, мы смотрим на вещи широко, потому что мы разумнее вас. Меня твои речи не удивляют. Что с тебя взять! И все же ты очень славная девушка, и тебя люблю, крепко люблю, и ты не сердись. Поверь, я никогда тебя не забуду.

Читатель, когда прочтешь эти строки, умоляю, отнесись ко мне со всей строгостью. Будь справедлив, будь беспощаден, и поскольку я сам, к счастью, нахожусь вне пределов досягаемости для твоей карающей длани, излей свой гнев на эту книжку — отшвырни ее, топчи ногами, плюй на нее... Но нет, не надо, она ни в чем не повинна, не терзай бедняжку — ее преступление лишь в том, что безответные страницы терпеливо сносят все, что мне вздумалось на них запечатлеть: хорошее и дурное, похвальное и смехотворное, трагическое и нелепое, все, что я, неумный бумагомаратель, пишуций эту историю, наскреб в моей жизни. Если кое-что говорит здесь не в мою пользу, знай, это чистая правда, равно как и то, что покажется тебе достойным похвалы. Ты, конечно, уже заметил, что я не желаю казаться романтическим героем: чего проще было бы выставить себя в идеальном свете и, схоронив под спудом свои недостатки и слабости, оставить для обозрения публики лишь благородные поступки, приправленные изящными небылицами, которые и я при надобности мог бы насочинять. Но, повторяю, я не намерен себя идеализировать. Знаю, в глазах многих читателей моя персона выиграла бы во сто крат, кабы я представил себя драчливым, дерзким буяном, который к шестнадцати годкам уже успел ужокошить на дуэлях дюжины две своих ближних да обесчестить столько же девиц,

мужних жен и вдов, избегнув преследований правосудия и мести ревнивых мужей и отцов. Да, это было бы прелестно, но вместе с мудрецом скажу: «Sed nunc non erat hic locus»^[17]..

В доказательство своей скромности, я, не колеблясь, записал диалог с Инес, столь для меня нелестный, — уж если мне не дано пленить читателя моими романтическими похождениями, он, надеюсь, оценит мою искренность. Итак, помиримся, и я продолжу рассказ с того места, на котором остановился. Произнеся вышеизложенную тираду с кое-какими добавлениями, подсказанными тупой спесью, я решил искать другого собеседника, более достойного выслушивать мои возвышенные речи. Инес молчала, и я, привлеченный веселыми звуками флейты, на которой играл дон Селестино, заглянул в его комнату.

— Ну-с, как идут дела, сударь? — покровительственным тоном спросил я, заложив руки за спину.

— О, превосходно! — отвечал неисправимый оптимист. — Наконец-то я добьюсь правды. Как сказал мне нынче утром чиновник в секретариате — на будущей неделе обязательно.



— Полагаю, вам пришлось бы весьма кстати местечко архидиакона с приличной рентой или что-нибудь в этом роде. Говорю так, потому что — вас это, пожалуй, удивит — некая особа, возможно, сумеет вам помочь.

— Но кто же, сын мой, кто, если не мой друг и земляк, светлейший Князь Мира?

— Заяц всегда выскочит там, где его не ждут. Вот увидите, увидите, — сказал я, стараясь изобразить на лице таинственную важность.

Старик был ошеломлен, а я вернулся к Инес — мне не хотелось оставлять ее рассерженной. К моему удивлению, малышка уже ни чуточки не сердилась — она заговорила со мной вполне спокойно, с той поразительной ровностью, которая так привлекала в ней. На прощанье я снова пообещал вечно ее помнить, а она была приветлива и ласкова, будто ничего не произошло. Видимо, эта высокая, благородная душа, которую я тогда еще не понимал, неколебимо верила в мое скорое возвращение.

Через день хозяйка моя сказала, что они с Амарантой договорились и я могу переходить на новую службу. Собрав свои скудные пожитки, я отправился в дом маркизы. Там меня нарядили в ливрею, после чего я сел в экипаж для слуг; мы поехали вслед за господской каретой, в которой находилась маркиза и ее брат, дипломат, и к вечеру прибыли в Эскориал.

Оказалось, что в Эскориале происходят события чрезвычайной важности. И тут будет не лишним привести мою беседу в пути с дворецким маркизы, слова которого, как потом выяснилось, имели пророческий смысл.

— Кажется, во дворце творится что-то из ряда вон выходящее, — сказал он. — Нынче утром в Мадриде говорили... Но скоро мы все узнаем — еще часа три с половиной, и, даст бог, станем на якорь в Лонхе.

— А что говорили в Мадриде?

— Видишь ли, народ там любит принца, родителей же его терпеть не может, а они с некоторых пор отдалили от себя бедного юношу, что ему весьма обидно. Я сам видел: лицо у него такое грустное, смотреть жалко. Говорят, родители его не жалуют, и, по-моему, это сущая правда. Сколько я знаю, король никогда не берет его с собой на охоту, не сажает за свой стол — словом, относится к нему совсем не так, как полагалось бы любящему отцу.

— А может, принц замешан в каких-нибудь интригах или заговорах? — спросил я.

— Весьма возможно. Как слышал я на прошлой неделе во дворце принц стал настоящим бирюком — ни с кем не говорит, все о чем то размышляет, ночи проводит без сна. При дворе очень встревожились, решили, кажется, даже наблюдать за ним — не замышляет ли чего.

— А мне говорили, что принц занимается литературой и по ночам делает переводы, не то с французского, не то с латинского, точно не помню.

— Да, так говорят в Эскориале, но правда ли это, одному богу известно. Кое-кто уверяет, будто принц замыслил большие дела и будто армия Наполеона вступила в Испанию вовсе не за тем, чтобы воевать с Португалией, а чтобы поддержать сторонников принца.

— Ну, это чепуха! Бедняжка Фернандито, небось, только и занят своими книгами да переводами.

— Кажется, последний его перевод родителям не понравился, потому что в той книге речь шла о революциях, и теперь он что-то другое переводит. А я думаю, не плетет ли он тайные козни, чтобы корону заполучить.

В таком примерно духе шла наша беседа до самого приезда во дворец. Дипломат и его сестра вышли из кареты, мы, слуги, тоже. Господа намеревались поселиться во дворце, в апартаментах Амаранты, которая прибыла накануне, и дворецкий повел нас туда по бесконечным лестницам, галереям, внутренним дворам и коридорам. В королевской резиденции чувствовалось необычное оживление: по коридорам и залам, несмотря на позднее время — было уже десять часов, — сновало множество народу. Маркиза спросила, в чем дело, но ей ответили так неопределенно, что ничего нельзя было понять.

Мы начали устраиваться в отведенных нам комнатах, я помогал другим слугам раскладывать вещи, как вдруг вошла Амаранта. Она была очень взволнована, пришлось немного подождать, пока она собралась с силами, чтобы ответить на вопросы дяди и тетки.

— Беда! — наконец воскликнула она. — Творится нечто ужасное! Заговор, революция! В Мадриде, когда вы уезжали, ничего не было заметно?

— Ничего. Все было спокойно.

— А здесь... О, это чудовищно! Не знаю, доживем ли мы до завтра.

— Но, дорогая, говори яснее.

— Раскрыт заговор, хотели убить короля и королеву, во дворце все было подготовлено для свершения переворота.

— Какой ужас! — вскричал дипломат. — Не зря я предупреждал, что под личиной верных

слуг короля тут скрывается немало якобинцев.

— Якобинцы ни причем, — возразила моя хозяйка. Самое поразительное, что душою заговора был принц Астурийский.

— Не может быть! — воскликнула маркиза, горячая сторонница его высочества. — Принц не способен на такую подлость. Да, все получилось, как я предсказывала. Враги решили его погубить клеветой, раз ничто другое не удастся.

— Готовилась революции пострашнее французской — продолжала Амаранта, — и собирались мятежники в кабинете принца, там нашли всякие бумаги. Говорят, замешаны каноник дон Хуан де Эскоикис, герцог дель Инфантадо, граф де Оргас и Педро Кольядо, бывший водонос из Берро, а теперь слуга принца.

— По-моему, милая племянница, — сказал маркиз, задетый тем, что она сообщает нечто ему неизвестное, — ты просто поддалась своему пылкому воображению и придаешь этим событиям чрезмерную важность. Полагаю, я мог бы их объяснить с помощью неких фактов и сведений весьма секретного рода, об источнике коих я обязан молчать.

— Расскажу то, что слышала. С недавних пор принц ночи напролет сидит один, запершись в своем кабинете. Его августейшие родители полагали, что он трудится над переводом французской книги. Но вот вчера его величество обнаружил у себя на столе запечатанный конверт, на котором было написано: «Срочно, срочно, срочно!» Король его вскрыл, там оказалась анонимная записка такого содержания: «Берегитесь, во дворце готовится переворот. Трон в опасности, королеву Марию-Луису собираются отравить».

— Иисус, Мария, Иосиф! — ахнула маркиза, в ужасе прикрывая глаза. — Не иначе, как сам сатана пробрался в Эскориал!

— Вообразите смятение нашего бедного государя. Сразу же заподозрили принца и решили осмотреть его бумаги. Долго колебались, как бы это проделать, наконец король согласился самолично учинить обыск в кабинете сына. С томиком стихов, которые он будто бы хотел подарить сыну, король вошел в его комнату. Фердинанд при виде отца смертельно перепугался и невольно выдал место, где были спрятаны бумаги. Король взял их, между отцом и сыном, вероятно, произошел крупный разговор, потом Карл в сильном негодовании удалился, запретив сыну выходить из кабинета и принимать кого бы то ни было. Тотчас призвали министра Кабальеро, вместе с королевской четой он произвел осмотр бумаг. Что в них нашли, неизвестно, но, видимо, что-то очень серьезное, ибо королева ушла к себе вся в слезах. Говорят, что среди хранившихся у принца бумаг были наброски злодейских планов, и, как полагает Кабальеро после беседы с их величествами, принца Фердинанда следовало бы приговорить к смерти.

— К смерти! — возмутилась маркиза. — Да они с ума сошли! Приговорить к смерти принца Астурийского!

— Пока я не вижу оснований для тревоги, — молвил дипломат с обычным своим самодовольством. — Надеюсь, эти бумаги будут показаны нам, дабы узнать наше суждение, и тогда, изучив их со всем тщанием, мы решим, как надлежит поступить.

— Неужели еще неизвестно, что было в бумагах? — спросила маркиза.

— Во дворце ходят самые различные слухи, никто не знает точно. Королева нам ничего не сказала, только всю ночь плакала горькими слезами и сетовала на неблагодарность сына. И еще она говорила, что не позволит причинить ему зло — он-де не виноват, виноваты бессовестные честолюбцы, что вокруг него увиваются.

— Не будем судить о событиях слишком поспешно, — сказал маркиз. — Дайте срок, и я выясню, была ли то интрига недругов принца или же попросту самый настоящий заговор. Но заранее прошу, когда я все разужаю, не вздумайте меня расспрашивать — ведь вам известен мой принцип.

— Кажется, решили начать дознание, чтобы установить соучастников, — продолжала Амаранта. — Вероятно, принцу сегодня же вечером придется предстать пред Кастильским советом.

На этом беседа, весьма для меня занимательная, оборвалась, — мы услышали странный шум, словно поблизости от нашей комнаты двигалось много народу. На меня никто не обращал внимания, дел особых не было, и я, подстегиваемый любопытством, выскользнул за дверь. Спустившись по лестнице, я оказался в просторной, обитой гобеленами зале, к которой с обеих сторон примыкали другие, такой же величины и так же убранные. По ним торопливо шли придворные, все в одном направлении, я последовал за общим потоком и, пройдя две-три залы, не обнаружил ничего примечательного — только кое-где придворные, собравшись в кучки, оживленно беседовали вполголоса.

Я был очень горд, что нахожусь во дворце, — сама мысль, что ноги мои ступают по этому полу, придавала мне в моих собственных глазах особый вес и возвышала над прочими смертными. Все мы, в чьих жилах течет благородная испанская кровь, склонны к тщеславию; я тоже возомнил о себе, и захотелось мне встретить своих прежних знакомых из Мадрида или Кадиса, чтобы по моим речам и осанке они увидели, какой важной персоной я стал. К счастью, во дворце я никого не знал и, таким образом, не дал повода над собой посмеяться.

Длинная анфилада украшенных гобеленами зал, по которой я проходил, тянется во всю длину дворца и сообщает между собой апартаменты короля и королевы, окна которых выходят на восточный фасад этого огромного здания. Я шел вместе со всеми, нимало не заботясь о том, положено ли мне разгуливать по таким местам, — впрочем, никто меня не останавливал, и я бесстрашно шагал вперед. Залы были слабо освещены, фигуры на гобеленах казались в мягкой полутьме застывшими тенями или туманными бликами на темном фоне стен, которые поглощали неведомо откуда струившийся свет. Я обводил взглядом вереницы мифологических персонажей, соблазнительная нагота которых должна была, по замыслу художников, украсить мрачные стены, воздвигнутые Филиппом, но только я принялся рассматривать их подробней, как вдруг показалась необычная процессия, и взоры всех устремились к ней.

Это возвращался к себе принц Астурийский после допроса в Кастильском совете по начатому против него делу о преступном заговоре. Никогда не изгладятся из моей памяти малейшие подробности этого мрачного шествия. Я смотрел во все глаза, зрелище было поистине удивительное, — взволнованный им, я потом долго не мог заснуть. Впереди выступал господин с большим канделябром в руке, который он держал высоко, как бы желая осветить всем, кто следовал за ним, однако свет был так слаб, что выхватывал из тьмы лишь блестящую вышивку на полах его кафтана. Дальше шло несколько лейб-гвардейцев, а за ними — молодой человек, в котором я, сам не знаю почему, сразу признал наследного принца. Он был крепкого сложения, сангвинической наружности; слишком густые черные брови, брюзгливо поджатые губы и мясистый нос делали его весьма непривлекательным, по крайней мере, на мой взгляд. Шел он потупив глаза, но каждая черточка угрюмого, перекошенного лица выдавала снедавшую его злобу. Рядом шел старик лет шестидесяти сперва я даже не догадался, что это и есть король Карл IV. Я представлял его хилым, тщедушным человеком, оказалось же, что был он среднего роста, довольно плотный, с небольшим румяным лицом, причем во всем его облике невозможно было обнаружить никаких физиогномических признаков, коими природе надлежало бы снабдить чистокровного короля в отличие от какого-нибудь бакалейщика.

Господа, сопровождавшие его, — как я позже узнал, то были министры и временный председатель совета, — больше привлекли мое внимание; придет время, я познакомлю вас с некоторыми из этих славных мужей. Замыкал процессию небольшой отряд лейб-гвардейцев. Пока они проходили, в залах царило гробовое молчание, слышался только шум постепенно

удаляющихся шагов. Наконец вся процессия скрылась за дверями, ведущими в апартаменты его высочества. Тут придворные вновь принялись шушукаться, и я заметил, что среди них появилась Амаранта — вероятно, она пришла за мной и кстати остановилась побеседовать с каким-то господином в военном мундире.

— Я слышал, что во время допроса, — говорил этот господин, — его высочество держался с королем не вполне почтительно.

— И что ж, он под арестом? — с живостью спросила Амаранта.

— Да, сударыня. Ему запрещено покидать свои апартаменты, будет поставлена стража. Смотрите, выходят. Наверно, отняли у него шпагу.

Процессия опять прошла по залам, но уже без принца: впереди по-прежнему шествовал придворный с канделябром. Когда король и министры исчезли из виду, все обитатели дворца, высыпавшие на них поглядеть, тоже стали заползать в свои норы, и долго еще слышалось громкое хлопанье затворяемых дверей. Погасли огни в просторных залах, изящные фигуры на гобеленах растворились во мраке, точно призраки, которые с первым криком петуха прячутся в свои таинственные убежища.

Поднявшись в наши комнаты, я подошел к одному из окон — они все выходили во внутренний двор, — чтобы посмотреть, где нахожусь. Ночь была темная, я видел лишь сплошную черную громаду, над которой торчали высокие крыши, купола, башни, печные трубы, какие-то выступы, навесы, аркбутаны и флюгеры, врезааясь в небо, подобно мачтам огромного корабля. Величественное это зрелище наполняло душу трепетом и было под стать тому, которое мне довелось увидеть только что. Я задумался, но долго предаваться размышлениям не пришлось: раздались легкие шаги, шорох юбок, кто-то тихо позвал меня, и я отошел от окна.

Контраст был разительный: после столь мрачной картины передо мной предстала Амаранта с обворожительной улыбкой. Вокруг все молчало, маркиз-дипломат и его сестра удалились на покой. Амаранта сменила дорожное платье на легкое, свободное одеяние, в котором казалась еще более прекрасной. Когда она окликнула меня, рядом с нею стояла служанка, но девушка тут же ушла, и тогда наша прелестная госпожа, собственноручно замкнув дверь на галерею, велела мне подойти поближе.

— Так не забудь своей клятвы, — сказала она, усаживаясь. — Я полагаюсь на твою преданность и умение молчать. Повторяю, мне кажется, что ты — толковый малый, и вскоре тебе будет предоставлена возможность это доказать.

Уж не припомню, в каких именно выражениях я уверял ее в своей преданности, но, видимо, говорил я весьма пылко и с драматическими жестами, потому что Амаранта, смеясь, посоветовала мне быть более сдержанным.

— И ты не хотел бы вернуться к Ла Гонсалес? — спросила она.

— Ни к Ла Гонсалес, ни к королю, ни к императору! — отвечал я. — Пока я жив, я никуда не уйду от моей любимой, обожаемой госпожи.

При этих словах я бросился на колени перед креслом, в котором сидела Амаранта в очаровательно небрежной позе. Но она заставила меня встать и сказала, что я должен буду вернуться к своей прежней хозяйке, хотя в то же время буду втайне служить ей, Амаранте. Мне это показалось странным, загадочным, но расспрашивать я не посмел.

— Если будешь исполнять мои приказания, — продолжала она, — можешь быть уверен, что тебя ждет счастливое будущее. Как знать, Габриэль, быть может, ты еще станешь знатным и богатым человеком! Бывало, что люди, куда глупее тебя, за одну ночь превращались в могущественных вельмож.

— Совершенно справедливо, сударыня. Но ведь я из совсем простой семьи, круглый сирота, еле-еле выучился читать, да и то по складам и когда буквы в книге с кулак величиной, а писать умею только свою фамилию, зато росчерк делаю такой замысловатый, что любой писец позавидует.

— Значит, надо подумать о твоём образовании: мужчине не годится быть невеждой. Я займусь этим. Но с условием, повторяю еще раз, что ты будешь мне исправно служить.

— О, в преданности моей не сомневайтесь. Скажите только, ваша милость, в чем состоят мои обязанности на новой службе, — попросил я, желая узнать, какими услугами должен отплатить за столь необычайное благоволение.

— Сейчас скажу. Дело это сложное, щекотливое, но я верю в твою сообразительность.

— Ради вашей милости я готов исполнить любое, самое сложное и щекотливое дело, — отвечал я со свойственной мне пылкостью. — Не слугой буду я вам, а рабом, который, если понадобится, жизнь отдаст.

— Ну, жизнь отдавать пока не придется, — улыбнулась она. — Тебе надо лишь хорошенько наблюдать, а главное, быть мне абсолютно преданным, исполнять каждое мое желание и первой своей обязанностью почитать полное послушание — это совсем нетрудно.

— Я горю нетерпением, я мечтаю скорей приступить к службе.

— Мы еще поговорим, когда ты будешь поспокойней. Сейчас я должна написать несколько писем. Впрочем, ты можешь приступить к исполнению своих обязанностей — ответь мне на два-три вопроса, мне это нужно знать для своих писем. Скажи: Лесбия бывала у вас в доме без меня?

Этот вопрос поверг меня в замешательство, он показался мне не имеющим никакого отношения к моей службе. Напрягши память, я ответил:

— Бывала, но не часто.

— А видел ли ты ее когда-нибудь в уборных театра «Дель Принсипе»?

— Вот этого я не припомню. Не могу поклясться ни в том, что видел, ни в том, что не видел.

— Если и видел, удивляться нечему — Лесбия не гнушается захаживать в такие места, — сказала Амаранта с глубоким презрением.

Последовала пауза, Амаранта о чем то задумалась.

— Правила приличий ей нипочем, — наконец сказала она. — Лесбия уверена, что все в восторге от ее остроумия, приветливости, красоты. А ведь, по правде сказать, в ее красоте нет ничего особенного.

— Ровно ничего особенного, — подхватил я, лстя ревнивым чувствам моей госпожи.

— Вот ты и будешь докладывать мне о ней и о всяких других вещах, меня интересующих. Но первое мое приказание — молчать как рыба. Надеюсь, ты будешь доволен мною, а я тобою. Так ведь?

— О, чем я смогу отблагодарить за столь великую милость? — воскликнул я. — Мне кажется, я схожу с ума, я и впрямь могу сойти с ума от счастья. Я не в силах молчать, мое сердце переполнено, я должен выразить вслух чувства, которыми оно охвачено с той минуты, когда ваша милость соизволила обратить на меня свой взор. А теперь, когда я услышал, что ваша милость намерена сделать меня выдающимся человеком, чтобы я занял почетное место в мире, теперь, мнится, и тысячи лет жизни не хватит мне на то, чтобы отплатить вам, моей благодетельнице. Ах, как бы я хотел быть не хуже тех господ, каких я вижу здесь, во дворце! Неужели это возможно? Неужели вы полагаете, что, просветившись с вашей помощью, я смогу выйти в люди? Увы! Для бедняка, выросшего в нищете, обреченного быть слугой, не имеющего богатых родственников, нет иного пути к лучшему положению, как великодушное покровительство знатной особы, вроде вас. И если мои желания исполнятся — разве это будет первый случай? Не так ли, сударыня? Есть ведь здесь очень важные и влиятельные персоны, которые обязаны своим богатством и возвышением только поддержке сиятельной дамы.

— А ты, Габриэлильо, как я погляжу, честолюбив, — добродушно усмехнулась Амаранта. Но ты правильно говоришь: мы знаем людей, которые по прихоти важной дамы поднялись на незаслуженную высоту. А вдруг и тебе посчастливится! Это вполне вероятно. А чтобы ты не унывал, расскажу тебе одну легенду. В очень давние времена, в очень далеком краю было обширное государство. Правил им тихо и спокойно султан, не блиставший умом, зато добрый — подданные были им довольны и любили его. Султанша же была женщина пылкая, с беспокойным воображением, полная противоположность супругу, отчего их брак был не вполне счастливым. Когда султан унаследовал трон от своего отца, ему было пятьдесят лет, а султанше тридцать четыре. Об эту пору в гвардию янычаров вступил некий юноша, судьба которого отчасти схожа с твоей. Правда, по происхождению он стоял чуть выше и получил кое-какое образование, но так же был беден и не мог надеяться на то, чтобы пробиться собственными силами. Вскоре при дворе разнесся слух, будто молодой гвардеец приглянулся султанше; это подозрение подтвердилось его быстрым продвижением — в двадцать пять лет он обладал уже всеми титулами, какие только могут быть пожалованы простому подданному. Султан не препятствовал столь быстрому возвышению, напротив, он души не чаял в юном фаворите, и, мало того, что осыпал его всевозможными почестями, он еще передал ему бразды правления, сделал его великим визирем, принцем и дал ему в жены девицу из своего дома. Все это возбудило в народе той далекой и древней монархии сильное недовольство и ненависть к юноше и к султанше. Фаворит во время своего правления сделал кое-что хорошее, но народ об этом не помнил, у всех на языке были только его дурные поступки, а их хватало, и некоторые из них навлекли великие бедствия на эту мирную страну. Султан был слеп и не замечал страданий народа, а султанша, хоть и знала о них, ничего не могла поделать, ибо ей мешали придворные интриганы. Все ненавидели юного фаворита, и среди самых заклятых врагов оказался кое-кто из членов монаршей семьи. Удивительней же всего было то, что человек, которого не по заслугам

возвысила слабая, но великодушная женщина, выказал неблагодарность по отношению к своей покровительнице — он изменял ей с другими женщинами и жестоко оскорблял несчастную, которой был обязан всем. Придворные дамы султанши уверяли, что не раз видели ее горько плачущей и со следами побоев, нанесенных безжалостной рукой.

— Какая черная неблагодарность! — воскликнул я страшном негодовании. — И бог не покарал этого подлеца, не даровал ни в чем не повинному народу покой, не раскрыл глаза добряку-султану?

— Этого я не знаю, — отвечала Амаранта, покусывая кончик пера и уже готовясь писать. — История, которую я тебе рассказала, описана в одной старинной книге, до конца я еще не прочитала, и развязка мне неизвестна.

— Есть же мерзавцы на свете!

— Ты, я верю, не будешь таким, — улыбнулась Амаранта. — И если тебе суждено возвыситься подобным путем, ты постарайся вести себя как можно лучше, чтобы добрыми своими делами заставить людей забыть причину твоего возвышения.

— Если с помощью адских сил это произойдет, — отвечал я, — разумеется, я буду поступать так, как ваша милость предполагает. Клянусь честью, у меня хватит ума и мужества, чтобы править страной и в то же время оставаться человеком добрым, порядочным и великодушным.

Амаранта, посмеявшись моим словам, предложила мне завтра пойти в иеронимитский монастырь к монаху, который будет меня обучать, и сказала, что ей надо писать спешные письма, а потому она хочет остаться одна. Она позвала служанку, та отвела меня в предназначенную мне комнату, и я лег. Однако беседа наша произвела в моих мыслях невероятное смятение, сон мой был беспокойным, мучили кошмары — мне чудилось, будто я лежу придавленный всеми куполами, башнями, крышами, навесами, аркбутанами — словом, всей каменной громадой Эскориальского дворца.

На следующий день у Амаранты собрались к обеду Лесбия, дипломат и его сестра. Об этой достойной даме я почти не говорил, в моей истории она не играет большой роли, что очень досадно, ибо ее характер и высокие душевные качества заслуживали бы подробнейшего описания. Весьма почтенного возраста, гордая, чуждающаяся роскоши, то была испанка до кончиков ногтей; прямая, бесхитростная, с душою нежной и сострадательной, она не терпела сплетен и интриг и спешила на помощь всем нуждающимся — короче, была украшением своего сословия. Ее слабостью был брат: она свято верила в его необычайный ум. Жила маркиза очень скромно, но, будучи большой поклонницей драматического искусства, любила задавать пышные балы со спектаклями. Ее домашний театр славился в столице, и на готовившееся в то время представление «Отелло» были истрачены большие деньги. Артистам она помогала и покровительствовала, однако держала их на должном расстоянии.

Был зван также дон Хуан де Маньяра, но когда я пришел передать приглашение, он отказался под предлогом, что ему в эти часы надо быть на дежурстве. Не могу умолчать о том обстоятельстве, что, придя к нему поутру, я застал у этого щеголя Леслию, причем по их одежде можно было догадаться, что они только вернулись с прогулки, — вероятно, встречали восход солнца в лугах, как пристало влюбленным. Вечером того же дня я видел Маньяру в главном патио, где он расхаживал с понурым видом, а на следующее утро, когда мы встретились там же, он попросил меня снести письмо сеньоре герцогине. Я отказался, на том и кончилось. Не иначе, как у сеньора де Маньяра были крупные неприятности.

Амаранта явно расстроилась, узнав, что этот вертопрах не будет у нее обедать. Когда я явился с этим известием, у нее в гостях был господин, которого я видел накануне вечером в процессии, сопровождавшей принца. Они беседовали часа полтора, а когда гость уходил, я рассмотрел его получше, — могу поклясться, что отродясь не видывал более отвратительной физиономии. Я бы и не стал о нем вспоминать здесь, не будь он одним из самых знаменитых людей своего времени, — поэтому, я думаю, мало только упомянуть о нем, надо описать его подробно в назидание нынешним. То был маркиз Кабальеро, министр юстиции.

Видел я его всего один раз, но никогда не забуду. Ему можно было дать лет пятьдесят. Приземистый, тучный, он глядел на вас мутным, коварным взглядом своего единственного глаза — другой уже давно не видел света; иссиня-багровое, нечистое лицо говорило о неумеренном пристрастии к вину; походка и манеры напоминали рыночного торговца; в каждой черточке чувствовалась душа низкая и злобная, — невозможно было понять, как человек со столь гнусной наружностью мог быть министром, разве что он обладал какими-то особыми достоинствами. Но нет, друзья мои! Нравственный облик маркиза Кабальеро был ничуть не лучше физического — тут можно было смело сказать, что никогда еще низменные чувства и подлые мысли, уродующие душу, не запечатлевались так верно в телесном облике человека. Ничтожный, невежественный, способный лишь к интригам, он являл собою характерный тип подлого, мелочного крючкотвора, для которого главное в науке права не принципы, а лазейки, оговорки и двусмысленные формулы, позволяющие запутать самое простое дело.

Никто не мог объяснить причину его возвышения, для всех тем более загадочную, что всемогущий Годой отнюдь его не жаловал. Каким-то образом пробравшись ко двору с черного хода и утвердившись благодаря интригам, Кабальеро, вероятно, избрал орудием своего влияния на короля защиту интересов церкви: он подогревал религиозные чувства недалекого Карла, запугивал воображаемыми бедами, внушал, что существование трона зависит от покровительственной политики в отношении церкви, — и так стал для короля необходимым

человеком. Сам Годой не сумел удалить его из правительства и прекратить гонения, вдохновителем которых был этот фанатик и изувер, он же министр правосудия. Многие замечательные люди того времени стали жертвой его преследований, он посадил в тюрьму Ховельяноса и завершил свой славный путь участием в свержении самого Князя Мира в марте 1808 года.

Привожу эти краткие сведения о человеке, который был тогда предметом всеобщей и заслуженной неприязни, как пример того, что возвышение глупцов, негодяев и мошенников — это, вопреки распространенному мнению, бич не только нашего времени.

После беседы моей хозяйки с Кабальеро начался обед. Я прислуживал.

— Я уже знаю, что было в бумагах, изъятых у его высочества, — сказала Амаранта, садясь за стол и глядя на Лесбию с нескрываемой враждебностью. — Кабальеро мне сообщил, попросив не разглашать, но вскоре все и так узнают...

— Можешь нам сказать... Мы не станем делиться ни с кем, кроме друзей, — пообещала маркиза.

— А я полагаю, говорить не следует, — проворчал дипломат, как всегда недовольный, что кто-то сообщает тайны, ему неизвестные.

— В бумагах найден доклад королю, составленный, как предполагают, доном Хуаном Эскоикисом, хотя и написанный рукой Фердинанда. В нем будто бы в самых резких словах осуждаются распутство и злоупотребления Князя Мира. Вспомнили и о двух его женах, и о том, что он торгует должностями, пенсиями и пребендами, назначая их тем, кто...

— Истинная правда! — сказала маркиза. — Я это слышала от человека, которому Князь Мира как раз предлагал...

Почтенная старушка не договорила — она вспомнила, что я стою рядом. Но я привык понимать с полуслова и сразу догадался, о чем речь.

— В докладе этом, — продолжала графиня, — смешивают с грязью бедняжку Тудо и советуют королю посадить ее в тюрьму. Наконец, там есть требование низложить нашего Князя, конфисковать его имущество и разрешить наследному принцу отныне сопровождать отца повсюду.

— Очень, очень справедливо, — кивнула маркиза, удивленная тем, насколько совпадали мысли заговорщиков с ее собственными. Конечно, где-нибудь в другом месте я бы поостереглась это сказать.

— Здесь-то бояться нечего, — продолжала Амаранта. — Сам Кабальеро не очень соблюдает тайну: я знаю, он уже говорил нескольким. Есть там еще презабавный документ, нечто вроде сайнете, сценка в лицах, как бы сочиненная для театра. Действующие лица — все знакомые нам особы, но под вымышленными именами. Принц называется доном Аугустином, королева — доньей Фелиной, король — доном Диего, Годой — доном Нуньо, а принцесса, на которой хотели женить наследника, — доньей Петрой.

— Каков сюжет комедии?

— Это вымышленная беседа с королевой — королева высказывает различные замечания, а ей на все даются остроумные ответы, цель которых изобличить в ее глазах Князя Мира. Много там и непристойных выражений. К концу дон Аугустин наотрез отказывается жениться на донье Петре, свояченице министра, сестре кардинала и герцогини Де ла Чинчон.

— И это тоже отлично придумано, — сказала маркиза. — Поставили бы такой сайнете на сцене, я первая бы начала аплодировать. В самом деле, чего это вздумали женить бедного юношу на чьей-то свояченице? Не лучше ли поискать ему супругу в одной из царствующих фамилий? Уверена, что все они мечтают породниться с нашими королями и с радостью выдадут любую из своих девиц за такого бравого принца.

— Вам ли судить о столь важных делах! — с неудовольствием молвил дипломат. — Что ж до содержания документов, я, право, не понимаю, как это ты, племянница, особа разумная, так неосторожно разглашаешь тайну.

— Забавно! Прежде вы сомневались, что эти бумаги существуют, а теперь вы корите меня за их огласку и тем самым подтверждаете их существование.

— Да, подтверждаю, — не смутился дипломат. — И ежели другие выбалтывают то, о чем я намеревался молчать...

Хитрец понял, что не сможет опровергнуть сообщение Амаранты, и решил сделать вид, будто тоже знает о материалах процесса.

— Выходит, ты все уже знал? — спросила маркиза. — Так я и говорила: не может быть, чтобы он не знал. Ах, братец, от тебя ничто не укроется. Какая проницательность! Ты смело можешь сказать, что слышишь, как трава растет.

— Это правда, к сожалению! — напыжившись, воскликнул маркиз. — До моих ушей доходит все, как я ни стараюсь ни во что не вмешиваться и стоять в стороне от всяких интриг. Что поделаешь! Надо терпеть.

— Тебе, братец, наверное, известно еще кое-что, а ты молчишь, — сказала маркиза. — Ну же, не таись: Наполеон в этой истории замешан?

— Начинаются вопросы? — развеселясь, захихикал старик. — И не думайте спрашивать, клянусь, что вы из меня слова не выудите. Вы же знаете, в таких делах я непоколебим.

Пока шел этот разговор, Лесбия молчала.

— Дайте же мне закончить! — возмутились Амаранта. Я не рассказала еще об одной бумаге, найденной у принца.

— Ах, дорогая племянница, лучше бы тебе помолчать. — с укоризной заметил дипломат.

— Нет, нет, пусть говорит!

— Так вот, раскрыт шифр, при помощи которого наследник ведет переписку со своим наставником доном Хуаном Экоикисом, и вдобавок, самое важное...

— Вот именно, самое важное — перебил дипломат, — а потому надо молчать.

— Напротив, потому-то и надо говорить!

— Итак, обнаружили письмо, вернее, что-то вроде записки, без обращения и без подписи, из которых явствует, что принц намерен передать через одного монаха докладную королю. Примечательней же всего, что в этих записках принц заявляет о своем намерении следовать примеру святого мученика Эрменегильда и бороться — слушайте внимательно! — бороться за справедливость. Да ведь это прямой призыв к революции! Далее он требует от заговорщиков, чтобы они стойко держались, чтобы готовили воззвания и чтобы...

— О, женщины, женщины! Когда же вы научитесь хранить тайну! — прервал ее маркиз. — Я просто поражен, что ты столь беспечно толкуешь об опаснейших делах.

— В этих записках, — продолжала графиня, не обращая внимания на назойливые увещания дипломата, — королевская чета и Годой обозначены готскими именами: Леовигильд — это Карл Четвертый; королева — Госвинда, а Князь Мира — Сисберт. И вот принц — он себе отводит роль святого Эрменегильда — объявляет заговорщикам, что на головы Сисберта и Госвинды вскоре обрушится гроза, и убеждает их усыпить осторожность Леовигильда притворными восторгами и лестью.

— Только-то всего? — удивилась маркиза. — По-моему, это самый невинный вздор.

— Как бы не так! — гневно возразила Амаранта. — Ясно, что они хотят свергнуть Карла Четвертого.

— Я бы не сказала.

— А я уверена в этом. Гроза должна обрушиться на головы Сисберта и Госвинды —

следовательно, наследник и его друзья намерены не только расправиться с гвардейцем, но еще замышляют какую-то пакость против королевы — быть может, собираются отправить ее на гильотину, как бедняжку Марию-Антуанетту. Всем известно, что король обожает свою супругу. Всякое оскорбление, нанесенное королеве, он воспринимает как оскорбление своей особы.

— Ну, если с ними что-нибудь и случится, так поделом, — ответствовала маркиза.

— А я считаю, — запальчиво сказала Амаранта, — что принц может затевать сколько ему угодно заговоров против министерства Годоя, но писать записки королю, пятнать честь своей матери, рассуждать о грозах, которые обрушатся на Сисберта и Госвинду, то есть, по сути, покушаться на жизнь королевы, — это, по-моему, поведение, недостойное испанского принца и христианина. Ведь она — его мать, и сколько бы ни было у нее грехов, — а я убеждена, что не так их много и не так они страшны, как грехи ее хулителей, — не годится сыну их обличать и разглашать, а тем более ссылаться на них в борьбе со своим врагом.

— На тебя, милочка, не угодишь, — язвительно заметила тетка Амаранты. — Нет, я считаю, что принц поступает правильно, а ежели это кому-то не по нраву, что ж, не надо было давать повода, тогда бы все было тихо. Ну, а ты, братец, ты ведь все знаешь, какое твое мнение?

— Мое мнение? Ты думаешь, легко составить мнение о таком щекотливом деле? А если бы я, с моим опытом и знаниями, пришел к какой-то мысли, неужто я высказал бы ее перед женщинами? Вы же сразу побежите разносить ее по всем гостиным и будуарам — только бы слушатели нашлись...

— Да, из тебя слова не выжмешь. Знала бы я хоть половину того, что знаешь ты, братец, я бы охотно делилась со всеми.

— Чтобы составить верное суждение, нужны факты, — сказал маркиз. — Кому-нибудь из вас известно, как отнеслась королева к этой истории?

— Когда в Совете прочитали последнюю бумагу, — ответила графиня, — Кабальеро заявил, что принц заслуживает смертной казни по семи статьям. Королева, возмущившись, сказала ему: «Ты забыл, что это мой сын? Я уничтожу улики против него, его обманули, его запутали». Тут она выхватила из рук Кабальеро злосчастный листок, спрятала его на груди и, рыдая, опустилась в кресло. Какое великодушие! По чести говоря, я никогда не была сторонницей принца, а теперь, когда узнала о его замыслах против августейших родителей, я могу смело заявить, что он заслуживает лишь презрения, чтоб не сказать хуже.

— Вздор! — воскликнула маркиза. — Теперь-то королева хнычет и плачется, а о чем она думала раньше, когда своим поведением причинила столько бед! Ну, разве дошло бы до этого, если бы не ее легкомыслие!

Лесбия, до сих пор хранившая молчание, поддержала маркизу, правда, чуть смущенно и нерешительно. Амаранта, быстро обернувшись к ней, с горечью молвила:

— О чужих грехах легко говорить. Увы, могла ли наша государыня предположить, что ее будет публично оскорблять особа, которую она осыпала милостями, сажала за свой стол, почтила своей дружбой!

— Ах, какая поучительная проповедь! — сказала Лесбия с деланной веселостью, которая иногда служит выражением крайнего гнева. Но, конечно, я должна была этого ожидать после того, как отказалась потворствовать кое-кому. Теперь, когда я, утомившись играть роль, неосмотрительно на себя взятую и мне не свойственную, уступила ее другим, которые играют ее великолепно, меня осуждают — я, видите ли, разглашаю тайны, а они ведь и так известны всему свету. Напрасно некие особы надеются представить себя жертвами клеветы, напрасно они плачут и рыдают; их пороки так многочисленны и мерзки, что стали притчей во языцех.

— О да! — язвительно подхватила Амаранта. — Перед нами наглядное тому свидетельство. Но, милочка, самый ужасный порок — это неблагодарность.

— Пусть так, но об этом пороке людям посторонним трудно вынести правильное суждение.

— Почему же? Вовсе не трудно, и вскоре мы это увидим. Весь заговор принца от начала и до конца продиктован только черной неблагодарностью. И ты посмотришь, как за нее карают.

— Надеюсь, ты не намерена засадить всех нас в тюрьму? — съехидничала Лесбия. — Всех нас, кто здесь находится, — за то, что мы, преступники эдакие, желали победы принцу.

— Я никого не сажаю в тюрьму, и вам тут нечего бояться, однако я не уверена в безопасности одного господина, которого страстно любит кое-кто из здесь присутствующих.

— Ах, правда! — неосторожно брякнул маркиз. — Мне говорили, что Маньяра тоже замешан в заговоре.

— Уверена, что замешан, — безжалостно подтвердила Амаранта. — Он сильно надеется на помощь неких влиятельных особ. Но они-то, оказывается, сами замешаны, и можно полагать, что никакие защитники их не спасут.

— Вот-вот, — сказала герцогиня. — Бей их! А ведь еще неизвестно, как дело обернется. Вдруг какое-нибудь неожиданное событие перемешает все карты и превратит обвинителей в обвиняемых.

— О да! Они надеются на Бонапарта! — презрительно заметила Амаранта.

— Стой! — воскликнул дипломат. — Милые дамы, вы вступаете на опасную почву.

— Правосудие свершится, — сказала моя госпожа. — Правда, не в той мере, как хотелось бы, — просто невозможно всех изобличить. Прилагаются, например, большие усилия, чтобы выяснить, кто передавал заговорщикам письма от принца, но до сих пор ничего не узнали. Предполагают, что этим занимался кто-то из придворных дам, из этих интриганок и кокеток, которых во дворце предостаточно. Как будто даже пало подозрение на одну особу, только пока нет твердых улик.

Лесбия не сказала в ответ ни слова, однако на ее губах играла дерзкая усмешка. Видимо, плутовка ничего и никого не боялась; немного помолчав, она даже решилась прямо уязвить свою противницу:

— Смотрите, как бы эта особа — раз она такая интриганка и кокетка — не ухитрилась провести своих преследователей. Может случиться, что обстоятельства помогут ей сразиться со всеми недругами и победить их. Хотела бы я узнать, кто она — эта ценная дичь. Может, ты нам скажешь?

— Сейчас не скажу, — отвечала моя госпожа. — А завтра, может быть.

Лесбия громко расхохоталась. Амаранта заговорила о чем-то другом, маркиза снова принялась оплакивать участь принца, а дипломат заявил, что ни за какие сокровища не откинет завесу, скрывающую планы величайшего полководца своего века. На том обед закончился, и все, кроме моей госпожи, отправились на покой.

Следующий день, тридцатое октября, принес важные и волнующие вести, если что-либо могло еще больше взволновать наши смятенные души. С утра госпожа выпроводила меня, посоветовав пойти прогуляться по Эскориалу, этому восьмому чуду света, а заодно посетить монаха-иеронимита, который должен был наставлять меня в науках духовных и светских. Оба совета пришлись мне по душе, особенно радовался я тому, что смогу на досуге побродить по дворцу и его окрестностям. Первым зрелищем, которое представилось моим любопытным глазам, был выезд короля на охоту. Мне показалось довольно странным, что его величество, встревоженный и удрученный последними событиями, еще способен предаваться этому шумному развлечению. Впоследствии я узнал, что наш добрый государь безумно любил охоту и даже в самые тяжкие дни своей жизни не упускал случая потешить душу — то была его главная, вернее сказать, единственная страсть.

Я видел, как он в сопровождении нескольких человек вышел из северных ворот, сел в экипаж и поехал в направлении Сьерры с самым невозмутимым видом, словно во дворце все было в полном порядке. Вероятно, подумал я, характер у него на диво спокойный, а совесть непорочна и чиста, как студеные ручьи здешних гор. Все же пожилой этот господин, несмотря на его высокий сан и, как мне казалось, полное душевное спокойствие, вызывал во мне скорее сожаление, чем зависть. И особенно мне стало жалко его, когда я заметил, что собравшаяся у дворца толпа не выказывала своему государю никаких знаков любви, — мне даже послышались злобные реплики и неблагозвучные эпитеты, которыми, думаю, до тех пор не награждали ни одного государя нашей доблестной нации.

Затем я прошелся по нижним галереям дворца и по прихожим на верхних этажах, поглазел на других членов королевской семьи и с удивлением отметил, что у всех у них носы были одинаковой формы — длинные, мясистые, характерные для династии Бурбонов.

Первым встретился мне кардинал де ла Эскала, дон Луис де Бурбон, впоследствии прославившийся тем, что принял присягу депутатов на острове Леон, и другими менее доблестными деяниями, о которых вы узнаете в ходе этой истории. Вы, может, думаете, что то был почтенный старец с головой, поседевшей от многих прожитых лет и усердных занятий, с лицом, отмеченным суровостью, присущей людям, которые несут бремя столь трудных обязанностей. Как бы не так! Я увидел молодого человека лет тридцати — возраста, в котором Лоренсана, Альборнос, Мендоса, Силисео и другие светочи испанской церкви еще не покидали стен монастыря или семинарии.

Дело в том, что существовал обычай жаловать кардинальским саном младших принцев крови, на чью долю уже не оставалось ни больших, ни малых королевств. Сеньор дон Луис де Бурбон, кузен Карла IV, был в этом смысле счастливейшим из смертных — когда у него еще молоко на губах не обсохло, он получал ренту епископа Севильи, а едва достигнув двадцати трех лет и не освоив до конца «Сентенций» Петра Ломбардского, занял епископскую кафедру в Толедо, доходам от которой позавидовал бы любой князь в Германии или в Италии.

Но все хорошо в свое время. Таковы были нравы той эпохи, и несправедливо было бы осуждать юного принца — он всего лишь брал то, что ему давали. А глядел во все глаза на его преосвященство, когда он выходил из кареты у дворцового подъезда, на этого рыжеватого, краснощекого мужчину с невыразительным взглядом и длинным мясистым носом — ведь кардинал тоже был яблочком с бурбонской яблони; наружность совсем заурядная, никто бы не обратил на него внимания, не будь он в кардинальской мантии. Дон Луис де Бурбон с чрезвычайной поспешностью поднялся наверх, в королевские апартаменты, и больше я его не

видел.

Но благосклонная судьба словно назначила мне познакомиться сразу со всей королевской фамилией — в тот же день я повидал еще инфанта дона Карлоса, второго сына нашего государя. Этому юноше еще не было двадцати лет, и он показался мне более приятным с виду, чем его брат, наследный принц. Я пристально разглядывал его, ибо в ту пору мне казалось, что у особ королевской крови должно быть в лице нечто возвышенное, отличающее их от простых смертных. Однако ничего особенного я в доне Карлосе не обнаружил, только глаза у него были очень живые и на лице играла веселая улыбка. Со временем и наружность и характер этого человека сильно изменились.

В тот же вечер я лицезрел в саду инфанта дона Франсиско де Паула, совсем еще ребенка; он резвился под надзором Амаранты и других дам. Признаюсь, я смеялся от души, глядя, как бегают и прыгает этот мальш, выряженный в пунцовый костюм мамелюка, — где уж тут было думать о благоговейном почтении, которое положено испытывать в местах, освященных стопами венценосцев.

Когда я направлялся в сад, во внутренних покоях дворца раздались несколько сильных ударов, как будто стучали молотком, затем послышались нежные звуки свирели; играли так искусно, словно музыкантом был аркадский пастух, чудом очутившийся во дворце. На мой вопрос ответили, что все эти звуки исходят из мастерской инфанта дона Антонио Паскуаля: он-де имеет обычай коротать часы досуга, чередуя занятия столярным или переплетным делом с упражнениями в игре на свирели. Я удивился — зачем принцу трудиться? Тогда мне сказали, что дон Антонио Паскуаль, младший брат Карла IV, — самый трудолюбивый из всех инфантов Испании, если не считать покойного дона Габриэля, прославленного знатока древностей и любителя изящных искусств. Когда царственный столяр и музыкант оставил свою мастерскую, чтобы прогуляться по саду приора в компании почтенных отцов иеронимитов, каждый день заходивших за ним после полудня, я мог вволю на него насмотреться, и прямо скажу — более добродушной физиономии мне не приходилось видеть. Кто бы ни встретился на его пути, он всех приветствовал церемонно-учтивым поклоном, даже я удостоился сей высокой чести — ласковый взгляд и кивок принца наполнили меня гордостью.

Все знают, что дон Антонио Паскуаль, которому впоследствии принесло известность его знаменитое прощанье с долиной Иосафата, был с виду воплощением доброты. И действительно, этот старенький принц, сильно смахивавший на ризничего приходской церкви, показался мне самым благодушным человеком во всей королевской семье. Позже я узнал, что глубоко ошибся, приняв его за добряка. Мария-Луиса, назвавшая его в одном из своих писем «жестоким», предсказала события, происшедшие по возвращении из Валансэ, когда инфант собирал в своем кабинете самый цвет неистовых роялистов.

Этот ничтожный человек, равно как его племянник, инфант Дон Карлос, был сторонником принца Фердинанда и всей душой ненавидел Князя Мира; впрочем, это и без моих слов понятно — ведь в то время вряд ли кто из испанцев, начиная с членов королевской семьи, любил Годоя. Но довольно отступлений, надо продолжать рассказ. Если не ошибаюсь, я остановился на том, что пришли вести о неожиданном повороте событий, но не сказал, что это были за вести. А суть их была следующая: около часа дня царственный узник услышав, что его отец отправился на охоту, послал королеве записку, умоляя прийти к нему в кабинет, так как он должно ей открыть очень важные тайны. Мать отказалась идти, послав маркиза Кабальеро, который выслушал признания принца, а о чем — сейчас узнаете.

Надеюсь, вы не думаете, что потрясающие новости были известны всем обитателям Эскориала? Просто мне повезло, я слышал, как Амаранта сообщала их дипломату и его сестре, — беседа велась в моем присутствии совершенно свободно, никому в голову не

приходило таиться от такого юнца, простака и разини.

По словам Амаранты, все члены королевской семьи было перепуганы и растеряны, ибо из последних признаний принца стало точно известно, что заговорщиков поддерживает сам Наполеон и его войска скрытно продвигаются к Мадриду, чтобы оказать помощь партии принца. Кроме того, Фердинанд выдал своих соучастников, назвав их людьми «злобными и коварными», и, судя по его показаниям, распространявшиеся с некоторых пор слухи о том, что готовится покушение на жизнь королевы, были не лишены основания. Что до короля, то насчет него друзья принца вряд ли питали добрые намерения — был найден декрет принца о назначении герцога дель Инфантадо главнокомандующим морскими и сухопутными войсками, и начинался этот декрет так: «Поелику богу было угодно призвать к себе душу короля, нашего родителя», и т. д.

Тогда я, конечно, не запомнил все эти подробности, но позже мне удалось прочитать о перипетиях знаменитого процесса заговорщиков; поэтому я могу восполнить изъяны моей памяти и смело восстановить в рассказе о тогдашних событиях то, что было мною забыто. Зато я отлично помню, как Амаранта, взволнованная известием о Бонапарте, со злорадством расписывала низость принца, так подло предавшего своих друзей. Маркиза отказывалась этому верить, разговоров было много, но, чтобы вам не наскучить, я не стану их пересказывать.

Еще засветло король вернулся с охоты, а часа через полтора сильный шум в нижних помещениях дворца возвестил о приезде другой важной персоны. Я выбежал в главный двор, но уже не успел рассмотреть прибывшего: поспешно выйдя из кареты, он чуть не бегом поднялся по лестнице. Я заметил только, что он кутался в широченный плащ, как будто был нездоров или боялся простуды, но черты его лица мне не удалось разглядеть.

— Это он, — сказали слуги, стоявшие возле меня.

— Кто? — с любопытством спросил я.

Тогда поваренок, с которым я успел подружиться, так как его обязанностью было меня кормить, наклонился к моему уху и прошептал:

— Колбасник.

В дальнейшем мне представился случай говорить с этим человеком, но описание его будет помещено в другой книге.

Я старался не отставать от поваренка, благо через него можно было свести знакомство с братией из лакейской, и принялся расспрашивать моего поставщика, что думают на королевской кухне о нынешних событиях. Кстати, дело было к ужину, и мой друг повел меня в помещение для трапез, где я убедился воочию, что славный отряд поваров заодно со всем народом следует по пути, намеченному главарями фернандистской партии.

Сколько патриотизма, сколько воинственного пыла было в речах этой горсточки храбрецов, чьи кастрюли были, так сказать, вместилищем земной улады испанских королей и от чьих рук зависело благополучие, если не жизнь венценосцев. Правда, я здесь увидел немало старых, почтенных слуг, которые держались в стороне от шумливой, мятежно настроенной молодежи, однако большинство находилось под влиянием злобного красноречия Педро Кольядо, водоноса из Фуэнте-дель Берро, состоявшего на службе у Фердинанда. Этот малый сумел своими грубыми остротами завоевать почетное место в сердце наследника: он был соглядатаем принца во всех нижних сферах дворцовой жизни и наблюдал за челядью, которая вначале только побаивалась его, а потом приучилась покорно исполнять его веления. Мало-помалу Педро Кольядо стал по отношению к поварам, поварятам и лакеям настоящим касиком, вроде тех, что ныне казнят и милуют в маленьких городках нашего полуострова.

Когда Педро Кольядо появлялся в хорошем настроении, радость, подобно благодати небесной, нисходила на всю челядь; когда Педро Кольядо был мрачен, унылое безмолвие сменяло прежнюю веселую суету. Кто попадал в немилость к водоносу, того мог спасти только бог, а кому посчастливилось снискать его благосклонность или послужить мишенью для его грубых шуток, тот мог считать, что уже поставил одну ногу на колесо Фортуны. Да, у этой капризной богини бывают весьма странные причуды.

Тот вечер доставил мне много впечатлений — я присутствовал при аресте Педро Кольядо, против которого были выдвинуты тяжкие обвинения уже на первых заседаниях Совета. Фаворит принца толковал с ближайшими своими приспешниками о событиях, как вдруг за ним явился альгвасил с несколькими солдатами испанской гвардии. Водонос не сопротивлялся: высоко подняв голову и дерзко глядя на солдат, он последовал за ними в тюрьму дель Ситио — по причине низкого происхождения его нельзя было содержать вместе с герцогами де Сан-Карлос, и дель Инфантадо, заточенными в чердачных помещениях той части дворца, которая носит название «Дель Новисиадо».

Арест водоноса нагнал страх на всю кухмистерскую. Воцарилось гробовое молчание, которое, впрочем, вскоре нарушили повелительные окрики, напоминавшие распоряжения генералов в разгаре баталии — на королевских кухнях тоже есть свои стратегия и тактика, не менее сложные, чем военные. Раздался приказ: «Ужин для сеньора инфанта дона Антонио Паскуаля!» И мгновенно великолепная, аппетитно дымящаяся менестра была передана в руки слугам инфанта. Далее последовал приказ: «Бульон и яичницу-глазунью для сеньоры инфанты доньи Марии-Хосефы!» Затем: «Шоколад сеньору инфанту дону Франсиско де Паула!» Эта команда снова вызвала движение на кухне, после чего на миг все успокоилось. Но вот главный повар торжественно возгласил: «Готова ли жареная курочка для его преосвященства сеньора кардинала?» Тотчас замелькали кастрюли, сковороды, и курочка вместе с надлежащими приправами была передана в покои архиепископа. Наконец в дверях появился очень тучный господин в ливрее с галунами, носивший чудное звание «гардеманжé», и, устремив на поваров орлиный взгляд, воскликнул: «Ужин его величеству!» Надо было видеть, сколько блюд подали по этой команде, — их обилием надеялись возбудить аппетит короля, у которого, несмотря на

ежедневные охотничьи упражнения, желудок отказывался варить. Я не мог отвести глаз от волшебного зрелища и, глотая слюну, вдыхал дивные запахи яств. Заметив это, мой приятель, поваренок, сказал:

— Не беспокойся, Габриэлильо, уж мы-то отведаем королевского ужина. Король любит, чтобы на столе у него было побольше наставлено, но ест он от каждого кушанья по крошечке. А к иным и вовсе не притрагивается. Пойду-ка я приготовлю воду со льдом.

— Воду со льдом? Вот те на! — удивился я. — Кому же здесь по вкусу, такой никудышный напиток?

— А королю. Как набьет он себе брюхо, обязательно требует стакан воды со льдом, холодной-прехолодной; возьмет хлебец, корочку отломит, а мякоть макает в воду и ест. Другого десерта он не признает.

После ужина для короля потребовали ужин для королевы, но через порядочный промежуток времени; это меня сильно озадачило, и я спросил у своего приятеля, почему королевская чета и их дети едят не вместе.

— Молчи, бестолковый! — отвечал он. — Ну как можно! Конечно, в любой обычной семье родители и дети едят за одним столом. Но здесь — как ты не понимаешь? — это было бы нарушением этикета. Инфанты едят каждый в своих покоях, его величество король тоже ест один у себя, а прислуживают ему гвардейцы. Только королева могла бы сесть с ним за стол, но она предпочитает есть одна, а почему, это секрет.

— Почему? Скажи мне. Может, кто-нибудь составляет ей компанию de occultis?^[18]

— Вот еще, она ни за что не будет есть в присутствии других, хоть убей.

— И даже в присутствии своих придворных дам?

— Только камеристка, что ей прислуживает, видела, как она ест. А знаешь почему? — спросил он шепотом. — Когда королева улыбается, смотришь, зубы у нее — чистый жемчуг. А они вставные, и за едой она должна их снимать. Вот и не желает, чтобы люди видели.

— Ну и чудеса!

Поваренок говорил правду. В те времена, действительно, зубоврачебное искусство стояло еще невысоко, и вставными металлическими челюстями нельзя было пережевывать пищу.

— Теперь ты понимаешь, — продолжал поваренок, — что не зря все осуждают королеву и считают ее обманщицей. И в самом деле, как может надеяться на любовь своих подданных такая королева, у которой не свои зубы?

Я не был уверен, что достоинства царственных особ следует оценивать по тем же статьям, что у охотничьих собак, и не мог согласиться с поваренком, но промолчал.

Затем потребовали ужин для его высочества Князя Мира и для членов Государственного совета — тут я решил подняться наверх, полагая, что пришла пора подавать ужин моей госпоже. Близился сладостный миг — сейчас я увижу ее, буду с ней разговаривать, выслушивать ее приказания, проходить мимо нее, чуть не задевая за ее платье, буду упиваться ее улыбкой, ее взглядом... В разлуке с нею мое воображение было приковано к ее милому образу, подобно мотыльку, что, как замороженный, кружит у огня. Но, к великой моей досаде, в тот вечер Амаранта не соизволила сказать мне ни слова о моих обязанностях. Видимо, было суждено, чтобы я узнал о них в следующий вечер.

Хотя во дворце ничего дурного со мною еще не произошло, на душе у меня было как-то невесело. Отчего? Я сам не понимал. Запершись в своей комнатке, лежал я на узкой кровати и никак не мог уснуть. Начал я размышлять о своем положении, о характере Амаранты, в которой многое уже казалось мне весьма странным, и о том, на какие блага я могу надеяться у нее на службе. Тут мне вспомнилась Инес, о которой я совсем позабыл в эти дни; с мыслью о ней, успокоенный этим воспоминанием, я начал засыпать. И сквозь сон (а может, это мне

пригрезилось?) я чувствовал, как что-то в моей груди сильно билось, трепеща и содрогаясь, словно рука друга упорно стучалась в мое сердце.

На следующий вечер Амаранта позвала меня к себе. На ней было то же белое платье, что и в предыдущие вечера. Она усадила меня рядом с собой на табуреточку, более низкую, чем ее кресло, — чуть нагнуться, и я мог бы прильнуть головой к ее коленям. Положив руку мне на плечо, она сказала:

— Сейчас, Габриэль, я узнаю, могу ли полностью довериться тебе. Посмотрим, действительно ли ты такой толковый малый, как я думала.

— Неужто вы забыли? — с волнением воскликнул я. — Но я — то никогда не забуду, что вы мне давеча сказали — что другие с еще меньшими заслугами, чем я, сумели подняться на самый верх лестницы богатства и власти.

— Ах, дурачок! — засмеялась она. — Вижу, ты в своих мечтах чересчур занесся, а это опасно — ты ведь помнишь про Икара!

Я возразил, что не знаком ни с каким сеньором Икаром. Тогда Амаранта рассказала мне эту легенду и прибавила:

— В той легенде, которую я тебе рассказывала третьего дня, ты, Габриэль, не вздумай искать пример для себя. Я уже прочитала немного дальше и могу познакомить тебя с продолжением. На чем я остановилась?

— На том, что молодой гвардеец, которого султанша сделала великим визирем, платил своей покровительнице злом за добро — по-моему, это ужасная подлость.

— Так вот, дальше написано, что султанша горько сожалела о своем легкомыслии, а молодой янычар, ставший князем и генералиссимусом, вызывал в народе все большую ненависть. Султан, как и прежде, был слеп и не понимал, почему его подданным худо живется. Однако его супруга, женщина проницательная, чувствовала, что над королевской семьей вот-вот разразится гроза. Фрейлины нередко заставляли ее в слезах. Пытаясь облегчить совесть, она говорила то одной, то другой, что раскаивается в своем недостойном поведении. Но исправить причиненное ею зло было невозможно. Недовольство подданных росло, образовалась сильная, многочисленная партия, во главе которой стал сын султана и султанши — он собирался свергнуть их с трона и даже лишить жизни, если это понадобится для осуществления его планов.

— А что делал великий визирь?

— Хоть человек он был неглупый, а никак не мог решить, к какой партии присоединиться. Взоры всех были обращены к великому Тамерлану, доблестному полководцу и завоевателю; в то время он послал свои отряды в их империю, чтобы через нее пройти в маленькое королевство, которое хотел покорить. В нем видели своего спасителя и отец, и сын, и султанша, и великий визирь; но трудно допустить, что он окажет помощь им всем, а значит, кто-то из них надеется напрасно.

— И чем же кончилось? Кого поддержал этот сеньор полководец?

— Это сказано в самом конце, а его я еще не читала, — ответила Амаранта. — Но, думаю, я скоро узнаю развязку и расскажу ее тебе.

— Я же говорил и теперь говорю, что, если бы великий визирь правил страной разумно, — как, я думаю, правил бы кое-кто из ваших слуг, ничего бы этого не случилось. Был бы он справедливым, как бог велит, карал злодеев и награждал хороших людей, империя никогда бы не пришла в такое расстройство.

— Стоит ли нам с тобой об этом тревожиться! — сказала Амаранта. — Займемся лучше нашими делами.

— Да, сударыня, с жаром подхватил я. — Что нам до всех этих империй!

Затем, полагая, что сумею словами передать свои чувства, я прижал руки к груди, обратился к Амаранте страстный взгляд и дал волю лихорадочному возбуждению, охватившему мою голову. Стараясь говорить красиво, изящно, я начал так:

— Ах, сеньора графиня, я не только почитаю вас как самый смиренный из слуг ваших, я вас обожаю, боготворю и умоляю не прогневаться за то, что дерзнул сказать вам об этом. Прогоните меня прочь, если мои слова вам неприятны; я буду несчастен, но все равно не перестану вас любить.

Мои высокопарные речи рассмешили Амаранту.

— Отлично, — сказала она. — Мне нравится твоя преданность. Вижу, что тебе можно доверять. А насчет твоих умственных способностей как будто тоже тревожиться нечего. Пепа особенно восхищалась твоей наблюдательностью. Говорит, у тебя редкая способность запоминать обстановку, лица, разговоры — словом, все, что ты видел и слышал, ты можешь потом в точности описать. Вдобавок ты благоразумен и молчалив — чего еще желать! И если при всех этих качествах ты будешь уважать меня и любить так сильно, чтобы всем пожертвовать ради меня и никому не проболтаться о том, какова твоя служба у меня...

— Проболтаться! Ах, сударыня, я бы слова не сказал даже своим родителям, будь они у меня, даже тени своей, даже богу...

— И еще я слышала, — молвила она, глядя мне в глаза так, что у меня голова закружилась, — будто ты умеешь притворяться...

— О да!

— И незаметно наблюдать за тем, что делается вокруг, никому не внушая подозрений.

— Да, да, все это я умею как нельзя лучше.

— Так слушай: первое, что ты должен сделать, когда мы возвратимся в Мадрид, — это пойти в услужение к твоей прежней хозяйке.

— Как! Опять к прежней хозяйке?

— Дурачок! Это вовсе не значит, что ты перестанешь служить мне. Напротив, каждый вечер ты будешь ко мне приходить, беседовать со мной. Служба у Пепы будет только для видимости, а на самом деле ты будешь служить мне, и я щедро тебя награжу.

— Выходит, у актрисы я буду только для того...

— Чтобы не возбуждать подозрений.

— Чудесно! Да, да, я понимаю. Тогда никто не подумает...

— Вот-вот. Тебе надо будет внимательно следить за всем, что происходит в доме твоей хозяйки; кто пришел, кто ушел, кто там бывает вечерами — в общем, за всем.

— А с какой целью? — спросил я, несколько обескураженный; я все еще не понимал, зачем меня хотят превратить в соглядатая.

— Это тебя не касается, — ответила моя хозяйка. — Кроме того, и это самое важное, в театре ты должен не спускать глаз с Исидоро Майкеса, и каждым раз, как он попросит тебя отнести любовную записку твоей хозяйке, ты эту записку сперва отдашь мне — я ее прочитаю и тебе верну.

Тут я совсем смутился, мне показалось, что я неправильно понял, что в словах Амаранты есть какой-то иной, тайный смысл, и я попросил объяснить, зачем все это нужно.

— Ты слушай, что я тебе говорю, — отмахнулась она. — Лесбия все не порывает с Исидоро, хотя любит другого; мне известно, что по возвращении в Мадрид состоится их свидание в доме Ла Гонсалес. Так ты смотри получше, ничего не упусти, а если у тебя хватит смекалки и ловкости войти в доверие и стать их посыльным, чтобы я знала все об их любовных отношениях, ты окажешь мне огромную, неоценимую услугу и не пожалеешь об этом.

— Но... но... как я смогу? — пролепетал я, вконец растерявшись.

— А это очень просто, глупыш. Ты ходишь в театр каждый вечер. Постарайся же, чтобы герцогиня сочла тебя мальчиком расторопным и не болтливым: если понадобится, сам предложи свои услуги, внуши Исидоро, что по части секретных поручений ты — настоящее сокровище; тогда оба они охотно сделают тебя своим поверенным. А ты, как попадет тебе в руки любовная записка, сразу ее несешь мне — и дело с концом.

— О, сударыня, — воскликнул я, вне себя от изумления, — вы требуете от меня слишком многого!

— Вот это новость! Хороша же твоя преданность — я вас люблю, я вас обожаю! Или ты вдруг поглупел? Ведь то, что я тебе сейчас приказываю делать, это только начало. Остальное узнаешь потом. Если в таком пустячном деле ты мне не повинешься, как же я смогу вывести тебя в люди, сделать уважаемым и влиятельным человеком?

Я еще не мог поверить, что Амаранта предназначает меня для исполнения столь низкой, гнусной роли, как это явствовало из ее слов; я попросил растолковать мне получше; она это сделала весьма охотно, а я, говоря по-простому, и пикнуть не посмел. Объяснения Амаранты низвергли меня с высот гордыни в пучину позора.

Но мог ли я противиться своей госпоже? Мне не оставалось ничего иного, как разыграть притворное послушание. Я сам дал себя запутать в сети, теперь надо было исхитриться уйти из них через какую-то прореху, но рвать их силой я не решался.

— И вы полагаете, — сказал я, стараясь привести в порядок свои мысли, — что, занимаясь такими делами, я сумею сохранить чувство собственного достоинства? А оно, говорят, необходимо для человека, который хочет занять почетное место в обществе.

— Ах, ты сам не знаешь, что говоришь, — возразила она, грациозно покачивая прелестной головкой. — Наоборот, то, что я предлагаю, будет для тебя лучшей школой, ты обучишься искусству преуспевать в жизни. Шпионство разовьет твой ум, и, глядишь, ты сможешь вступить в состязание с самыми ловкими интриганами. Неужели ты думал, что можно стать выдающимся человеком, не понаторев в интригах, в притворстве и в науке сердцеведения?

— Сударыня, — возразил я, какая ужасная школа!

— Я тоже заметила, что ты умеешь наблюдать исподтишка и прекрасно разбираешься во всем увиденном. Это качество и еще кое-что убедило меня, что ты способный малый. Ты ведь сам говорил, что ты честолюбив?

— Говорил, сударыня.

— Так знай: если хочешь преуспеть при дворе, иного пути нет, чем тот, который я тебе предлагаю. Предположим, что ты хорошо исполнишь мое поручение; тогда я беру тебя к себе, ты будешь моим пажом. Я почти постоянно живу во дворце; вот посмотришь, как легко тебе будет выдвинуться. Пажу повсюду есть доступ, пажу положено ухаживать за служанками камеристок и придворных дам, а это дает ему возможность выведывать всякие тайны. И если паж умеет наблюдать, если он к тому же умен и осторожен, да еще наружности привлекательной, он может стать при дворе большой силой!

Эти доводы меня совсем сбили с толку, я не знал, что ответить...

— Вспомни, сколько влиятельных людей начинали свою карьеру простыми пажами. Маркиз Кабальеро, нынешний министр юстиции, был когда-то пажом, были пажами и многие другие. Уж я позабочусь, чтобы ты получил дворянскую грамоту, а с нею ты при моем покровительстве сможешь поступить в королевскую лейб-гвардию. Новый поворот твоей карьеры! Паж может, спрятавшись за портьерой, подслушивать, о чем говорят в гостиной; паж может относить и приносить весьма важные письма; паж может узнать от какой-нибудь горничной государственные тайны, — но гвардеец может еще больше, потому что положение его выше. Если он обладает всеми теми достоинствами, которые были у пажа, могущество его трудно

вообразить. Хочешь — любезничай с придворными дамами, а они все вертихвостки; хочешь — заводи при дворе сотни друзей; здесь что-нибудь услышишь, там перескажешь, да кстати приукрасишь, как тебе угодно, или черное представишь белым. У гвардейца есть одно преимущество, которого нет даже у королей, — те знают только жизнь во дворце, а потому почти всегда правят неразумно; тогда как гвардеец знает и двор и город, знает людей вне стен дворца и внутри них, — эта осведомленность помогает ему приобретать себе вес то здесь, то там, он может нажимать на тысячи тайных пружин. А у человека, умеющего пускать их в ход, здесь больше власти, чем у всех властителей страны; все эти чванные министры да советники и не заметят, как он распространит свое влияние на самые отдаленные уголки королевства.

— Ах, сударыня, — воскликнул я, — как это не похоже на то, о чем я мечтал.

— Тебе, наверно, кажется, что это дурно? Но таким мы застали мир, переделать его не в нашей власти, а потому пусть все идет, как прежде.

— О, как я был глуп! Признаюсь, пылкое воображение затуманило мой ум, породило нелепые, безумные мечты, — теперь я понимаю, что это можно объяснить молодостью и невежеством. Я думал, что мне, глупому, тщеславному юнцу из бедной семьи удастся, по примеру многих других особ, выдвинуться безо всяких заслуг. Все время слышишь, как повезло некоторым дуракам, вот я и сказал себе: «Значит, всяком у дураку должно повезти в жизни». Но я воображал, что успеха можно достичь прямыми, честными путями, и рассуждал так: «Кто мне запретит добиваться всего, чего добились другие? Но я буду не таким, как они: если когда-нибудь я получу власть, то употреблю ее на благо всем, буду награждать добродетельных, а злодеев карать, буду поступать, как велит мне бог и мое сердце». Никогда я не думал возвыситься иными способами, а если и допускал, что придется иногда нарушать законы, то, во всяком случае, не навлекая на себя бесчестье, — я например, согласился бы драться на дуэли, тайно любить даму, загнать десяток лошадей, чтобы привезти ей сюда цветов из Аранхуэса, убивать врагов короля и тому подобное.

— Ах, эти времена прошли, — сказала Амаранта, посмеиваясь над моей наивностью. — Чувства у тебя, конечно, возвышенные, но теперь они не к месту. Уверена твои сомнения рассеются, когда поживешь недели две у меня на службе и поймешь, что здесь, во дворце, не так уж плохо. К тому же это даст тебе возможность в дальнейшем сделать добро многим людям.

— Каким образом?

— Очень просто. Моя горничная, например, выхлопотала два места каноников, одну обычную бенефицию и должность в ведомстве по надзору за выморочным имуществом.

— Как так? — изумился я. — Служанки назначают каноников и чиновников?

— Да нет, глупыш, назначает их министр. Но разве может министр отказать, когда рекомендую я, и разве я могу отказать девушке, которая так славно меня причесывает?

— Один мой друг, очень достойный человек, уже четырнадцать лет добивается самой скромной должности, но до сих пор ничего не получил.

— Назови его имя, и я тебе докажу, что ты, помимо своей воли, уже становишься влиятельным человеком.

Я назвал имя дона Селестино дель Мильвар и сказал, о каком месте он хлопочет. Амаранта все это записала на листке бумаги, затем, указывая на лежащие перед ней письма, сказала:

— Видишь, сколько дел проходит через мои руки? Прямо не знаю, как управиться. Все считают, что министры ужасно заняты, да и они сами при людях напускают на себя деловой вид. Посмотреть на этих господ, разукрашенных галунами и надутых спесью, никак не подумаешь, что всего-то дела у них — класть в карман огромное жалованье. Увы, так и есть Они — всего лишь слепые орудия, марионетки, и движет ими тайная сила, скрытая от людских глаз.

— А разве Князь Мира не обладает большей властью, чем сам король?

— Власть, конечно, у него есть, но не такая уж большая. Сила его в том, что он здесь пустил корни; корни эти глубоки, почва плодородна, да мы непрестанно их поливаем, вот и выросло могучее дерево, которое раскинуло пышные ветви далеко за пределы двора. Власти Годой добился не способностями своими; он всем обязан той особе, что пожелала дать ему власть; сам понимаешь, отнять у него эту власть было бы совсем не трудно. Пусть тебя не ослепляет мнимое величие этих напыщенных чучел, хотя чернь ими восхищается и завидует им, — все их могущество держится на шелковых ниточках, которые легко перережет своими ножницами женщина. Когда люди вроде Ховельяноса пытались проникнуть сюда, они запутывались в этих шелковых силках, расставленных нами на их пути, и сразу же падали.

— Боюсь, сударыня, — сказал я, сильно приуныв, — что у меня не хватит ума исполнить ваши поручения.

— Зато я знаю, что хватит. Для начала поупражняйся, наблюдая за домом Ла Гонсалес; доставишь мне нужные сведения, а потом сможешь приступить к более важным делам. Тебе надо будет снискать расположение одной из придворных дам. Ты притворишься, будто тебе надоело служить у меня, а я сделаю вид, будто тебя прогнала; ты поступишь в услужение к той, другой даме и будешь при случае говорить ей дурное обо мне, чтобы никто ничего не заподозрил. Тем временем ты будешь присматриваться к тому, что происходит в покоях твоей новой, мнимой госпожи, и обо всем будешь докладывать твоей прежней, настоящей госпоже, то есть мне, твоей благодетельнице и покровительнице.

Я уже не мог спокойно слушать это бесстыдное и циничное наставление в искусстве интриги, в котором графиня была законченной мастерицей, а я новичком, еще не получившим боевого крещения. Внутренний голос призывал меня наотрез отказаться от предложенной мне службы, щеки мои побагровели от стыда, я был смущен, растерян, но язык словно присох к гортани и не мог произнести «нет». Я поднялся, дрожащим голосом попросил у графини извинения и повторил, что такое трудное поручение мне не по силам. Она снова рассмеялась, и сказала:

— Нынче вечером, хотя уже довольно поздно, здесь, в моей комнате, возможно, состоится встреча двух особ; они недавно поссорились, а я стараюсь их помирить. Они будут беседовать с глазу на глаз, но я надеюсь, что ты спрячешься за этой портьерой, у двери в мою спальню, все подслушаешь и потом расскажешь мне.

— Сударыня, — сказал я, — у меня вдруг страшно разболелась голова; разрешите мне уйти, я буду вам сердечно благодарен.

— Нет, нет, — возразила она, глядя на стенные часы, — мне срочно надо уходить, а ты должен остаться здесь и быть настороже. Я скоро вернусь.

Позвав служанку, она велела подать «кабриоле», — так назывались плащи модного тогда фасона; служанка принесла два «кабриоле», обе женщины оделись и поспешно вышли, оставив меня одного.

Трудно описать мое тогдашнее душевное состояние.

Ледяной холод пронзил мне грудь, как стальное лезвие кинжала. Мои прежние представления об Амаранте рухнули так резко, так внезапно, что все во мне перевернулось, мир был выбит из привычной колеи, все закружилось и неудержимо понеслось куда-то в бездну, как планета, вдруг отклоненная от своего пути силами притяжения. Выходит, Амаранта не просто шаловливая любительница интриг, нет, она — воплощение интриги и злой гений королевских дворцов, грозный дух, придающий почтенной старушке-истории облик наставницы в кознях и клевете; тот грозный дух, что смущал умы целых поколений, сеял вражду между народами, равно позоря монархии и республики, деспотические и либеральные правительства; Амаранта — олицетворение тайного, неведомого народу механизма, который действует на пространстве между воротами дворца и кабинетом короля; множество рук нажимают на его пружины, от них зависят честь, благосостояние, жизнь подданных, победы и поражения доблестных войск, слава нации: да-да, взяточничество, корыстолюбие, подкуп, несправедливость, симония, произвол, разврат в верхах — все это она, Амаранта! И, однако, как хороша, как соблазнительна! Таких красавиц сатана представлял взорам отцов пустынников, искушая их стойкость; такие дивные лица витают в воображении неопытных юнцов, сводя их с ума; такими идеальными образами заполняет свой красочный театр чаровница-фантазия, когда хочет обмануть нас, как детишек, верящих в реальность сказочных персонажей.

Меня ослепил яркий свет, я потянулся к нему и вот — ожог. Да, если можно так выразиться, я ощущал нечто вроде душевного ожога.

Мало-помалу оцепенение, в которое я впал после ухода моей госпожи, стало проходить, меня охватили негодование. Сама ее красота теперь внушала мне страх и побуждала бежать прочь. «Ни одного дня не останусь у нее, я здесь задыхаюсь, я боюсь здешних людей!» — кружа по комнате, восклицал я с жаром, словно кто-то меня слушал.

Вдруг за дверью зашуршали юбки, послышался шепот. Я подумал, что вернулась моя госпожа. Дверь отворилась, вошла женщина, но то была не Амаранта.

Если судить по ее величественной осанке, это была, как видно, очень важная дама. Приблизившись ко мне, она с удивлением спросила:

— А где же Амаранта?

— Ее нет, — резко ответил я.

— И что, она придет не скоро? — спросила дама с тревогой, явно огорченная тем, что не застала мою госпожу.

— Этого я сказать не могу. Хотя нет, я вспомнил, она обещала скоро вернуться, — весьма нелюбезно сказал я.

Дама молча уселась. Я тоже сел и, подперев кулаками подбородок, уставился в пространство. Прошу читателя не удивляться моему невежливому поведению — мне вдруг опротивело во дворце все и вся, я уже не считал себя слугою Амаранты.

Немного подождав, дама обратилась ко мне повелительным тоном:

— Ты знаешь, где Амаранта?

— Я же сказал, что нет, — с раздражением буркнул я. — Неужто я похож на человека, который сует свой нос, куда его не просят?

— Пойди позови ее, — сказала дама, даже не очень удивленная моим грубым ответом.

— Очень мне надо кого-то звать! Мне одно надо — поскорей вернуться домой.

Я был возмущен, зол, пьян от злости — только этим я могу объяснить свое тогдашнее

поведение.

— Разве ты не слуга Амаранты?

— И да и нет. Я, видите ли...

— Обычно она в эти часы не выходит. Узнай, где она, и скажи, чтобы немедленно шла сюда, — приказала дама, снова начиная тревожиться.

— Я сказал, не пойду, не хочу идти, потому что я — не слуга графиня. Я пойду домой, к себе домой, в Мадрид. Вы хотели бы поговорить с моей госпожой? Так поищите ее сами здесь, во дворце. Вы что думаете, я вам игрушка — швырять меня туда-сюда?

Озадаченная моей грубостью, дама на минуту даже забыла о своих тревогах. Лишь теперь до ее сознания дошло, что с ней разговаривают невежливо; она быстро встала и потянулась к звонку. Тут я впервые взглянул на нее повнимательней — могу подробно описать ее наружность.

Возраст дамы я бы определил как первую пору старости, хоть и сильно приукрашенной косметическими средствами, так что почти можно было спутать ее с молодостью, с той молодостью, которая увядает где-то годам к сорока восьми. Рост средний, фигура стройная, изящная; походка плавная и легкая — в хижинах такую увидишь изредка, но во дворцах она обычна. Румяное, заурядное лицо; правда, красивые черные глаза сверкали живостью и умом, но все портил рот со слишком тонкими губами — такие рты в старости западают, а нос пригибается к подбородку. Даже превосходные белые, ровные зубы не могли скрасить этот рот, который лет двадцать тому назад, возможно, был если не красивым, то правильно очерченным.

Руки насколько я мог судить по их обнаженной части, были, вероятно, главным украшением ее особы, единственным, что уцелело от былых прелестей. В одежде я не заметил ничего примечательного — скромное изящно сшитое платье, вполне соответствующее месту и времени.

Как я уже сказал, дама протянула руку к шнуру звонка, но не успела она позвонить, как снова отворилась дверь и вошла моя госпожа. Гостья очень обрадовалась ее приходу, а меня тут же отослали. Я направился в соседнюю комнату, через которую лежал путь в мою каморку; но когда я переступал порог, по моей спине мягко скользнула портьера, и я вдруг вспомнил о поручении Амаранты — шпионить и подслушивать. Я остановился, портьера полностью скрывала меня, все было слышно как нельзя лучше.

На миг меня охватило желание убежать, не совершать того, что мне недавно внушало такое отвращение: но любопытство взяло верх над благоразумием, и я не двинулся с места. Увы, греховность нашей натуры часто оказывается сильнее всех благих намерений. К тому же досада, злоба, отчаяние подстрекали меня отомстить, поступить с моей госпожой так же, как она хотела, чтобы я поступал с другими.

«А, ты приказала мне подслушивать? — злорадно сказал я себе. — Вот я и подслушаю».

Незнакомая дама испустила несколько горестных вздохов, кажется, даже всхлипнула. Затем сказала громко и взволнованно:

— Надо, чтобы Лесбию не привлекали к этому делу.

— Ее устранить будет очень трудно, ведь установлено, что именно она передавала письмо, — возразила моя госпожа.

— Но это необходимо, — продолжала дама. — Любой ценой надо добиться, чтобы Лесбия не была привлечена, не давала показаний. Я не решаюсь сказать Кабальеро об этом, но ты, ты сумеешь искусно вернуть словечко.

— Лесбия — самый заклятый наш враг, — сказала Амаранта. — Заговор принца был для этой негодяйки поводом, чтобы объявить нам войну. Какие сплетни она распространяет! Сколько нелепостей сочиняет! Змеиным языком она беспощадно жалит свою благодетельницу, да и на меня злится, распространяет про меня всякие ужасы.

— Наверно, все о делах давно минувших, — заметила тонкогубая дама. — Большую

оплошность ты сделала, сообщив ей эту тайну пятнадцатилетней давности, о которой ни одна живая душа не знала.

— Согласна, — задумчиво молвила моя госпожа.

— Но не надо падать духом, дорогая, — продолжала гостя. — Нам приписывают столько грехов и таких чудовищных, что можно считать это искуплением за те грехи, которые мы совершили в действительности, и находить утешение в мысли, что настоящие наши грехи сравнительно с теми, вымышленными, — это сущая безделица. Нет, имя Лесбии не должно упоминаться в деле. Предупреди об этом Кабальеро, не то завтра ее могут арестовать, а на допросе она непременно мне отомстит, у нее есть против меня страшные улики. Я в отчаянии, я знаю ее низость, ее наглость, она способна на самые гнусные поступки.

— Да, ей, наверное, известны важные тайны. Быть может, у нее даже хранятся какие-то письма или вещи?

— О да, — с волнением отвечала незнакомая дама. — Но ведь ты и так все знаешь — зачем же спрашиваешь?

— Ну что ж, как мне это ни тяжело, скажу Кабальеро, чтобы обошлись без нее. Мерзавка вчера похвалялась здесь, в этой комнате, что ее не посмеют тронуть.

— У нас будут другие возможности... Пока оставим ее в покое: И поделом мне за беспечность! Как я могла довериться ей? Как не разглядела, что под личиной веселья и легкомыслия прячется двоедушие и коварство? Я была глупа, меня пленила ее приветливость; она так старалась услужить, просто очаровала меня, и я, забыв об осторожности, делилась с нею всем. Вспоминаю, как мы втроем тайно уходили из дворца — было это лет пять тому назад, когда мы некоторое время жили в Мадриде. А потом я узнала, что в один из этих вечеров она донесла кое-кому, куда мы отправляемся, и меня выследили. Мы-то с тобой ничего не заметили, мы не знали, что Лесбия нас предала, и, если бы не одно удивительное совпадение, я бы еще долго не подозревала, какая она двуличная.

— Этот чванливый дурень Маньяра, — сказала моя госпожа, — совсем вскружил ей голову.

— Разве ты не слыхала, что подлец хвастал перед гвардейцами, будто я в него была влюблена, да еще будто он мною пренебрег? Как тебе нравится! У меня и в мыслях не было любезничать с таким фатом, я его даже не замечала. Ах, Амаранта, ты еще молода, твоя красота в расцвете, воспользуйся же этим уроком. За каждый наш проступок мы расплачиваемся страшной ценой, нам приписывают во сто крат больше грехов, чем мы действительно совершаем. И даже наедине со своей совестью мы не можем сетовать на клеветников, одно слово правды среди тысячи поклепов повергает нас в смятение, особенно если нас обвиняют родные дети.

При этих словах она, кажется, заплакала. После краткой паузы я услышал голос Амаранты.

— Болван Маньяра, у которого на языке только быки, лошади и его генеалогия, удостоился чести пленить сердце Лесбии. Хороша парочка! Ведь это он вовлек ее в сношения со сторонниками принца, вдвоем они занимались передачей корреспонденции.

— Но ты, кажется, говорила, что Лесбия в связи с Исидоро? — спросила дама.

— Да, была, — ответила моя госпожа. — Но любовь эта была недолгая, как бы регентство, во время которого Маньяра оставался на троне. Лесбия приблизила к себе Исидоро из тщеславия, из кокетства и не порывает с ним. Исидоро и так влюблен безумно, а она еще разжигает его страсть, забавляясь страданиями бедняги-комедианта.

— Не думаешь ли ты, что можно было бы извлечь пользу из этого любовного треугольника?

— Безусловно! Исидоро и Лесбия встречаются в доме Ла Гонсалес, в театре...

— Ты можешь устроить так, чтобы Маньяра их там застал, и тогда...

— Нет, у меня есть лучший план. Зачем нам Маньяра? Я надеюсь перехватить какуюнибудь

записку или вещицу, которую Лесбия пошлет одному из своих двух любовников, и преподнесу это ее мужу. Хотя он чудак и нелюдим, но если узнает о проказах своей супруги, он прискачет навести порядок в доме.

— Отлично придумано, — сказала дама уже более веселым тоном. — А что ты намерена предпринять сейчас?

— Что подскажут обстоятельства. Скоро мы вернемся в Мадрид, там, в доме маркизы, готовятся ставить «Отелло». Лесбия будет играть Эдельмиру, Исидоро — Отелло, а остальные роли распределили между молодыми любителями.

— Когда состоится спектакль?

— Его отложили, так как на одну роль пока не удастся найти охотника, очень уж она невыигрышная; но, я думаю, подходящего актера найдут, нельзя же без конца откладывать. Герцог обещал приехать из своих поместий, чтобы присутствовать на спектакле. Когда все они соберутся вместе, будет гораздо легче разыграть какую-нибудь хитрую комбинацию и наказать Лесбию по заслугам.



— О да, ради бога, сделай это! Такую черную неблагодарность нельзя простить. Ты знаешь, Лесбия обвиняла меня в намерении погубить Ховельяноса?

— Да, слыхала.

— Подумай, какая низость! — гневно произнесла незнакомая дама. — Я, правда, терпеть не могу этого педанта, этого зазнайку, который вечно лезет с поучениями, когда его не просят; но

мне кажется, что его заточение в крепости Бельвер — достаточная кара; мне никогда в голову не приходили такие преступные мысли, даже подумать страшно.

— Лесбия очень ловко распустила слух, будто Ховельяноса хотят отравить, и все ей верят, — сказала Амаранта. — Ах, сударыня, эту женщину надо хорошенько проучить!

— О да, но только не привлекать к делу принца, тогда пострадаю я. Мануэль нынче вечером очень настаивал на этом, а его советов надо слушаться. Со своей стороны Мануэль старается ей вредить, чем только может. Когда узнал, какие гнусности она возводит на меня, он сразу же уволил всех, кто получил должность по ее рекомендации. Меня растрогало это проявление любви.

— Недурно было бы дать Маньяре почувствовать на себе железную хватку генералиссимуса.

— Разумеется, Мануэль обещал найти способ возбудить против него дело и выгнать его из лейб-гвардии. О, Мануэль не дремлет; после того как мы с твоей помощью помирились, он так нежен ко мне, так предупредителен. На свете нет второго человека, который бы так понимал мой характер и умел даже отказам своим придать столько остроумия и изящества. Теперь я как раз с ним воюю, чтобы он дал мне одну митру.

— Для моего протеже, капеллана женского монастыря в Пинто?

— Нет, для дядюшки Грегориљи, молочной сестры моего малыша. Она, видишь ли, вбила себе в голову, что ее дядя должен стать епископом. А почему бы и нет? Чем он хуже других?

— И князь сопротивляется?

— К сожалению да; говорит, что дядя Грегориљи еще два года назад, до принятия духовного сана, был контрабандистом и что он невежда. Конечно, Мануэль прав, моего кандидата никак не назовешь светочем христианской церкви, но, милочка, как поглядишь на других... Вот, например, мой кузен, кардинал де ла Эскала; в латыни он не сильнее нас с тобой, и если бы он держал экзамен, то его, наверно, не допустили бы и в простые монахи.

— Но ведь такое назначение — это дело Кабальеро, — сказала Амаранта. — Он тоже против?

— Кабальеро? О нет. Он мне лучший друг. С тех пор как он отдал под суд и сослал на каторгу гвардейца и крестьянина, которые узнали нас, переодетых, на гулянье в канун праздника Сантьяго, я ему от души признательна. Кабальеро делает только то, что нам угодно; он способен возвести в ранг королевского советника любого тореро, стоит лишь приказать. Образцовый подданный, долг свой исполняет беспрекословно. И как печется о благе государства! Если бы все министры были такими!

— Он может на свой страх и риск дать митру дяде Грегориљи?

— Нет, нет, Мануэль возражает самым решительным образом. Но я придумала средство заставить его уступить. Знаешь какое? Секретный договор с Францией, который через несколько дней будет подписан в Фонтенбло. По этому договору Мануэль получит корону Алгарвеса; но мы еще не решили, согласимся ли на раздел Португалии, и я Мануэлю сказала: «Не сделаешь епископом дядю Грегориљи, мы не утвердим договор и не быть тебе князем Алгарвеса». Он только смеется в ответ, а все же... Стоит мне захотеть, и я настою на своем, вот увидишь.

— Тем более что такие назначения укрепляют нашу партию. Но он-то хотя бы знает, что партия принца становится все сильнее?

— Ах, Мануэль очень огорчен, — грустным тоном ответила дама, — и, что еще хуже, испуган. Уверяет, что добром это не кончится, предчувствия у него самые мрачные. От последних событий он совсем приуныл, говорит мне; «Я совершил много грехов, близится день искуплений». А как он добр! Поверишь ли, он оправдывает моего сына, уверяет, что принца обманули и совратили все эти честолубцы, что увиваются вокруг него. Ах, мое сердце разрывается на части, ведь я — мать. Но я не могу простить принца. Мой сын — подлец.

— И что ж, Мануэль надеется предотвратить грозящие нам беды? — спросила моя госпожа.

— Не знаю, — уныло отозвалась гостья. — Я тебе уже сказала, Мануэль очень удручен. Он, правда, надеется, что вскоре сумеет сурово покарать заговорщиков, но есть кое-что важнее всего этого...

— Бонапарт?

— Нет, не то. Бонапарт, вероятно, поддержит нас, хотя принц изображает его своим другом. На этот счет Мануэль меня успокоил. Если Бонапарт на нас рассердится, мы дадим ему двадцать — тридцать тысяч солдат — пусть возьмет в свое войско испанцев, как взял итальянцев. Это очень просто и никому не повредит. Удручает нас другое: то, что происходит в самой Испании. По словам Мануэля, все любят принца, считают его образцом добродетели, а нас, бедного Карла и меня, ненавидят. Прямо не верится. Что мы сделали, чтобы нас так ненавидеть? Клянусь честью, мне очень обидно, я даже решила как можно дольше не возвращаться в Мадрид. Этот город мне опротивел.

— Я ваши страхи не разделяю, — сказала Амаранта. — Я надеюсь, что, когда накажут заговорщиков, ядовитая трава не даст новых побегов.

— Мануэль приложит все усилия, так он мне сказал. Но необходимо избежать скандала, уберечь нашу репутацию. И сегодня вечером, когда Мануэль был у меня, он умолял, чтобы я с твоей помощью устранила из дела все связанное с Лесбией — ведь она хранит у себя компрометирующие документы и своими разоблачениями может жестоко нам отомстить. Ты знаешь, какая она клеветница и интриганка. После разговора с Мануэлем я места себе не находила, пока не повидалась с тобой. Но ни ему, ни мне нельзя говорить с Кабальеро; пожалуйста, сделай это ты и уладь все, как ты умеешь. Ах, чуть не забыла! Кабальеро хочет орден Золотого Руна, можешь смело ему обещать. Он, правда, не из тех, кому следовало бы носить такой высокий орден, но это неважно — думаю, он сумеет оправдать награду своей преданностью. Исполнишь мою просьбу?

— Конечно, сударыня, не тревожьтесь.

— Тогда я могу уйти спокойно. Надеюсь на тебя, как всегда, — сказала гостья, поднимаясь.

— Лесбию на допрос не вызовут, но у нас еще будет возможность расправиться с ней по заслугам.

— Что ж, прощай, милая Амаранта, — сказала дама, целуя мою госпожу. — Благодаря тебе я эту ночь буду спать спокойно. Немалое утешение в такие тяжкие времена иметь верную подругу, готовую на все, чтобы помочь тебе.

— Прощайте!

— Уже поздно. Боже, как поздно!

Обе пошли к двери, а там, за дверью, поджидали другие две дамы, в сопровождении которых гостья, еще раз поцеловав мою хозяйку, удалилась. Оставшись одна, Амаранта направилась в ту комнату, где был я. Первой моей мыслью было убежать, но я тут же раздумал. Войдя и увидев меня, Амаранта была до крайности изумлена.

— Ты здесь, Габриэль? — воскликнула она.

— Да, я здесь, сударыня, — спокойно ответил я. — Я приступил к исполнению своих обязанностей, как вы велели.

— Как? — возмутилась она. — Ты посмел? Ты подслушал?

— Сударыня, вы были правы, у меня отличный слух. Ведь вы сами приказали мне наблюдать и слушать...

— Но я имела и виду другое... Понятно тебе? Да ты, я вижу, чересчур проворен, избыток усердия может тебе дорого обойтись.

— Сударыня, — с невинным видом сказал я, — мне хотелось поскорее усвоить эту науку.

— Хорошо, ступай. Но помни: кто мне верно служит, тех я щедро награждаю, а обманщиков и предателей наказываю беспощадно. Я все сказала. Проболтаешься — будешь меня помнить до конца дней. Иди.

На следующее утро ваш покорный слуга встал в отвратительном настроении — мне хотелось как можно быстрее убраться из Эскориала. Чтобы обдумать на свободе план действий, я отправился в монастырский сад; размышляя там о своем положении. Я чувствовал, что голова моя горит, меня осаждал рой мыслей, о которых я могу поведать благосклонному читателю.

Кто в первой книге о моей жизни читал главу, описывающую мое праздное присутствие при Трафальгарском сражении, те помнят, что в этот знаменательный час, когда все мои чувства были как бы обострены величием и значительностью происходящего, я очень отчетливо представил себе, что такое «родина». И вот теперь, при других обстоятельствах, когда крах моих нелепых надежд перевернул все мое существо, сознание бедняги Габриэля обогатилось новым приобретением огромной ценности: понятием «честь».

Какое открытие! Я вспоминал, что говорила мне Амаранта, и, сравнивая ее взгляды и убеждения со своими мыслями, смесью наивного тщеславия и юношеского честолюбия, невольно проникался гордостью за самого себя. И я говорил себе: «Я человек честный, я испытываю неодолимое отвращение ко всему подлому, гнусному, что может унижить меня в моих глазах; кроме того, едва я подумаю, что мог бы навлечь на себя презрение людей, вся кровь во мне вскипает, я прихожу в ярость. Да, я хочу стать выдающимся человеком, но так, чтобы мои поступки возвысили меня в глазах людских и моих собственных, — на что хвала толпы глупцов тому, кто себя презирает? И если мне суждено долго жить, каким великим утешением будет сознание, что я доволен своими поступками и, ложась вечером в постель, хорошенько укутавшись в одеяло, говорить себе: «Нынче ты не сделал ничего против бога и людей. Я доволен тобой, Габриэль».

Читатели, наверно, уже заметили, что в своих монологах я обычно беседовал сам с собой, как с другим человеком.

И, странное дело, пока я размышлял обо всем этом, образ Инес неотступно витал передо мной и мысль о ней порхала в мозгу, словно те мотыльки или птички, которые, по народному поверью, появляясь в дни печали, сулят добрые вести.

Таково было мое душевное состояние, когда я увидел невдалеке дона Хуана де Маньяра, в военной форме. Он тоже меня заметил, остановился и окликнул меня с таким радостным видом, точно эта встреча была для него приятнейшей неожиданностью. Видимо, он, как уже было не раз, хотел меня о чем-то попросить.

— Габриэль, — сказал он доверительным тоном, вынимая из кармана золотой, — это будет твое, если окажешь мне одну услугу.

— С удовольствием, сударь, — отвечал я, — только не в ущерб моей чести.

— Вот как! Да откуда у тебя, бездельника, честь?

— Она у меня есть, господин офицер, — сердито ответил я, — и я желал бы иметь возможность доказать вам это на деле.

— Вот я и предоставляю тебе такую возможность. Служить дворянину и знатной даме — разве не честь для тебя?

— Скажите, что я должен сделать, — заявил я, страстно желая, чтобы блестевший передо мной дублон перешел в мое владение и чтобы при этом не пострадало мое достоинство.

— Да сущий пустяк, — усмехнулся щеголь, вытаскивая из кармана письмо. — Снеси это письмецо сеньоре Лесбии.

— Что ж, не возражаю, — сказал я, решив, что для меня, слуги, в передаче посланий нет ничего зазорного. — Давайте нашу записку.

— Но знай, — сказал он, подавая ее мне, — выполнишь поручение плохо или бумажка эта попадет в чужие руки — ты будешь всю жизнь меня помнить, если только останешься жив после того, как моя трость пересчитает твои ребра.

С этими словами гвардеец пребольно сжал мне руку, показывая готовность исполнить угрозу. Я обещал сделать все, как велено; так беседуя, мы пришли на главный двор, там, к моему удивлению, оказалось много народу, среди которого, подобно зловещим воронам, кружили судейские чиновники и писцы. При виде их спутник мой вздрогнул, побледнел и, кажется, даже послал сквозь зубы проклятье этим черным хищникам, всегда являющимся не вовремя. Я сразу смекнул, что ко мне это мрачное сборище не имеет ровно никакого отношения; расставшись с офицером у входа в гвардейскую казарму, я спрятал получше письмо и монету и бегом поднялся по небольшой лестнице прямехонько в покои сеньоры Лесбии.

Меня сразу провели к ее светлости. Лесбия, стоя посреди комнаты, патетическим тоном читала по тетрадке знаменитые стихи:

— Судьба — мне лютый враг.
Преступен для тебя мой каждым взгляд и шаг.
— И все, коварная, тебя изобличает.

Она учила роль. Увидев меня, герцогиня перестала читать, и я имел удовольствие отдать ей письмо в собственные руки. «Ну, кто бы сказал, — подумал я при этом, — что такая прелестная женщина — одна из самых продувных бестий на земле?»

Когда Лесбия начала читать письмо, щеки ее зарделись, на губах заиграла улыбка — она была обворожительна! Закончив чтение, она посмотрела на меня и с легкой тревогой спросила:

— Разве ты не служишь у Амаранты?

— Уже не служу, сударыня, — ответил я. — Со вчерашнего вечера, а теперь отправляюсь в Мадрид.

— Ах, так! Прекрасно, — сказала она, успокаиваясь.

А я тем временем представлял себе, как обрадовалась бы Амаранта, если бы я совершил подлость, отнес бы ей это письмо. Вот сразу и представился случай поступить как должно человеку хоть и незначительному, но порядочному!

Лесбия же не преминула позлословить о своей приятельнице.

— Амаранта чересчур строга и сурова со своими слугами.

— О нет, сударыня! — воскликнул я, довольный тем, что могу еще раз поступить по-рыцарски и защитить от оскорбления свою госпожу. — Сеньора графиня обходится со мной очень хорошо; просто я больше не хочу служить во дворце.

— Значит, ты ушел от Амаранты?

— Окончательно ушел. Еще до полудня я уеду в Мадрид.

— А не хочешь ли поступить ко мне?

— Нет, я решил учиться какому-нибудь ремеслу.

— Стало быть, ты теперь — вольная птица, ни от кого не зависишь и больше не пойдешь к своей бывшей госпоже?

— Я простился с ее сиятельством и уже к ней не зайду.

Первое было ложью, но второе — чистой правдой.

Затем я отвесил глубокий поклон и собрался уходить, но Лесбия меня остановила.

— погоди. Мне надо ответить на это письмо, а раз ты сегодня свободен и никуда не должен являться, ты отнесешь ответ.

В приятной надежде, что мой капитал увеличится еще на один дублон, я стал рассматривать расписной плафон и стенные гобелены. Закончив письмо, Лесбия тщательно его запечатала и вручила мне, приказав отвести немедленно. Так я и сделал. Но каково же было мое изумление, когда, подойдя к гвардейской казарме, я увидел, что моего красавчика офицера выводят оттуда под конвоем двух солдат. Я задрожал, как отравленный ртутью, испугавшись, что и меня могут арестовать. Хотя человек я был маленький, но знал, что это не спасет меня от судебных: желая показать свое рвение в деле государственной важности, они, конечно, постараются напихать в свои объемистые протоколы побольше всяких имен.

Но все же любопытство взяло верх, и я совершил неосторожность: вошел в казарму разузнать, что случилось. И тут какой-то субъект, длинный и тощий, как скелет, с ястребиным носом, на котором красовались нелепые очки, и с длиннющими зубами такого же цвета, обратил ко мне свою прелестную физиономию, уставился на меня чрезвычайно внимательно и гнусным, скрипучим голосом произнес:

— Сдастся мне, этому мальчишке арестованный передал письмо незадолго до того, как был задержан.

Холодный пот заструился по моему телу при этих словах, я потихоньку повернулся, готовясь улигнуть, но не тут-то было! И двух шагов я не прошел, как в плечо мне впились ястребиные когти, иначе не назову острые, крепкие ногти изверга в нелепых очках, — теперь я был в его власти. Я оцепенел от ужаса. До конца дней буду помнить минуту, когда на меня глянула эта мерзкая рожа с круглыми стеклами очков, за которыми сверкали неподвижные, пронзительные, по-кошачьи суженные зрачки, и с зелеными острыми зубами, хищно обнажившимися, словно готовясь вонзиться в меня.

— Потихонечко, сударик мой, не спешите, — сказал он. — Может статься, вы здесь нужней, чем где-либо в другом месте.

— Чем могу служить вашей милости? — нежнейшим голосом спросил я, понимая, что такому старому волку не удастся пустить пыль в глаза.

— А это мы посмотрим, — ответил он со злобным рычаньем, услышав которое я препоручил душу господу.

И пока этот стервятник, ухватив меня за шиворот огромной лапой, тащил жертву в соседнюю комнату, я лихорадочно обдумывал, что сказать, как выкрутиться из такой передраги. Мгновенно все прикинув, я рассудил так: «Габриель, эти минуты — решающие. Сопrotивляться, отбиваться — бесполезно. Попытаешься удрать — ты погиб. Итак, если ты непустишь в ход хитрость, чтобы вырваться из когтей этого мошенника, готовящегося схоронить тебя под горой гербовой бумаги, можешь читать предсмертную молитву. Не забывай, к тому же, что в твоих руках честь дамы, — бог знает, что она там написала в своем треклятом письме. Итак, дружище, смелость и спокойствие, посмотрим, чья возьмет».

К счастью, в тот миг, когда судебский уселся на деревянную лавку и, поставив меня перед собой, приготовился начать допрос, господь вразумил меня. Я вдруг вспомнил, что видал этого свирепого крючкотвора в покоях Амаранты, — только там он угодливо кланялся и лебезил, — и что моя прежняя госпожа относится враждебно к тем, кого сейчас собирались судить. Это помогло мне наметить план избавления от злобного чудовища.

— Стало быть, ты, мошенник, бегаешь взад-вперед, письма носишь? — спросил он, приступая к исполнению своих судебных обязанностей и, видимо, с удовольствием воображая груды гербовой бумаги, которыми он меня завалит. — Сейчас мы выясним, кому адресованы эти цидулки — может, ты помогаешь заговорщикам сноситься с арестованными и обманывать правосудие?

— Сеньор лицензиат, — отвечал я, немного успокаиваясь, — ведь вы меня не знаете и,

верно, смешали с теми негодниками, которые носят записочки узникам в «Дель Новисиадо».

— Да ну? — восторгнулся он. — Ты уверен, что это делается?

— Право слово, сударь, — ответил я уже совсем храбро. — Извольте, ваша милость, сходить во двор Выздоравливающих, и вы увидите, как из окошка на третьем этаже монастыря передают письма на концах длинных тростниковых шестов.

— Да что ты говоришь?

— То, что слышите, а если пожелаете увидеть своими глазами, то спешите — сейчас как раз сиеста, время, которое злодеи выбрали для своих гнусных дел. Думаю, вашей милости следовало бы наградить меня за сообщение: теперь вы сможете оказать нашему любимому государю огромную услугу.

— Но через тебя, я знаю, посылал письмо молодой офицер. Первым делом давай-ка это письмо сюда, не то ты у меня попляшешь...

— Разве сеньор лиценциат не знает, что я — паж ее сиятельства сеньоры графини Амаранты? И что моя госпожа, благодарение богу, очень меня любит? Она тысячу раз говорила, что, если кто хоть кончиком пальца меня заденет, тому — конец.

Судейский как будто начал припоминать — он и в самом деле несколько раз видел меня у графини. Сатанинская его физиономия чуть смягчилась.

— Вам, сеньор лиценциат, разумеется, известно, — продолжал я, — что сеньора графини обо мне очень заботится; убедившись, что я достоин лучшего, чем нынешнее мое занятие, она решила дать мне образование и сделать из меня человека. Я уже начал учиться у отца Антолинеса, а потом вступлю в Пажескую школу. Мы недавно обнаружили, что хоть сейчас я беден, но происхожу из дворянского рода, потомок по прямой линии не то герцогов, не то маркизов с Чафаринских островов.

Судейский слушал очень внимательно, это придало мне дерзости, и я продолжал:

— Сейчас я шел к моей госпоже, она меня ждет, и, если только узнает, что сеньор лиценциат меня задержал, она сильно разгневается. Надо вам знать, сеньор лиценциат, что госпожа велела мне гулять по здешним дворам и галереям да слушать, о чем толкуют сторонники тех, кто арестован; все это она записывает в большую книгу, вот с эту скамейку, на которой вы сидите. Графиня намерена разоблачить до конца темные дела заговорщиков и очень дорожит моей помощью. По ее словам, без меня она не знала бы и половины того, что знает. Например, о тростниковых палках никто не знает, кроме меня; так что вы, сеньор лиценциат, можете быть мне благодарны, вам первому я сказал об этом.

— Пожалуй, ты не соврал, что сеньора графиня тебе покровительствует. Сейчас я и сам вспоминаю — несколько раз слышал, как она об этом говорила. Но вот чего я не пойму — неужели твоя госпожа переписывается с нашим офицериком?

— Это и мне показалось странным. Госпожа всегда говорила, что он из тех, кого в первую очередь надо засадить в тюрьму. Но, видите ли, сеньор лиценциат, я ведь только отнес письмо от него к моей госпоже. Он испугался, что его тоже схватят, и решил просить покровительства у сеньоры графини, надеясь избежать справедливой кары.

— А, сеньор Маньяра, негодник, интриган! — воскликнул служитель правосудия. — Вы хотели ускользнуть от нас, вы надеялись на защиту особы, выказывающей величайшую преданность нашему государю!

— Но напрасны были все его старания, дорогой мой сеньор лиценциат, — в восторге подхватил я. — Госпожа с презрением разорвала письмо и велела передать на словах, что ничем не может ему помочь.

— Так ты для этого пришел сюда?

— Совершенно верно. Я и раньше знал, что сеньор офицер останется с носом. И я этому

рад, очень рад. Только подумать, негодяи хотели отнять у короля престол, а у королевы жизнь! Так пусть же их постигнет расплата, всех на виселицу! А если судьи дадут промашку, сеньор Князь Мира не станет церемониться.

— Ладно, — сказал он, чуть подобрев, но все же глядя на меня с подозрением. — Пойдем-ка вместе к твоей госпоже, пусть она подтвердит твои слова.

— А она сейчас не у себя, она пошла к Князю Мира, чтобы ему рекомендовать меня для вступления в Пажескую школу. И если вы, сеньор лицензиат, не поторопитесь, вы не увидите, как там, в монастыре, спускают тростниковые шесты с балконов третьего этажа. Ступайте сперва удостоверьтесь, а потом приходите к моей госпоже — я вас подожду в ее покоях. Она будет предупреждена и примет вас как дорогого гостя — ведь она вас очень ценит и уважает.

— Правда? Ты хоть раз слышал, что она обо мне так отзывалась? — встрепнулся он.

— Хоть раз? Скажите лучше, тысячу раз. Давеча вечером она больше двух часов толковала о вас с Князем Мира и с маркизом Кабальеро.

— В самом деле? — сказал он, растягивая губы в безобразной ухмылке и обнажая по всей красе свои зеленозубые челюсти. — И что она говорила?

— Что только благодаря сеньору лицензиату удалось раскрыть все подробности заговора, и еще многое другое говорила, о чем я не решаюсь сказать, — как бы не смутить вашу скромность.

— Да, говори же, плут, ничего не пропускай.

— Она, стало быть, расхваливала вашу милость, восхищалась вашими способностями, ученостью и умением находить нужные законы — из-под земли, мол, выкопаете. Потом еще сказала, что если сеньора лиценциата не назначат советником по делам Индий или в совет алькальдов королевского дворца и столицы, бог этого не простит.

— Так и сказала? Вижу, ты малый толковый и надежный. Передай сеньоре графине, что я через полчаса зайду посоветоваться по вопросам чрезвычайной важности. Пусть не сомневается в моем уважении к ней. А что до тебя, так я, знаешь ли, сперва подумал, что офицерик передал тебе письмо для герцогини Лесбии.

— Вот еще! Да я к ней ни ногой, моя госпожа с нею в ссоре.

— Сегодня, — продолжал он, — будут приняты меры, чтобы взять под стражу и эту даму — она ведь замешана в заговоре, как и ее супруг, сеньор герцог.

— Сеньору Лесбию тоже арестуют? — с удивлением воскликнул я.

— Да-с! Мои коллеги, наверно, уже отправились к ней, чтобы сообщить об этом. Итак, приятель, ступай к своей госпоже и предупреди, что я вскоре явлюсь с визитом.

Я, конечно, поспешил распрощаться с этим кровопийцей и, вознося благодарения богу, вышел из казармы, очень довольный успехом своей выдумки. Первой моей мыслью было бежать к Лесбии — возвратить письмо, а главное, предупредить о грозящей опасности. Однако поднявшись по лестнице, я увидел, что в ее покоях уже хозяйничают судейские. Надо было удирать из дворца, в любую минуту я снова мог попасться в лапы свирепому лицензиату, который, побеседовав с моей госпожой, узнает, как нагло я ему врал. «Ах, ноги мои, ноги, послужите мне в дороге!» — сказал я себе, мигом слетал в свою каморку, кое-как связал одежду в узел и, ни с кем не прощаясь, ушел из дворца и из монастыря с намерением идти без остановки до Мадрида.

Хотя мой страх еще не прошел, все же я решил запастись едой. Купив на городском рынке самое необходимое, я двинулся в путь, ежеминутно озираясь: мне все чудилось, что за мною гонится лицензиат. Пока не исчезли из виду купол и башни грозного монастыря, душа моя была не на месте; только после двух часов быстрой ходьбы я присел на обочине и подкрепился хлебом, сыром и виноградом, уже не опасаясь, что железные когти слугителя правосудия снова вонзятся в мое плечо.

После краткого отдыха я немного отошел, повеселел и принялся хохотать во все горло, вспоминая, как ловко врал ради своего спасения: совесть нисколько меня не мучила, хоть я и наплел лиценциату три короба: ведь эта ложь не нанесла ущерба ничьей чести и, главное, была единственным оружием, которым я мог защититься от жестокого и совершенно несправедливого обвинения. Опасности обостряют ум; до того дня я сам не подозревал, что способен выдумывать такие нелепицы. Правильно говорят, что обстоятельства делают человека глупым иль умным; в зависимости от них тупицы умнеют, а умники, гордые своей проницательностью, глупеют.

Миновав Торрелодонес, и увидал караван мулов; за небольшую плату погонщики разрешили мне сесть верхом, и я с удобствами прибыл в Мадрид уже глубокой ночью.

Так как было поздно, я решил, что к Инес зайду завтра утром, а пока отправился к Ла Гонсалес, которая еще не спала и как будто даже не собиралась ложиться. Мое появление очень ее удивило, она сразу же начала расспрашивать, что случилось и все ли в порядке у сеньоры Амаранты. Потом посыпались вопросы о заговоре, который, по ее словам, наделал шуму во всем Мадриде. Когда любопытство Пепиты по всем этим пунктам было удовлетворено, она сказала, что от Лесбии было письмо: герцогиня через несколько дней намерена прибыть в столицу, чтобы готовить роль Эдельмиры.



Я падал с ног от усталости и больше всего мечтал о постели, однако рассказал историю с письмом и сообщил грустную весть об аресте герцогини. Пепита сильно взволновалась, она попросила отдать письмо ей, но я отказался, клянясь, что буду его хранить до тех пор, пока не сумею отдать в собственные руки той, от кого получил. Пепита не настаивала, и больше об этом речи не было. Я сказал, что решил обучиться какому-нибудь ремеслу и для того, оставив службу у Амаранты, возвратился в Мадрид. Затем я улегся, мечтая, чтобы поскорей настало утро и я мог повидать Инес. Нечего и говорить, что спал я как убитый, а когда утром проснулся и поспешно вскочил кровати, меня ждало большое огорчение: одеваясь, я хотел проверить, на месте ли письмо Лесбии, — увы, оно исчезло. Я обыскал все карманы, перебрал весь узелок, общарил все

углы, письма не было нигде. Вконец расстроенный, я со страхом думал о том, что письмо могло попасть в чужие руки. Я рассказал Пепите, какая приключилась беда, и спросил, не нашла ли она где-нибудь на полу это злосчастное письмо, — может, я его обронил. Плутовка расхохоталась и с поразительным бесстыдством ответила:

— Нет, Габриэлильо, я его не находила, а просто ночью, когда ты уснул, зашла на цыпочках в твою комнату и вытащила письмо из кармана куртки. Вот оно у меня, я его прочла и ни за что не отдам.

Возмущенный до глубины души, я потребовал у нее письмо, говоря, что моя честь велит возвратить его Лесбии и никому не давать читать. Но Пепита заявила, что никакой чести у меня нет и зря я об этом тревожусь, а письмо-де она не отдаст, хоть бы ей вlepили столько ударов плетью, сколько в этом письме букв. Мотом она прочитала письмо вслух; если не ошибаюсь, там значилось следующее:

«Любимый Хуан! Прощаю нанесенное мне оскорбление и все прошлые обиды, но, если хочешь, чтобы я поверила в твое раскаяние, докажи его на деле: приди нынче вечером ко мне ужинать, и тогда я постараюсь рассеять твою беспричинную ревность и доказать тебе, что никогда не любила и не могу полюбить Исидоро, этого дикаря, этого чванливого комедианта, с которым я иногда беседовала лишь для того, чтобы позабавиться его глупой страстью. Приходи непременно, если не хочешь, чтобы сердилась твоя Лесбия. Не бойся, тебя не арестуют. Скорее арестуют короля».

Прочитав, Ла Гонсалес сунула письмо за корсаж и сказала со смехом и шутками, что не вернет его и за десять тысяч дуру. Все просьбы были напрасны: утомившись твердить одно и то же, я ушел, весьма удрученный этим происшествием, но с тайной надеждой, что, повидав Инес, снова обрету хорошее настроение. С волнением приближался я к их дому и, глядя на балкон, говорил себе: «Уж наверно, она не думает, что я только что свернул на эту улицу! Сидит там небось за занавеской, а ведь, чтобы меня увидеть, ей всего только надо выглянуть в окно; так нет же, не увидит, пока я не войду в дом».

Вот, наконец, их дверь, но, как только мне отворили, я понял, что в доме случилась беда, — Инес не выбежала мне навстречу, хотя я, ступив через порог, сразу же громко ее позвал. Вместо нее меня встретил отец Селестино с таким вытянувшимся лицом, что это вряд ли можно было объяснить только недоеданием.

— Сын мой, ты явился в тяжкую минуту, — сказал он. — Большое горе постигло нас. Моя сестра, несчастная Хуана, умирает, надежды нет.

— А Инес?..

— Инес здорова, но можешь себе представить, в каком она состоянии, как измучилась за эти дни. Она не отходит от матери, и если это затянется, боюсь, что бог возьмет к себе и мою племянницу, нашего кроткого ангела.

— Мы всегда говорили донье Хуане, чтобы она не работала так много.

— Что ты хочешь, сын мой! — вздохнул он. — Хуана содержала всю семью, потому что меня, видишь ли, еще не назначили ни священником, ни капелланом, ни коадьютором, не дали ни ренты, ни пенсии, как обещали... Но я все же уверен, что самое позднее на следующей неделе мои надежды исполнятся. А для моей латинской поэмы я никак не найду издателя, который взялся бы ее напечатать, даже с приплатой. Таково наше положение. Не знаю, что с нами будет, если сестра умрет.

При этих словах бедный старик отчаянно зевнул, едва не вывихнув челюсти, и я понял, что он, ко всему, еще и голоден. Сердце защемило от жалости, но, к счастью, у меня были при себе кое-какие деньги — прежние сбережения да еще дублон Маньяра, — и я мог сделать широкий жест. Засовывая руку в карман, я сказал:

— Ваше преподобие, в честь ренты, которую вы получите на следующей неделе, я угощаю вас отбивными котлетами.

— Спасибо, я сыт, — отвечал он, стараясь быть деликатным, — кроме того, я не хочу, чтобы ты тратился. Но если ты голоден, вели купить мяса, и мы вмиг сготовим тебе отбивные.

Я попросил соседку сходить за мясом, а сам, снедаемый нетерпением, отправился искать Инес. Нашел я ее в спальне, у постели матери, которая крепко спала.

— Инесилья, дорогая моя Инесилья! — кинулся я к ней и осыпал ее поцелуями.

Вместо ответа Инес взглядом указала на больную и сделала мне знак не шуметь.

— Твоя матушка непременно выздоровеет, — прошептал я. — Ах, Инесита, как я мечтал тебя увидеть! Я пришел сказать, что я — идиот, а ты мудрее самого Соломона.

Инес смотрела на меня с кроткой улыбкой, словно и раньше знала, что я приду к ней с таким признанием.

Моя милая разумница была очень бледна от бессонных ночей и тревог, но насколько красивей показались она мне, чем коварная Амаранта! Все теперь было иначе, мои чувства пришли в равновесие.

— Понимаешь, Инесилья, — сказал я, целуя ей руки, — все твои пророчества сбылись. Каюсь, я был дурак дураком, но мне повезло, я быстро понял свои заблуждения. Верно говорится, что молодым легко кружат голову всякие бредни и химеры. Но увы, не у всех есть добрый ангел, вроде тебя, чтобы наставить глупца уму-разуму.

— Значит, вашей милости не бывать ни капитан-генералом, ни вице-королем?

— Не бывать, дружочек, я уже охладел к дворцам и мундирам. Если б ты знала, как отвратительны некоторые вещи, когда на них смотришь вблизи! Кто хочет преуспеть во дворце, тот на каждом шагу совершает подлости, немыслимые для человека чести, — а у меня тоже есть своя честь, сударыня! Да ну их всех, забудем про вице-королевства и гордые мечты. Я был остолопом, и правильно говорит сеньор священник, твой дядюшка, что опыт — это пламя, которое и светит и жжет. Вот я обжегся как следует, но зато, голубка, знала бы ты, насколько я поумнел! Есть о чем рассказать.

— И ты больше не вернешься туда?

— Нет, сударыня, я остаюсь здесь, у меня есть план.

— Опять план?

— Да, опять. Только этот уж тебе понравится, капризуля. Я буду учиться ремеслу. Кем, по-твоему, лучше быть: ювелиром, мебельщиком, торговцем? Кем угодно, только не слугой.

— Неплохо придумано.

— А на дальнейшее у меня есть еще один план, еще лучший, — сказал я, сияя от счастья. — Да, крошка, по этому плану я намерен жениться на тебе.

Тут больная зашевелилась. Инес, поспешив к ней, не успела ответить на мое пылкое предложение.

— Мне шестнадцать лет, тебе пятнадцать — чего тут долго думать. Я обучусь ремеслу, заработаю вскоре кучу денег, а ты будешь их откладывать на нашу свадьбу. Вот посмотришь, как чудесно мы заживем! Согласна? Да или нет?

— Габриэль, — молвила она вполголоса, — мы теперь очень бедны. А если я останусь сиротой, будем еще бедней. Дядюшка четырнадцать лет ждет места, и ждет напрасно. Что с нами будет! Первое время ты ничего не сможешь заработать, так что оставь эти безумные мечты.

— Глупышка! Да я годика за четыре заработаю столько золота, сколько во мне самом весу! Ну, ладно, тогда и поженимся. А до тех пор просуществоем как-нибудь. Не зря господь наделил тебя умом, которому позавидует любой ученый церковник. Теперь я понял, что без тебя я — ничто, ноль без палочки.

— А прежде ты смеялся надо мной, когда я говорила: «Габриэль, ты идешь по дурному пути».

— Ты была права, умница. Но, видишь ли, человек так странно устроен, так часто ошибается и не понимает даже того, что происходит с ним самим! Когда я уходил из этого дома, я думал, что не люблю тебя; меня совсем обворожила та дама, и о тебе я почти забыл. Но это лишь казалось: я тебя любил и люблю больше жизни, только бывает, что наши духовные очи застилает пелена и мы не видим того, что происходит в нас... в нашей душе. Но и в это время, дорогая, твое личико возникало у меня в памяти всякий раз, когда я, решив не поддаваться капризам той проклятой дамы, думал о том, что человек должен добиваться счастья честными средствами.

Больная позвала дочку, и наша нежная беседа прервалась, но наряду с наслаждением, которое я испытывал, разговаривая с Инес, бог послал мне другую, не меньшую радость — я видел, как изголодавшийся дон Селестино ест отбивные, на что он, дабы не уронить свое достоинство, согласился только после долгих упрасиваний.

— Я недавно завтракал, Габриэль, — повторял он, — но если ты настаиваешь...

Пока он ел, мы заговорили об Эскориале, и старик, не скрывавший своих симпатий к Годю, сказал:

— Они правильно делают, надо вырвать зло с корнем. Подумать только, такой ужасный заговор против нашего доброго короля, королевы и Князя Мира, достойнейшего человека, моего земляка и друга, покровителя всех нуждающихся!

— Общее мнение здесь и в королевском дворце, — отвечал я, — на стороне принца Фердинанда, все считают, что это козни Годоя, желающего погубить принца.

— Мошенники, обманщики, подлецы! — в бешенстве воскликнул священник. — Что они в этом понимают! Знали бы они столько, сколько я, об интригах партии фердинандистов! Будьте спокойны, уж я все расскажу Князю Мира, когда пойду благодарить его за назначение, а произойдет это, как сказал мне чиновник в секретариате, не позже, чем на следующей неделе. Ах, если бы ты знал каноника дона Хуана де Эскоикис так близко, как я! Здесь его считают кротким агнцем, а ведь это величайший подлец в сутане. Кто как не он, воспротивился тому, чтобы мне дали место? А все из-за того, что на диспуте в Сарагосе, тридцать два года тому назад, на тему «*Utrum helemosinam...*»^[19], дальше забыл, я посадил его в лужу. С тех пор он затаил на меня злобу. Когда-нибудь на досуге, Габриэлильо, я расскажу тебе о бесчисленных гнусных происках, которые архидиакон из Алькараса пустил в ход, чтобы подчинить волю своего ученика. Да-да, мне известно многое. Он, он — душа всего, он плел эти гнусные сети, он вел переговоры с французским послом, мосье Богарнэ, предлагая отдать Наполеону пол-Испании с условием, чтобы наследного принца возвели на трон. Да-с, сударь, это так.

— А вы послушайте людей, — возразил я. — Все до небес превозносят сеньора де Эскоикис, а о первом министре говорят только дурное.

— Зависть, сын мой, черная зависть. Все выпрашивают у него должности, чины, пребенды, а так как он может жаловать их только людям порядочным, вроде меня, большинство, естественно, недовольно и ропщет, но все же... Кто может отрицать, что он совершил множество благих дел, например, способствовал просвещению, учредил пансион для пажей развивал ботанику, основал агрономические школы, акклиматизационные сады, запретил хоронить покойников в храмах... Да разве перечислишь все его полезные реформы! Как бы их ни осуждали невежды, они достойны величайших похвал и, я уверен, получают признание потомства. Придет время, я тебе расскажу еще кое-что, тогда ты изменишь свое мнение, а если и нет, с годами сам поймешь. Знаю, что если бы я вышел на улицу с такими речами, мадридцы сразу потащили бы меня кой-куда, но, дружок, *super omnia veritas*^[20].

— Поговорим лучше о другом, — сказал я. — Поглядите-ка на меня и попробуйте себе представить, что ваш покорный слуга, возможно, выхлопотал вам местечко.

— Ты? Да куда тебе! Это Годой хочет мне удружить. Да, да, он все сделает и без чьих-либо рекомендаций. Но знаешь ли, сын мой, если мне вскоре не дадут назначения, а Хуана умрет, нам придется туго, ох, как туго!

— Но ведь у доньи Хуаны, кажется, есть богатые родственники?

— Есть. Мансо Рекехо и его сестра Реститута, они торгуют тканями на Соляной улице. Но это скряги первостатейные, из тех, что говорят: «Довольно с тебя, обжора, и полутора изюминок». Для своих родных они пальцем не пошевелинут. Бедняжка Инес ни разу платочка от них не получила в подарок.

— Негодяи!

— Когда я приехал в Мадрид, четырнадцать лет назад, я познакомился с этим Рекехо. Хуана уже овдовела, Инес была совсем крошка, но такая же хорошенькая и ласковая, как теперь. Я обратился к этому родичу Хуаны с просьбой о помощи для его бедной кузины, а он мне сказал: «Ничего не могу для них сделать, Хуана отказалась от всей своей родни, а что до Инесильи, я почти уверен, что она не нашей крови. Я слышал, будто она из приюта, хотя Хуана выдает ее за родную дочь». Отговорка, всего лишь отговорка, чтобы оправдать свою скупость. Так я и не смог переубедить изверга и с той поры больше к нему не хаживал.

— Значит, на них надеяться нечего?

— Считаю, что их нет на свете.

Его слова заставили меня призадуматься над судьбою несчастной семьи. Ах, владей я сокровищами Креза, я все бы их положил в рабочую корзиночку моей Инесильи! Как никогда остро, я почувствовал, что для человека честного самая насущная потребность — не продавать свою совесть. У меня не было денег. Как их раздобыть?

Я снова отправился к Инес, мне хотелось непрерывно говорить ей нежные слова, чтобы она чувствовала мою преданность. Мы еще немного побеседовали, и я ушел, размышляя, как бы вынудить дону Селестино, без ущерба для его гордости, взять у меня полученный от Маньяры дублон «Проклятые деньги! Где вас найти?» — твердил я про себя.

Не успел я войти в дом, как Ла Гонсалес выбежала мне навстречу; меня немало удивил ее веселый вид — то было порывистое, лихорадочное возбуждение ребенка, который хохочет, поет, колотит и ломает все, что попадает под руку. Говоря со мной, она то и дело сама себя перебивала, чтобы пропеть куплет или припевку, которыми были щедро уснащены сайнете ее репертуара.

— Чему вы так веселитесь, сударыня?

— Я получила письмо от сеньоры маркизы, — ответила Пепита, — завтра она приезжает закончить последние приготовления. Мне поручено вести спектакль.

Вверх дном летит солонка,
к яйцу у нас нет соли —
все шуточки котенка.

— В добрый час. А что маркиза пишет о сеньоре Лесбии?

— Что ее освободили через полчаса; оказалось, против нее нет никаких улик. И дона Хуана отпустили. Скоро оба они будут здесь, и представление не отложит. Вот радость-то! А я буду вести спектакль.

Ах, как мы все смеялись,
когда глупцы-цыгане
ослами поменялись!

— Желаю успеха.

— За одним остановка, Габриэль, — продолжала она. — Ты ведь знаешь, никто из этих господ не желает играть Песаро, потому что он подлец. Один из наших, Перико Ринкон, обещался за тысячу реалов, да он, видишь ли, свалился с воспалением легких, а представление назначено на шестое, прямо не знаю, как быть. Может, ты взялся бы сыграть Песаро?

— Я? Чтобы я играл? — вырвалось у меня. — Нет, я не хочу быть комедиантом!

— Так ты ж, дурачок, будешь играть как любитель, и, знаешь, за честь показаться на подмостках театра маркизы многие франты последнее бы заложили. А я веду спектакль.

— Дома все мне говорят,
что я важничаю очень,
потому что в писарях
мой дружочек.

Словом, Габриэль, берись учить роль; по возрасту ты, правда, не подходишь, но я тебе приклею усы и бороду, будешь говорить басом, и получится отлично. Дело прибыльное, сеньора маркиза обещала по две тысячи реалов каждому из актеров, кто участвует в пьесе. А Хуаника — она играет Эрмансию — получит только тысячу.

В канун Петра святого

я ветвь тебе принес,
а утром расцвела она
пышнее майских роз.

Так ты согласен, малыш? Говори же!

Я рассудил, что было бы очень глупо откалываться от этих денег — сейчас они придутся как никогда кстати, я смогу помочь Инес в такое трудное для нее время. Правда, ремесло актера внушало мне отвращение, и вдобавок меня удручала мысль, что придется снова встретиться с людьми, которые стали мне ненавистны. Однако, взвесив все выгоды и невыгоды, я в конце концов дал согласие, причем (сознаюсь честно) озорной бес тщеславия снова попытался пролезть в мою душу: я уже начал воображать, как гордо и независимо буду держаться со всеми этими аристократами, как важно буду прохаживаться по роскошным залам, куда простым смертным нет доступа. Но главной причиной, побудившей меня согласиться, было, конечно, денежное вознаграждение, сумма для меня сказочная, золотой дождь с неба.

«Само провидение посылает мне эти две тысячи реалов, — думал я, — десять дуро, и еще десять, и еще десять, и еще, и еще... Ха! Даже не сосчитаешь! Дурак я буду, если их не возьму».

И я простился с моей хозяйкой, которая мне вдогонку пропела:

Прошу, мадамузелья,
нижайший мой поклон!
Вот вам с вином бутелья,
и спляшем ригодон.

Не теряя времени, я поспешил к Инес — сообщить о свалившемся на меня богатстве и о том, что все это будет отдано ей. Провел я у нее несколько часов, мы сидели вместе у постели бедной доньи Хуаны, которая была совсем плоха. А выйдя на улицу, я увидел, что в роскошный подъезд этого дома вносят размалеванные полотна и прочие театральные принадлежности — их привезли в огромной повозке от самого дона Франсиско Гойи, как сказал мне портье.

— Представление состоится дня через три-четыре, — прибавил он. — Уже точно известно, приедет сеньора герцогиня и будет играть роль Эдельмиры.

При этих словах я подумал, что меня, быть может, ждет большой театральный успех — главное, держаться спокойно и не струсить перед высокопоставленной публикой.

Начались репетиции, почти непрерывные, сам Исидоро дал мне несколько уроков, заставляя декламировать наиболее важные и трудные стихи моей роли. Теперь-то я на себе испытал вспыльчивый нрав знаменитого актера: если мне не удавалось заучить какой-нибудь стих так быстро, как он требовал, Исидоро бесновался, обзывал меня дураком, болваном, дубиной и другими неблагозвучными словечками, которые я не решаюсь приводить. Во время репетиций я твердо помнил о правиле, известном всем актерам: выступая с Майкесом, надо играть хорошо, но не слишком, ибо это сердит великого актера не меньше, чем плохая игра.

Через два-три дня я уже знал роль назубок, особенно же старался получше отработать свой выход, когда дож Венеции мне говорит:

Достойный друг отважного Отелло...

Состоялась генеральная репетиция, все были на месте, кроме Лесбии. Я, видимо, играл недурно, и решили, что из-за меня представление откладывать не надо. Пятого я уже мог декламировать свою роль без запинки от начала до конца. В этот день моя хозяйка сказала, что накануне вечером из Эскориала приехала герцогиня.

— Значит, все уже в порядке?

— Все, — ответила Пепита, заливаясь беспричинным смехом, что с ней часто случалось в эти дни. — И я веду спектакль!

Где я стою,
никому не стоять.
Болеро пляшу
и жарю каштаны
всех лучше на свете,
завидуйте мне!
Стучите же громче
мои кастаньеты
назло ворчунам.

Пришел, наконец, назначенный день, и я спозаранку принялся за дела: выполняя поручения хозяйки, носился по городу за всякими покупками. Румяна с улицы Разочарований, перекрашенные платья с улицы Королевы, накидки и ленты, ситец, муслин, платочки в блестках от доньи Амбросии де лос Линос — все так и закружилось вихрем, чтобы угодить капризной Пепите. В трагедии «Отелло» она, правда, принимала участие только как распорядительница, но в интермедии должна была спеть остроумную тонадилью, и в заключительном сайнете под названием «Месть Левши» нашего славного Круса ей тоже предстояло выступить. Бегаю по Мадриду из конца в конец, я повторяю на память роль Песаро, а когда не мог исполнить какое-нибудь место, вытаскивал из кармана тетрадку и, став в первом попавшемся подъезде, читал вслух, привлекая внимание прохожих.

Во время этой беготни, занявшей не один час, я заметил на всех улицах необычное волнение. Люди собирались кучками, возбужденно переговаривались, кое-где читали вслух «Мадридскую газету» — я сразу ее узнал. В лавке доньи Амбросии я снова застал — поразительное совпадение! — дона Лино Крохобора и дона Анатолио, продавца писчебумажных принадлежностей; оба не скрывали своей тревоги по поводу последних событий.

— Этого предательского шага можно было ожидать, — сказал дон Анатолио. — В манифесте ясно видна рука подлого Колбасника.

— Да прочтите же, наконец, этот манифест, — попросила донья Амбросия. — Хотя я наперед знаю, что Годой преподнес нам еще одну пиллюлю.

— Сущие пустяки, — продолжал дон Анатолио. — Всего только отправились к принцу в его узилище, приставили ему к груди дуло пистолета и вынудили подписать эту ересь. Да-с, господа, именно так все и было. Ведь нельзя себе представить, чтобы такой отважный, честный и разумный человек, как наш принц, стал бы ни с того ни с сего унижаться, просить прощения, как школьник, и подло выдавать своих приспешников.

— Читайте же!

Дон Анатолио откашлялся и тоном школьного учителя прочитал знаменитый манифест пятого ноября, начинающийся так: «Голос природы удерживает мстящую руку, и если легкомысленный сын умоляет о милосердии, любящий отец не может не внять мольбе...»

Самым примечательным в манифесте, оповещавшем народ о раскаянии принца-заговорщика, были два письма Фердинанда — королю и королеве; я их могу передать слово в слово, даже не заглядывая в том Истории, где они запечатлены *in aeternum*^[21]. Оба письма мне хорошо запомнились, уж очень своеобразен и странен был их язык и тон. Первое письмо гласило:

«Отец мой! Я совершил преступление, я оскорбил в вашем лице короля и отца, но я раскаиваюсь и обещаю вашему величеству беспрекословное повиновение, Мне не следовало что-либо предпринимать без ведома вашего величества, меня запутали. Я выдал виновных и теперь прошу ваше величество простить меня за то, что давеча вечером я вам солгал. С вашего позволения припадает к стопам вашим благодарный сын
Фердинанд».

Другое письмо:

«Матушка! Я раскаиваюсь в ужасном преступлении, совершенном мною против моих родителей и государей, и покорнейше прошу ваше величество замолвить за меня слово перед отцом. Надеюсь, он разрешит, чтобы к его стопам припал благодарный сын
Фердинанд».

В этих двух письмах злополучный принц представал в самом неприглядном виде: попав в беду, он не сумел сохранить хоть крупицу достоинства, сознавался, что «солгал», да еще «выдал виновных», и просил прощения у папочки и мамочки как шестилетний ребенок, разбивший тарелку. Но в те времена почтенные мадридцы были простодушно убеждены, что все дурное исходит только от этого негодяя, от Князя Мира! Неурожай, град, кораблекрушения, желтая лихорадка и прочие напасти, посланные небесами на наш полуостров, — все приписывалось козням фаворита. И приведенные мною письма принца никто не воспринял как добровольный шаг; напротив, все сочли это вынужденным признанием, продиктованным под угрозой насилия его тюремщиками, чтобы унижить принца в глазах народа. Если намерение двора было таково, то, надо сказать, письма произвели впечатление прямо противоположное, как только манифест был опубликован, все приняли сторону узника, а на фаворита обрушились потоки проклятий, его считали автором не только манифеста, но и самих писем.

— Комментарии излишни, — сказал дон Анатолио, кладя «Газету» на прилавок.

— А мне вот хотелось бы, — заметила донья Амбросия, — послушать хоть через замочную скважину, что обо всем этом говорит Наполеон.

— Незачем слушать, и так ясно, что он решил низложить короля и королеву и возвести на трон нашего дорогого принца. Чтоб мне провалиться, если он не сделает этого и очень даже скоро, некий господинчик не успеет даже пропеть «кукареку»!

— Возмутительно! — вскричал со страхом дон Лино Крохобор. — Говорить такие вещи, когда нас могут услышать люди, преданные правительству!

— Ба, ба, друг мой, дон Лино! — возразил торговец бумагой — Да это всем известно. Пройдет месяц, и следа здесь не останется ни от Колбасника, ни от короля с королевой, ни от всех этих безобразий и подлостей, о которых даже говорить не хочу, чтобы не позорить страну.

— Вашими устами да мед бы пить, сеньор дон Анатолио, — вздохнула лавочница. — Хоть бы поскорее господь бог надоумил сеньора де Бонапарта, чтобы он шел сюда навести порядок в Испании.

Аббат дон Лино, не желая больше слушать такие речи, ушел; меня тоже выпроводили, чтобы дону Анатолио и донье Амбросии никто не мешал обсуждать государственные дела.

Мне не хотелось возвращаться домой, не поговорив с Пакорро Чинитасом, который, стоя на обычном своем месте, точил ножи — ножницы.

— Здравствуй, Чинитас! — сказал я. — Давно не виделись. Ты слыхал, как народ переполошился?

— Да, слыхал. В сегодняшней «Газете», говорят, какой-то манифест пропечатан. У пирожника читали вслух, и все говорили, что Колбасника надо повесить за ноги.

— Выходит, все уверены, что манифест сочинил он?

— А мне-то какое дело! — ответил Чинитас, распрямляя спину. — Я одно знаю, все они там, наверху, хороши, один лучше другого. Говорят, будто министр сам сочинил эти письма и заставил принца подписать. А зачем принц подписывал? Что он, ребенок, школьник первого класса? Ведь ему двадцать три года! И я думаю, в двадцать три года пора уже знать, что надо подписывать, а что не надо.

Довода Чинитаса показались мне вескими и убедительными.

— Хотя ты не умеешь ни читать, ни писать, — заметил я, — по-моему, ты умнее самого папы.

— А все эти лавочники, монахи, щеголи, офицеры, аббаты, канцеляристы страх как рады, только и говорят о том, что вот придет Наполеон и посадит принца на престол. Дай бог, чтобы это кончилось добром!

— А ты как думаешь, мудрый точильщик?

— Я думаю, что дураки мы будем, если поверим Наполеону. Этот молодчик, и глазом не моргнув, завоевал Европу, так неужто ему не захочется наложить лапу на самую распрекрасную страну в мире, нашу Испанию, особенно когда он увидит, что король с королевой и принц, ее правители, готовы один другому глаза выцарапать, как рыночные торговки? Он скажет: «Да чтобы слопать этот народец, мне трех полков хватит», — и будет вполне прав. Уже пригнал в Испанию больше двадцати тысяч солдат. Вот увидишь, Габриэлильо вспомнишь мои слова. Большие дела будут. Надо нам быть наготове, потому как от короля нашего толку мало и придется самим управляться.

Как я убедился впоследствии, слова эти, последнее, что сказал мне тогда Чинитас, заключали в себе глубокий смысл. Он один верно предугадал грядущие события, меж тем как кумир века, судивший об Испании по ее королям, министрам и знати, считал, что знает все наперед, а на деле не знал ничего. Его заблуждение относительно страны, которую он шел завоевывать, объяснить нетрудно: он, вероятно, знал, что говорят донья Амбросия, дон Анатолио, бакалейщик, отец Салмон и подобные им, но, увы, ему не пришлось послушать мнение Точильщика.

Наступил вечер, приготовления к спектаклю во дворце маркизы шли полным ходом. Я отнес костюм моей хозяйки в отведенную ей для переодевания комнату и, поднявшись по черной лестнице на антресоли к Инес, застал бедняжку в большом огорчении: у доньи Хуаны усилились боли, добрая женщина от слабости еле могла говорить. Побыл я там, сколько мог, утешая свою подружку и ее дядюшку, но время было ограничено, вскоре пришлось их покинуть, и я, понуриив голову, спустился в апартаменты маркизы.

Попробую описать этот роскошный дворец, чтобы вы могли себе представить, как он был великолепен. Украсить дворец для праздника было поручено дону Франсиско Гойе, и я думаю, работа, выполненная этим великим мастером, не нуждается в моих похвалах. Начиная от главной лестницы он украсил все стены цветочными гирляндами и фестонами из листьев, цветы были бумажные, а листья настоящие, дубовые; подобной красоты я в жизни не видал. Лампионы были развешаны с большим искусством, также в виде разноцветных гирлянд и фестонов; их яркий свет придавал всему дому вид волшебного царства.

В первом зале новая мода еще не изгнала со стен чудесные старинные гобелены, переходившие из рода в род; фамильные реликвии при ослепительном свете лампионов не утрачивали свойственного им отпечатка строгой важности, напротив, причудливые блики, игравшие на расставленных по углам рыцарских доспехах, — стальных стражах с опущенным забралом и копьем в рукавице — казалось, наделяли движением и жизнью жуткие призрачные тела, заключенные в этих металлических формах. Красочные картины, изображавшие бой быков, разгоняли мрачное впечатление от темных полотен двухвековой давности работы Пантохи де ла Крус и Санчеса Коэльо, которые запечатлели с десятков хмурых, суровых полководцев, покоривших полмира.

Разительный контраст с этими сокровищами национального искусства представляла обстановка в новом стиле неоклассицизма, введенном французской революцией. Но сейчас мне недосуг описывать греческие орнаменты и мифологические группы Гор, Нереид и Гермесов, красовавшихся в чинных академических позах на часах, на подножьях канделябров и на ручках цветочных ваз. Все эти младшие боги, блиставшие позолотой и воскрешавшие великолепие древнего Олимпа, не очень-то вязались с удалыми тореро и красотками, изображенными при помощи кисти или ткацкого стана на картинах и гобеленах, однако никто не замечал дисгармонии.

Зал, где находилась сцена, выглядел веселее других. Гойя с замечательным искусством разрисовал занавес и портал, составлявшие фронтиспис сцены. Посредине занавеса был изображен Аполлон в облике бравого мадридского щеголя не то с лирой, не то с гитарой в руках, а по обе стороны от него расположились девять прелестных девиц в характерных мадридских нарядах, — правда, по их атрибутам и позам можно было догадаться, что великий живописец имел в виду муз. Эта восхитительная группа была в то же время одной из самых остроумных юмористических картинок, созданных волшебной кистью Франсиско Гойи — даже почтенный Пегас был представлен в виде могучего гнедого кордовской породы, который в самой обычной сбруе гарцевал на заднем плане. С портала глядели в зал рожицы амуров, — вернее, озорных мальчишек с мадридской Бойни. Творец «Капричос» не впервые изображал Парнас в юмористическом духе.

Но пора нам покинуть залы и заглянуть за кулисы, где царила такая суматоха и толкотня, что с трудом можно было двигаться. Для переодевания актерам отвели несколько комнат: одну Майкесу, вторую моей хозяйке, третью — всем прочим актерам и актрисам, взятым из театра, в

том числе и мне. Лесбия одевалась в туалетной комнате самой маркизы, а два любителя из господ — в покоях хозяина дома. Помнится, я первый управился с этим делом; вместо веселого Габриэлильо на меня глянул из зеркала мрачный Песаро — Яго бессмертной трагедии. Костюм, в который меня нарядили, нельзя было отнести ни к одной исторической эпохе, — то был обычный в дедовские времена костюм захудалых комедиантов. Он сгодился бы и для роли пажа, но, когда мне приклеили бороду и усы, я совершенно преобразился, и костюмеры сказали, что им никогда еще не удавалось создать более мрачного и злобного предателя.

Пока одевались остальные, я прогулялся по сцене и, чтобы скоротать время, поглядел через отверстие в занавесе на блестящую публику, заполнившую зал. Прежде всего я увидел бравого Маньяру, он сидел в первом ряду, у самого занавеса. Потом я заметил, что все господа и дамы повернулись лицом к главной двери и расступились, чтобы дать дорогу какой-то важной особе, с чьим появлением веселый шум сменился минутной тишиной, а затем громким ропотом восхищения. В середину зала прошла горделивая красавица, отвечая на приветствия мужчин и дам. Была она в легком белом платье с высокой талией — этот фасон назывался «вьюнок» — и пучком роз на груди, модным украшением, носившим наименование «*croissance à la victime*»^[22]. Прическа в греческом стиле на профессиональном языке парикмахеров назывались «туалет Ифигении». Красоте дамы, изяществу ее наряда придавали особое очарование усыпанные бриллиантами драгоценности, озарявшие мириадами радужных искр ее голову и грудь. Надо ли говорить, что это была Амаранта.

Глядя на нее, я почувствовал, что где-то внутри, в темных закоулках моего воображения, вспыхивают туманные, мерцающие огоньки, как будто у меня в мозгу кружились и плясали язычки спиртового пламени. Пока я любовался ею, я не помнил о том нравственном падении, к которому привела бы меня служба у нее. Красота Амаранты ослепляла, завораживала; в ее осанке было столько благородства и величия, такая властная, покоряющая сила во взоре ее очей, что я невольно перевернул на миг ту ужасную страницу, которую мне довелось прочитать в книге ее загадочного характера. Я смотрел не отрываясь, словно прирос к занавесу; мои глаза искали встречи с лучистым взором Амаранты, следовали за поворотами ее головы. Наблюдая за ее лицом и едва заметными движениями губ, я пытался угадать, какие слова она произносила, о чем думала в эту минуту. Скоро поднимется занавес, на меня устремятся взгляды всех этих знатных господ, а главное — Амаранты; они будут слушать меня; возможно, что заученные слова роли, развитие действия, в котором я участвую, вызовут волнение, интерес, восторг изысканной публики. Эти мысли вновь пробудили мое задремавшее было тщеславие, и я, пыжась от гордости, подумал, что снискать аплодисменты стольких дам и господ — это слава, лучи которой могут потом освещать и согревать человека всю жизнь.

Когда оркестр заиграл вступление к трагедии, мое лихорадочное возбуждение только усилилось. Кровь быстрее заструилась по жилам, я весь горел желанием действовать. Мне думалось: иметь бы вот такой дом, собирать у себя множество знатных друзей, угощать, развлекать прелестных дам — да мыслимо ли большее счастье для смертного на земле! Но спектакль уже начинался: суфлер был в будке, Исидоро вышел из своей уборной, готовилась к выходу Лесбия, вопреки моим ожиданиям ничуть не оробевшая. Глядя на них, я отвлекся от своих мыслей и забыл о страхе перед публикой. Прошло несколько минут, занавес поднялся.

Трагедия «Отелло, или Венецианский Мавр» — это дрянной перевод, сделанный доном Теодоро Лакалье с текста «Отелло» Дюсиса, весьма неудачной обработки шекспировской драмы. И хотя это великое творение проделало большой путь по нисходящей, спустившись с недостижимых высот английского гения на крошечный холмик испанского переводчика, в нем сохранились основные мотивы драматического действия, и оно всегда производило на публику огромное впечатление. Полагаю, что все мои читатели знают текст трагедии Шекспира, поэтому

мне будет нетрудно ознакомить их с испанским вариантом. Действующих лиц в нашей пьесе осталось семь. Образ Отелло не подвергся изменениям, характеры Кассио и Родриго были слиты в одном второстепенном персонаже, по имени Лоредано, который представлялся публике как сын дожа. Сенатор Брабанцио звался Одальберто и принимал больше участия в действии. Дездемоне переменили только имя — ее звали Эдельмирой; Эмилия стала Эрмансией, а предатель Яго, мнимый друг мавра, получил ими Песаро. Сюжет был очень упрощен, а роковой платок вообще исчез; вместо него появились диадема и письмо; Эдельмира вручала их Лоредано, а затем они попадали в руки Песаро, который показывал их Отелло в подтверждение своей клеветы. Но если не считать этих изменений, а также совсем иного стиля, несравненно меньшей выразительности и энергии страстей, — вследствие чего английская драма была дальше от испанской, чем небо от земли, — основное построение сюжета осталось, сцены, как и у Шекспира, были разделены на пять актов. Чтобы сократить число интермедий, Майкес объединил второй акт с третьим, а четвертый с пятым, так что в конце концов получились три хорнады.

Во второй сцене, после того как дож произнес свои стихи, был мой выход — мне полагалось сказать небольшую речь с перечислением военных подвигов Отелло. Дрожащим голосом я начал:

Венеции отцы, не раз вы зрели сами
величие побед Отелло над врагами.

Но постепенно я успокоился и, кажется, не так уж скверно прочел свою речь, хоть и не пристало себя хвалить. Затем на сцене появился Отелло и немного спустя — Эдельмира. Не берусь описывать, сколь великолепен был Исидоро, рассказывая сенату о том, какими чарами и хитростями он зажег любовное пламя в сердце Эдельмиры. Что ж до нее самой, я сразу должен заявить — играла она, как заправская актриса, и уже в сцене перед сенатом провела свою партию с таким чувством, что Рита Луна могла бы ей позавидовать.

В первом антракте должны были читать стихи Моратин, Арриаса и Варгас Понсе. Сцену заполнили знатные господа, желавшие поздравить Эдельмиру с успехом. Заметил я там и дипломата; он, видимо, все еще приударял за моей хозяйкой. Я услышал, как он, семена за ней, говорил:

— Будьте спокойны, обожаемая Пепита, наши чувства останутся тайной, ведь вы знаете, я умею молчать, особенно в таких деликатных делах.

Вместе с ним на подмостки поднялся дон Леандро Моратин, бледный, серьезный господин лет сорока пяти, среднего роста, с мягким, глуховатым голосом и желчным выражением лица, как у человека, страдающего ипохондрией и подозрительностью. В разговоре он был далеко не так блестящ, как в своих сочинениях; однако общими для его характера и творчества были невозмутимая ясность в самых жестоких сатирических выпадах, чувство меры, аттическая четкость, чуть ироническая учтивость и некая нарочитая простота высказываемых идей. Никому не отнять у него славы драматурга, воскресившего испанскую комедию. «Когда девицы говорят «да» — как вы помните, в премьере этой пьесы я принимал самое деятельное участие — неизменно представляется мне одним из самых совершенных созданий испанского театра. Кроме того, он достоин всяческого уважения за свою верность Князю Мира в ту пору, когда было очень модно это рухнувшее мощное древо разносить в щепки. Правда и то, что наш поэт жил недурно и довольно богато в тени этого древа, пока оно еще стояло и могло укрывать многих своими пышными ветвями. Если вам интересно мое мнение, скажу, что я, не колеблясь,

поставил бы дона Леандро в ряду первых испанских прозаиков, но его поэзия, за исключением нескольких игривых стихотворений, всегда казалась мне нагромождением кое-как склеенных, вернее, сколоченных виршей топорной работы, которым даже удары риторического молота не могут придать гибкость и блеск. Что касается литературных теорий, то Моратин обладал всеми доступными в его время и не слишком-то обширными знаниями; но, по-моему, было бы лучше, если бы он употребил их, чтобы создать больше произведений, нежели с чрезмерной строгостью указывать на недостатки других авторов. Умер он в 1828 году; по его письмам и бумагам можно заключить, что он не знал ни Байрона, ни Гете, ни Шиллера и так и сошел в могилу, полагая, что Гольдони — лучший поэт его времени.

Умоляю простить мне это отступление и продолжу рассказ. Моратин прочел со сцены романс «Многого от меня требуют», рассмешивший публику, — там очень остроумно описывалось душевное смятение поэта, которому не дают покоя его врач, друзья и враги. Чтение то и дело прерывали восторженные аплодисменты, особенно в том месте, где изображена беседа педантов. Но разве не ясно, что в этом стихотворении Моратин только и делает, что восхваляет самого себя?

Оставим же этого талантливого человека упиваться фимиамом восторгов и лести и проследим за развитием интриги в драме, разыгрывавшейся за сценой, драме, не менее захватывающей, чем та, которую ставили на сцене перед публикой.

Когда первое действие закончилось, а поэты еще не начали читать свои стихи, я заметил, что Исидоро беседует с Лесбией. Говорили они шепотом, но можно было догадаться, что актер горячо упрекал и требовал объяснений, тогда как лицо дамы выражало растерянность, смущение. Только они расстались, как, на мою беду, Лесбия заметили меня.

— А, Габриэль! Вот и отлично, тут мы сможем спокойно поговорить. Ты, наверное, уже догадался, о чем. Я была очень встревожена, когда узнала, что некий человек арестован...

— Ваша светлость имеет в виду письмо? — сказал я, подкручивая свои накладные усы, чтобы скрыть замешательство.

— Надеюсь, оно не попало в чужие руки? Надеюсь, ты сохранил его и принес сюда, чтобы возвратить мне?

— Нет, сударыня, я его не принес, но я его найду... то есть... я...

— Как так? Ты его потерял? — с тревогой воскликнула она.

— Нет, сударыня, то есть, я хотел сказать... Оно при мне, только я... — Тут я окончательно сбился и умолк.

— Полагаюсь на твое благоразумие и порядочность, — очень серьезно сказала Лесбия, — и жду письма.

С этими словами она удалилась, а я совсем приуныл, не зная, как выпутаться. Решив еще раз попросить мою хозяйку вернуть письмо, я отозвал ее в сторону, будто для секретного разговора, и стал умолять, чтобы она отдала мне эту злосчастную бумажку — речь, мол, идет о моей чести. Пепита притворилась удивленной, потом расхохоталась.

— А я и позабыла о твоём письме. Не знаю, куда оно девалось.

Началось второе действие. Я был занят только в одной сцене и после нее прошел в соседние с залом комнаты, торопясь привести в исполнение появившийся у меня дерзкий замысел. Я подумал обыскать уборную моей хозяйки в ее отсутствие. Когда Ла Гонсалес отняла у меня письмо, привезенное из Эскориала, она, как я заметил, спрятала его за корсаж платья. В этом же платье она явилась во дворец маркизы, но, готовясь выступить с пением тонадильи, переделалась; платье теперь висело на вешалке в глубине комнаты вместе с платком, шалью, нижними юбками и прочими принадлежностями. Надо было обследовать все эти вещи. У Пепиты, думал я, много дел, она ведет спектакль, указывает актерам выходы и, конечно, явится не скоро; до конца второго действия я свободен — времени достаточно, все складывается удачно для моего замысла. Ничего зазорного в таком поступке я не видел — у меня письмо похитили, и я тоже имею право его похитить.

Я приступил к делу: быстро и осторожно обшарил карманы платья, извлек из них всякую дребедень, но того, что искал, не нашел. У меня пропала последняя надежда, я подумал, что уже никогда не увижу этого письма, что его либо упрятали подальше, либо уничтожили. Вдруг послышались быстрые шаги: кто-то подходил к дверям. Я испугался, что Пепита застанет меня за таким неблагоприятным занятием, но бежать было невозможно, и я спрятался под вешалкой прикрывшись висевшей на ней одеждой. Едва я успел туда юркнуть, как вошли Исидоро и Лесбия. Герцогиня плотно закрыла дверь, оба сели.

Из моего убежища я отлично их видел. Майкес в костюме Отелло походил на старинный венецианский портрет, чудом оживший и отделившийся от холста, на котором кисть художника его изобразила в самых ярких тонах. Темный грим, придававший его лицу истинно африканскую смуглоту, делал еще пронзительней взгляд больших черных глаз, оттенял белизну зубов и сообщал необычную выразительность всем чертам. Великолепный белый с красным тюрбан,

перевитый нитью сверкающих бриллиантов, покрывал голову. Вокруг темной шеи были надеты ожерелья из амбры и крупного жемчуга, с плеч ниспадала до самых щиколоток парчовая мантия, в талии перехваченная поясом, с разрезами по бокам, открывавшими ноги в узких красных панталонах. На портупее висели короткая сабля и кинжал с роскошными рукоятками; обнаженные руки были обтянуты тончайшим чулком того же цвета, что и грим на лице, кисти — темными перчатками, на запястьях красовалось по массивному бронзовому браслету в виде змеи. Майкес сидел лицом к свету, фальшивые бриллианты, отбрасывая снопы искр, ослепительно сверкали, радужно переливалась парчовая ткань, — вдобавок ко всему этому вообразите себе дышащее страстью лицо, величественную осанку, и вы поймете, что не только я, любой на моем месте был бы поражен красотой мавра.

На Лесбии было платье из серебряной парчи, пленявшее изящной простотой; ее золотистые волосы, причесанные на античный лад, были, в угодую моде и с пренебрежением к сценическому правдоподобию, перевиты лентами и нитями мелкого жемчуга, конечно, не фальшивого, как у Исидоро, а настоящего восточного. Мавр, взяв своими черными руками белоснежные ручки Лесбии сказал:

— Тут мы сможем минутку поговорить.

— Да, да, Пепа сказала, что в ее комнате нам не помешают, — отвечала Лесбия. — Но надо поторопиться, меня ждет маркиз. Ты же знаешь, мой муж здесь.

— Куда ты спешишь! А почему ты не написала ни разу из Эскориала?

— Не могла, — с досадой сказала она. — В другой раз, когда будет больше времени, я тебе объясню...

— Нет, ты должна ответить на мой вопрос сейчас, сию минуту.

— Не глупи. Ты ведь обещал, что больше не будешь дерзким, любопытным и сварливым, — кокетливо погрозила она пальцем.

— Это все равно, что обещать не любить, а я тебя люблю, Лесбия, люблю безумно, себе на горе.

— Ты ревнуешь, Отелло? — спросили дама и, полушутя, полусерьезно, произнесла патетическим тоном:

Отелло, дорогой, к тебе лишь одному,
пылая от любви, мое стремится сердце.

— Перестань шутить. Да, я ревную, скрывать бесполезно, — сказал мавр голосом, выдававший глубокое страдание.

— К кому же?

— Ты еще спрашиваешь! Ты думаешь, я не видел, как этот болван Маньяра, сидя в первом ряду, пялил на тебя глаза?

— И это все? Других оснований для ревности у тебя нет?

— О, если бы они были, неужто ты могла бы так спокойно говорить со мной?

— Потихше, потихше, сеньор Отелло. А знаешь, я тебя боюсь.

— В Эскориале этот франт хвалился при людях, что ты его любишь, — чуть не закричал Исидоро и вперил грозный взгляд в лицо Лесбии; казалось, он хочет прочитать ее сокровеннейшие мысли.

— Будешь сердиться, я сейчас же уйду, — слегка смешавшись, сказала Лесбия.

— Я получил несколько анонимов. В одном говорилось, что Маньяра в день своего ареста послал тебе письмо и что ты ему ответила. Кроме того, я знаю что этот человек за тобой

увивается, бывает у тебя в Мадриде... Может быть, ты мне объяснишь, что это значит.

— Ах, все это козни одной особы, моего заклятого врага. Она-то, наверно, писала анонимы.

— Кто же она?

— Когда-то я тебе уже рассказывала. Это Амаранта. Помнишь, я говорила, что за враждебностью графини стоит ненависть особы более высокого ранга. Все мы, ее придворные дамы, были раньше ей преданы, но теперь нам стало невозможно видеть, как она распутным поведением порочит свой сан, и мы не желаем быть причастными к ее гнусным делам, позорящим нашу страну. Я не рассказывала тебе о причине нашей ссоры, но сейчас, могу ее открыть, только ты не сердись, когда услышишь имя Маньяры, твоего мнимого соперника. Насколько я знаю, Маньяра, подобно Иосифу, отверг чувства той высокопоставленной особы, после чего ее любовь сменилась лютой ненавистью и жаждой мести. Тогда же этот юноша начал ухаживать за мною, и оскорбленная дама ополчилась на меня, хотя я понятия не имела, что Маньяра в меня влюблен. На таких, как он, я никогда не обращала внимания. И вот началась против меня жестокая, тайная война: все, кто при моем посредничестве получил должность, были уволены; чтобы меня унижить, не брезговали ничем. Эта беспричинная травля побудила меня перейти на сторону принца Астурийского, я предложила заговорщикам свою помощь — и очень рада, что сумела хорошо послужить такому благородному делу. Тебе я могу сказать, не таясь: одно время я была хранительницей переписки между каноником Эскоикисом и французским послом; они не раз беседовали в моем доме с другими государственными деятелями, одна я знала о первых встречах в Ретиро; мне известны все тайные планы, которые принц так глупо выболтал; я знала о проекте женитьбы принца на принцессе наполеоновского двора и что герцог дель Инфантадо только ждет подписанного Фердинандом приказа, чтобы бросить в атаку войска и ополчение.

— Это невероятно! — воскликнул Исидоро. — Но если это правда, то почему тебя отпустили после получасового ареста?

— Я знала, что мне ничего не сделают. У меня есть надежный щит, он охраняет меня от козней придворной камарильи. Кажется, я тебе говорила, что, когда я принимала участие в первом примирении с Годоем и, по высочайшему приказу, старалась вновь привлечь его во дворец, мне стали известны тайны, разглашение которых было бы страшным ударом для неких особ. У меня хранятся документы, где лица, их писавшие, предстают в самом гнусном и отвратительном виде; кроме того, я знаю, на что были потрачены суммы, предназначенные для благотворительности, — поверь, отнюдь не на благие дела. Все это происходило в ту пору, когда мы тайком убегали из дворца в город. Амаранта тогда пожелала, чтобы Гойя писал ее обнаженной. Она уже год была вдовой, и вот тогда-то я, благодаря случаю, узнала важную тайну о прошлом Амаранты — открыла мне ее одна женщина, которая прежде жила на берегу Мансанареса, вблизи дома великого художника. Тебе я об этом говорила, а теперь постараюсь, чтобы узнали все. До брака с графом у Амаранты была незаконная связь, от которой родился ребенок, но жив ли он — неизвестно.

— Ты никогда мне об этом не говорила!

— Родители Амаранты сумели скрыть позор; юный любовник, принадлежавший к знатному кастильскому роду и приехавший в Мадрид искать счастья, бежал во Францию; там он был убит во время республиканских войн.

— Занятная история, ничего не скажешь, — усмехнулся Исидоро, — и ты, конечно, очень ловко увела разговор в сторону от главного предмета. Но, по крайней мере, ты признаешь, что Маньяра ухаживал за тобой.

— Признаю, но, поверь, мне и в голову не приходило отвечать ему взаимностью — я с ним не вижусь, не разговариваю. Смотри, своей ревностью ты заставишь меня обратить на него

внимание.

— Не убеждай меня, я не верю: у меня есть сведения, есть данные, что ты любишь этого человека. О, если мои подозрения подтвердятся... Думаешь, я не заметил, с каким восторгом он слушал твою декламацию?

— Что ж, постараюсь играть похуже, чтобы не волновать публику.

— Полно, не оправдывайся, не лги! Зачем говорить, будто ты его не замечаешь, когда я сам, сам видел, что во время сцены сената ты смотрела на него и даже, кажется, сделала ему знак.

— Я? Да ты с ума сошел! Ах, ты ничего не знаешь. Здесь, в зале, мой муж, он оставил охоту и явился в Мадрид, чтобы быть на спектакле, а рядом с ним сидит и та интриганка Амаранта, и они о чем-то горячо беседуют. Если я гляжу на публику, то лишь потому, что меня очень тревожит эта беседа герцога с Амарантой. Боюсь, она ему уже послала не один аноним. Он со мною холоден, ходит туча тучей — видно, подозревает...

— Я же говорил... И подозревает не зря.

— Конечно, ведь он ревнует меня к тебе.

— Нет, нет, уж ты не изворачивайся. Ты любишь Маньяру, и все твои уловки тут не помогут, это подозрение, как заноза, впилося в мой мозг. Подумай только, болван сидит и тает от счастья, когда тебе аплодируют — это льстит его самолюбию, он, видите ли, любим великой актрисой! Нет, я не хочу, чтобы ты еще появлялась на сцене! Когда я с подмостков смотрю на лица твоих поклонников, на их глаза, прикованные к тебе и загорающиеся страстью в ответ на твою декламацию, мне хочется прыгнуть со сцены и кулаками ударить по этим глазам, чтобы они закрылись и не смотрели на тебя!

— Ты мне страшен, — сказала Лесбия. — Ты — не Исидоро, ты — настоящий Отелло. Ради бога, успокойся. Ведь ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Зачем же оскорблять меня беспричинными подозрениями?

— Попробуй их рассеять.

— Как это сделать, если никакие доводы не действуют? С таким бешеным характером, боюсь, наделаешь ты бед. Умоляю, сдерживай себя, не сходи с ума.

— Все исполню, только люби меня. Ты еще меня не знаешь, Исидоро не терпит соперников ни на сцене, ни в жизни. Над Исидоро еще не смеялась ни одна женщина, и тем более мужчина. Понятно тебе?

— О да, сударь, я все поняла, — весело ответила Лесбия, поднимаясь. — Ну, как ни приятно с тобой беседовать, пора идти. Знаешь, я тебя боюсь.

— И, видимо, не напрасно. Куда ты спешишь? — сказал мавр, пытаясь ее удержать.

— Нет, нет, я ухожу, Тонадилья уже закончилась, скоро начнется третье действие.

Легким, быстрым шагом Лесбия удалилась. В ту же минуту послышались аплодисменты — хлопали моей хозяйке, за тонадилью, — а немного спустя вошла в комнату она сама, вся сияющая, раздумывавшаяся от волнения, и, еле переводя дух, упала на софу.

— Ах, Исидоро, можешь жалеть, что ты меня не слушал! — воскликнула Пепита, еще тяжело дыша. Все уверяют, что я спела прекрасно. А сколько мне хлопали!

— Не болтай глупости! — с раздражением оборвал ее Исидоро.

— Кстати, говорят, будто Лесбия играет Эдельмиру лучше, чем я. Что значит красота! Сколько ни есть мужчин в зале, все просто ошалели. Особенно один, смотрит на ее личико, глаз не оторвет, прямо, кажется...

— Да замолчи ты!

И вдруг, как будто приняв внезапное решение, Майкес резко повернулся, грозно нахмуренное его чело разгладилось, он сел рядом с Ла Гонсалес и сказал:

— Пепа, окажи мне одну услугу.

— Приказывай, я все исполню.

— Ты не раз уверяла, что не знаешь, как меня отблагодарить за все, что я для тебя сделал. Помнишь, ты говорила: «Что мне сделать, Исидоро, чтобы отплатить за твою доброту?» Так вот, деточка, сейчас ты можешь оказать мне важную услугу и этим с лихвой уплатишь долг человеку, который вывел тебя из нищеты, обучил актерскому искусству, дал положение, славу, деньги.

— Я до гроба тебе благодарна, Исидоро, — спокойно ответила актриса. — Чем я могу сейчас тебе помочь?

— Если бы мои нынешние затруднения касались только моего сердца, я бы с ними справился сам, страдать я умею. Но тут задето мое самолюбие, и, быть может, под угрозой моя честь, — поэтому я решил узнать всю правду, пусть самую горькую. Ни за какие блага я не соглашусь играть перед своими друзьями и всем светом низкую, смешную роль.

— Понимаю, что ты хочешь сказать. Лесбия мне говорила о твоей ревности. Видел бы ты, как она смеется над тобой, называет тебя «бедненьким Отелло»!..

— Да, нельзя верить чувствам высокопоставленных особ, хоть иной раз нам кажется, будто они нас любят. Между ними и нами пропасть, и если случайно мы восхищаем их своим талантом и искусством, это быстро проходит, и, в конце концов, они отворачиваются от нас с презрением, стыдясь, что любили нас. Увы, все мы, актеры, блиставшие на сцене, знаем эту печальную истину. Знаешь и ты, не правда ли?

— Знаю, — ответила моя хозяйка, — и полагала, что ты в этом смысле научен опытом лучше, чем кто-либо.

— Важные господа, — продолжал Исидоро, — глядят на нас из кресел, снизу вверх; они видят, как мы изображаем могучие характеры, благородные, возвышенные страсти, любовь, героизм, самоотверженность: это сбивает их с толку, они влюбляются в видимость, в идеальное существо, в котором наша личность слита с личностью театрального героя. Их воображение распаляется, они ищут нас за кулисами, ищут и вне театра, но когда знакомятся с нами поближе, то убеждаются, что мы такие же, как прочие люди, если не хуже, и что высокие театральные страсти исчезают из нашего сердца, как только мы по окончании спектакля сбрасываем с себя костюмы и фальшивые драгоценности. Тут их восторг рассеивается, как дым, а вот мы в их глазах уже всего лишь толпа бессовестных, лживых комедиантов, которым и платить-то за игру не стоило бы. До сей поры, Пепилья, я равнодушно переносил внезапные разрывы, которыми заканчивались интрижки знатных особ со мною, актером; но эта история сводит меня с ума, я, видишь ли... Да что тут скрывать!

— Ты всерьез любишь Лесбию?

— Увы, да! Страсть эта не похожа на легкие, преходящие интрижки, которые возникают по

велению минутной прихоти. Лесбия сумела завладеть моим сердцем безраздельно, и я стал замечать, что порой впадаю в какое-то исступление, — это ли не признак истинной любви? Я понимаю, перемена во мне вызвана кокетством Лесбии, ее ветреностью, непостоянством, а теперь прибавились еще ревность, недоверие и боязнь очутиться в смешном положении, когда меня заменят другим, — все это до такой степени волнует меня, что я не отвечаю за свои поступки.

— Ого, сеньор Отелло! Вот до чего дошло! — шутливо воскликнула моя хозяйка. — Кого же вы собираетесь убить?

— Не смейся, глупая! — продолжал мавр. — Видела ты в зале этого негодяя Маньяру?

— Как же, он сидит в первом ряду и глаз не сводит с сеньоры Эдельмиры. Право, друг мой, — я говорю это вовсе не затем, чтобы разжечь твою ревность, — все в театре обратили внимание на неумеренный пыл этого юнца, многие даже видели, что он во время представления делает знаки Лесбии. И еще — сама-то я не видела, но мне говорили, что...

— Что тебе говорили?

— Что герцогиня тоже смотрит на него и как будто только для него играет — все патетические фразы своей роли она произносит, обратясь к Маньяре, словно хочет броситься к нему в объятия.

— О-о! Так и есть. Вот видишь! — вскричал Исидоро, застонав от ярости. — Все будут надо мной смеяться, а этот подлый франт... Ах, Пепа, я должен узнать точно, что это значит, должен раз навсегда покончить с сомнениями, должен изобличить эту предательницу, и если верно, что она меня обманывает, если она способна променять любовь такого человека, как я, на дурацкие заигрыванья презренного петиметра... Ах, Пепа, милая Пепа, моя месть будет ужасной. Ты мне поможешь, правда ведь, поможешь? Ты кругом мне обязана, я избавил тебя от нищеты, ты не можешь отказать Исидоро, когда он, желая отомстить, просит об услуге, ты постарайся для него, поможешь ему насладиться местью — и тем рассчитаешься за все, чем обязана.

Исидоро вскочил со стула и начал кружить по комнате, как лев в клетке, бормоча бессвязные проклятия. А моя хозяйка вела себя очень странно: то ли у нее и впрямь было веселое настроение, то ли гнев друга и учителя несколько ее не испугал, но на его негодующие речи она отвечала смехом и шутками.

— Смеешься? — спросил Майкес, останавливаясь перед ней. — Да, ты права, пришел час, когда даже театральные служители потешаются над Исидоро. Тебе этого не понять, малютка, — прибавил он, снова садясь. — Ты не способна на пылкие, бурные чувства. За это я тобой и восхищаюсь и так хотел бы походить на тебя — ведь я знаю, что до сих пор во всех своих амурных делах ты играла с любовью, относясь к ней как к приятному времяпрепровождению, которое тебя забавляет, меж тем как других сводит с ума. Тебе еще не довелось — и упаси тебя от этого бог — изведать такую любовь, которая причиняла бы тебе страдания, меж тем как другие смеялись бы над тобой.

— Какой гордец! — серьезно молвила Ла Гонсалес. — Даже в этом ты хотел бы стоять выше всех.

— Так вот, если сердце твое искренне, остерегайся влюбляться в надменных, спесивых господ, которые будут обхаживать тебя, чтобы потешить свое тщеславие. Они никогда не полюбят тебя любовью чистой и бескорыстной.

— Мне кажется, я смогу полюбить только человека, равного себе, человека, который не постыдится назвать меня своей женой.

— Ого, Пепилья, я слышу разумные слова! Где ты этому научился? Но я бы вдобавок посоветовал тебе не влюбляться и в актеров, если не хочешь, чтобы вся женская половина публики бесновалась от ревности. Знаешь, как это бывает?

— Уж я — то знаю.

— Стало быть, твоя любовь — человек из театра? Да, это несчастье. Хорошо еще, если твой возлюбленный из числа тех бесталанных актеров, которые не приводят в восторг красавиц в партере. Тогда ты будешь счастлива, Пепилья; вздумаешь выходить замуж, можешь рассчитывать на мою помощь.

— Об этом я и не мечтаю.

— Неужто он — такая скотина, что не любит тебя? А может, это — большая знаменитость?

— Большая, не чета мне, — сказала Ла Гонсалес, стараясь держаться спокойно и не выдать своего волнения.

— Бьюсь об заклад, это какой-нибудь тенор из труппы Маноло Гарсиа. Предоставь мне поговорить с ним. И если моя догадка верна, если этот болван не отвечает тебе взаимностью и твоим искренним чувствам предпочел фальшивую любовь одной из тех дамочек, которые своими шелками метут пыль за кулисами, ты, я полагаю, должна знать, что такое ревность. Так ведь?

— Я слишком хорошо это знаю, Исидоро, и терплю страшные муки, — дружески доверительным тоном сказала моя хозяйка. — Но у меня по сравнению с тобой есть одно преимущество: ты еще не уверен в своем несчастье, а потому колеблешься, я же теперь знаю точно, что нелюбима, и обстоятельства сложились так, что я смогу отомстить.

— О, Пепа, я не узнаю тебя! Никогда не думал, что ты способна на такое... — с живостью подхватил Исидоро. — Да, ты отомстишь. Не тревожься, я тебе помогу, если ты мне поможешь изобличить и покарать Лесбию, эту подлую женщину. Но послушай, детка, скажи мне, кто он. Будь откровенна со мной, я твой лучший друг.

— Как-нибудь потом, Исидоро. Пока я хотела бы сохранить это в тайне.

— Ты — молодчина, Пепилья, — задумчиво молвил актер. — Я, право, не ожидал, что найду в тебе такой живой отклик на свои горести. И этот негодяй отверг тебя ради другой, не сумел оценить твое верное сердце! Скажи, кто он. Неужто сам Мануэль Гарсиа? Я понимаю, деточка, ты извела немало горя, ты знаешь, как страдают самолюбие и гордость, когда видишь, что сердцем, которое должно принадлежать тебе, завладел другой. Как оскорбительна мысль, что ты станешь посмешищем в глазах света, что о твоём жалком положении будет судачить завистливая чернь! Только вообрази, что тебя, привыкшую походя покорять сердца, отвергнут, — и раненая твоя гордость возмутится, ты молча изойдешь слезами, терпя незаслуженное унижение.

— Нет, в этом мы с тобой не схожи! — патетически воскликнула моя хозяйка. — Ты обезумел от ревности, но рана, нанесенная твоему сердцу, терзает тебя меньше, чем оскорбленное самолюбие, самолюбие великого Исидро, который привык сам отвергать и никогда не бывал отвергнут; ты приходишь в ярость при мысли, что завистники будут над тобой смеяться, и в твоих грозных речах о мести говорит не любовь, а гордыня. Я не такова: я люблю втайне, и, случись мне одержать победу, я скрывала бы свое счастье; меня даже не тревожило бы, если бы тот, кого я люблю, ухаживал для виду за всеми женщинами на свете, только бы он по-настоящему любил одну меня.

— Ты удивительная девушка, Пепилья, я обнаруживаю в твоём сердце такие сокровища, о которых и не подозревал.

— Я живу лишь для него, — с волнением произнесла моя хозяйка, — другие мужчины мне безразличны. Перед тобой я не смею таиться, я скажу тебе все, только не его имя, — оно должно остаться тайной для всех. Я не знаю, когда и как возникла моя злосчастная любовь, мне кажется, я так и родилась с этой пылкой привязанностью; и чем больше я стараюсь подавить ее, тем сильнее она становится. За него я с радостью отдала бы жизнь. Тебе это, быть может, непонятно, и уж совсем странным покажется, что я готова пожертвовать своей театральной славой,

преклонением и восторгами толпы. К чему все это? Ведь любишь ради счастья любить, не ради пустого тщеславия.

— Человек, который внушил тебе столь благородное чувство, а сам не отвечает взаимностью, — пылко заговорил Исидоро, — это негодяй, он заслуживает всеобщего презрения. А нельзя ли узнать, кто та женщина, которую он предпочел тебе?

— Нельзя, — возразила моя хозяйка. И с горестным стоном воскликнула: — Я не жестока, нет! Я никогда не мечтала о страшной мести, но вот подвернулся случай, и я не могу им не воспользоваться.

— Правильно делаешь, — сказал Исидоро с мрачной усмешкой, видимо воображая себе кровавые картины. — Надо мстить. Ты не дождешься благодарности за то, что принесла свое сердце в жертву на алтарь Амура. Этот божок не похож на христианского бога. Горделиво и равнодушно принимает он подношения и человеческие жертвы. И если тебе не дано найти счастья ни в чем ином, насладись местью. Могу я чем-либо тебе помочь?

— О, разумеется, можешь, — сказала моя хозяйка, утирая слезы.

— Я тоже надеюсь на тебя. Слушай внимательно: Лесбия верит в твои дружеские чувства. Она, наверно, уже устраивала в твоём доме свидания с этим молодчиком?

— Нет, пока этого не было.

— Так будет. Если она попросит тебя о такой услуге, соглашайся с самым любезным видом.

— Что ты намерен делать?

— Я хочу захватить ее врасплох с этим Маньярой. Я знаю, она обычно устраивает свидания в домах тех приятельниц, которые ниже ее по общественному положению, чтобы уйти из-под надзора своей родни и мужа.

— Понятно.

— Верю, что ты не дашь подкупить себя и что все прочие соображения перевесит желание оказать мне услугу, мне, твоему другу и покровителю. Надеюсь, исполнить мою просьбу будет нетрудно. Если они явятся к тебе, ты их займешь беседой и сразу же дашь мне знать. Уж я постараюсь, чтобы этот молокосос запомнил меня на всю жизнь.

— Ты дрожишь от радости, предвкушая будущую месть, — сказала моя хозяйка. — Я тоже, но у меня для этого больше оснований, моя месть свершится скорее.

— Могу я тебе доверять? Будешь извещать меня обо всем, что тебе удастся заметить?

— Будь спокоен, Исидоро. Ты меня еще не знаешь, но теперь ты поймешь, чего я стою.

— А ты что об этом думаешь? — поинтересовался мавр. — По-твоему, я прав? Лесбия любит этого человека?

— Да, да, она подло тебя обманывает, и я уверена, что все, кто присутствует на спектакле, все смеются над тобой, а счастливый соперник земли под собой не чувствует от гордости и тщеславия.

— Гром и молния! — в бешенстве воскликнул Майкес. — Я плюну ему в лицо с подмостков. О, Пепилья, я восхищаюсь твоим хладнокровием, я завидую тебе. Но не вздумай мне подражать! Дай бог, чтобы ты никогда не узнала, как терзают сердце огненные змеи ревности, как, извиваясь, вливают они яд в мои жилы. О, славный английский поэт, гениальный создатель Отелло! Бесподобно описал он ярость ревнивца и то жуткое наслаждение, которое тот испытывает, воображая, как положит окровавленный труп своего соперника перед глазами неверной жены! Прав он, тысячу раз прав, рисуя женское сердце вместилищем всяческого зла и коварства! Мне ли не понять грозную решимость мавра, мучительную радость, владевшую его душой, когда он представлял себе, как вонзится кинжал в трепещущее тело оскорбителя, как будет попирать ногами гнусный труп!

— Чей труп, Исидоро? Его или ее? — холодно спросила моя хозяйка.

— Обоих! — сжимая кулаки, ответил Исидоро. — И ты говоришь, надо мной смеются? И все это знают, и смотрят на меня, и этот подлый интриган потешается, на меня глядя! Исидоро стал шутком гороховым, ему придется прятаться, убегать от насмешек, завистники теперь ликуют, и ни одна женщина уже не захочет глядеть на него. А ты, ты знала обо всем этом, почему же мне не сказала? Ну конечно, ты — дура! О, у меня нет настоящих друзей, никому не дорога моя честь, моя репутация. Я одинок, но, клянусь богом, сам сумею заставить себя уважать.

Он встал, вид у него был очень решительный. В эту минуту несколько раз стукнули в дверь — это был знак для актеров, что пора начинать третье действие. Майкес приготовился выйти, но не успел он ступить на порог, как что-то у него упало, оторвавшись от пояса. Это был кинжал с металлической рукояткой и лезвием из посеребренного дерева — во время их беседы Пепа забавлялась длинной цепочкой, на которой был подвешен кинжал, и теперь цепочка разорвалась.

— Выпало одно звено, — сказала моя хозяйка, поднимая кинжал с пола. — Сейчас я починю, сожму колечко покрепче.

Исидоро вышел, а моя хозяйка, подойдя к столу у стены напротив меня, принялась за работу; провозилась она довольно долго, хотя, как мне показалось, спешила. Наконец ей удалось соединить цепочку, и она вышла из комнаты. Я остался один, теперь я мог покинуть свой душный тайник и бежать на сцену.

Началось последнее действие, в котором содержатся самые патетические сцены драмы. Песаро постепенно пробуждает ревность в душе доверчивого мавра и, наконец жестоким и коварным наветом ускоряет трагическую развязку. Роль у меня была ответственная, и мне пришлось напрячь все свое внимание, постаравшись не думать о недавних впечатлениях. Во время первой моей сцены с Отелло я заметил, что Майкес бросает беспокойные, ревнивые взгляды на Маньяру, сидевшего у самой рампы: душевная тревога мешала великому трагику сосредоточиться, он был рассеян, играл небрежно. Некоторые мои реплики оставались без ответа; в своих Исидоро то и дело пропускал какие-то стихи, а в одном из самых эффектных мест, где ему всегда особенно аплодировали, у него даже начал заплетаться язык. Публика была недовольна; все знали, Исидоро — человек с причудами, однако казалось неприличным, что он мог позволить себе такие промахи на спектакле, дававшемся в интимной дружеской обстановке для избранной публики, сплошь его поклонников. В зале стояла тишина, и только временами раздавался глухой ропот изумления и досады, когда король сцены в который раз произносил тот или иной стих вяло, без всякого чувства.

Надеялись, что он разыграется в следующей сцене. Там коварный Песаро, ловко плетя свои дьявольские сети на погибель Эдельмире, завладевает наконец вещественными доказательствами, которых требует Отелло в подтверждение того, что венецианка ему изменила. Доказательства эти — диадема, переданная Лоредано Эдельмирой, и письмо, которое под угрозой смерти ее заставил подписать отец. Ни диадема, ни вынужденная подпись сами по себе не могли бы в глазах человека трезвого служить доказательствами бесчестия супруги Отелло. Но ослепленному страстью неистовому мавру не требовалось большего, чтобы попасть в ловушку.

Перед началом сцены я, стоя за кулисами, слышал, как публика возмущается промахами Исидоро. Вдруг кто-то сказал, что виноват вовсе не великий актер, а я, — дескать, своей отвратительной декламацией я привел его в раздраженное состояние. Это меня задело; огорченный, что по моей вине трагедия может провалиться, я решил поднатужиться, чтобы сорвать хоть какие-нибудь аплодисменты.

Хозяйка моя, как я уже говорил, вела спектакль: она указывала, кому когда выходить и уходить, смотрела, чтобы у каждого актера были при себе предметы, которые ему понадобятся по ходу действия. Она дала мне диадему и письмо, я вышел на сцену, где Отелло в одиночестве заканчивал свой монолог. И вот началась эта великолепная сцена, полная могучего, высокого пафоса, даже после того как ее процедил через свое сито бездарный Теодоро Лакалье.

— Умеешь ты страдать? —

спросил я. Исидоро, сумрачно взглянув на меня, быстро ответил:

— Меня уж научили.

— И можешь выслушать спокойно весть мою
о тяжком горе, что тебя настигло?

— Я — человек, —

спокойно отвечал мавр.

Диалог продолжался. Исидоро вновь обрел все свои способности — стихи, в которых

говорится о его опасениях и тревоге, он произнес с огромной силой, от всего сердца. А при словах:

— Что? Неверна она? Я доказательств жду!
Скорей мне покажи! —

он так сильно сжал мою руку и с такой яростью устремил на меня полубезумные глаза, что я растерялся и вмиг слова ответной реплики вылетели из моей головы. Все же я сумел оправиться, произнес кое-как свои стихи и вручил Отелло диадему, а затем и письмо.

Но как только я увидел злополучный листок в его руках, ужас охватил меня, я задрожал, как в ознобе, чувствуя, что у меня отнялся язык. По цвету и форме бумажки, по начертанию букв — я их ясно видел, когда Исидоро поднес письмо к глазам, — я узнал то самое письмо, которое Лесбия дала мне в Эскориале для Маньяры, а моя хозяйка в Мадриде выкрала из моего кармана.

Отелло должен был прочесть письмо вслух, по тексту драмы там говорилось следующее:

Отец мой! Я знаю, что своим поступком нанесла вам незаслуженное оскорбление. Вы одни вправе решать судьбу вашей дочери. Эдельмира.

Но в письме, которое плутовка Пепа подсунула Исидоро, было совсем другое:

Любимый Хуан! Прощаю нанесенное мне оскорбление и все прошлые обиды. Но если хочешь, чтобы я поверила в твое раскаяние, докажи его на деле: приди нынче вечером ко мне ужинать, и тогда я постараюсь рассеять твою беспричинную ревность и доказать тебе, что никогда не любила и не могу полюбить Исидоро, этого дикаря, этого чванливого комедианта, с которым я иногда беседовала лишь для того, чтобы позабавиться его глупой страстью. Приходи непременно, если не хочешь чтобы сердилась твоя Лесбия.

Не бойся, тебя не арестуют. Скорее арестуют короля.

Произошло нечто странное — Исидоро прочитал письмо про себя. Его запекшиеся, побелевшие губы дрожали; как бы не веря своим глазам, он снова и снова просматривал письмо, а публика меж тем, не понимая, почему он молчит, выражала свое недоуменно глухим ропотом. Но вот Исидоро поднял глаза, провел рукой по лбу: казалось, он пробуждается от сна; несколько бессвязных угроз сорвалось с его уст; он закрыл глаза, словно пытаясь успокоиться и продолжать; сделал два-три шага вперед, к публике, затем попятился. Шум в зале нарастал: суфлер громко подсказывал, повторял следующий стих, наконец Исидоро вздрогнул, глаза его засверкали; потрясая кулаками и топая, он продекламировал грозные стихи:

Гляди, вот здесь письмо, а вот и диадема.
Их я хочу обрызгать кровью, утопить
в крови той гнусной, черной, подлой,
которую всем сердцем ненавижу.
Поймешь ли ты. Какое наслажденье
на труп соперника, недвижимый, охладельный,
на труп тот, кто свет очей моих похитил,
швырнуть и труп изменницы коварной?

Наверно, никогда еще на испанской сцене эти стихи не звучали с такой огненной страстью, с такой устрашающей мощью. Все забыли, что находятся в театре, — все видели только страдающего человека, неистового мавра Отелло, который потрясал публику своими гневными воплями. Оглушительные аплодисменты громом прокатились по залу, Исидоро в своей игре достиг невиданного совершенства.

Но вдруг черты мавра исказились, лицо стало пепельно-серым; прижав руки к груди и внезапно перейдя от угрожающего тона к патетически скорбному, он произнес:

Коль близится к нам буря
ее приход нам ветры возвещают;
и молния, сверкая, упреждает,
что грянет страшный гром; и лев рычаньем
дает нам знать, что он недалеко.
Но женщина с приветливой улыбкой
и кротким взглядом сердце нам пронзает,
подобно злобному, коварному убийце.

Новый взрыв аплодисментов. Женщины плакали, кое-кто из мужчин, несмотря на все старания держаться спокойно, тоже утирал слезы. Публика была растрогана, взволнована, потрясена; в эту минуту собственные чувства каждого из зрителей словно бы замерли, заглохли, каждый жил чувствами и страстями Отелло.

Спектакль продолжался: Отелло ушел, декорация переменялась — на сцене театра теперь была спальня Эдельмиры. Тем временем все меня расспрашивали, отчего Исидоро так смутился и встревожился, а я не знал, что ответить.

Вдруг мы хватились, что Исидоро нет за кулисами, и бросились его искать; но его нигде не было видно, и никто не мог сказать, куда он скрылся. Эдельмира произнесла свой монолог с большим чувством: она бросала на Маньяру кокетливо-самодовольные взгляды, точно говорила: «Не правда ли, я чудесно играю!», а счастливый любовник в упоении не сводил с нее глаз и как будто отвечал: «До чего ты хороша!»

Лесбия в самом деле была обворожительна — распущенные волосы ниспадали на плечи, легкое белое платье обрисовывало небрежными складками стройный стан. Вошла Эрмансия, верная ее подруга, и Эдельмира рассказала о своих печальных предчувствиях. Как нежно и меланхолично звучал ее голос, когда она говорила, что боится смерти!

Как привлекательна была она в страдании! Хотя я уже много раз видел эту трагедию, причем видел из-за кулис, отчего пропадала театральная иллюзия, но в тот вечер я ощущал необъяснимый ужас и судьба несчастной, невинной Эдельмиры трогала меня до глубины души.

Желая немного рассеяться, забыть о тревоге, стеснившей грудь, супруга Отелло взяла арфу и запела песню Лауры про иву — трогательную жалобу, в которой, кажется, слышен голос самой смерти. Эдельмира, обучавшаяся пению у Мануэля Гарсиа, исполнила эту песню очень поэтично и нежно. Голос ее проникал прямо в сердце, у меня то и дело мороз пробежал по коже, как от прикосновения холодного стального лезвия.

Песня смолкла, и за сценой загредел гром. Публика была так взволнована, что даже не хлопала. Эдельмира легла, стало очень тихо. Появился Отелло. Во время короткой немой сцены в зале царил полное безмолвие. Мне чудилось, я слышу стук многих сердец, но нет, то громко стучало мое собственное сердце. Меня вдруг охватило лихорадочное беспокойство, я стал оглядываться, искать кого-нибудь, с кем бы я мог поделиться своими опасениями; рядом с собой

я увидел только бледное лицо моей хозяйки. С вымученной улыбкой она сказала:

— Отлично играет Лесбия! Признаю себя побежденной, она играет в тысячу раз лучше, чем я. Но сейчас Исидоро тоже себя покажет. Нынче он в ударе, как никогда.

Я посмотрел на Майкеса; стоя у ложа венецианки, он уже произносил первые стихи этой сцены. Лицо его дышало спокойной задумчивостью. Когда он приподнял полог и ровным голосом сказал:

— Нет, нет, ты не умрешь... О как прекрасно
в зловещем свете факелов лицо твое!

по залу пронесся смутный гул; женщины плакали, мужчины же старались сохранить невозмутимый вид, но не всем это удавалось. Вот Отелло склонился над Эдельмирой и, охваченный внезапной нежностью, произнес:

О, как спокойно дышит ее грудь!
Не знаю, тайная какая сила
меня неодолимо к ней влечет.

Эдельмира пробудилась. Отелло вначале не открывал своего намерения, а когда он его сообщил Эдельмире, та в ужасе и смятении стала клясться, что невинна. Но ничто не могло переубедить грозного мавра, выражение его лица вдруг страшно изменилось; неистово жестикулируя, он вскричал:

Гляди! Узнала ты? Меня узнала ты?

Дрожь объяла зрителей. Какие-то дамы упали в обморок, послышались робкие слова: «Пощади, пощади Эдельмиру! Она невинна! — Во всем виноват негодяй Песаро! — Приведите Песаро!»

Исидоро достал письмо и, вне себя от ярости, протянул его Лесбии; та испустила пронзительный вопль вместо реплики, которую ей полагалось произнести в эту минуту. Отелло придвинулся к ней совсем близко, Эдельмира отшатнулась, словно собираясь соскочить с кровати. Положенные по роли стихи, видимо, выскочили у нее из головы; но через минуту она немного оправилась от смятения, и диалог продолжался.

Эдельмира. Ты что-то хочешь мне сказать?

Отелло. О да, готовься.

Эдельмира. К чему готовиться?

Отелло. О том кинжал мой скажет.

С этими словами он обнажил кинжал, и все увидели, что вместо посеребренного деревянного лезвия в его руке сверкнуло настоящее стальное. За кулисами поднялся переполох, Эдельмира поспешно соскочила на пол и побежала по сцене, крича, как безумная: «Спасите, спасите! Он меня зарежет! Убивают!»

Не могу вам описать, что тут началось на сцене и в зале. Когда Исидоро, гонясь за Лесбией,

схватил ее своей могучей рукой, зрители из первого ряда повскакали с мест и стали взбираться на подмости. В то же мгновение меня словно пружиной подтолкнуло — я кинулся к Лесбии и крепко обхватил ее. Кинжал Исидоро сверкнул над моей головой! Однако неожиданное появление новой жертвы заставило мавра очнуться от ослепляющего бешенства; с его глаз спала пелена; он содрогнулся и, отшвырнув кинжал, с огромным усилием произнес два-три стиха, сжимая меня в объятиях, словно я был Эдельмирой. А она, выскользнув из моих рук, упала без сознания и вмиг была окружена толпой спешивших на помощь. Все это произошло в несколько секунд.

Сцена заполнилась людьми. Лесбию сразу подняли с пола и стали усердно приводить в чувство. Вскоре она очнулась, открыла глаза и что-то сказала. На ней не было ни единой царапины, все обошлось только испугом. С лица бедняжки, правда, долго не сходила необычная бледность и выражение тревоги, но среди окружающих я заметил лицо еще более бледное и встревоженное — лицо Пепиты.

У Исидоро был вид удрученный и пристыженный. Прошло с полчаса, и когда окончательно выяснилось, что ничего страшного нет, завязался оживленный разговор о происшествии. Многие судили о нем с точки зрения театрального искусства — Майкес, этот гениальный актер, говорили они, пришел в состояние такого сильного артистического возбуждения, что совершенно слился с изображаемым персонажем.

— Я нахожу, что на этом пути нельзя достигнуть совершенства в игре, — сказал Моратин, — скорее он приведет нас к порче вкуса, и в созданиях творческой фантазии вместо пристойности и изящества воцарится пошлая проза.

— Не игра, а черт знает что! — сказал Арриаса, бывший заклятым врагом Исидоро. — С тех пор как этот господин ввел у нас французскую манеру игры, искусство декламации погибло.

— Я никогда еще не видал Майкеса в состоянии такого возбуждения и неистовства, — заметил один молодой человек, присоединяясь к кружку. — Мне кажется, на сцене произошло что-то, не предусмотренное в пьесе.

Другой юноша стал ему что-то шептать на ухо. Потом оба расхохотались. Невдалеке от них прошел Майкес, все уставились на него.

— В таком случае ярость Исидоро вполне понятна, — сказал кто-то.

— До нынешнего вечера, — веско произнес Моратин, — он всегда держался в пределах театральной условности.

— А я помню время, — добавил Арриаса, — когда Исидоро был холоден, как кусок льда. В театре его все называли «мраморный».



— Это правда, — сказал Моратин. — Но когда он побывал в Париже, его там хорошо вышколили, и, конечно, нельзя отрицать, что он актер большого таланта. В лирических сценах ему нет равного; в трагических, пожалуй, маловато огня, но нынче вечером огня было с избытком.

— Я с ним довольно коротко знаком, — вмешался третий. — Это человек с сильными страстями. Но он отличный актер, он понимает, что искусство — это условность, и в своей игре никогда не преступает границ благопристойной сдержанности. А сегодня вечером мы его увидели таким, каков он есть.

К кружку подошел важный господин.

— А, сеньор герцог! Как вам понравилась сцена развязки? — спросил Арриаса.

— Великолепно! Вот это называется игра! — отвечал супруг Лесбии. — Забываешь, что ты в театре. Но я больше не позволю моей жене выходить на сцену. Она слишком хорошо играет, из-за этого другие актеры приходят в чрезмерное возбуждение и забываются.

Тут сеньора герцога хлопнули веером по плечу, он обернулся — к кружку подошла Амаранта. Все приветствовали ее, оспаривая друг у друга честь сказать ей комплимент.

— Я ведь говорила вам, сеньор герцог, — сказала она, — что бояться нечего. Излишняя пылкость артиста, только и всего.

— Излишества всегда вредны, я опасался, что герцогиня может погибнуть от рук этого излишне пылкого Исидоро.

— Но возможно, — сказала Амаранта, — была еще другая причина, нам неизвестная...

При этих словах ножка красавицы задела какой-то предмет, валявшийся на сцене. Подхватив юбку, Амаранта отпрянула, все расступились и увидели рядом с ее подолом скомканный листок бумаги. Словно эта бумажка была величайшей драгоценностью, графиня наклонилась и подняла ее, затем, пробежав глазами, спрятала в карман. То было роковое письмо, как выразился бы романист.

— Причина, нам неизвестная?.. — спросил герцог, продолжая прерванный было разговор.

— Да, да, — ответила дама, — и, кажется, я смогу кое-что вам объяснить... Но сейчас мне надо идти к Ла Гонсалес. Там я вас подожду, поговорим.

Мужчины остались одни. По сцене прошла маркиза, спрашивая, где Исидоро.

— Какая жалость! Неужели нельзя будет сыграть «Месть Левши»? — ахала она. — Пепа!.. Послушайте, где же Пепа?

Этот вопрос был обращен ко мне, я побежал искать свою хозяйку. Нашел я Пепиту не в ее уборной, а у Майкеса, который после пережитого им страшного возбуждения старался держаться спокойно, даже улыбался, но было видно, что ярость еще не утихла в его сердце.

— Какая неуместная шутка, Исидоро! — сказала маркиза, появляясь на пороге. — Я до сих пор дрожу от страха.

— Согласен, сударыня, — сказал актер, — но виновата во всем сеньора герцогини, она слишком хорошо играла. У нее большой талант. Ей удалось не только самой вполне слиться со своей ролью, но и заставить меня забыть, что я на сцене. Никогда в жизни, сколько я выступаю, со мной не случалось ничего подобного. Одни английский актер, играя Отелло, убил актрису, исполнявшую роль Дездемоны. Раньше это мне казалось неправдоподобным, но теперь я понимаю, что такое возможно.

— И что ж, «Месть Левши» придется отменить?

— Ни в коем случае. Надо немного посмеяться, сеньора маркиза.

Маркиза удалилась, вслед за ней вышли из комнаты несколько друзей, которых в застал у Майкеса, теперь с ним остались моя хозяйка и я.

— Подойди-ка сюда, — сказал актер, схватив меня за руку. — Кто тебе дал то письмо?

Я указал на Пепиту.

— Да, я, — подтвердила она. — Я хотела, чтобы ты узнал сердце Лесбии.

— Могла бы дать мне это письмо где-нибудь в другом месте! Я был на краю пропасти, я едва не совершил убийство. Когда я прочитал письмо, меня охватило бешенство, я забыл обо всем на свете. Правда, в те несколько минут, что мне пришлось находиться за сценой, я пытался превозмочь себя, но мой гнев только разгорелся и... сама знаешь, что случилось. Увидев ее в сцене финала, я все еще пробовал сдерживать себя, но ее взгляды, голос раздражали меня все больше, я ощутил в себе такую свирепую, беспощадную ярость, какой никогда еще не испытывал. Я вспоминал ее нежные уверения, страстные порывы любви, мнимую искренность, и на мгновение мне подумалось, что покарать это чудовище фальши и лицемерия — чуть ли не мой долг. И когда, обнажив кинжал, я увидел, что лезвие у него стальное, меня объяла неопишуемая радость. Ах, Пепа! Какой страшный миг! Не знаю, почему я ее не убил; не знаю, как я сумел удержаться, не погубить навеки себя и свою честь. Если бы Габриэль не бросился к ней, не прикрыл ее своим телом, то, наверно, сейчас... Ах, не хочу и думать!

— Что ж, сейчас, — продолжала моя хозяйка, — ты бы рыдал над трупом своей возлюбленной, заколотой твоими руками.

— Нет, Пепа, нет, я ее уже не люблю. Как только я прочитал письмо, все мои нежные чувства к ней исчезли; теперь она вызывает во мне лишь презрение и отвращение невыразимые. Мне страшно, что я мог любить подобную женщину. Но скажи — это ты подменила бутафорский кинжал стальным?

— Да, я.

— Стало быть, все подстроила ты? — воскликнул он с изумлением. — С какой целью? Ради чего?

— Я ненавижу ее!

— И ты хотела сделать меня орудием своего преступного замысла! Да, ты ведь говорила о какой-то мести... Почему же ты ненавидишь Лесбию?

— Я ее ненавижу, потому... потому что ненавижу.

— И совесть тебя не мучает? Ведь это чувство толкало тебя на преступление.

— Совесть!.. Преступление!.. — воскликнула моя хозяйка, будто не понимая этих слов, потом, закрыв лицо руками, начала горько рыдать: — О, боже мой, как я несчастна!

— Что с тобой, Пепа? Чего это ты вдруг? — сказал Исидоро, подсаживаясь к ней и отводя ее ладони от лица. — Неужели ты?.. Значит, ты?.. Стало быть, ты?..

В дверь постучались, чей-то голос произнес:

— Сайнете, сейчас начнется сайнете.

Но Исидоро и Пепа словно не слышали предупреждения. Она плакала, он с изумлением глядел на нее.

Я предпочел удалиться, и не только потому, что мое присутствие здесь было бесполезным, — в мозгу у меня зародился план, который не давал мне покоя и я решил привести его в исполнение немедленно. Твердым шагом направился я в комнату моей госпожи; Амаранта была у себя, одна.

— А, это ты, Габриель! — сказала она. — И у тебя еще хватает дерзости показываться мне на глаза! Занятный ты придумал способ уходить со службы! Теперь я вижу, что ты просто лгунишка, которому ни в чем нельзя доверять. Говори: ты всегда платишь своим покровителям такой преданностью?

— Сударыня, — отвечал я, стойко выдерживая молнии ее очей, как моряк — молнии небесные, — служба, которую вы мне предназначали во дворце, не по моему вкусу. Если же я не успел проститься со своей госпожой, то лишь потому, что боялся ареста и поспешил покинуть королевскую резиденцию.

— Должна признаться — вдруг рассмеялась она, — ты славно подшутил над лицензиатом Лапой! Недаром я говорила, что ты малый смышленный. Но даже самый блестящий талант остается скрытым от людей, пока не придет случай его проявить. Я бы еще больше восхищалась тобой, признала бы тебя умницей, талантом, гением, если бы письмо ты отдал мне.

— Но мне-то его дали не для вашей милости.

— Это не беда. Главное, что Лесбия выпустила его из рук. У тебя письмо отняла Пепа, и что она с ним сделала, ты сам знаешь. Заупрямилась, мне не захотела дать, но судьба сама его бросила к моим ногам. Гляди, вот оно.

— Надеюсь, теперь ваша милость вернет его мне. Оно должно быть у меня, я обязан доставить его той особе, что его написала, — решительно заявил я.

— Вернуть тебе! Да ты спятил! — воскликнула Амаранта, с громким смехом, словно я сказал невероятную глупость.

— Да, сударыня, вернуть, это для меня вопрос чести.

— Чести! — захохотала она еще громче — Откуда у тебя честь? Да знаешь ли ты вообще, что это такое?

— Почему ж не знаю? — ответил я. — Когда ваша милость предложила мне стать шпионом, я почувствовал, что щеки у меня загорелись, я будто увидел себя за этим занятием, увидел, как я лгу, притворяюсь, хитрю, и мне стало страшно, я весь похолодел... Знайте же, Габриэль, сын честных родителей, нередко забавы ради слушает свои собственные рассуждения о том, как должно вести себя человеку смелому, порядочному, благородному. Опять же, когда сеньора герцогиня потребовала свое письмо, а я не мог его отдать, я снова почувствовал такое же смятение... И мне подумалось, что сеньору Габриэлильо грош цена, раз он не возвращает письмо и допускает, чтобы другие пользовались этой бумажкой в дурных целях. Если это не называется честью, пусть сам господь меня судит.

Амаранта заметно удивилась моим словам.

— Эти мысли, дружок, тебе не по возрасту, — сказала она мягко. — Придет время, станешь взрослым, и тогда будешь рассуждать о своей чести и беречь ее. Да, я с каждым разом все больше убеждаюсь, что ты прямо-таки создан для тех дел, о которых я с тобой говорила. По-моему, ты превосходно начал свое обучение в житейском университете, и я уверена, тебе понадобится совсем немного уроков, чтобы выйти в магистры.

— Ваша милость, пожалуй, права, — отвечал я, — а что до уроков, вами преподанных, то они мне пошли на пользу.

— И ты не отказался от своих планов? По-прежнему намерен стать — как это ты говорил?.. — с легкой иронией спросила она.

— Да, сударыня, по-прежнему, — невозмутимо отвечал я. — Что ж тут такого? Почему бы мне не стать князем, а то и королем в какомнибудь королевстве, которое раздобудут для меня придворные дамы. Как говорит Инесилья, надо только захотеть.

— Но скажи, ты и вправду верил, что тебя ждет генеральская шпага или герцогская корона?

— Верил, как верю в то, что сейчас ночь. А вы, сударыня, кого я считал божеством, сошедшим с небес, чтобы меня облагодетельствовать, вы окончательно вскружили мне голову своими наставлениями о том, как я должен поступать, если хочу когда-нибудь надеть королевскую мантию или, на худой конец, эполеты капитан-генерала.

— Ты, кажется, шутить изволишь? Что ты хочешь сказать?

— С тех самых пор, как ваша милость объяснила мне, что, если хочешь добиться успеха, самый верный путь — это подслушивать за портьерами да переносить сплетни, как-то само собой получается, что я против своей воли узнаю чужие тайны. Взял бы, кажется, да и заткнул себе уши, так нет, слушают, негодные, и хоть бы что.

— Понимаю, ты хочешь мне рассказать то, что подслушал, — ласково улыбнулась Амаранта. — Садись, говори.

— С величайшим удовольствием исполню ваш приказ, если отдадите мне письмо герцогини.

— Об этом и не думай!

— Тогда буду молчать как рыба. Но если позволите, расскажу вам взамен одну историю, похожую на ту, что я слышал от вас, — ну, может быть, не такую занятную. Я ее не вычитал в старых книгах, а просто услышал... Все треклятые мои уши...

— Что ж, начинай свою историю, — сказала графиня с легким замешательством.

— Лет пятнадцать тому назад жила в Мадриде прехорошенькая юная особа, а зналась она, зналась... нет, имени не помню. Дело было не в дальнем королевстве и не в древние времена, а попросту здесь, в Мадриде, и речь пойдет не о султанах, и не о великих или малых визирях, а всего лишь о премиленькой девице. Взяла эта девица да и влюбилась в юношу из знатной семьи, приехавшего в столицу искать счастья. Родители, кажется, были против, но красавица наша влюбилась по уши, любовь же, как известно, побеждает все препятствия, амур купно с дьяволом устраивали влюбленным тайные свидания и...

Амаранта побледнела, от изумления она не могла слова вымолвить.

— И дело в том, что красотка произвела на свет младенца, — продолжал я.

— Что за глупости ты мелешь! Замолчи! — сказала она, стараясь держаться спокойно.

— Сейчас кончаю. Так вот, родила она младенца, возлюбленный, испугавшись неприятностей, бежал во Францию, а родители девицы сумели так хитро все устроить, что в столице никто ничего не узнал. Красотка потом вышла замуж за старичка-графа и... Вот и вся история.

— Боже, какой дурень! Я не желаю больше слушать эту чепуху, — воскликнула дама, заливаясь густой краской.

— Уже немного осталось. Со временем, однако, кое-кто об этом проведал, в одном месте был такой разговор, и я его подслушал. Но я, видите ли, очень любопытен, вдобавок, если я хочу стать генералом или же князем, мне теперь надо наостриться в сплетнях и интригах, так что этих сведений мне маловато, я хотел бы узнать подробности и собираюсь наведаться к одной женщине, что живет на берегу Мансанареса, рядом с доном Франсиско Гойей.

— Ох! — в ярости вскричала Амаранта. — Убирайся прочь, наглый мальчишка! Какое мне дело до твоих глупых историй!

— А поскольку сведения такого сорта приобретают цену только тогда, когда их рассказывают направо и налево, я думаю сообщить их сеньоре маркизе, чтобы она помогла в моих розысках. Не правда ли, сударыня, блестящая мысль?

— О да, я вижу, ты уже законченный мастер по части клеветы и низких, гнусных интриг. Догадываюсь, кто был твоим наставником. Уходи прочь, Габриэль, ты мне гадок.

— Я согласен уйти и молчать при условии, что вы вернете мне письмо.

— Мерзкий мальчишка, ты хочешь меня перехитрить, хочешь победить меня своим подлым оружием! — вскричала она, вставая из кресла.

Решительный ее вид слегка смутил меня, но я постарался держаться стойко.

— Чтобы преуспеть в жизни, — возразил я, — самое лучшее средство — это шпионство и интриги: кто владеет важными тайнами, тот всемогущ. Следовательно, подавайте мне сейчас же две епископские митры, восемь приходов, двадцать полковничьих шпаг, сотню капелланий и тыщонку-другую казначейских должностей для всех моих приятелей.

— Оставь меня, я не желаю тебя видеть. Слышишь?

— Но сперва вы отдадите мне письмо. Не то я отправлюсь с весточкой к сеньоре маркизе или к сеньору дипломату, а он, вы знаете, человек надежный, никому словечка не скажет.

— О, негодяй, как я тебя презираю! — простонала Амаранта, с горячностью поспешностью роясь в своем кошельке. — Вот оно, вот это письмо, возьми его и убирайся, чтобы я больше никогда тебя не видела.

И она шнырнула на пол письмо, которое ваш покорный слуга молча поднял.

Затем опять села и, обратив ко мне свое прекрасное лицо, сказала:

— Кто тебя научил этим каверзам? Ведь сам-то ты глуп.

— Глупые становятся умными, — отвечал я. Надо только попасть к хорошему учителю. Кабы ваша милость не просветила меня... Прислушиваясь да приглядываясь, всему научишься, сударыня, а я с тех пор, как поступил к вам в услужение, времени даром не терял. Спасибо тому, кто научил мои глаза видеть и уши — слышать. Чтобы стать умным, надо прежде побыть глупым.

Когда я изрек этот парадокс, Амаранта бросила на меня горделиво-презрительный взгляд и указала на дверь. Ах, как она была хороша, как ослепительно хороша! Благородная осанка, окрашенные легким румянцем щеки, волнующаяся грудь — все в ней очаровывало, ее невозможно было ненавидеть. Поверьте мне, господа, зло иногда бывает так привлекательно!

Я уже направился к дверям, как в комнату вошел сеньор герцог со старым дипломатом.

— Вот и я, Амаранта, — молвил первый. — Вы хотели поговорить со мною о причинах, нам неизвестных...

— Не слушай его, племянница! — воскликнул маркиз. — Ты знаешь, ему взбрело в голову ревновать! Он говорит, что на месте Отелло поступил бы точно так же.

— Совершенно верно, — подтвердил герцог. — Узнай я, что моя жена мне изменяет, я бы ее убил.

— Я не имела в виду ничего другого, кроме чисто театральных переживаний, — сухо произнесла Амаранта.

— Больше не позволю жене появляться на сцене вместе с этим дикарем Отелло. Бедняжка столько перенесла! Я узнал, что в мое отсутствие здесь произошли большие события. Герцогиню тоже посмели арестовать. Бедная моя овечка! Как могли ее заподозрить! Ведь она — воплощение доброты и кротости!..

— К этому делу привлечено столько народу! — сказала графиня. — Но по моему ходатайству ее тотчас же отпустили.

— Благодарю вас, дорогая графиня! Разумеется, ведь вы с Лесбией — подруги детства, как

могло быть иначе... И больше ее не будут тревожить?

— О нет, — успокоил его дипломат. Из дела, к счастью, удалось изъять все, что сочли нужным. Правда ведь, племянница?

— Да, да. Именно так и поступили со всеми материалами, касающимися принца, потому что он сам сознался и покаялся в своих заблуждениях. Судьи у нас покладистые, они изымут все, что будет нам угодно, и представят дело публике в надлежащем виде.

— Ну и превосходно, — сказал дипломат. — Это доказывает, что наше правительство не лишено такта. А что Наполеон?

— Наполеон потребовал, чтобы его имя не было упомянуто, поэтому пришлось изъять также все связанное с ним. Хотя установлено, что принц ему писал, судьи припрятут все показания и документы, где об этом говорится, — только бы Бонапарт остался доволен.

— Прекрасно, теперь я спокоен, — высокопарным тоном заявил дипломат. — Так я и сообщу принцу Боргезе, принцу Пьомбино, его высочеству великому герцогу Арембергу. Разумеется, попрошу вас никому не выдавать моих намерений. Ты слышишь, Амаранта? Слышите, сеньор герцог? Но нет, герцогу нельзя доверять секреты. Он все выбалтывает.

— Что именно? — спросила Амаранта.

— Как я ни стараюсь, чтобы мои отношения с Ла Гонсалес хранились в тайне, были скрыты за непроницаемой завесой молчания...

— Сеньор маркиз, вы все такой же проказник, как в молодости.

— Ну, что вы, друг мой, я сам не знаю, как это получилось... Я тут палец о палец не ударил. Пепита уже давно давала понять, что я ей нравлюсь. Плутовка и не думает это скрывать — только сейчас, когда ставили сайнете, она бросала на меня такие взгляды... А как чудесно она играла! Я никогда еще не видал ее такой веселой, оживленной, игривой, задорной. Но все же она меня компрометирует. Ты согласна, племянница? Я изо всех сил стараюсь хранить тайну, ты ведь знаешь мой характер, а она... словом, это уже известно всему свету. Когда закончился сайнете, я подошел к ней и сказал: «Нельзя же так открыто, Пепа, не забывайте, что сдержанность — родная сестра дипло... то бишь, любви». Мой совет, наверно, подействовал, потому что она удалилась с Исидоро, прикинувшись, будто ужасно рада его обществу. У обоих был такой вид, что человек менее проницательный, чем я, принял бы их за влюбленных.

— Возможно, — сказала Амаранта.

Я вышел из комнаты и принялся искать Лесбию в соседних со сценой помещениях. Когда я наконец нашел ее и вручил письмо, она, пряча конверт, сказала мне очень взволнованно:

— Ах, Габриэлильо, в этот вечер ты дважды спас мне жизнь.

Я не хотел там оставаться ни минутой дольше и вышел на улицу, полный решимости никогда больше не унижаться, не искать поддержки у лицедеев и плясунов, у придворных интриганок и развращенных, спесивых господ. Мою душу наполняло одно желание — поскорее увидеть Инес. По черной лестнице я взлетел на четвертый этаж, срывая с себя на бегу различные принадлежности театрального своего костюма. Борода, усы, перья с шляпы, кошелек, портупея, цепь — все полетело вниз одно за другим. Эти вещи казались мне чем-то позорным, я не мог в них появиться в доме порядочных людей.

Мне отворил отец Селестино, по его глазам я сразу заметил, что он плакал.

— Несчастлиная донья Хуана скончалась два часа назад, — сказал он.

Я весь похолодел и, не в силах двинуться с места, остановился у входа. Могильная тишина стояла вокруг. В глубине коридорчика, через приоткрытую дверь, я видел слабый свет в зале. Медленными шагами, прижав руки к груди, в которой сердце колотилось так, будто хотело выскочить, я прошел вперед. Уже с порога я увидел тело покойницы, она лежала в черном платье на той же постели, где ее покинула душа. Сложенные как для молитвы руки, закрытые глаза, умиротворенное выражение мраморно-белого лица навевали мысли не о страданиях и смерти, а скорее придавали ее облику сосредоточенную задумчивость — она, казалось, была погружена в мистическое созерцание небесных видений, которое приносит высшее блаженство людям глубоко набожным.

У ложа покойницы сидела на полу Инес, прислонясь к постели и закрыв лицо ладонями. Она тихо плакала — то было естественное проявление скорби для души, привыкшей и в горе и в радости покорно склоняться пред волею всевышнего. Инес даже не пошевелинулась, чтобы взглянуть на меня, впрочем, я этого и не заслуживал. Залу освещала одинокая восковая свеча, тонкий, колеблющийся язычок пламени, подобно указующему персту, устремлялся к небесам, изображения пречистой девы и святых с сочувствием взирали со стен на грустную картину, и в их лицах была необычная торжественность.

Как ни велика была моя печаль, я ощутил, глядя на это зрелище, внутреннюю просветленность, которую не выразишь словами. Это спокойствие в столь горестный час, безмятежность духа, осенявшего страдание, подобно крылам ангела-хранителя, оберегающего душу, когда, в смятении и страхе, она покидает грешное тело; царившая у смертного одра тишина, в которой мне слышались дальние голоса ликующих небесных хоров; тихие рыдания сиротки, которая, смиренно скорбя, не обвиняла ни судьбу, ни случай, ни какое-либо иное из мнимых божеств, созданных праздным умом человеческим; безропотное смирение, невозмутимый душевный покой, нарушить который не способна даже смерть, бессильная перед твердыней чистой совести, долга, веры и любви, — все это было для меня как живительное дыхание свежего ветерка, приносящего мир и покой туда, где недавно свирепствовала буря и сталкивались противоборствующие вихри. В тот миг я, как никогда, был вправе сравнить свою душу с зеркально гладкой поверхностью озера и, как никогда, ясно видел ее всю, до самого дна. И словно мне долгое время что-то мешало дышать свободно, я вдруг вобрал в себя воздух полной грудью и почувствовал, что с сердца моего спала огромная тяжесть.

От этих размышлений меня отвлек голос священника, позвавшего меня в соседнюю комнату.

— Бедняжка Хуана! — сказал он, утирая слезы. — Так и не дождалась радости увидеть исполнение моего заветного желания.

— А что? Неужели вам...

— Да, сын мой! Незадолго до ее кончины я получил вот эту бумагу, где сказано, что меня назначают экономом приходской церкви в Аранхуэсе. Наконец-то справедливость восторжествовала. Впрочем, для меня это не было неожиданностью, ведь я говорил тебе, что на этой неделе обязательно... Видишь, Габриэлильо, сколь своевременно господь пришел нам на помощь в беде. Теперь Инес не останется без опоры, ей не придется идти на поклон к родственникам Хуаны.

— Милая моя Инес! — воскликнул я. — Тебе посвящу я всю свою жизнь. Я буду жить для тебя, для тебя одной!

— Ах! — вздохнул священник. — Удивительные дела творятся, дорогой Габриэль. Если бы ты знал, какое признание сделала мне Хуана перед смертью... Пожалуй, тебе можно о нем сказать, ты почти член семьи.

— Какое признание?

— После исповеди Хуана подозвала меня и сказала, что Инес — не ее дочь... Какая странная история! Я просто поражен. Итак, Инес — не ее дочь, а дочь одной знатной дамы, которая...

— Что вы говорите!

— То, что слышишь. Настоящая ее мать — ты понимаешь, речь идет о тайной любовной связи из тех, что приносят бесчестье аристократической семье, — настоящая мать покинула бедное дитя и... Когда-нибудь расскажу тебе более подробно.

— Имя, назовите имя этой дамы, вот все, что мне надо знать.

— Хуана как раз хотела назвать его, но рассказ лишил ее последних сил, слово замерло на устах, скованных смертью.

Эта новость привела меня в неопишемое волнение. Я вернулся в залу и стал пристально глядеть на покойницу, как бы надеясь, что ее губы произнесут таинственное имя.

— Неужели, о господи, — взмолился я в душе, — ты не вдохнешь жизнь в неподвижный сей труп, чтобы оледеневший язык зашевелился и произнес одно-единственное слово?

В моей смятенной душе на миг мелькнула надежда — а вдруг мои мольбы воскресят покойницу и труп вернется к жизни, чтобы открыть мне тайну происхождения Инес.

— Какой же я глупец! — сказал я себе, опомнившись. — Разве нет других способов выяснить истину?

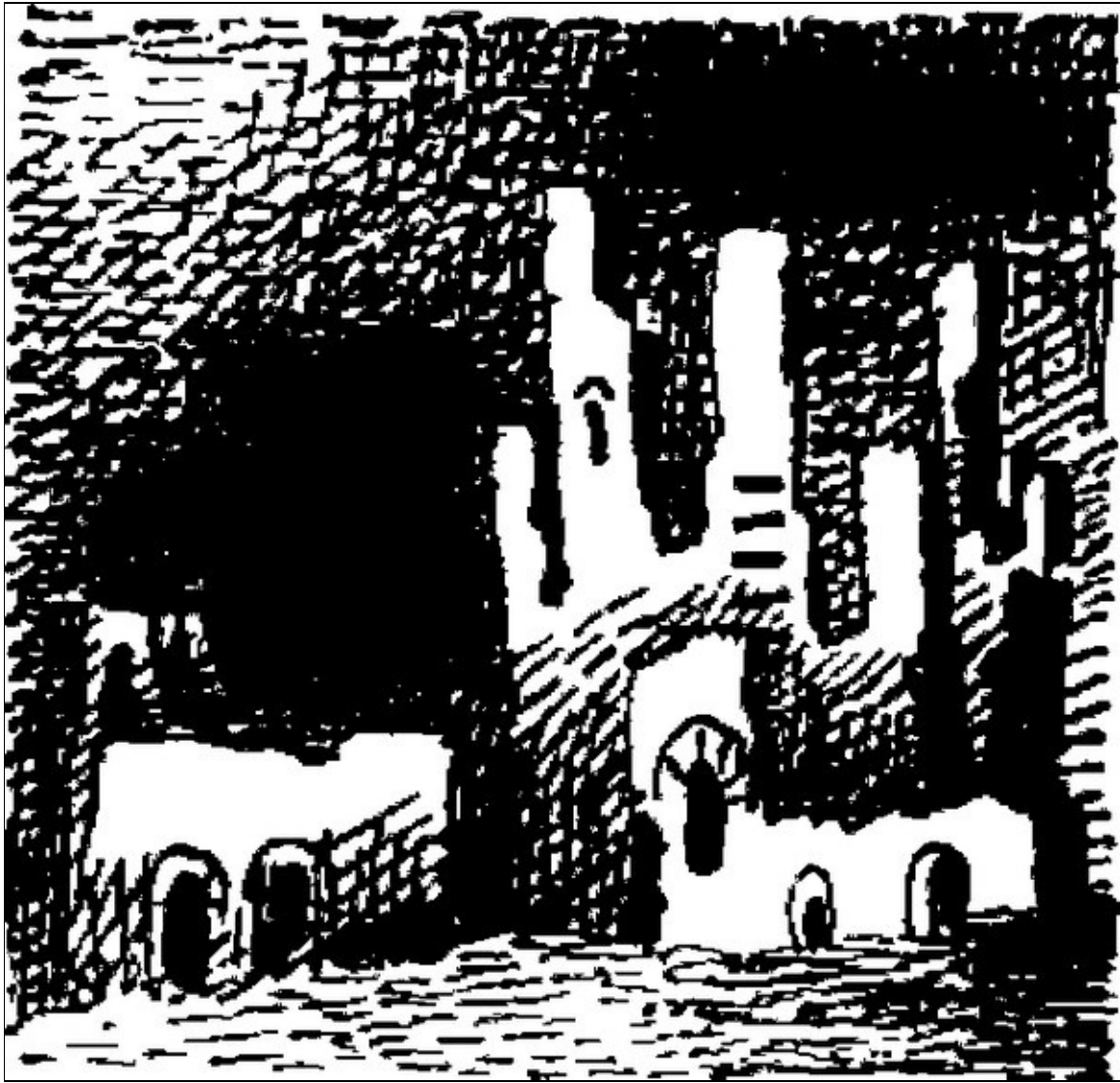
С той поры Инес стала средоточием всех моих помыслов. Даже если бы я не любил ее прежде, постигшее бедняжку несчастье заставило бы меня привязаться к ней навеки.

Когда жизненный путь близится к концу, с весельем душевным взираешь на то, сколь удивительным образом провидение, еще в самом начале жизни нашей, намечает предстоящий нам путь, все заблуждения и похвальные дела, все горести и радости, которые нас ожидают. Переход детства к юности — это набросок драмы, план которой сквозит в лепете первых страстей и в бурном смятении первых поступков взрослого.

Многое в моей жизни может показаться романическим вымыслом, но думаю, дело тут не во мне, — всякий человек одновременно и автор и актер некоей драмы, и если бы ее рассказать или записать, кое-кто нашел бы, что она рассказана или написана для забавы тех, кто, наскучив собственной, слишком уж знакомой жизнью, ищет развлечения в истории других людей. Биография любого человека содержит немало того, что — не знаю, почему — принято называть «романическим вымыслом», и в любом произведении этого жанра, даже самом легковесном, найдутся страницы, с которых нам прозвучит голос самой жизни, подлинной и полнокровной.

Я употребил две тысячи реалов на погребение покойницы и на переезд донна Селестино с сироткой в Аранхуэс, где они и поселились. Сам я вернулся в Мадрид. Немного спустя Инес пригласили к себе родственники доньи Хуаны, у них она перенесла столько страданий и унижений, что, вспоминая об этом, я и сейчас содрогаюсь. Наконец мы решили, что нашему счастью уже ничто не помешает, но тут настали тревожные дни, дни которые запечатлелись в нашей памяти как грозные предвестники катастрофы. Меня, хоть я был еще мальчишкой, тоже захватила волна всеобщего страха, и в моем уме, подобно вспышкам молнии, то и дело мелькали мрачные предчувствия грядущих горестей. На всю духовную жизнь народа ложились в те дни зловещие тени близящихся, но еще неведомых бед. Я не сумел бы объяснить причину своих опасений, но мне повсюду чудился призрак войны, ее чудовищный образ витал перед моими глазами, наполняя меня ужасом и властно призывая следовать за собою... О, как быстро это сбылось, и все мы, испанцы, были вовлечены в ее свиту! Вспыхнул мятеж в Аранхуэсе, наступило Второе мая, кровавый и скорбный день, многие пали жертвой от рук французов. Инес оказалась во власти интервентов... Но сейчас у меня нет сил рассказывать об этих страшных событиях. Я устал, и мне надо перевести дух, прежде чем продолжить свою историю.

Мадрид, апрель — май 1873 г.





Сарагосу мы увидели, если не ошибаюсь, восемнадцатого декабря вечером. Проходя через городские ворота, носящие имя Санчо, мы слышали, как часы на Новой башне пробили десять. Мы были голодны, оборваны, и вид у нас был крайне жалкий, — все эти дни мы шли от самой Лермы через Салас-де-лос-Инфантес, Серверу, Агреду, Тарасону и Борху, взбираясь на горы, переправляясь вброд через реки, преодолевая различные преграды и препятствия, пока не выбрались на большую дорогу, соединяющую Гальур и Алагон. Долгий путь вконец измотал нас. Мы еле волочили ноги, падали от усталости, но радость обретенной свободы искупала любые лишения.

Нас было четверо. По дороге из Лермы в Когольос нам удалось освободиться от веревки, которой были связаны руки стольких ни в чем не повинных патриотов, и мы бежали.

После побега мы наскребли на четверых одиннадцать реалов, составивших весь наш капитал, а три дня спустя, оказавшись в столице Арагона, сделали ревизию общей кассы и подвели баланс. Подсчеты показали, что наш актив не превышает тридцати одного куарто. В лавочке рядом с: «Эскуэла Пиа» мы купили хлеба и по-братски поделили его.

У дона Роке, одного из участников побега, в Сарагосе были знакомые, но мы не решались предстать перед ними в столь поздний час. Отложив розыски друзей до утра и не имея возможности устроиться на постоялом дворе, мы долго плутили по городу в поисках места для

ночлега. От рыночных навесов мы сразу же отказались, сочтя, что они лишены каких бы то ни было удобств и отнюдь не располагают к отдыху, в котором так нуждались наши измученные тела.

Побывали мы и у Наклонной башни; кто-то из нас предложил провести ночь у ее подножья, но я возразил, что в таком случае мы останемся под открытым небом. Тем не менее именно эта башня послужила нам временным пристанищем и трапезной, около нее мы передохнули и поужинали черствым хлебом. С наслаждением поглощая его, мы время от времени поглядывали на грозную громаду, напоминавшую исполина, который наклонился и смотрит, кто это копошится у его ног. В лунном свете поджарая фигура этого каменного стража, которому никак не удастся выпрямиться, отчетливо вырисовывалась на фоне неба. Когда над шпилем башни бегут облака, человек, смотрящий на нее снизу, невольно вздрагивает от страха: ему кажется, что облака неподвижны, а башня медленно валится на него, что земля, устав носить на себе это странное сооружение, осела под его тяжестью и оно наклоняется все ниже и ниже, но никак не может упасть.

Затем мы прошли по Косо от дома Гигантов до семинарии, спустились по загроможденным развалинами улицам Кемада и Ринкон и оказались на небольшой площади Сан-Мигель. Оттуда мы побрели наугад, проходя переулком за переулком и пересекая узкие кривые улочки, пока не добрались до руин монастыря Санта-Энграсия, взорванного французами при снятии первой осады, и там у всех нас вырвалось восклицание, выражавшее полное наше единодушие: вот, наконец, мы и нашли себе отличный приют на ночь.

От монастыря уцелели лишь передняя стена и мраморный портик с многочисленными статуями святых, стоявшими так спокойно и невозмутимо, словно они даже не заметили происшедшей вокруг катастрофы. Внутри монастыря мы увидели полуразрушенные своды, огромные каменные опоры, которые все еще высились среди мусора и щебня; черные и бесформенные на фоне ясного неба, они казались причудливыми порождениями больной фантазии. Перед нами были выступы углы, ниши, лабиринты, пещеры и сотни других созданий того зодчего, который зовется хаосом и разрушением. В уцелевших частях стен попадались небольшие выемки, напоминавшие естественные природные гроты. В полуобвалившемся алтарном своде, где виднелись прогнившие от сырости остатки запрестольных украшений, еще торчал грязный блок, на котором когда-то висело паникадило, но в трещинах, расколовших дерево и камень, уже проросли сорные травы.

Среди всего этого запустения особенно резко бросалось в глаза то небольшое, что случайно уцелело: несколько органных труб и решетка исповедальни. Потолок рухнул, обломки колокольной перемешались с обломками надгробий. Глядя на эти развалины, на множество исковерканных, хотя и не утративших полностью свою былую форму предметов, на груды крошившихся кирпичей с присохшей к ним штукатуркой, можно было подумать, что обезображенный остов монастыря все еще сотрясается от взрыва, не давая обломкам окончательно улечься там, куда их раскидало.

Дон Роке сказал нам, что под этой церковью была другая, где покоились мощи святых мучеников Сарагосы, но вход в подвальное помещение завален. Вокруг царила гробовая тишина, однако, пройдя дальше в глубь церкви, мы слышали человеческие голоса, исходившие из загадочных пещер в уцелевших стенах. Эти голоса произвели на нас сильное впечатление: нам показалось, что тени знаменитых летописцев, христианских мучеников и патриотов, погребенных под развалинами, вышли из своих могил и бранят нас за то, что мы нарушили их покой. Внезапно отблеск пламени озарил часть руин, и в большой нише между двух каменных выступов мы различили группу людей, жавшихся друг к другу. Люди эти оказались сарагосскими нищими, они соорудили здесь себе настоящий дворец, защитившись от дождя с помощью балок

и рогожи. Мы устроились неподалеку от них и, укрывшись двумя плащами, от одного из которых осталась лишь половина, попытались заснуть. Улегшись, дон Роке сказал мне:

— Я знаком с доном Хосе де Монторья, одним из самых богатых сарагосских земледельцев. Мы с ним земляки — оба из Мекиненсы, вместе ходили в школу и вместе играли в труко на холме Коррехидора. Думаю, что он не откажет нам в гостеприимстве, хотя не виделись мы с ним уже лет тридцать. Как все истые арагонцы, он — само радушие. Вот увидите, ребята, что за человек этот дон Хосе де Монторья. Во мне и самом со стороны матери есть кровь Монторья. Мы представимся ему и скажем...

Тут дон Роке заснул, и я последовал его примеру.

Ложе, на котором мы отдыхали, было не очень-то мягким и не располагало к тому, чтобы подольше понежиться на нем, — на перине из бульжников не разоспишься. Поэтому проснулись мы очень рано и, свободные от забот, связанных с утренним туалетом, готовы было хоть сейчас отправиться с визитами к знакомым. Всей нашей четверке одновременно пришла мысль о том, что недурно было бы позавтракать, но мы тут же с не меньшим единодушием решили, что это невозможно: у нас начисто отсутствовали средства, необходимые для осуществления столь серьезного замысла.

— Не унывайте, ребята, — подбодрил дон Роке. — Я живо доставлю вас к моему другу, а он уж о нас, позаботится.

Когда дон Роке произносил эти слова, мы заметили двух мужчин и женщину: они покидали ту гостиницу, где, равно как и мы, нашли себе приют минувшей ночью. Судя по их виду, незнакомцы почивали здесь уже не впервые. Один из них был несчастный старик-калека с отрезанными до колен ногами, передвигавшийся с помощью двух костылей или просто на четвереньках. Тем не менее его загорелое лицо дышало жизнерадостностью. Пробираясь мимо нас, он учтиво отвесил поклон и поздоровался, и дон Роке, воспользовавшись случаем, спросил его, в какой части города находится дом дон Хосе де Монторя, на что безногий ответил:

— Дон Хосе до Монторя? Да я же знаю его как самого себя. Лет двадцать назад он жил на улице Альбардериа, затем переехал на Парру, а потом... Но вы, я вижу, не здешние?

— Да, добрый человек, мы не здешние и явились сюда, чтобы вступить в ряды защитников вашего храброго города.

— Значит, четвертого августа вас тут не было?

— Нет, друг, — ответил я, — нам не довелось участвовать в этом героическом сражении.

— И вы не видели боя в Лас Эрас? — спросил нищий, усаживаясь около нас.

— Это счастье нам тоже не выпало.

— А вот дон Хосе де Монторя принимал в нем участие: он вместе с другими выволок пушку на позицию и открыл огонь, вот оно как. Я вижу, ничего-то вы не знаете, откуда вы взялись?

— Из Мадрида, — ответил дон Роке. — Значит, вы скажете нам, где живет мой старый друг дон Хосе?

— Конечно, скажу, приятель. Отчего не сказать? — заверил безногий, вытаскивая краюху черствого хлеба и собираясь позавтракать. — С улицы Парра он переехал на Энмедьо. Сами понимаете, здесь все дома взорваны, вот оно как. Вон там, на улице, стоял Эстеван Лопес, солдат десятой роты первого полка арагонских волонтеров; он с сорока товарищами обратил французов в бегство.

— Поистине изумительный подвиг! — восхитился дон Роке.

— Да, но если вы не видели, что происходило здесь четвертого августа, значит, вы вообще ничего не видели, — продолжал нищий. — Четвертого июня я тоже был здесь и все видел: я полз по улице Паха и самолично наблюдал, как Артиллеристка стреляла из двадцатичетырехфунтовой пушки.

— Мы уже слышали о героизме этой бесстрашной женщины, — объявил дон Роке. — Но не будете ли вы так любезны сказать...

— Конечно, скажу. Дон Хосе де Монторя близкий друг торговца дон Андреса Гуспиде, который четвертого августа вел огонь с голубятни, что в переулке Торре дель Пино. В него и гранаты, и пули, и картечь — все летело, а наш дон Андрес стоит, как скала, и хоть бы что.

Вокруг него валялось больше ста трупов — он один полсотни французов уложил.

— И этот великий человек друг моего друга?

— Да, сеньор, — подтвердил безногий. — Они самые щедрые кавальеры в Сарагосе — каждую субботу подают мне милостыню. Нужно вам сказать, что зовут меня Пепе Пальехас, но знают меня здесь больше по прозвищу. А прозвали меня «Вонмигласио», потому как двадцать девять лет тому назад был я пономарем в церкви Иисуса и пел на клиросе... Но не об этом сейчас речь. Так вот, зовут меня Вонмигласио. Может, вы обо мне и у себя в Мадриде слышали?

— Как же, как же! — поддакнул дон Роке в порыве великодушия. — Сдается мне, я слышал, как при нас упоминали имя сеньора Вонмигласио. Верно, друзья?

— Так это я и есть, — продолжал нищий. Да будет вам также известно, что до осады города я просил подаяние у входа в этот самый монастырь Санта-Энграсия, который французские разбойники взорвали тринадцатого августа. Теперь я сижу у Иерусалимских ворот — там вы всегда найдете меня, если я вам понадоблюсь... Как я уже сказал, четвертого августа я был здесь и своими глазами видел Франциско Килеса, старшего сержанта первой роты первого егерского батальона, — он как раз выходил из церкви. Вам, наверно, известно, что он выбил разбойников из монастыря Энкарнасьон, а были-то у него всего-навсего тридцать пять человек... Я вижу, вы удивлены? Ну, что ж, тут есть чему удивляться. А в саду Санта-Энграсия, что позади вас, погиб подпоручик дон Мигель Хила. В этом садике валялось самое меньшее сотни две трупов, и там еще переломило ногу дону Фелипе Сан-Кlemente-и-Ромеу, здешнему торговцу. Конечно, не будь там дона Мигеля Саламеро... Об этом вы тоже ничего не знаете?

— Нет, уважаемый, — отозвался дон Роке, — ничего мы не знаем, и, хотя ваши рассказы о стольких необычайных подвигах доставляют нам безмерное удовольствие, для нас было бы гораздо важнее услышать, где можно повидаться с моим давним другом доном Хосе, потому что все мы четверо страдаем лишь одним недугом, имя которому голод и от которого не избавляет даже повествование о самых геройских делах.

— Я мигом доведу вас туда, куда вам нужно, — успокоил нас Вонмигласио, предварительно поделившись с нами своим завтраком. — Но раньше я должен вам кое о чем рассказать, а именно о том, что если бы дон Мариано Сересо не защищал Альхаферию и не отстоял ее, то и в Портильо ничего бы не получилось. Что за храбрец, хвала господу, этот дон Мариано Сересо! Во время боя четвертого августа он шагал по улицам со шпагой и старинным круглым щитом, и один его вид вселял ужас во французов.

Здесь, у Санта-Энграсия, было сущее пекло, сеньоры. Ядра и гранаты дождем сыпались на патриотов, но они не обращали на них внимания, словно это и впрямь были дождевые капли. Почти весь монастырь уже обрушился, весь квартал ходуном ходил, и дома вокруг сгорали и разваливались с невообразимой быстротой, словно карточные домики. Огонь всюду — в окнах, на крышах, на улицах. Французы падали, как мухи, но и сарагосцев повсюду подстерегала смерть. Дон Антонио Куадрос пробрался вон туда, и как увидел французские батареи, так вид у него стал такой, словно он проглотить их готов. Разбойники палили по этим стенам из шестидесяти пушек. Вы этого не видели? А вот я видел. Кирпичи монастырских стен и земля с парпетов разлетались, как крошки хлеба. Мертвые служили бруствером — их была тут целая гора: трупы сверху, трупы снизу. Глаза дона Антонио Куадроса метали молнии. Ребята стреляли без передышки, в каждый выстрел всю душу вкладывали. Вы этого не видели? А вот я видел.

Французские батареи смолкали одна за другой — наши выбивали всех канониров подряд. Когда командир увидел, что еще одно вражеское орудие осталось без прислуги, он крикнул: «Эполеты тому, кто заклепает пушку!» Пепильо Руис, встал и пошел, да так спокойно, словно прогуливался по майскому саду среди цветов и порхающих бабочек, только бабочками-то были пули, а цветами — ядра. Заклепал он пушку и идет себе назад, да еще улыбается. Тут часть

монастыря возьми да и рухни. Кого придавило, тот на месте остался. А дон Антонио Куадрос знай себе кричит, что все это пустяки. Но в эту минуту ихняя разбойничья пушка пробила в стене большую брешь, и он бросился закладывать ее здоровенным мешком с шерстью. Вот тут пуля и угодила ему в голову. Его перенесли сюда, он сказал, что рана тоже пустяки, и сразу испустил дух.

— О! — нетерпеливо воскликнул дон Роке. — Мы в восторге, сеньор Вонмигласио и, слушая ваши рассказы о столь великих ратных подвигах, испытываем самые пылкие патриотические чувства, но не будете ли вы все же любезны сказать нам, где...

— Боже ты мой! — перебил его нищий. — Да кто же скажет вам это, как не я? Вот уж что я знаю, вот уж на что я нагляделся, так это на дом дона Хосе де Монторья. Он ведь в двух шагах от Сан-Пабло. Вы-то не знаете, что творилось у Больницы. А вот я сам все видел. Ядра сыпались там, как град. Больные, глядя, что потолки рушатся, выпрыгивали через окна прямо на улицу. Другие сползали или скатывались по лестницам. Перегородки пылали и трещали, всюду раздавались стоны, а сумасшедшие рычали в своих клетках, словно дикие звери. Те, кому удалось вырваться, бегали по галереям, смеялись, плясали и корчили страшные гримасы, от которых мороз драл по коже. Кое-кто выскочил на улицу и разгуливал по ней, как в масленицу, а один залез на крест Косо и стал оттуда кричать, что он — река Эбро и сейчас затопит город, чтобы потушить пожары. Женщины спешили на помощь больным, которых переносили в церкви Пилар и Сео. По улицам не пройдешь. Всякий раз, когда летело ядро, на Новой башне начинали бить в набат, чтобы предупредить людей, но они кричали так громко, что заглушали колокола. Французы наступали по этой вот улице, по Санта-Энграсия; они захватила больницу и монастырь Сан-Франсиско. Начался бой на Косо и прилегающих улицах. Дон Сантьяго Сас, дон Мариано Сересо, дон Лоренсо Кальво, дон Маркос Симоно, Реновалес, ветеринар Мартин Альбантос, Висенте Коде, дон Висенте Маррако и другие поднялись во весь рост и атаковали французов; графиня де Бурета, пылая от гнева, с ружьем в руках поджидала врагов за баррикадой, которую сама и построила.

— Неужели? — с восхищением спросил дон Роке. — Женщина, да еще графиня, возводила баррикады и стреляла из ружья?

— А вы этого не знали? — удивился нищий. — Да откуда вы свалились? Сеньора Мария Консоласьон Аслор-и-Вильявисенсьо, что живет на Эссе Хомо, ходила по городу и, не стесняясь в выражениях, стыдила павших духом, а потом приказала перегородить начало улицы, стала во главе отряда земляков и воскликнула: «Умрем здесь все до одного, но не пропустим их!»

— Какой героизм! — воскликнул дон Роке, позевывая от голода. — С каким удовольствием я слушал бы рассказы о подобных подвигах, не будь у меня так пусто в желудке! Значит, вы говорите, что дом дона Хосе выходит...

— Вон туда, — ответил калека, — Так вот, у арки Синеха неприятель попал в окружение и застрял накрепко. Пресвятая дева дель Пилар! Ну и мясорубку же устроили французам! В сравнении с этим все остальное сущие пустяки. На улице Парра, в саду Эстреведес, на улицах Урреас, Санта-Фе, Асоке — всюду сарагосцы крушили французов. До сих пор с того самого дня у меня в ушах стоит гром пушек и крики людей. Враг поджигал дома, которые не мог отстоять, и наши делали то же самое. Пламя полыхало со всех сторон. Мужчины, женщины, дети — словом, все, у кого были две руки, сражались с врагам. Вы этого не видели? Ну, так вы вообще ничего не видели. Как я уже сказал, в тот день Палафокс выступит из Сарагосы в...

— Хватит, дружище, — прервал дон Роке, терпя терпение. — Мы в восторге от вашего рассказа; но если вы сейчас же не отведете нас в дом моего земляка или не укажете, как нам добраться дотуда, мы пойдем одни.

— Сию минуту, сеньоры, не волнуйтесь, — успокоил нас Вонмигласио и двинулся впереди

нашей четверки так быстро, насколько позволяли ему костыли. — Я отведу вас, с превеликим удовольствием отведу. Видите вон этот дом? Так вот, в нем живет Антонио Ластре, старший сержант первой роты четвертого полка. Да будет вам известно, что он спас от врага шестнадцать тысяч четыреста песо, хранившихся в казначействе, и отбил у французов весь воск, который они украли.

— Идемте, идемте, дружище, — прикрикнул я, видя, что неугомонный говорун уже готов остановиться и со всеми подробностями поведать нам о подвигах Антонио Ластре.

— Сейчас доберемся, — заверил нас Вонмигласио. — А вот тут я шел утром первого июля и встретил Иларио Лафуэнте, первого капрала мушкетерской роты пресвитера Саса. Он мне и говорит: «Сегодня штурмуют Портилью». Тогда я пошел посмотреть, что там происходит, и...

— Все это нам уже известно, — прервал его дон Роке. — Пойдемте-ка побыстрее, а поговорим после.

— Вот этот дом, который, как вы видите, весь сгорел, так что от него осталась лишь куча мусора, — не умолкал калека, сворачивая за угол. — Его сожгли четвертого числа, когда дон Франсиско Ипас, подпоручик второй мушкетерской роты прихода Сан-Пабло, подкатил сюда пушку и потом...

— Что было потом, мы уже знаем, дружище, — остановил его дон Роке — Идемте быстрее.

— Но самое замечательное — это то, что сделал с пушкой на улице Парра крестьянин Коде из прихода Магдалины, — продолжал нищий и снова остановился. — Наши только собрались палить из нее, как налетают французы. Все разбегаются, а Коде прячется под пушку; французы его не замечают и идут себе дальше. А он с помощью какой-то старухи, которая раздобыла ему веревку, вытаскивает пушку на перекресток... Пойдемте, я вам покажу это место.

— Нет, нет, ничего мы не желаем видеть. Вперед, и еще раз вперед!

Мы так торопили нашего проводника и так упорно отказывались слушать его, что, в конце концов, хотя и очень не скоро, он вывел нас через Косо и рынок на улицу Иларса, где жил человек, которого мы хотели видеть.

Но, увы, дона Хосе де Монторья дома не оказалось, и нам пришлось отправиться на поиски его в окрестности города. Двое наших спутников, которым наскучило бесплодное хождение, отделились от нас, решив положиться на собственную инициативу и найти себе какое-либо военное или гражданское занятие. Мы же, то есть дон Роке и ваш покорный слуга, остались вдвоем и, освободившись от заботы о других, направились к «башне» нашего друга («башнями» в Сарагосе именуют загородные имения), расположенной к западу от города, у дороги на Муэлу, недалеко от Бернардоны. Столь долгая пешая прогулка натошак не доставила особого удовольствия нашим утомленным телам, но — что поделаешь! — к этому несвоевременному моциону нас вынуждала необходимость. Наши труды были вознаграждены: долгожданная встреча с сарагосцем все-таки состоялась, и он принял нас как нельзя более радушно.

Мы застали дона Монторью в саду, где он вырубал густые оливы — этого требовал план фортификационных работ, составленный инженерами в предвидении неизбежной второй осады города. Не один наш друг безжалостно уничтожал собственными руками свое законное имущество — тем же занимались все землевладельцы округи, опустошая свои сады с такой невозмутимостью, словно это была поливка, пересадка или сбор винограда.

Монторья сказал нам:

— Во время первой осады я вырубил свой участок около Уэрвы, а вторая осада будет, кажется, страшнее первой, если судить по тому, сколько сил стягивают сюда французы.

Мы рассказали ему о падении Мадрида; и это известие, видимо, глубоко огорчило его; когда же мы стали в восторженных выражениях отзываться о том, что произошло в Сарагосе с пятнадцатого июля по четырнадцатое августа, он лишь пожал плечами и бросил:

— Делали, что могли.

Тут дон Роке стал превозносить воинские и гражданские доблести моей скромной персоны и зашел в своих похвалах так далеко, что меня бросило в краску, ибо, по твердому моему убеждению, многое в его рассказах было просто несусветной чепухой. Сперва он заявил, будто я принадлежу к одной из самых родовитых семей Доньяна из Нижней Андалузии и еще гардемарином участвовал и знаменитой Трафальгарской битве. Затем он сообщил, что Хунта предоставила мне должности в Перу и что во время осады Мадрида я показал чудеса храбрости в бою у Пуэрта-де-лос Посос. По его словам, я проявил там такую неслыханную отвагу, что после капитуляции столицы французы сочли за благо избавиться от столь грозного врага и выслали меня во Францию вместе с другими патриотами. Он прибавил, что моя изобретательность и хитроумие дали возможность спастись бегством всей нашей четверке, находящейся теперь в Сарагосе, и закончил свой панегирик уверением, что мои заслуги дают мне право на самые высокие отличия.

Тем временем Монторья внимательно оглядел меня с ног до головы и, несмотря на мой жалкий вид и одежду, превратившуюся в безобразные лохмотья, несомненно, признал во мне человека из общества, поскольку платье у меня было из тонкого сукна, хорошего покроя и в общем, как у аристократа, хотя и отличалось теперь множеством досадных изъянов.

Закончив осмотр, он сказал мне:

— Черт побери! Я не могу зачислить вас в третий взвод мушкетерской роты дона Сантьяго Саса, капитаном которой и состою, но я пристрою вас в ту часть, где служит мой сын. А если вам это не подходит, можете убраться из Сарагосы на все четыре стороны — нам здесь бездельники не нужны. Вас же, друг мой дон Роке, коль скоро вы не годны больше под ружье, мы сделаем, черт побери, санитаром в военном лазарете.

Выслушав старого однокашника, дон Роке напряг все свои ораторские способности и с помощью изящных и витиеватых намеков дал ему понять, что нам насущно необходимо получить по куску хлеба с ветчиной и что это даяние доставит нам несказанное счастье. Тут великий Монторья нахмурил брови и посмотрел на нас столь грозно, что мы задрожали: нам показалось, что он немедленно прогонит наглецов, осмелившихся попросить у него еды. Мы робко забормотали извинения, но наш покровитель побагровел и сказал так:

— Значит, вы голодны, черт вас поберет? Ах, чтоб вы в лапы к дьяволу с его родней угодили! Чего же вы молчали? Да разве я допущу, чтобы мои друзья страдали от голода? Знайте же, что в погребе у меня висит под потолком, самое меньшее, десять дюжин окороков, а на полу стоит двадцать бочек старого вина. Вот так-то, сеньоры! А уж коль вы голодны и не говорите этого прямо безо всякой околесицы, то, значит, обижаете такого человека, как я. Эй, ребята, бегите в дом и велите зажарить фунта четыре мяса да яичницу дюжины на две яиц, да пусть еще прирежут полдюжины кур и принесут из подвала семь кувшинов вина — я тоже собираюсь позавтракать. И зовите всех соседей, работников и моих детей, если они не ушли. А вы, сеньоры, готовьтесь искупить за столом свой грех передо мною. Без церемоний у меня, черт поберет! Будете есть, что дадут, не привередничая и не жеманясь, у нас галантерейное обхождение не в моде. Вы, сеньор дон Роке, и вы, сеньор Арасели, считайте себя дома и сегодня, и завтра, и вообще сколько захотите, черт вас поберет! Хосе де Монторья всегда верен друзьям. Что есть у него, то есть и у них.

Грубоватое великодушие этого славного мужа привело нас в полное замешательство. Видя, что от комплиментов дона Монторью только коробит, мы решили отбросить притворную столичную учтивость, и за столом, как читатель вскоре убедится, воцарились самое неподдельное простодушие и прямота.

— Что же вы больше не едите? — спросил меня дон Хосе. — Сдается мне, вы — любитель поломаться да поцеремониться. Мне это не нравится, молодой человек. Смотрите, чтоб я не рассердился да не приказал вколачивать в вас еду дубинкой. Ну-ка, пропустите еще стаканчик вина. Может, у вас в столице вино лучше? Ах, нет? Так пейте, черт вас поберет, пейте, или мы с вами поссоримся.

Опасаясь ответить неблагодарностью на доброту и щедрость хозяина, я ел и пил сверх всякой меры. Не могли же мы из-за какого-то расстройства желудка лишаться подобной дружбы!

После завтрака все опять принялись вырубать оливы, и наш щедрый хозяин руководил работами так, словно был распорядителем праздника.

— Посмотрим, осмелятся ли они в этот раз атаковать крепость, — говорил он. Вы не видели, что мы там возвели? Так знайте: французам придется несладко. Я сам дал на сооружение укреплений двести мешков шерсти, но это, конечно, пустяки. Если понадобится, я отдам все до последней нитки.

Перед тем как отпустить нас обратно в город, Монторья показал нам фортификационные работы, которые велись в это время на западной окраине Сарагосы. У ворот Портильо большим полукругом расположилась батарея, тянувшаяся от стен обители де лос Фесетас до монастыря Босоногих Августинцев, а от этого последнего до монастыря Тринитариев пролегла ровная насыпь с проделанными в ней бойницами и редутом посредине; бруствер ее был обнесен глубоким рвом, за которым виднелось Кампо де лас Эрас, кладбище, прославленное тем, что оно стало ареной героической битвы пятнадцатого июня. Укрепления шли и дальше к северу, в сторону ворот Санчо, через которые попадаешь на набережную Эбро, и заканчивались еще одним бастионом. Все эти сооружения, выполненные, правда, со знанием дела, но в чрезмерной спешке, не отличались особой прочностью. Любой неприятельский генерал, не осведомленный о событиях первой осады и безмерной стойкости сарагосцев, которые оборонились до

последнего за такими же точно горами земли, посмеялся бы над этими препятствиями, столь ничтожными в сравнении с мощью хорошего осадного артиллерийского парка. Но бог устроил так, что дух человеческий становится порою сильнее всех законов войны. Да, рядом с Антверпеном, Данцигом, Меце, Севастополем, Картахеной, Гибралтаром и другими знаменитыми твердынями, сдавшимися или не сдавшимися противнику, Сарагоса казалась в ту пору лишь игрушечной крепостью из картона. И однако...

Дома Монторья опять разгневался на дона Роке и на меня за то, что мы отказались взять у него деньги на первые расходы в городе; он опять стучал кулаком по столу, осыпая нас градом своих «черт побери» и других выражений, которые мне здесь лучше не приводить. Однако, в конце концов, мы пришли к соглашению, почетному для обеих сторон.

Теперь я понимаю, читатель, что, увлекшись рассказом о столь необыкновенной личности, я забыл предварить его некоторыми пояснениями касательно этого человека. Дон Хосе, крепкий, румяный, пышущий здоровьем шестидесятилетний мужчина, жил состоятельно, не знал мук нечистой совести, был доволен собой и покорен судьбе. В избытке наделенный патриархальными добродетелями (если, конечно, подобные добродетели могут оказаться в избытке), он отличался мирным нравом и примерным поведением, но ему недоставало воспитания, того изысканного воспитания, которое в те времена уже начинали получать дети богатых родителей. Дон Хосе не знал ухищрений этикета и по характеру своему и привычкам был чужд благонамеренной лжи и притворной любезности, этих основ салонной вежливости. Душа у него всегда была нараспашку, и он хотел, чтобы все вели себя точно так же; поэтому его грубая доброта не мирилась с жеманством и фальшью светской болтовни. В порыве гнева он бывал неукротим и доходил до крайностей, хотя впоследствии обычно раскаивался в этом.

В нем не было притворства, а его высокие христианские добродетели, не отшлифованные цивилизацией, сохранялись в первозданном виде, словно глыба прекрасного мрамора, к которому не прикасался резец. Его надо было уметь понять, не обращая внимания на его чудачества, которые, строго говоря, не заслуживали такого названия, потому что в какой-то мере были присущи всем его землякам. Никогда не скрывать своих чувств — было его заповедью даже в тех случаях, когда это причиняло ему неприятности в обыденной жизни и повседневных делах; и это же свойство было бесценным даром для всякого, кто заводил с ним речь о серьезных предприятиях, потому что душа дона Монторьи была вся как на ладони и людям не надо было опасаться подвоха с его стороны. Он не помнил обид, умел быть благодарным и значительную часть своих немалых доходов раздавал нуждающимся.

Одевался он опрятно, любил обильно поесть, но тем не менее строго соблюдал великий пост и, следуя фанатической семейной традиции, глубоко чтил пресвятую деву дель Пилар. Как читатель уже убедился, речь Монторьи не была образцом изящного стиля, да и сам он считал одним из величайших своих недостатков бесконечное и отнюдь не уместное повторение слов «черт побери»: я не раз слышал, как дон Монторья признавался в этом своем недостатке, а заодно и в том, что он не в силах избавиться от него, поскольку «черт побери» вечно срывается у него с языка раньше, чем он отдаст себе в этом отчет.

Он был женат и имел троих детей. Супругу его, уроженку Наварры, звали донья Леокадия Саррьера. Двое их отпрысков, старший сын и дочь, уже обзавелись собственными семьями и подарили родителям несколько внуков; младший сын, Агустин, следуя по стопам своего дяди и тезки, архидиакона в соборе Сео, готовился к духовной карьере. С детьми дона Монторьи я познакомился в первый же день — это были самые лучшие люди на свете. Они окружили меня таким вниманием, что я был совершенно покорен: будь я знаком с ними с рождения, и то они не могли бы отнестись ко мне более радушно. Их непринужденная предупредительность, порождаемая сердечной добротой, запала мне в душу, и я с самого начала ответил им искренней привязанностью, так как всегда умел ценить малейшие знаки расположения.

— В жизни не видел людей приятнее, сеньор мой дон Роке, — сказал я своему сотоварищу, когда мы в тот вечер укладывались спать в отведенной нам комнате. — Неужели все арагонцы

такие?

— Всекие бывают, — отозвался он, — но люди такой закваски, как дон Хосе де Монторя, и такие семьи, как у него, в Арагоне не редкость.

Весь следующий день мы потратили на то, чтобы определить меня в ополчение. Решимость сарагосцев бесконечно восхищала меня, и мне казалось самым почетным делом следовать с ними или хотя бы за ними по стезе славы. Любой из моих читателей знает, что в те дни Сарагоса и ее жители уже стяжали себе легендарную известность, а подвиги их повсеместно воспламеняли воображение; поэтому все, что касалось знаменитой осады бессмертного города, принимало в устах рассказчиков масштабы и колорит эпических сказаний прошлого. Издалека их деяния казались еще более славными: в Англии и Германия, где сарагосцев почитали нумансийцами наших дней, эти полуодетые, обутые в альпаргаты крестьяне с головой, повязанной платком, выглядели подлинными героями античных трагедий. «Сдавайтесь, и мы дадим вам одежду», — кричали им во время первой осады французы, удивленные стойкостью оборванных бедняков. «Мы не знаем слова «сдаваться», — отвечали они. — А одежду нам заменит слава».

Эти и подобные им фразы облетели весь мир.

Но вернемся к моим делам. Больше всего моему зачислению на военную службу мог помешать приказ Палафокса от тринадцатого декабря, который предписывал всем иногородним в двадцать четыре часа покинуть Сарагосу. Это решение было принято в связи с тем, что в городе насчитывалось немало людей, склонных чинить беспорядки, сеять смуту и волнения. Но как раз в дни моего приезда был расклеен новый приказ, который обязывал солдат армии Центра, рассеянной в сражении под Туделой, незамедлительно явиться на сборный пункт.

Я воспользовался этим выгодным для меня стечением обстоятельств, и хотя я служил в другой армии, моя ссылка на то, что я защищал Мадрид и дрался при Байлене, а также поддержка моего заступника дона Монторя возымели действие, и я вступил в ряды сарагосского гарнизона. Меня зачислили в батальон волонтеров Пеньяс де Сан-Педро, понесший значительные потери во время первой осады, и выдали мне обмундирование и ружье. Вопреки предположениям моего покровителя, в мушкетерский батальон, состоявший под началом отважного клирика его преподобия Сантьяго Саса, я не попал, и случилось это потому, что в его доблестном отряде числились исключительно жители прихода Сан-Пабло. Кроме того, в него не брали молодежь, и по этой причине Агустин Монторя, сын самого дона Хосе, определился не к Сасу, а, как и я, в батальон Пеньяс де Сан-Педро. В его лице судьба даровала мне надежного соратника и верного друга.

Разговоры о приближении французов я слышал с самого моего приезда, но лишь двадцатого декабря слухи полностью подтвердились. В этот день одна французская дивизия вышла на левый берег Эбро, заняв местечко Суэра и создав угрозу предместьям Сарагосы; другая дивизия, под командованием Сюше, развернулась в боевой порядок на правом берегу, у Сан-Ламберто; а главнокомандующий Монсе расположился с тремя дивизиями у Канала, в непосредственной близости от речки Уэрвы. Нас окружила сорокатысячная армия.

Как известно, французы, сгорая желанием поскорее разделаться с нами, начали военные действия рано утром двадцать первого, предприняв одновременно яростные атаки на возвышенность Торреро и левобережное предместье Сарагосы — позиции, не овладев которыми нечего было и думать о штурме доблестного города. Защита Торреро была сопряжена с большим риском, и нам пришлось оставить эту высоту; зато в бою за предместье сарагосцы проявили такую отчаянную отвагу, что двадцать первое оказалось одним из самых блистательных дней в наиблистательнейшей истории города.

В четыре часа утра, согласно приказу, батальон Пеньяс де Сан-Педро занял оборону от

Санта-Энграсии до монастыря Тринитариев на укрепленной позиции, которая показалась мне несколько более надежной, чем все остальные. За Санта-Энграсией располагалась батарея «Великомучеников», а дальше до защищенного редутом моста через Уэрву тянулась стена с бойницами: затем она отклонялась к западу, образуя тупой угол и примыкая у башни Пино к другому редуту, и шла оттуда почти по прямой линии до монастыря Тринитариев, прикрывая ворота Кармен. Тот, кто бывал в Сарагосе, без труда разберется в моем беглом описании, потому что развалины монастыря Санта-Энграсия существуют до сих пор, а разбитые приступки и источенные каменные плиты ворот Кармен поныне красуются неподалеку от Глорьеты.

Как я уже сказал, мы заняли описанную выше позицию, и часть солдат стала биваком в саду рядом с коллегией Кармен. Мы с Агустином Монторьей не отходили друг от друга: его спокойный характер, дружеское участие, которое он принял во мне с самого начала нашего знакомства, какое-то сродство душ и необъяснимое единство наших взглядов делали его общество весьма для меня желанным. Агустин был на редкость красивый юноша: глаза большие и быстрые, лоб высокий, лицо серьезное, хотя несколько меланхолическое. Сердце у него, как и у отца, было преисполнено того великодушия, которое, случись только повод, не знает границ; однако у Агустина было перед отцом одно преимущество — он не докучал тому, кого дарил своим вниманием, и объяснялось это тем, что благодаря воспитанию он в значительной степени избавился от грубоватости своих земляков. Этот юноша вступал в зрелый возраст с твердостью и уверенностью, присущими людям щедрого сердца, живого и светлого ума, сильной и здоровой души, которой не хватает лишь простора, лишь широкого поля деятельности для того, чтобы непрестанно творить добро. К этим его достоинствам следует прибавить блестящее и вместе с тем ясное возражение, величавое, чуждое необузданности и словно прошедшее школу у великих латинян, воображение, столь непохожее на фантазию теперешних мнимых гениев, которые обычно сами не знают, куда их заносит.

Отличаясь явной склонностью к поэзии (Агустин был подлинным поэтом), он тем не менее изучал богословие и преуспевал в этой науке, как, впрочем, и во всем остальном. Семинарские наставники, люди весьма образованные и заботливо пекшиеся о молодежи, почитали его настоящим чудом в науках светских и духовных и с радостью следили за первыми его шагами на поприще церковной учености. Семью Монторья его успехи тоже приводили в восторг, и она, как второго пришествия, ожидала дня, когда он отслужит свою первую мессу.

Однако — я считаю своим долгом сразу же предупредить об этом — у Агустина не было влечения к духовной карьере, чего ни родители его, ни добрые наставники в семинарии просто не понимали и не поняли бы, даже если бы сам святой дух сошел на землю и объяснил им это. У этого юного богослова, книжника, знавшего на память всего Горация, диалектика, поражавшего своих учителей умением вести схоластические споры на диспутах в семинарии, было столько же призвания к священству, сколько у Моцарта к военной службе, у Рафаэля к математике и у Наполеона к танцам.

— Хочется тебе идти в бой, Габриэль? — спросил он меня в то утро.

— А тебе, Агустин? — осведомился я. (Как видите, уже на четвертый день знакомства мы были с ним на ты.)

— Не очень, — ответил он. — Вдруг нас убьет первая же пуля?..

— Не беда! Мы умрем за родину, за Сарагосу, и если даже потомки не вспомнят о нас, все равно пасть на поле брани за такое святое дело — великая честь.

— Хорошо сказано! — грустно одобрил он. — Но все же умирать обидно. Мы молоды. Кто знает, что сулит нам жизнь?

— Жизнь — ничто и не стоит того, чтобы задумываться над ней.

— Так пристало говорить старикам, а не нам, только начинающим жить. Скажу по совести, мне бы не хотелось погибнуть в этом проклятом кольце, которым окружили нас французы. Во время прошлой осады все ученики нашей семинарии тоже взяли за оружие, но, признаюсь, тогда я был гораздо храбрее. Не знаю уж, что за огонь воспламенил мою кровь, но я, не страшась смерти, кидался в самое пекло. Сейчас я чувствую себя совсем по-другому: я трушу, меня бросает в дрожь от каждого выстрела.

— Оно и понятно, — ответил я. — Не ведает страха лишь тот, кто не сознает опасности. Недаром говорится, что самый смелый солдат — это новобранец.

— Не о том речь. Скажу честно, Габриэль: погибать без толку и пользы — вот что мне не по сердцу. Если я умру, ты, надеюсь, исполнишь одну мою просьбу и, как верный друг, исполнишь в точности. Слушай внимательно. Видишь вон ту башню, которая наклонилась на сторону и словно нависла над нами, подглядывая за тем, что здесь происходит, и подслушивая наши разговоры?

— То есть Новую башню? Вижу. Что же за поручение ты даешь мне к этой сеньоре?

Уже светало, и Новая башня, этот древний и вечно согбенный старец, отчетливо выделялась на фоне разномастных городских крыш, колоколен, минаретов, сторожевых вышек и церковных куполов.

— Слушай внимательно, — повторил Агустин. — Если сегодня, в первой же перестрелке, меня убьют, дождись, пока кончится бой и солдатам разрешат отдохнуть, а потом иди...

— К Новой башне. Понятно: я должен добраться до нее, подняться наверх...

— Нет, подниматься не надо. Просто ступай на площадь Сан-Фелипе, где находится башня... Вон видишь: рядом с этой громадиной стоит другая башенка, вернее, маленькая колокольня. Она похожа на служку, который вытянулся перед каноником, то бишь большой башней.

— Да, вижу. Если не ошибаюсь, это колокольня Сан-Фелипе. И на ней сейчас звонят, будь она неладна.

— Это звонят к заутрене, к заутрене, — взволнованно пояснил Агустин. — Слышишь, какой дребезжащий звук? Колокол надтреснут.

— Ладно, бог с ним. Сейчас меня интересует другое — что же я должен передать этому служке, который звонит в колокол?

— Нет, он тут ни причем. Итак, ты доберешься до площади Сан-Фелипе. Там ты увидишь, что колокольня стоит на самом углу, а от этого угла тянется узкая улица. Ты пойдешь по левой ее стороне и вскоре увидишь еще одну, узкую и глухую улочку, которая называется Антон Трильо. Сверни в нее и иди, пока не дойдешь до задней стороны церкви. Там ты увидишь дом, остановишься...

— И поверну обратно?

— Нет. Рядом с домом, о котором я говорю, есть сад с большими темно-коричневого цвета воротами. Тут ты остановишься...

— И буду стоять?

— Нет. Ты слушай. Там ты увидишь...

— Но ты же бледен как полотно, милый Агустин. Говори прямо, при чем тут все эти башни и бесконечные остановки?

— При том, — продолжал мой друг, запинаясь все чаще, — что когда ты окажешься там... Предупреждаю: идти туда надо поздно вечером... Так вот: ты придешь, остановишься, подождешь немного, потом перейдешь на противоположную сторону улицы, встанешь на цыпочки и, заглянув через садовую стену, увидишь окошко. Тогда возьми камешек и легонько, чтобы не наделать шума, брось им в стекло.

— И тотчас же выйдет она?

— Да нет же, дружище. Имей терпение. Откуда ты знаешь, выйдет она или нет?

— А все-таки предположим, что она выйдет.

— Прежде всего, ты должен узнать о другом: там живет дядюшка Кандьола. Известно тебе, кто он такой? Этот сарагосец — человек, про которого говорят, что подвал у него в доме доверху набит деньгами. Он — скряга и ростовщик, и уж если даст тебе в долг, то все потроха из тебя выпустит. Он знает законы, порядок предоставления отсрочек и процедуру описи лучше, чем Верховный суд и Высший совет Кастилии. Кто затеял с ним тяжбу, тот человек конченный.

— В таком случае дом с воротами темно-коричневого цвета должен быть великолепным дворцом.

— Как раз наоборот: это жалкий домишко, который вот-вот развалится. Я ведь уже сказал, что дядюшка Кандьола — скупец. Он скорее под расстрел пойдет, чем реал истратит; попадись он тебе на улице, ты бы ему милостыню подал, да вот беда — он из дома носа не кажет. А дядюшкой он прозван в насмешку — его здесь презирают. На самом деле звать его Херонимо де Кандьола, и родом он, если не ошибаюсь, с Майорки.

— И у этого дядюшки есть дочка?

— А ты не торопись. Экий ты нетерпеливый! Откуда ты знаешь, есть у него дочь или нет? — ответил мне Агустин, маскируя этими отговорками свое смущение. — Как я тебе уже сказал, дядюшку Кандьолу ненавидят в городе за безмерную скупость и бессердечие. Он разорил и упрятал в тюрьму немало бедняков. Во время первой осады он не дал ни гроша на оборону, не взялся за оружие, не принял в дом раненых, и никому из него даже песеты выжать не удалось. А когда он однажды сказал, что ему все едино — что француз, что испанец, патриоты чуть не разорвали его на куски.

— Нечего сказать, хорошая птица живет в этом доме с воротами темно-коричневого цвета! А что будет, если я брошу камешек в окно, а из дому выскочит дядюшка Кандьола с дубиной да угостит меня ею за шашни с его дочкой?

— Перестань паясничать и помолчи. Ты ведь еще не знаешь, что, как только стемнеет, Кандьола запирается у себя в подвале и до полуночи пересчитывает деньги. В такое время он ни о чем другом думать не в состоянии?.. Соседи уверяют, что даже до них доносятся порой легкий стук и позвякивание, словно золотые унции сыплются из мешков.

— Ладно. Я прихожу, бросаю камень, жду; она выходит, и я ей говорю...

— Ты ей говоришь, что я погиб... Нет, это будет слишком жестоко. Ты просто отдаешь ей эту ладанку... Нет, ты ей скажешь... Нет, лучше не говори ей ничего.

— Итак, я отдаю ей ладанку...

— Не надо, не отдавай ей ладанку.

— Ага, теперь понял. Как только она выйдет, я желаю ей доброй ночи и ухожу, распевая: «Сказала святая дева Пилар...»

— Нет, пусть она лучше не знает о моей смерти. Словом, сделаешь ты так, как я тебя прошу?

— Но ты же ни о чем меня не просишь.

— А ты не спеши. Может быть, меня и не убьют.

— Понятно. Много шуму из ничего!

— Габриэль, со мной творится что-то странное, и я должен все тебе рассказать. Мне очень хочется открыть тебе тайну, которая камнем лежит у меня на душе. Кому же доверить ее, как не тебе, моему другу? Если я не поделюсь ею с тобой, сердце мое разорвется на части. Я боюсь проговориться о ней ночью, во сне, и этот страх не дает мне спать. Если мой отец, мать или брат все узнают, они меня убьют.

— А семинарские наставники?

— О них уж и вовсе не напоминай! Вот слушай, что со мной произошло. Ты знаешь падре Ринкона? Он, понимаешь ли, очень меня любит. Каждый вечер он брал меня с собой на прогулку, и мы отправлялись с ним по берегу Эбро, или в сторону Торреро, или по дороге на Хусливоль. Разговаривали мы о богословии и литературе. Ринкон большой поклонник великого Горация и любил повторять: «Какая жалость, что этот римлянин не был христианином и его нельзя канонизировать!» Он всегда носил с собою маленькое его издание, подлинный Эльзевир, который берег как зеницу ока, и когда мы уставали, падре Ринкон садился, читал вслух и потом рассуждал о прочитанном... Так вот, знай, что падре Ринкон приходится родственником донье Марии Ринкон, покойной жене Кандьолы, и что по дороге на Монсальбарву у этого ростовщика есть жалкая «башня» — не загородный дом, а нечто вроде лачуги, но зато окруженной густыми деревьями и с прелестным видом на Эбро. Однажды вечером, прочитав «*Quis multa gracilis te puer in rosa*»^[23], мой учитель неожиданно возымел желание навестить своего родственника. Мы направились к его дому, вошли в сад, но Кандьола куда-то отлучился. Навстречу нам вышла его дочь, и падре Ринкон сказал ей: «Марикилья, угости-ка этого юношу персиками, ну а мне поднеси рюмочку сама знаешь чего».

— А Марикилья красива?

— Красива ли она? Не спрашивай — сам увидишь...

Падре Ринкон взял девушку за подбородок, повернул лицом ко мне и сказал: «Сознайся, Агустин, что ты еще никогда не видел лица прекраснее, чем это. Посмотри, какие у нее жгучие глаза, какой ангельский ротик и небесное чело!» Я задрожал, Марикилья зарделась, как заря, и рассмеялась, а падре Ринкон продолжал: «Тебе, будущему отцу церкви и примерному юноше, знающему лишь, одну страсть — к книгам, не страшно показать эту божественную красоту. Восхитись же сим восхитительным творением всемогущего. Взгляни на это лицо, кроткие очи, прелестную улыбку, нежные уста, бархатные ланиты, стройный стан и согласишься, что как ни прекрасны небо и цветы, горы и солнечный свет, все эти чудеса господни меркнут в сравнении с женщиной, самым совершенным и законченным созданием божией десницы».

Так сказал мне мой учитель, а я изумленно и безмолвно любовался этим неповторимым перлом творения, который, несомненно, был куда прекраснее «Энеиды». Не могу передать тебе, что я тогда испытывал. Предстань себе на минуту, что Эбро, эта великая река, несущая свои воды от Фонтибре и впадающая в море у Альфакес, вдруг остановила свой бег и потекла вспять к Астуриас де Сантильяна. Нечто подобное происходило и в моей душе. Я поражался самому себе, чувствуя, что моим неторопливым раздумьям пришел конец и мысли мои поворачивают бог знает куда. Повторяю тебе, я был совершенно поражен и до сих пор не перестаю поражаться. Я смотрел на девушку и сознавал, что взоры мои и душа непреодолимо тянутся к ней. Я твердил про себя: «Я люблю ее так, как еще никто никогда не любил. Почему я понял это только

сегодня?» А ведь в тот день я увидел ее впервые.

— А что стало с персиками?

Марикилья стояла передо мной, смущенная не меньше, чем я. Падре Ринкон заговорил с садовником об ущербе, который причинили усадьбе французы (это происходило в начале сентября, через месяц после снятия первой осады), а мы с Марикильей остались наедине. Наедине! Первым моим желанием было броситься бежать, того же хотелось и Марикилье — она сама потом мне в этом призналась. Но мы не убежали. Неожиданно я почувствовал огромный и необъяснимый душевный подъем. Я прервал молчание и заговорил. Сперва речь шла о вещах банальных, но вскоре мне пришли в голову мысли, которые, по моему разумению, выходили за рамки обыденного, и все эти мысли я высказал ей. Марикилья отвечала немногословно, но глаза ее были красноречивее моих рассуждений. Наконец падре Ринкон окликнул нас, и мы собрались уходить. Я попрощался с девушкой и шепнул ей, что скоро увижусь с ней вновь. Мы направились в Сарагосу. Мы шли по дороге, и деревья, Эбро, купола церкви Пилар, городские колокольни, прохожие, дома, глинобитные стены, мостовая, шум ветра, даже бродячие собаки — все, ах, все казалось мне теперь иным. Все изменилось — и небо, и земля. Мой добрый учитель опять стал читать Горация, а я сказал ему, что Гораций никуда не годится. Падре Ринкон чуть не растерзал меня за это и пригрозил, что лишит меня своей дружбы. Я же восторженно хвалил Вергилия и повторял его знаменитые строки:

...Est mollis flamma medullas

interia, et tacitum vivit sub pectore vulnus.^[24]

— Но все это было в начале сентября, — перебил я. — А что произошло потом?

— С того дня началась новая жизнь. Меня охватила жгучая тревога, я лишился сна, мне опротивело все, кроме Марикильи. Отчий дом — и тот стал мне отвратителен, и я бродил по окрестностям города в надежде, что одиночество вернет мне душевный покой. Я возненавидел семинарию, книги, богословие, а с наступлением сентября, когда меня попробовали опять заставить жить взаперти, я прикинулся больным и остался дома. Сейчас война, мы все превратились в солдат, и благодаря этому я могу жить свободно, выходить на улицу в любое время, даже ночью, а значит, часто видется и разговаривать с Марикильей. Я подхожу к ее дому, даю условный сигнал, она спускается вниз, открывает решетчатое окно, и мы подолгу простаиваем около него. Мимо идут прохожие, но я до самых глаз закутан в плащ, и он, равно как и темнота, скрывает меня от любопытных взоров. Оттого-то местные молодые люди и спрашивают до сих пор друг друга: «Что это за поклонник завелся у Кандьолы?» Несколько дней тому назад, опасаясь, что нас застанут, мы прекратили ночные разговоры у оконной решетки. Теперь Мария спускается в сад, отпирает калитку, и я вхожу. Там нас никто не заметит: дон Херонимо, полагая, что дочь его спит, уходит к себе пересчитывать деньги, а старая служанка — другой в доме нет — на нашей стороне. Мы одни в саду, мы садимся на каменную лестницу и сквозь просветы в темной кроне раскидистого тополя смотрим на ясную луну. В торжественной ночной тишине наши души сливаются с божеством, и мы чувствуем, как в нас происходит нечто, невыразимое словами. Наше счастье столь велико, что порою становится нестерпимой мукой. И если у нас бывают минуты, когда нам хочется, чтобы у нас стало сто сердец, потому что нам мало одного, то случаются и такие мгновения, когда мы страстно жаждем уйти из мира. Так мы проводим целые часы. Позавчерашнюю ночь я пробыл в саду почти до рассвета: я сказал родителям, что назначен в караул, и мог не торопиться домой. Когда мы расстались с Марикильей, уже занималась заря. Над садовой оградой виднелись крыши соседних домов и

шпиль Новой башни. Указав на него, Мария промолвила:

«Раньше эта башня выпрямится, чем я разлюблю тебя».

И тут Агустин замолчал, потому что неподалеку от холма Монте Торреро раздался пушечный выстрел, и мы, не сговариваясь, устремили взоры в ту сторону.

Французы настойчиво атаковали укрепленные полиции у Торреро, которые защищало десять тысяч человек под командой выдающихся генералов О'Нейля и дона Фелипо Сен-Марча. Волонтеры из Борбона, Кастилии, Кампо Сегорбино, Аликанте, отряд ополченцев из Соррии, егеря Фердинанда VII, полк мурсийцев и другие части, названия которых я уже запомнил, открыли ружейный огонь. Мы, стоявшие у редута Великомучеников, видели, как завязалось сражение и как колонны французов бегом двинулись вдоль Канала, стремясь обойти Торреро с фланга. Перестрелка длилась довольно долго, но затягивать бой за высоту не было смысла — ее все равно не удалось бы удержать, потому что прилежавшие к ней позиции, в том числе Буэнависта, Каса-Бланка и участок у створа Канала, не были защищены ни живой силой, ни укреплениями. Тем не менее наши постарались задержать противника как можно дольше и отступили в полном порядке, успев взорвать Американский мост и увезти все орудия, кроме одного, подбитого неприятельской артиллерией.

Как раз в это время мы слышали вдалеке оглушительный грохот и, так как стрельба около Торреро почти затихла, решили, что бой завязался уже в предместье города.

— Там стоит бригадир дон Хосе Мансо, — сказал мне Агустин. — С ним арагонский полк швейцарцев, которым командует дон Мариано Валькер, волонтеры из Уэски во главе с доном Педро Вильякампой, каталонские волонтеры и другие отряды смельчаков. А мы здесь прохлаждаемся! Похоже, что у нас тут все уже кончилось. С французов довольно на сегодня и того, что они захватили Торреро.

— Нет, — возразил я, — или я сильно ошибаюсь, или они сейчас пойдут в атаку на Сан-Хосе.

Мы посмотрели влево, где высилось огромное здание, отделенное от Пуэрта Кемады долиной реки Уэрвы.

— Там стоит Реновалес, — пояснил Агустин, — храбрый дон Мариано Реновалес, который так отличился в первую осаду, а сейчас командует ориуэльскими и валенсийскими егерями.

На нашей позиции все было готово к упорной обороне. У редута Пилар, на батарее Великомучеников, на башне Пино и в монастыре Тринитариев канониры с зажженными запальниками стояли у парапетов, откуда, как нам казалось, было необычайно удобно вести огонь по любой вражеской колонне, которая осмелилась бы атаковать нас. Было очень холодно, и почти все мы дрожали. Сторонний наблюдатель подумал бы, пожалуй, что это от страха, но нас в самом деле пробирал холод, и тот, кто скажет, что это не так, — солжет.

Французы не замедлили совершить маневр, который я предвидел: мощная колонна вражеской пехоты атаковала вскоре монастырь Сан-Хосе, вернее сказать, попыталась атаковать его и овладеть им с помощью внезапного штурма. У неприятеля была, видимо, короткая память: за три месяца он словно забыл, что сарагосцев взять не так-то просто. Французы дерзко подошли на расстояние ружейного выстрела, полагая, вероятно, что от одного вида их наши воины попадают замертво от страха. Неприятельские солдаты только что прибыли из Силезии и еще не представляли себе, что такое война в Испании. Кроме того, захватив Торреро почти без потерь, они возомнили, что в два счета покорят весь мир. Словом, как я уже сказал, они продвигались вперед, а Сан-Хосе не подавал признаков жизни. Но едва французы оказались в пределах досягаемости наших стрелков или даже чуть ближе, как из бойниц и окон здания неожиданно вырвался такой грозный шквал ружейного огня, что brave вояки стремглав бросились наутек, а многие из них остались лежать на земле. Убедившись в печальном исходе дерзкой атаки, мы все, наблюдавшие за нею с батареи Великомучеников, разразились громкими

криками и рукоплесканиями. Да, война сурова, смерть врага всегда радует солдат, и даже тот из них, кто на охоте пожалел бы убитого зайца, во время боя прыгает от восторга, видя, как валяются мертвыми сотни крепких, веселых, молодых парней, которые, кстати сказать, никому не причинили зла.

Итак, штурм Сан-Хосе закончился для противника быстрой и полной неудачей. Теперь французы, несомненно, поняли что мы оставили Торреро по расчету, а не из-за слабости. Окруженная и отрезанная от остальной страны, не прикрытая ни внешними фортами, ни бастионами, ни цитаделью, Сарагоса вновь воздвигла земляные валы, башни из глины, редуты из сырого кирпича и приготовилась вторично дать отпор лучшей в мире пехоте, артиллерии и саперам. Массу живой силы, грозные орудия, несметное количество боевых припасов, всевозможное снаряжение и научные познания, мощь и опыт армии, достигшей апогея своих успехов, — все пустили в ход чужеземные завоеватели для того, чтобы овладеть твердыней, напоминавшей с виду одну из тех крепостей, которые, играя, строят мальчишки. И тем не менее всего этого было мало: усилия французов разбивались о самодельные стены, которые, казалось, пни ногой, и они развалятся. Ведь за этими непрочными укреплениями — сталь арагонских сердец, которая не ломается, не гнется, не плавится, не трескается, не ржавеет и защищает город, как броня, неуязвимая для человеческого оружия.

На Новой башне гремит набат. Мрачный звон колокола всегда означает: «Город в опасности», и, слыша его, сыны Сарагосы спрашивают себя: «Почему звонят? Что произошло? Что случилось?»

— Наверно, в предместье нашим приходится туго, — сказал Агустин.

— Французы атаквали нас здесь, чтобы отвлечь наши силы, а тем временем начали штурм с другого берега реки.

— То же было и в первую осаду.

— В предместье, в предместье!

Едва мы произнесли эти слова, как со стороны французских линий прилетело несколько ядер, словно предупреждая, что нам лучше оставаться на своих местах. К счастью, людей в Сарагосе было достаточно, и сосредоточить их на любом участке не стоило никакого труда. Мой батальон покинул куртину Санта-Энграсия и маршем двинулся в направлении Косо. Мы не знали, куда нас ведут, но предполагали, что, вероятнее всего, в предместье. Улицы кишели народом. Старики и женщины, подгоняемые любопытством, высыпали из домов: уж если их не пускают в самое пекло, они, по крайней мере, погребутся поблизости от него. По улицам Сан-Хиль, Сан Педро и Кучильерия, ведущим к мосту, было почти невозможно пройти — их заполнили бесчисленные толпы женщин, спешивших к соборам Пилар и Сео. Далекий гул вражеской канонады не пугал, а, напротив, воодушевлял разгневанный народ; всюду стоял крик — люди орали друг на друга, стараясь пробиться вперед и поскорее добраться до цели. На площади у собора Сео я увидел кавалерию, окруженную огромной толпой, которая почти наглухо закупорила выход к мосту. Это вынудило наш батальон избрать более удобный путь и обойти собор с другой стороны. Когда мы проходили перед портиком храма, до нас донеслись голоса молившихся там женщин, которые зывали о помощи к пресвятой заступнице города. Несколько мужчин, попробовавших проникнуть в собор, были немедленно изгнаны оттуда слабым полом.

У Сан-Хуан-де-лос Панетес мы вышли на берег реки и в ожидании приказа расположились на набережной. Против нас на другом берегу Эбро простиралось поле боя: на переднем плане роцца Маканас; за нею, у моста, небольшой монастырь Альтавас; затем монастырь Сан-Ласаро, а еще дальше монастырь Иисуса. За этим похожим на декорацию участком, отражавшимся в водах широкой реки, взору открылось ужасное зрелище: непрерывные вспышки огня, ежесекундно перекрещивавшиеся в воздухе белые линии — следы пуль и ядер, гул канонады, хриплый рев

людей и густые клубы дыма, которые непрестанно возникали, поднимались к небу и исчезали в облаках. Все брустверы на этом поле брани были сооружены из кирпичей, глины и песка, привезенных с окрестных черепичных заводов, и земля, по которой тянулись красноватые полосы, казалось, была залита кровью.

Фронт противника шел от Барселонского тракта до дороги на Хусливоль и, левее ее, дальше, за черепичные заводы и сады. С самого полудня французы, продвигаясь вдоль Барселонского тракта, яростно атаковали наши траншеи; с отчаянной смелостью они рвались вперед, невзирая на перекрестный огонь, который вели по ним из Сан-Ласаро и местечка Марсело. Они стремились навязать нам рукопашную и дерзким ударом захватить наши батареи. За такое упорство противник заплатил настоящей гекатомбой. Французы гибли сотнями, ряды их редели, но место павших тотчас же занимали живые, и атака продолжалась. Иногда неприятель прорывался к нашим траншеям, и тогда бой распадался на тысячи одиночных схваток, от чего зрелище становилось еще более страшным. Впереди солдат шли офицеры с обнаженными саблями: эти безумцы считали для себя делом чести умереть у красноватой груды кирпичей под беспощадным огнем, в одно мгновение уносившим сотни жизней. Рядовые, сержанты, прапорщики, капитаны, полковники падали, как подкошенные. Это была действительно битва двух народов. Ужасы осады лишь воспламеняли наших солдат, а французы все шли и шли, взбешенные, алчущие мести и безрассудные, как человек, которого оскорбили, а такое безрассудство, пожалуй, пострашнее ярости воина.

Это преждевременное ожесточение и погубило их. Им следовало начать с методического разрушения наших фортификаций с помощью артиллерийского огня, сохранять хладнокровие, которого требует осада, и не бросать стрелковые цепи на штурм позиций, защищаемых людьми, с которыми им уже довелось встретиться пятнадцатого июля и четвертого августа; им следовало побороть в себе чувство презрения к противнику, ибо оно всегда — и в дни испанской кампании, и в нынешней войне с Пруссией — служило им дурную службу; им следовало терпеливо приводить в исполнение план, рассчитанный на то, чтобы вызвать у осажденных не воодушевленно, а подавленность. Нет сомнения, что, если бы французы обладали разумом своего бессмертного вождя, побеждавшего не только с помощью пушек, но и своей удивительной логики, они во время осады Сарагосы не преминули бы принять во внимание человеческую психологию, без изучения которой война, жестокая война, является — увы! — всего-навсего бессмысленной варварской бойней. Наполеон, с его необычайной проницательностью, разгадал бы характер сарагосцев и не стал бы бросать против них ничем не прикрытые колонны солдат, кичащихся своей храбростью. Подобные атаки — слишком трудное и опасное занятие, особенно если их отбивают люди, которые сражаются не за идола, а за идеалы.

Не стану входить в подробности кровопролитного сражения двадцать первого декабря, одного из самых славных в истории второй осады столицы Арагона. Я избегаю быть слишком многоречивым не только потому, что я не принимал непосредственного участия в этой битве и могу рассказать о ней только с чужих слов, но и по другой причине: мне предстоит еще поведать о столь многих интересных встречах, что будет весьма уместно проявить некоторую сдержанность в описании кровавых эпизодов. Поэтому я ограничусь лишь упоминанием о том, что уже к вечеру французы решили отказаться от своего намерения и отступили, оставив на поле боя множество трупов. Было, казалось, самое время двинуть в бой кавалерию и начать преследование неприятеля, но после короткого совещания наши начальники, как известно, решили не рисковать, потому что вылазка могла кончиться для нас плохо.

Когда наступила ночь и часть наших войск отошла в город, сарагосцы хлынули в предместье, чтобы осмотреть поле боя, взглянуть на причиненные огнем разрушения, сосчитать убитых и представить в своем воображении героические сцены недавнего сражения. Воодушевление, толчея и шум в этой стороне города были поистине неописуемыми. Толпы солдат лихорадочно и возбужденно горланили песни, сострадательные люди, собравшись кучками, перетаскивали к себе домой раненых, и всюду царило глубокое удовлетворение, выражавшееся в оживленных разговорах, вопросах, хвастливых возгласах, в слезах и смехе, в странном смещении восторга и веселости.

Часам к девяти наш батальон распустили: у нас не было казарм и в периоды затишья нам разрешалось на несколько часов покидать свой пост. Мы с Агустином побежали к собору Пилар и с трудом протолкались внутрь храма, где уже столпилось множество народу. Я был поражен, увидев, как отчаянно пробивались богомольцы, отпихивая друг друга, к внутренней часовенке, в которой находилась статуя пресвятой девы Пилар. Молитвы, жалобы и благодарственные возгласы сливались в один сплошной гул, мало чем напоминавший обычное молебствие. Это был скорее некий долгий разговор прерываемый рыданиями, стонами, нежными возгласами и другими выражениями искренней и наивной веры, которую испанцы питают обычно к милым их сердцу святым. Люди опускались на колени, целовали пол, хватались за решетку часовни и обращались к изображению богоматери с самыми задушевными и взволнованными словами, какие только знает язык. Те, кому не удавалось протиснуться к статуе, протягивали к ней руки и зывали издалека. Никто из причетников даже не пытался воспрепятствовать столь неподобающему поведению и неуместным выкрикам, потому что все это было лишь следствием чрезмерной, доходящей до безумия набожности. Под сводами храма отнюдь не царила торжественная тишина, приличествующая святости места: люди чувствовали себя так, словно находились дома, словно приют возлюбленной пресвятой девы, матери, владычицы и покровительницы сарагосцев, стал в то же время пристанищем ее детей, слуг и подданных.

Пораженный такой одержимостью, которая в этих людях казалась совершенно естественной, я протиснулся к решетке и увидел знаменитое изображение пресвятой девы. Кто не видел его, кому не известно оно хотя бы по бесчисленным статуэткам и гравюрам, распространенным по всему полуострову, от края его и до края? В ту пору, как, впрочем, и поныне, статуя стояла в украшенной с восточной роскошью нише, слева от небольшого алтаря, возвышавшегося в глубине часовенки. Ее освещало множество восковых свечей, и драгоценные камни на одежде и короне богоматери ослепительно сверкали. На голове у ней блестел золотом и бриллиантами венец, на груди — ожерелья, на руках — перстни. Живой человек, несомненно, рухнул бы под тяжестью стольких сокровищ. Из-под жесткого одеяния без складок, натянутого сверху вниз, как чехол, едва выглядывали руки; смуглое личико Иисуса, лежащего на левой руке богоматери, было почти незаметно среди парчи и драгоценных камней. На лице пресвятой девы, отполированном временем и тоже смуглом, застыла безмятежная умиротворенность, знак вечного блаженства. Глаза ее были обращены на собравшихся, словно она пытливо всматривалась в набожную толпу; в зрачках сверкали отсветы горящих свечей, и этот блеск придавал ее взору подлинно человеческую осмысленность и пристальность. Тому, кто видел ее впервые, да еще в минуту подобного религиозного экстаза, было почти невозможно остаться равнодушным и не присоединить свой голос к восторженному хору, на все лады восхвалявшему царицу небесную.

Я все еще глядел на статую, когда Агустин сжал мне руку и шепнул:

— Видишь? Вон она.

— Кто? Богоматерь? Я давно ее вижу.

— Да нет же, Марикилья. Видишь ее? Вон она, напротив нас, у колонны.

Я взглянул, увидел лишь скопище людей, и мы стали проталкиваться на другую сторону храма.

— Дядюшки Кандьолы здесь нет, — весело объявил Агустин. — С ней только служанка.

Все это мой друг сказал на ходу, отчаянно прокладывая себе дорогу локтями, толкая людей и в грудь и в спину, отдавливая им ноги, сплющивая шляпы и сминая платья. Я следовал за ним, нанося не меньший урон соседям справа и слева. Наконец мы добрались до девушки, и я собственными глазами убедился в том, что она действительно была красавицей. Мой добрый и страстно влюбленный друг несколько не преувеличивал: Марикилья стоила того, чтобы потерять из-за нее голову. Она пленяла взор смуглой бархатистой кожей, необычайно черными глазами, удивительно правильным носом, несравненным ртом и прекрасным, хоть и невысоким, лбом. Ее лицо и стройный, легкий стан словно дышали самозабвенной страстью; стоило ей опустить глаза, и уже казалось, что на ее фигуру падает нежная и ласковая тень, которая будто обволакивает и нас. Она спокойно улыбалась, но, когда мы приблизились, в ее взгляде мелькнул испуг. Все в ней выдавало женщину с сильным характером — скрытную, сдержанную, но страстную. С первой же минуты Марикилья показалась мне девушкой неразговорчивой, чуждой всякого кокетства, не умеющей притворяться, и впоследствии я имел возможность убедиться в верности своего суждения. Черты красавицы выражали невозмутимое спокойствие и уверенность в себе. В отличие от большинства женщин, лишь немногим из которых свойственно постоянство, она менялась редко, но уж если менялась, то всерьез. Обычно женщины, впечатлительные и податливые, как воск, тают от самого легкого жара; душевный же мир Марикильи, словно отлитой на прочнейшей стали, могло нарушить лишь самое неистовое пламя; но когда такая минута наступала, девушка становилась похожа на расплавленный металл, который обжигает всякого, кто к нему прикоснется.

Внимание мое привлекли не только ее красота, но и наряд, изящный и в известной степени даже роскошный. Наслышавшись рассказней о чудовищной скаредности дядюшки Кандьолы, я предполагал, что дочь его ходит в отрепьях и даже не мечтает о модных туалетах и шляпках. Но я ошибался. Агустин Монторя рассказал мне потом, что этот архискупец не только тратился на свою дочь, но даже делал ей время от времени подарки, казавшиеся ему non plus ultra^[25] расточительности. Кандьола, не моргнув глазом, дал бы умереть с голоду своим ближайшим родственникам, но, как только дело касалось дочери, проявлял поистине изумительную, феноменальную готовность тряхнуть мощной. При всей своей жадности он оставался отцом и любил, вероятно, даже очень любил, несчастную девушку, щедрость по отношению к ней была первой и, быть может, единственной отрадой его бесцельного существования.

Обо всем этом следовало бы поговорить еще, но я изложу остальные подробности в ходе дальнейшего повествования, а сейчас замечу только, что не успел мой друг перекинуться несколькими словами со своей обожаемой Марией, как внезапно к нам подошел какой-то человек и, окинул нас обоих сверкающим взглядом, повернулся к девушке, взял ее за руку и сердито бросил:

— Что ты здесь делаешь? И зачем вы привели ее в храм в такое время, тетушка Гедита? Домой, немедленно домой!

Подталкивая дочь и служанку к дверям, он вывел их обеих на улицу, вскоре все трое исчезли из виду.

Это был Кандьола. Я отлично помню его, и при воспоминании о нем поныне содрогаюсь от ужаса, а почему — об этом читатель узнает несколько позже. Короткой встречи в соборе Пилар

оказалось достаточно, чтобы образ этого человека навсегда врезался мне в память; он был не из тех, чья внешность быстро забывается. Этот скрюченный, жалкий, болезненного вида старик, с беспокойным взглядом исподлобья, худым лицом и запавшими щеками, с первой же минуты производил отталкивающее впечатление. Горбатый острый нос, похожий на клюв стервятника, такой же острый подбородок, черные с проседью клочковатые брови, зеленоватые глаза, большой лоб, изборожденный множеством продольных морщин, хрящеватые уши, желтая кожа, сиплый голос, неряшливая одежда, презрительная повадка — все в его облике от кончиков волос, вернее, от парика до подошвы башмаков вселяло в душу непреодолимое отвращение и объясняло, почему у него не могло быть друзей.

Кандьола не носил бороды, уступая моде, он брился, но бритва касалась растительности на его лице не чаще, чем раз в неделю. Будь у дона Херонимо борода, я сравнил бы его с небезызвестным венецианским купцом, с которым познакомился гораздо позднее, путешествуя по необъятному материку литературы, и в котором открыл кой-какие черты, напомнившие мне человека, столь внезапно представшего перед нами в храме Пилар.

— Ну, видел, какой это мерзкий и смешной старик? — спросил Агустин, оставшись наедине со мной и поглядывая на дверь, за которой скрылись все трое.

— Похоже, он не слишком рад, что у его дочери появился поклонник.

— Нет, я уверен, что он не видел, как я разговаривал с нею. У него, вероятно, зародились подозрения, но не больше. Но если его подозрения перейдут в уверенность, нам с Марией конец. Ты заметил, как он поглядел на нас?

— Проклятый скряга, черная душа в шкуре сатаны!

— Плохой же у тебя тесть!

— Хуже некуда, — грустно согласился Монторья. — Я за него гроша ломаного не дам. Не сомневаюсь, что сегодня он целый вечер будет отчитывать ее. Хорошо еще, что он не дает воли рукам.

— А разве сеньору Кандьоле, — спросил я, — не хотелось бы видеть свою дочь замужем за сыном самого дона Хосе де Монторья?



— Ты рехнулся! Попробовал бы ты заговорить с ним об этом!.. Презренный скупец бережет свою дочь пуще мешка с золотыми унциями и вообще не расположен выдавать ее замуж, а на доброго моего отца он к тому же давно и кровно обижен: тот вызволил из его когтей нескольких несчастных должников. Уверяю тебя, если он пронюхает, что его дочь любит меня, он запрет ее в железный сундук, который стоит у него в подвале, где он прячет деньги. Я уже не говорю о том, что, если мой отец проведает... У меня трясутся поджилки при одной мысли об этом. Стоит мне увидеть во сне, что мои дорогие родители узнали о моей безграничной любви к Марикилье, как я мгновенно просыпаюсь от этого кошмара. Сын дона Хосе де Монторья влюблен в дочь дядюшки Кандьолы! Подумать страшно! Юноша, которому самую судьбой предназначено быть епископом, понимаешь, Габриэль, епископом!.. Мои родители заранее убеждены, что я стану им.

С этими словами Агустин ударился головой о священную стену, к которой мы прислонились.

— Но ты же не откажешься от Марикильи?

— И ты еще спрашиваешь! — с жаром ответил он. — Ты видел ее? А если видел, как ты можешь сомневаться в моих чувствах? Но ее отец и мои родители скорее согласятся, чтобы я умер, чем позволят мне жениться на ней. Они хотят, чтобы я стал епископом, Габриэль! Ты только представь себе на минуту, что значит стать епископом и любить Марикилью до гроба и за гробом! Представь себе это и посочувствуй мне.

— Не отчаивайся. Пути господни неисповедимы!

— Это правда. Подчас я беспредельно верю в свое счастье. Кто знает, что ждет нас завтра?

Господь и пресвятая дева Пилар не оставят меня в беде.

— Ты тоже почитаешь статую богоматери?

— Да. У нас дома мать постоянно зажигает свечи перед ее изображением, моля уберечь меня в бою от ран, а я смотрю на нашу покровительницу и говорю про себя: «Владычица, пусть эти свечи напоминают тебе и о том, что я не в силах отказаться от Марикильи!»

Мы стояли в боковом приделе, к которому примыкает апсида часовни пресвятой девы Пилар. Недалеко от нас в стене был проход, через который богомольцы, спустившись вниз на две-три ступеньки, приближаются к цоколю статуи, чтобы облобызать подножие святыни. Агустин приложился к красному мрамору, поцеловал его и я, после чего мы вышли из храма и отправились к себе на бивак.

На следующий день, двадцать второго декабря, Палафокс дал свой знаменитый ответ парламентарю, которого прислал к нему Монсе с предложением капитулировать: «Я не знаю слова «сдаться». Поговорим об этом после моей смерти». Затем он ответил на требование французов пространным и красноречивым воззванием, опубликованным в «Газете» (в те времена в Сарагосе тоже была своя «Газета»); однако, по общему мнению, этот документ, равно как и все прокламации, появлявшиеся за подписью Генерал-капитана, не был плодом его собственного творчества, а принадлежал перу его учителя и друга, падре Басилио Боджиеро, человека очень умного, который в окружении ополченцев и военачальником часто появлялся на самых опасных участках обороны.

Вряд ли нужно говорить, что сражение двадцать первого декабря придало защитникам города еще больше мужества, и, чтобы их боевой пыл не пропал впустую, необходимо было произвести вылазку. Так и решили, но вскоре выяснилось, что принять в ней участие хотят буквально все, и командирам частей пришлось бросать жребий. Разумные и хорошо подготовленные вылазки были вполне оправданны, потому что французы, расположив свои силы вокруг города, уже приступили к правильной осаде и повели первую линию траншей. Кроме того, в Сарагосе было сосредоточено много войск, что, на взгляд простонародья, казалось преимуществом, но, по мнению людей сведущих, представляло собой значительную опасность — не столько из-за неудобств, неизбежно связанных с пребыванием в города воинских частей, сколько из-за большого расхода съестных припасов и неминуемой угрозы голода, а голод и есть тот великий военачальник, который неизменно принуждает крепости к сдаче. Словом, многочисленность гарнизона также понуждала к вылазкам. Первую из них произвел двадцать четвертого числа Реновалес с отрядом, защищавшим форт Сан-Хосе: он вырубил оливковую рощу, скрывавшую от нас осадные работы противника. Двадцать пятого дон Хуан О'Нейль выступил из предместья с волонтерами Арагона и Уэски и, захватив французов врасплох, уничтожил много неприятельских солдат. Но самую крупную вылазку — значительными силами и с двух пунктов одновременно — было решено произвести тридцать первого декабря.

Перед этой вылазкой мы по целым дням наблюдали за отлично видными нам работами на первой неприятельской параллели, проходившей примерно в ста шестидесяти саженях от стен Сарагосы. Французы трудились не покладая рук и не прекращали работ даже ночью; мы заметили также, что сигналы по линии траншей они передают с помощью цветных фонариков. Время от времени наши мортиры открывали огонь по неприятелю, но почти не причиняли ему вреда. Зато уж если французы высылали отряд на рекогносцировку, мы уничтожали его в мгновение ока. Наступило утро тридцать первого декабря. Наш батальон был передан под командование Реновалесу, который получил приказ атаковать центр противника на участке между Торреро и дорогой на Муэлу. Одновременно с этим бригадир Бутрон должен был перейти в атаку в направлении Бернардоны, то есть на левый фланг французов, выступив из города с крупными силами пехоты и кавалерии через ворота Санчо и Портильо.

Чтобы сбить противника с толку, командующий приказал одному батальону рассредоточиться около Тенериас и отвлечь внимание французов. Тем временем наш батальон с отрядом егерей из Оливенсы и частью валенсийских егерей продвигался по Мадридскому тракту, выходя правым флангом к французским траншеям. Мы успели рассыпаться небольшими группами по обеим сторонам дороги, и, когда французы обнаружили нас, было уже поздно: быстрые, как лани, мы устремились на врага и наголову разгромили первый отряд пехоты, высланный нам навстречу. Однако часть французов укрылась в каком-то полуразрушенном доме

и повела оттуда ожесточенный и меткий огонь. На мгновение мы растерялись, потому что около дома осталось всего человек двадцать наших, а остальные продвигались все дальше по дороге, преследуя бегущего врага; но в этот миг, увлекая нас за собой, Реновалес бросился вперед, и мы, стреляя в упор и орудуя штыками, уничтожили всех, кто укрылся в доме. Когда мы ворвались в первый дворик, я заметил, что наши ряды поредели; я увидел, как упали, испустив последний вздох, несколько моих соратников, и с ужасом посмотрел направо, думая, что уже не найду в живых моего дорогого друга, но бог уберег его. Мы с Монторьей остались невредимы.

Нам не пришлось особенно долго выражать свою радость по поводу того, что мы остались живы, так как Реновалес отдал приказ следовать дальше к параллели, которую сооружали французы; мы свернули с тракта и двинулись направо в надежде соединиться с волонтерами из Уэски, наступавшими по дороге на Муэлу. Из моего рассказа вам уже ясно, что французы не ожидали нашей вылазки и проявили полную беспечность, оставив на этом участке работ лишь немногочисленное прикрытие да несколько саперных команд, рывших траншеи первой линии. Мы стремительно атаковали их, открыв по ним смертоносный огонь, и хорошо использовали время, оставшееся у нас до подхода вражеских подкреплений: безоружных мы взяли в плен, вооруженных перебили, а кирки и мотыги унесли с собой. Все это мы проделали с необыкновенной яростью, подбадривая себя воинственными возгласами и вдохновляясь мыслью о том, что на нас смотрят из города.

В этот день удача повсюду сопутствовала нам: в то время как мы безжалостно расправлялись с саперами на первой линии траншеи, войска, которые под командованием бригадира Бутрона осуществляли вылазку на левом фланге, весьма успешно провели бои с частями неприятеля, расположенными в Бернардоне. Пока волонтеры из Уэски, гренадеры Палафокса и валлонские гвардейцы громили французскую пехоту, подошли эскадроны из Нумансии и Оливенсы, которые, незаметно миновав ворота Санчо и сделав большой обход, перерезали дороги на Алагон и Муэлу именно в ту минуту, когда французы отступали с левого фланга к центру, ожидая, что к ним на помощь подойдут более крупные силы. Наша кавалерия, располагавшая отличными конями, понеслась по тракту, сметая все на своем пути. Несчастные французские пехотинцы, беспорядочно бежавшие в сторону Торреро, налетали друг на друга. Удирая, многие из них попадали на наши штыки, и как ни сильно хотелось французам спастись от кавалерии, нам еще сильнее хотелось достойно встретить их пулями. Одни из них валились в канавы, будучи не в силах перепрыгнуть на бегу через эти преграды; другие бросали оружие и благоразумно сдавались в плен; третьи геройски защищались, предпочитая умереть, но не сдаться; нашлось, наконец, несколько и таких, которые забрались в печи для обжига кирпичей, набитые хворостом и поленьями дров, и развели там огонь, считая, что уж лучше сгореть заживо, чем угодить в плен.

Все, о чем я поведал здесь с предельной краткостью, произошло так быстро, что главная квартира неприятеля, не ожидавшая нападения, еле успела отрядить достаточные силы, которым предстояло остановить нас и наказать за дерзкую вылазку.

На Монте Торреро прозвучал сигнал тревоги, и мы увидели, что против нас двинулся большой отряд конницы. Но люди Реновалеса, равно как и Бутрона, уже выполнили свою миссию и не собирались дожидаться тех, кто спохватился так поздно. Мы без промедления отступили, издали приветствуя противника в самых красочных и сочных выражениях, какие только имелись у нас в запасе. Мы успели даже привести в негодность несколько орудий, которые неприятель предполагал через день выкатить на позиции, подобрали большое количество шанцевого инструмента, разрушили на возводимой параллели все, что могли, и угнали с собой несколько десятков пленных, захваченных во время боя.

Хуан Пирли, один из наших сотоварищей по батальону, притащил в город саперный кивер,

надев его себе на голову, чтобы удивить народ: он принес также сковородку с остатками завтрака, начатого французами на биваке под Сарагосой, а законченного уже на том свете.

Убитых в нашем батальоне насчитывалось девять, раненых восемь. Когда у ворот Кармен ко мне присоединился Агустин, я заметил, что рука у него окровавлена.

— Ты ранен? — спросил я, оглядывая друга. — Царапнуло-таки?

— Да, царапнуло, — подтвердил он. — И не пулей, не штыком, не саблей, а зубами. Один француз замахнулся на меня киркой, собираясь разmozжить мне голову; я сгреб его в охапку, а он, как бульдог, впился мне в руку.

Когда оба наши отряда возвращались в город — один через ворота Кармен, другой — через ворота Портильо, редуты и форты южной стороны открыли огонь из всех орудий по преследовавшим нас французским колоннам. Две одновременные и согласованные вылазки нанесли противнику серьезный урон. Мы не только уничтожили много солдат, но и разрушили часть, правда, небольшую, первой линии траншей, а также захватили значительное число шанцевого инструмента. Кроме того, наши офицеры — саперы, сопровождавшие Бутрона в этом смелом набеге, успели осмотреть фортификации французов, разобраться в характере работ и определить их размеры, а затем доложить о них Генерал-капитану.

Городские стены были усеяны людьми. В Сарагосе слышали, что завязалась перестрелка, и тотчас мужчины, женщины, старики и дети высыпали посмотреть на новое славное сражение, которое мы давали на подступах к городу. Встретили нас ликующими криками. От самого Сан — Хосе до монастыря Тринитариев и дальше вереницы сарагосцев, забравшихся на стены и следивших за ходом боя, встречали нас громкими рукоплесканиям и взмахами платков. Это было великолепное зрелище! Затем загремела канонада: редуты одновременно открыли огонь по только что покинутой нами равнине, но ужасный грохот орудий, смешавшись с пением, криками «ура!» и радостными возгласами, походил скорее на победный салют. У окон окрестных домов и на балконах толпились женщины; некоторых представительниц прекрасного пола обуяло такое нетерпение и любопытство, что они толпой хлынули к фортам и батареям, услаждая свои мужественные души и успокаивая стальные нервы звуками ни с чем не сравнимой музыки — грохотом орудий. С укреплений у ворот Портильо толпу попросту пришлось прогнать. Монастырь Санта-Энграция напоминал театр или место народного гуляния — столько там собралось народу. Наконец канонада, имевшая одну цель — прикрыть наш отход, прекратилась, и лишь замок Альхаферия продолжал время от времени тревожить огнем вражеские позиции.

На следующий день за дело тридцать первого декабря нам всем пожаловали знак отличия — красную ленту на грудь, и, воздавая должное участникам опасной вылазки, падре Боджиеро сказал от имени Генерала такие слова:

— Вчера вы отметили последний день года подвигом, достойным вас... Прозвучал горн, и в тот же миг ваши мечи повергли во прах надменные головы, вынужденные склониться перед вашей отвагой и любовью к отчизне. Нумансия! Оливенса! Я убедился, что на своих стремительных конях вы не посрамите чести нашего оружия и священных стен города, воодушевленного борьбой!.. Препояштесь этими окровавленными мечами — они залог вашей славы и оплот отечества!

С этого дня, сыгравшего столь же важную роль во время второй осады, как битва при Эрас во время первой, началась пора упорного труда, всеобщего подъема и пламенного энтузиазма; таковы были условия, в которых и осажденные и осаждающие прожили целых полтора месяца. Вылазки, произведенные за два первые дня января, не дали сколько-нибудь значительных результатов. Французы, закончив сооружение первой параллели, двинулись вперед и стали прокладывать новую зигзагообразную линию траншей. Они работали так усердно, что очень скоро две лучших наших позиции на южной стороне — Сан — Хосе и редут Пилар — оказались под угрозой огня внушительных осадных батарей, насчитывавших по шестнадцать орудий в каждой. Излишне говорить, что мы не переставали тревожить противника, то ожесточенно обстреливая его, то смело совершая неожиданные нападения, но этим все и ограничивалось. Поэтому Жюно, сменивший к тому времени Монсе, настойчиво продолжал осадные работы.

Наш батальон по-прежнему оборонял редут Пилар, возведенный у самого моста через Уэрву и сразу за ним, на другом берегу. Сектор обстрела занимал значительное пространство, частично перекрывавшееся также огнем из Сан-Хосе. По сравнению с этими двумя выдвинутыми вперед укрепленными артиллерийскими позициями батарея Великомучеников, а также батареи в Ботаническом саду и у башни Пино, размещенные ближе к центру города, имели не столь важное значение и служили, главным образом, для поддержки двух первых. В наш гарнизон влилось много арагонских волонтеров, солдат таможенной охраны и вооруженных горожан: они сами решали, к какой из частей им присоединиться. На редуте стояло восемь пушек. Комендантом его был дон Доминго Ларрипа, артиллерией командовал дон Франсиско Бетбесе, а саперов возглавлял великий Симоно, военный инженер и человек столь исключительных достоинств, что и по храбрости, и по знанию дела он мог считаться подлинным образцом воина.

Хотя наш тетдепон был временным сооружением, он отличался прочностью и был снабжен всем необходимым для долгой и упорной обороны. У самого моста на входных воротах строители прибили доску с надписью: «Нерушимая твердыня владычицы нашей Пилар. Сарагосцы, победим или умрем за пресвятую деву Пилар!»

Внутри тетдепона казарменных помещений не было, и, хотя зима стояла довольно мягкая, погода доставляла нам немало неприятностей. Провиантом нас обеспечивала Хунта, исполнявшая обязанности интендантства, однако, несмотря на все старания, ей не удавалось снабжать нас нужным количеством припасов. К нашему счастью и к чести великодушных сарагосцев, обитатели соседних домов ежедневно приносили нам лучшее, что у них было; кроме того, нас часто посещали те отзывчивые женщины, которые после боя тридцать первого декабря взяли к себе домой на полное свое попечение наших бедных раненых.

Не помню, рассказывал ли я о Пирли. Это был двадцатилетний крестьянский парень из пригорода, столь жизнерадостный, что опасные стычки с противником рождали в нем лишь лихорадочную и неумную веселость. Я никогда не видел его грустным. В атаку на французов он ходил с песней, а когда вокруг свистели пули, он выделял руками и ногами смешные выкрутасы и потешно прыгал. Беглый оружейный огонь он называл «градом», ядра — «горячими пышками», гранаты, — «тещами», а порох — «черной мукой», употреблял он и другие словечки в том же роде, но я их уже забыл. Несмотря на свое легкомыслие, он был хорошим товарищем.

Не помню также, говорил ли я о дядюшке Гарсесе. Это был человек лет пятидесяти пяти, родом из Гаррапинильос; загорелый до черноты, он отличался необычайной силой, стальными мускулами и неподражаемой ловкостью, а под огнем оставался невозмутимым, как машина. Говорил он мало, а если говорил, то не стеснялся бранных выражений, но при всей своей

грубости был не лишен остроумия. Мелкий землевладелец из окрестностей города, он собственноручно разрушил свой скромный дом и вырубил грушевые деревья, чтобы не оставить неприятелю никакого прикрытия. Мне рассказывали о том, что во время первой осады он совершил множество подвигов. На правом рукаве он носил «Герб награды и отличия» — почетный знак за шестнадцатое августа. Одевался он на редкость плохо и ходил почти полуголый, но не потому, что у него не водилось приличной одежды, а потому, что ему было некогда наряжаться. Именно о Гарсесе и подобных ему были сказаны вдохновенные слова, упомянутые мною выше: «Одежду ему заменяла слава». Спал он, ничем не укрываясь, ел меньше любого отшельника: на целый день ему хватало двух ломтей хлеба и двух кусочков копченого мяса, твердого, как подошва. Подобно всем замкнутым людям, он частенько размышлял вслух. Так, наблюдая за французами, рывшими вторую линию траншей, он пробормотал:

— Слава богу, наконец-то они приближаются, черт их поberi!.. Дьявольские отродья! Они кого угодно из терпения выведут!

— Куда вы так спешите, дядя Гарсес? — удивились мы.

— Сто чертей им в глотку! Должен же я снова посадить деревья, пока зима не кончилась, — ответил он. — А к следующему месяцу я хотел бы соорудить себе новый домишко.

Короче говоря, к дядюшке Гарсесу вполне можно было отнести те слова, которые красовались на воротах тетдепона: «Нерушимая твердыня».

Но кто это там, опираясь на тяжелый посох, медленно бредет по долине Уэрты к городу в сопровождении резвой собачонки, которая лает на всех встречных, но просто из озорства и отнюдь не собирается кусаться? Это падре Матео дель Бусто, лектор и цензор ордена Миноритов, капеллан второго легиона сарагосских волонтеров, прославленный муж, которого во время первой осады, несмотря на его почтенный возраст, видели во всех опасных местах: он помогал раненым, напутствовал умирающих, подносил боевые припасы здоровым и воодушевлял всех своим благородным красноречием.

Войдя в наше укрепление, он открыл большую и тяжелую корзину, которую нес с трудом и где были заботливо уложены яства, несравненно более вкусные, чем наш обычный рацион.

— Вот булочки, — объявил он, садясь прямо на землю, и стал вытаскивать из корзины разные аппетитные вещи. — Их дали мне в доме ее сиятельства графини Бурета, а эти — в доме дона Педро Рика. Вот несколько кусков ветчины из моего монастыря: ее приготовили для отца Лосойоса, который страдает желудком, но он отказался от подношения и велел отнести их вам. Взгляните-ка теперь на эту бутылочку винца. Ну, как? На той стороне, у вшивых французов, за нее дорого бы дали.

Мы посмотрели на поле. Собачонка бесстрашно прыгнула на бруствер и принялась облаивать французов.

— А вот еще пара фунтов сушеных персиков из наших кладовых. Мы собирались настоять на них водку, но раз такое дело — все вам, храбрецы-молодцы. Не забыл я и о тебе, дорогой Пирли, — добавил падре, поворачиваясь к юноше. — Ходишь чуть ли не нагишом, у тебя даже плаща нет, вот я и принес тебе чудесную обнову. Развяжи-ка вот этот узел. Вещица, конечно, старая, — я приберегал ее для какого-нибудь бедняка, — а теперь дарю тебе. Прикрой свою наготу и носи на здоровье. Конечно, такой наряд не для военного, но ведь ряса не делает монаха, а мундир — солдата. Надень, надень — сразу как в рай попадешь.

Пастырь отдал нашему другу свой узелок, и тот под общий смех и шутки облачился в монашескую рясу, а так как Пирли еще продолжил носить на голове высоченный меховой кивер, захваченный тридцать первого декабря во вражеском лагере, облик его стал совсем уж странным.

Чуть позже несколько женщин тоже принесли корзинки с провизией. Появление особ

женского пола мгновенно преобразило весь тетдепон. Неизвестно откуда появилась гитара, один из солдат мастерски заиграл несравненную, божественную, бессмертную хоту, и тут же начался задорный танец. Пирли, чей забавный наряд сочетал в себе форму французского сапера и одеяние испанского монаха, оказался отменным танцором; нашлась у него и достойная пара — прелестная девушка, по имени Мануэла, одетая горянкой. Этой стройной красотке с тонкой и белой кожей было на вид лет двадцать — двадцать два. Лицо ее вскоре зарделось, и, возбужденная танцем, она, не зная усталости, двигалась все быстрее и быстрее. Глаза у нее полузакрылись, щеки разрумянились, руки двигались в такт музыке. Она с лукавым проворством вертела краем юбки и порхала с места на место, поворачиваясь к зрителям то лицом, то спиной. Мы стояли как зачарованные. Ее вдохновенная пляска воодушевляла музыканта и остальных танцоров, а их воодушевление, в свою очередь, все больше раззадоривало Мануэлу, пока, наконец, усталость не одолела ее и обессиленная девушка, запыхавшись и опустив руки, не села прямо на Землю.

Пирли пристроился рядом с нею, и вокруг них тотчас же образовали круг, посредине которого оказалась корзинка с едой.

— Посмотрим, Мануэла, что ты нам принесла, — сказал Пирли. — Если бы не ты и не отец Бусто, почтивший нас своим посещением, мы бы с голода умерли. А не потанцуй мы малость, чтобы позабыть обо всех этих «горячих пышках» да «тещах», то нам, бедным солдатам, и вовсе бы худо пришлось.

— Что дома было, то и принесла, — ответила Мануэла, вытаскивая провиант из корзинки. — Еды остается мало, и, если осада затянется, вы еще кирпичи грызть будете.

— Ничего! Мы и картечь, запеченную в «черной муке», слопаем, — изрек Пирли. — Мануэла, а ты уже научилась не бояться выстрелов?

С этими словами он быстро схватил ружье и выстрелил в воздух. Девушка громко вскрикнула и, вскочив, отбежала от нас.

— Не пугайся, дочь моя, — успокоил ее монах. — Смелые женщины не боятся выстрелов; скорее напротив, пальба должна быть для них так же приятна, как стук кастаньет и переборы бандурии.

— Когда я слышу выстрел, у меня кровь в жилах стынет, — ответила Мануэла боязливо.

В эту минуту французы, видимо решив проверить, удачно ли расставлена артиллерия на их новой осадной линии, выстрелили из пушки; ядро попало в бруствер нашего укрепления, и хрупкие кирпичи разлетелись на тысячи осколков.



Все вскочили и впились глазами во вражеские позиции, красавица опять вскрикнула от ужаса, а дядюшка Гарсес, сунув голову в бойницу и поминутно поминая черта, принялся осыпать французов непристойной бранью. Тем временем собачонка монаха с отчаянным лаем носилась взад и вперед по укреплению.

— А ну-ка, Мануэла, станцуем хоту под эту музыку, и да здравствует приснодева Пилар! — воскликнул Пирли, прыгая, как бесноватый.

Мануэла, подстрекаемая любопытством, подняла голову, вытянула шею и посмотрела через бруствер в сторону противника. Затем она оглядела равнину, и страх, царивший в ее робкой душе, постепенно рассеялся, так что, в конце концов, она почти спокойно и даже не без удовольствия стала наблюдать за вражескими позициями.

— Одна, две, три пушки, — считала она видневшиеся вдали жерла орудий. — Ну, ребята, не бойтесь. Для таких, как вы, это пустяки.

Со стороны форта Сан-Хосе послышались ружейные залпы, на нашем тетдепоне раздался барабанный бой — сигнал тревоги. Из форта выступил небольшой отряд, который завязал перестрелку с неприятельскими саперами. Несколько французов побежали на свой левый фланг, еще немного — и они окажутся в пределах досягаемости наших ружей; мы бросились к бойницам, готовясь «освежить» неприятеля малой толикой «града», а кое-кто из наших, не дождавшись даже приказа офицеров, с воинственными криками стал стрелять в бегущих врагов. Женщины, за исключением Мануэлы, припустились через мост в город. Может быть, девушку охватил страх? Нет. Правда, испугалась она отчаянно, тряслась так, что зуб на зуб не попадал, а

лицо внезапно пожелтело, но неодолимое любопытство удерживало ее. Она, не отрываясь, изумленно смотрела на стрелков и на пушку, из которой уже приготовились стрелять.

— Мануэла, — спросил Агустин. — почему ты не уходишь? Разве тебя не пугает то, что здесь творится?

Девушка была поглощена невиданным зрелищем; она дрожала, губы ее побелели, грудь вздымалась, но красавица не двигалась с места и не произносила ни слова.

— Мануэлита! — крикнул Пирли, подбегая к ней. — Возьми мое ружье и выстрели.

Вопреки нашим ожиданиям. Мануэла ни одним движением не выдала свой страх.

— Бери, бери, милая, — уговаривал Пирли, всовывая ей в руки ружье. — Палец положи вот сюда, прицелься и стреляй. Да здравствуют Мануэла Санчо, вторая Артиллеристка, и пресвятая дева Пилар!

Девушка взяла ружье, хотя, судя по ее движениям и остановившемуся взгляду, не отдавала себе, видимо, отчета в том, что делает. Потом дрожащей рукою она подняла ружье, прицелилась, нажала курок и выстрелила.

Выстрел был встречен радостными криками и взрывом рукоплесканий. Девушка опустила ружье. Она сияла от удовольствия, и радость снова залила ей щеки краской.

— Вот видишь, твой страх и прошел, — сказал капеллан. — К таким вещам только приохотиться надо. То же самое следовало бы проделать всем жительницам Сарагосы: вот тогда Агустина и Каста Альварес не были бы славным исключением среди женщин.

— Дайте другие ружье! — воскликнула девушка. — Я выстрелю еще раз.

— Что, понравилось, радость моя? Увы, французишки уже улепетнули. Но ничего. Считай, что назавтра ты приглашена отведать «горячих пышек». Ну, а теперь сядем да закусим, — сказал Пирли, намереваясь попользоваться кое-чем из содержимого корзинки.

Монах, подозвав собачонку, сказал ей:

— Довольно лаять, дружок. Не принимай все так близко к сердцу, а то охрипнешь. Побереги свою прыть до завтра, а сегодня тратить силы уже ни к чему; если не ошибаюсь, французы поспешили забиться в свои траншеи.

В самом деле, отряд из Сан-Хосе вернулся обратно, перестрелка кончилась, и вскоре мы уже не видели ни одного француза. А минутой позже вновь зазвучала гитара, вернулись женщины, и танцующие пары во главе с Мануэлой и славным Пирли отдались плавному ритму хоты.

На следующий день, проснувшись с зарей, я увидел, что Монторья прогуливается по брустверу.

— Похоже, что сейчас начнется бомбардировка, — сказал он мне. — В неприятельском лагере большое оживление.

— Начнут с нашего тетдепона, — отозвался я, нехотя поднимаясь. — Какое хмурое небо, Агустин! Денек будет невеселый.

— Думаю, что они пойдут в атаку по всему фронту одновременно: ведь у них уже готова вторая линия траншей. Ты же слышал, что Наполеон, узнав в Париже об отпоре, оказанном сарагосцами во время первой осады, пришел в ярость и отчитал Лефевра Денуэта за то, что он пошел на приступ со стороны Портильо и Альхафери. Говорят, император тут же велел подать ему план Сарагосы и приказал штурмовать город со стороны Санта-Энграсии.

— Значит, здесь? Ну что ж, скоро увидим. Коли французы выполнят приказ Наполеона, нам предстоит тяжелый денек. Скажи, а поесть у тебя нечего?

— Кое-что я припрятал — хотел сделать тебе сюрприз, — ответил он и показал корзинку, в которой лежали две жареные курицы, закуска, сладости и отличное варенье.

— Понятно, ты все это раздобыл вчера вечером. А как тебе удалось отлучиться?

— Я попросил разрешения, и командир отпустил меня на час. Все эти яства Марикилья приготовила заранее. Если дядюшка Кандьола узнает, что двух курочек из его птичника прирезали и зажарили, чтобы угостить защитников города, он тут же отдаст душу сатане. Закусим, сеньор Арасели, и будем ждать бомбардировки... Ба! Вот и началась. Одно ядро!.. Другое!..

Восемь батарей, нацеленных на форт Сан-Хосе и тетдепон Пилар, открыли огонь. И какой огонь! Все к бойницам, все к пушкам! Долой завтрак, в сторону еду и лакомства! Пусть пищу арагонцам заменит слава! Несокрушимый тетдепон ответил дерзкому врагу достойной канонадой, само отечество вдохнуло в наши сердца отвагу и мужество. Ядра, ударяясь о кирпичный бруствер и земляной вал, крошили наш редут, — так ребенок разрушает игрушку, бросая в нее камнями; гранаты с треском рвались около нас, бомбы с грозной величавостью проносились над нашими головами и падали на мостовые и крыши домов.

Все на улицу! Пусть в городе не будет ни трусов, ни бездельников! Мужчины — на стены, женщины — в полевые лазареты, дети и монахи — на подноску боевых припасов! А если страшные огненные шары пробивают крыши, влетают в комнаты, распахивают двери, дырявят перекрытия, падают в подвалы и взрываются, извергая адское пламя на мирный очаг, неся смерть беспомощному, прикованному к постели старцу и лежащему в колыбели младенцу, то на это нечего обращать внимания — эка невидаль! Все на улицу — и отстоим нашу честь, пусть даже ценою самого города, его домов, церквей, монастырей, больниц и лавок! В конце концов, все это дело рук человеческих, а сарагосцы, презирующие мирские блага, равно как и само земное бытие, сильны духом своим, который живет в бесконечных просторах идеала.

В самом начале боя нас посетил Генерал-капитан в сопровождении таких видных особ, как дон Мариано Сересо, священник Сас, генерал О'Нейль, Сан-Хенис и дон Педро Рик. С ними был также наш храбрый, щедрый и добродушный дон Хосе де Монторья, который, обняв своего сына, сказал ему: «Сегодня мы умрем или победим. Свидимся на небесах». Вслед за Монторьей к нам явился дон Роке. Он стал настоящим молодцом и состоял теперь при медиках; раненых, правда, еще не было, но он уже развил бурную деятельность и с торжеством показал нам изрядную кучу корпии. После первых же выстрелов к нам присоединились несколько монахов, которые

принялись воодушевлять нас с фанатическим неистовством, почерпнутым в книге Маккавейской.

Французы одновременно и с одинаковой яростью атаковали редут Пилар и форт Сан-Хосе, который представлял, по сравнению с первым, сооружение более внушительное, однако был менее удобен для защиты, потому что служил отличной мишенью для неприятельских орудий. Зато его оборонял Реновалес с волонтерами из Уэски и Валенсии, валлонскими гвардейцами и ополченцами из Сории. Форт оказался в тяжелом положении прежде всего потому, что он был сооружен в большом здании монастыря, которое вражеская артиллерия постепенно превращала в руины: когда стены рушились, под их обломками гибли многие защитники форта. Нам было лучше: над нашими головами простиралось одно лишь небо. Над нами не было крыши, которая предохраняла бы нас от бомб, но зато на нас не летели сверху кирпичи и камни. Редут обстреливался с фронта и флангов; мы в отчаянии глядели, как разваливаются непрочные сооружения, оставляя нас без прикрытия. Однако после четырех часов непрерывной и ожесточенной бомбардировки французы с трудом пробили лишь одну мало-мальски серьезную брешь.

Так прошло десятое января. На нашем участке осаждающие не добились сколько-нибудь заметного успеха, но у Сан-Хосе им удалось подойти к стенам, проделать в них огромную брешь и превратить здание форта в развалины, а такой поворот событий свидетельствовал о том, что создалась печальная необходимость сдать это укрепление. Однако пока форт не был сметен с лица земли, а часть его защитников еще оставалась в живых, сохранялась и надежда отстоять его. Здесь французы ввели в бой свежие части, потому что их батальоны, которые дрались с самого рассвета, понесли тяжелые потери. С наступлением сумерек неприятель предпринял еще одну тщетную попытку ворваться в форт через брешь, но Реновалес, потерявший две трети своей артиллерии, по-прежнему держался на обгаренных кровью развалинах, где лежали горы трупов.

Огонь не прекратился даже ночью; напротив, бомбардировка форта и тетдепона стала еще более ожесточенной. У нас насчитывалось много убитых и раненых. Монахи и женщины немедленно подбирали раненых и уносили в город, мертвые же оставались выполнять свой последний долг: мы стойчески закладывали трупами пробитую ядрами брешь, а потом окончательно заделывали ее мешками с шерстью и землей.

Ночью мы ни на минуту не сомкнули глаз и утром одиннадцатого были по-прежнему одержимы лихорадкой боя: то наводили орудия на вражеские траншеи, то неистово палили из ружей по отрядам французов, атаковавшим нас с флангов, а в минуты затишья бросались заделывать брешь в бруствере, которая час от часу устрашающе увеличивалась. Так мы держались все утро, до того момента, когда начался штурм Сан-Хосе, уже превращенного в руины и потерявшего почти весь свой гарнизон. Французы стянули к двум нашим оборонительным пунктам большие силы. Одновременно со штурмом монастыря Сан-Хосе они предприняли смелую атаку на тетдепон. Надеясь воспользоваться пробитой в наших укреплениях брешью, неприятель с двумя полевыми орудиями, прикрытыми колонной пехоты, двинулся на нас по дороге со стороны Торреро.

Мы решили, что нам пришел конец: непрочные стены редута сотрясались, слабая кирпичная кладка разлеталась на тысячи осколков. Мы бросились к бреши, которая делалась все шире. Французы вели сокрушительный огонь; видя, что укрепление наше разваливается на куски, они осмелели и подошли к самому краю рва. Пытаться заделать образовавшийся широкий пролом было уже немыслимо, тем более что заниматься этим на открытом месте, без всякого прикрытия, значило бессмысленно приносить себя в жертву разъяренному врагу. Многие очертя голову бросались к бреши с мешками шерсти и лопатами, но в большинстве случаев тут же погибали. Орудия смолкли — мы решили, что стрелять уже бесполезно. Нас охватила дикая

паника: ружья вываливались из рук, нам казалось, что лавина огня, воспламенившая даже воздух, сейчас сметет нас, уничтожит, испепелит, мы позабыли о чести, о героической смерти, об отечестве, о пресвятой деве Пилар, чье имя красовалось у входа в нерушимую твердыню. Безысходное смятение царило в наших рядах: все, кто не пал в бою, жаждали лишь одного — остаться в живых. Перепрыгивая через раненых, ступая по трупам, мы ринулись к мосту, чтобы выскочить из этой страшной могилы, прежде чем она сомкнется и навеки погребет нас.

Объятые неодолимым страхом, мы беспорядочной толпою хлынули на мост. Трусость есть величайшее из безумств: она толкает на подлости, столь же безмерные, как и подвиги, порожденные отвагой. Офицеры кричали: «Назад! Редут Пилар не сдается!» — и саблями били плашмя по нашим спинам. На мосту мы остановились: Дальше бежать было некуда, навстречу нам спешили свежие войска, беглецы столкнулись с подкреплением, и обезумевшие от страха трусы смешались с наступающими смельчаками.

— Назад, каналы! — орали офицеры, раздавал пощечины. — Назад к бреши! Умрем, но не отступим!

Редут опустел — только убитые и раненые лежали на земле. Вдруг в облаках густого дыма и клубах пыли, среди бездыханных трупов, наваленной грудой земли, развороченных лафетов и сломанного оружия мы увидели величественную, исполненную бесстрашия фигуру, казавшуюся воплощением трагического спокойствия. Это была женщина. Отстранив бегущих солдат, она вошла в опустевший редут и все так же величаво направилась к страшной бреши. Пирли, раненный в ногу и лежавший на земле, в ужасе вскрикнул:

— Куда ты, Мануэла Санчо?

Все произошло быстрее, чем я об этом рассказываю. За Мануэлой Санчо бросились солдаты — сначала один, затем трое, потом много, наконец, все. Офицеры подгоняли нас, плашмя били саблями, возвращая беглецов к исполнению долга. Эта необыкновенная перемена произошла по велению сердца: мы подчинились общему порыву, чувствам, которые передались каждому из нас, хотя никто не знал, какой таинственный источник вызвал их к жизни. Я до сих пор не понимаю, почему мы вдруг превратились в жалких трусов, а еще через несколько секунд сделались храбрецами. Бесспорно одно: движимые необычайной, могущественной, сверхчеловеческой силой, мы вслед за героической женщиной ринулись в пробитую французами брешь как раз в ту минуту, когда они, приставив лестницы, пошли на приступ. Опять-таки не знаю, почему, но мы почувствовали, что наши силы возросли во сто крат, и мы метали, сбрасывая в глубокий ров, этих игрушечных солдатиков, которые совсем недавно казались нам отлитыми из стали. От пуль, сабель, ручных гранат, прикладов и штыков пало много наших бойцов, но их бездыханные тела тут же становились бруствером для живых. Мы защитили редут, и французы отступили, оставив у стен укрепления немало своих товарищей. Вражеские пушки опять открыли огонь, но одиннадцатого января наша нерушимая твердыня так и не перешла в руки Франции.

Когда огненный шквал затих, мы почувствовали, что мы уже не прежние: мы преобразились, в душе у нас родилось что-то новое и незнакомое, и мы ощутили в себе неведомую дотоле суровость.

На следующий день Палафокс справедливо сказал:

— Ни бомбы, ни гранаты, ни пули не заставят нас побледнеть. Этого не добиться даже всей Франции.

Форт Сан-Хосе сдался, вернее, французы овладели им, но после того, как их артиллерия сровняла стены форта с землею и все его защитники погибли один за другим, императорским солдатам досталось там лишь множество разорванных на куски трупов, да груды земли и камней, обгаренные кровью. Французы не сумели даже закрепиться в нем, потому что форт Сан-Хосе простреливался с флангов батареями Великомучеников и Ботанического сада; они вынуждены были продолжить осадные работы, чтобы в дальнейшем овладеть и этими пунктами. Укрепления, которые мы удержали, были настолько разрушены, что их требовалось отстраивать чуть ли не заново; поэтому срочно были обнародованы строгие приказы, обязавшие всех жителей Сарагосы выйти на работы. В прокламации говорилось, что у каждого сарагосца должно быть в одной руке ружье, а в другой заступ.

Двенадцатого и тринадцатого января работы велись без передышки, неприятельский огонь заметно ослабел: французы получили жестокий урок. Они не отваживались больше на рукопашные схватки и, еще раз удостоверившись, что при осаде терпение и настойчивость куда важнее, чем безрассудная смелость, принялись не спеша и со всяческими предосторожностями подводить к тетдепону апроши и крытые траншеи, чтобы захватить его без потерь в людях. Нам было необходимо почти заново вывести стены укрепления, точнее говоря, выложить их из мешков с землею; кроме гарнизона редута, этим занимались монахи, каноники, судейские, дети и женщины. Наша артиллерия почти полностью вышла из строя, ров был засыпан больше чем наполовину; кроме того, неприятель держал нас под непрерывным ружейным обстрелом. Так мы провели весь день тринадцатого января, прикрывая восстановительные работы огнем, терпя всяческие лишения и видя, что с каждым часом редуют наши ряды, хотя новые подкрепления и прибывали постоянно, чтобы восполнить значительные потери, понесенные нами. Четырнадцатого числа вражеская артиллерия снова принялась крушить стены из мешков, пробивая в наших укреплениях бреши и с фронта, и с флангов. Но французы не решались на новый штурм и продолжали рыть траншею с таким расчетом, чтобы ни наша, ни соседние батареи не могли накрыть ее своим огнем.

Французские батареи, придвинувшиеся почти вплотную к нашей неприступной земляной крепости, неминуемо и очень скоро должны были развеять по ветру непрочный материал, из которого мы соорудили ее стены. В подобных обстоятельствах тетдепон рано или поздно все равно пришлось бы оставить, потому что он был отдан во власть французских пушек, словно корабль, который несется по воле бушующих океанских волн. Охваченный с флангов крытыми неприятельскими траншеями и зигзагообразными апрошами, по которым безопасно передвигался хитрый враг, овладевший всеми тайнами военной науки, наш тетдепон походил на человека, окруженного со всех сторон целой армией. Исправных орудий у нас не было, а новых мы подвезти не могли, потому что стены нашего укрепления не выдержали бы их тяжести.

Минировать редут и взорвать его в тот момент, когда в него войдут французы, а также разрушить мост, чтобы избавиться от преследования, — вот каков был единственный выход для нас. Так мы и поступили. В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое работы по минированию моста и редута не прекращались ни на минуту, так как на рассвете мы ожидали неприятельскую атаку. Однако ее не последовало: французы не отважились пойти на приступ, не приняв всех возможных мер предосторожности и безопасности, и поэтому продолжали подводить апроши к самому рву, окружавшему редут. Наш ружейный огонь причинял им, к сожалению, мало вреда. Мы были в отчаянии и от своего бессилия, и от того, что отчаяние отнюдь не помогало нам обороняться. Это была такая же бесполезная сила, как ярость сумасшедшего в клетке.

Мы оторвали доску с надписью «Нерушимая твердыня», решив унести с собой это свидетельство нашего оправданного тщеславия. С наступлением темноты гарнизон покинул тетдепон, оставив там лишь сорок человек, которые должны были защищать его до последней минуты и «уничтожать всех, кого можно уничтожить», как выразился наш капитан, иными словами, убить хоть двух-трех французов, если к тому представится случай. Около восьми часов вечера с башни Пино мы увидели, как отступили эти сорок храбрецов, которые в штыки встретили французов и отважно дрались с ними, медленно отходя к мосту. Мина, заложенная внутри редута, не дала ожидаемого эффекта, зато те, что были подведены под мост, сработали превосходно: он взлетел на воздух, и тетдепон оказался отрезанным от нашего берега Уэрвы. Овладев укреплениями Пилар и Сан-Хосе, французы захватили плацдарм, нужным им для сооружения третьей линии траншей, и получили возможность держать под огнем весь город.

Мы были опечалены, но эта минутная слабость вскоре забылась — на следующий день у нас уже был веселый праздник. Тем, кто вышел из ожесточенного боя, не вредно малость развлечься и погорланить, даже если они не успевают хоронить убитых и размещать в домах жителей несметное число раненых. У нас же, слава богу, хватило рук и на это. Поводом для всеобщего торжества явились неожиданные слухи о том, что на помощь к нам спешат испанские войска, что французы по всему полуострову терпят поражение и прочие выдумки в том же роде. На площади, у собора Сео и у арки Магдалины, толпился народ, ожидая выхода «Газеты», и, когда ее принесли, ликование охватило сарагосцев, и сердца их преисполнились надеждой. Не знаю, действительно ли до Сарагосы дошли такие новости или их изобрел не в меру сообразительный главный редактор «Газеты», которым был в то время дон Игнасио Ассо. Как бы там ни было, он черным по белому сообщил нам, что на помощь Сарагосе спешит генерал Рединг с шестидесятитысячным войском; что маркиз Ласан разгромил супостата на севере Каталонии и вступил со своей армией во Францию, «сея повсюду ужас»; что герцог Инфантадо тоже торопится нам на помощь: что Блейк и Ла Романа разбили Наполеона, «уничтожив двадцать тысяч человек», в том числе Бертье, Нея и Савари, а в Кадис доставлено шестнадцать миллионов дуру, присланных англичанами на военные расходы. Ну как? Нравится вам такая газета?

Несмотря на всю вздорность подобных новостей, мы с жадностью проглатывали их, и народ всячески выражал свою радость: повсюду звучал колокольный звон, люди бежали по улицам, распевали хоту и предавались многим патриотическим излишествам, которые тем не менее были полезны уже тем, что в них мы черпали необходимую нам духовную поддержку. Не думайте, однако, что, не желая мешать нашему веселью, проклятые французы перестали осыпая нас бомбами. Напротив, словно решив посмеяться над уверениями нашей «Газеты», они угощали нас все более крупными дозами артиллерийского огня.

Побуждаемые острым желанием поиздеваться над врагом, мы побежали к городской стене, где наши полковые оркестры с нарочитым усердием заиграли мотив, знакомый каждому сарагосцу, и многоголосый хор оглушительно грянул:

Сказала святая дева Пилар,
что французам служить не станет...

Неприятель тоже был не прочь пошутить и усилил обстрел города, за каких-нибудь два часа обрушив на Сарагосу больше снарядов, чем за целый день. Во всем городе не осталось ни одного надежного укрытия, ни пяди земли, ни кровли, которые пощадил бы этот сатанинский огонь. Жители семьями покидали домашние очаги или прятались в подвалах; многочисленных раненых, размещенных в больших домах, переносили в церкви, под надежными сводами которых

они находили себе убежище; кое-кто из них, с трудом волоча ноги, добирался туда сам, а те, кто покрепче, даже тащили на спине свои постели. Большинство их расположилось в храме Пилар; те, кому не хватило места в центре собора, лежали в алтарях и заполнили амвоны. Отчаявшись, они обращали глаза к пресвятой деве, черпая утешение в ее сверкающем взоре, который словно подтверждал, что она «французам служить не станет».

Наш батальон не участвовал ни в вылазках двадцать второго и двадцать четвертого января, ни в бою за оливковую маслобойню, ни в защите позиций за монастырем Сан-Хосе. Это были геройские сражения, в которых мы понесли большие потери, но и французы узнали, почему фунт лиха. Их нельзя упрекнуть в том, что они не приняли необходимых мер предосторожности: на третьей параллели, от устья Уэрвы до ворот Кармен, они установили пятьдесят самых тяжелых орудий и навели их на самые уязвимые пункты нашей обороны. Мы же смеялись или делали вид, что смеемся над опасностью, доказательством чему служит вызывающий ответ Палафокса маршалу Ланну (который с двадцать второго числа принял командование осадной армией). В этом послании Палафокс заявил: «Взятие Сарагосы сделало бы немалую честь господину маршалу, если бы он овладел городом в открытом бою, а не с помощью бомб и гранат, устрашающих только слабодушных». Прошло несколько дней, и сарагосцам, естественно, стало известно, что ожидаемые подкрепления и мощные армии, спешившие к нам на выручку, оказались лишь досужими выдумками некоего журналиста, знавшего толк в таких враках. Никаких подкреплений и войск вблизи города, конечно, не было, и никто не собирался приходить нам на помощь.

Я очень скоро понял, что сообщения, опубликованные в «Газете» от шестнадцатого января, были «уткой» чистой воды, и сказал об этом дону Хосе де Монторья и его супруге, которые в своем неумеренном оптимизме объяснили мои скептические слова недостатком здравого смысла. В дом моих покровителей я пришел вместе с Агустином и другими сотоварищами, чтобы помочь великодушной семье в неотложном деле: бомбы продырявили там часть кровли, одна стена грозила вот-вот обрушиться, и обитателям необходимо было поторопиться с переездом. Старший сын Монторьи, раненный в бою у оливковой маслобойни, поместился вместе с женою и ребенком в подвале соседнего дома, и донья Леокадия просто сбилась с ног, без устали таская туда и обратно разные необходимые предметы.

— Ни на кого не могу положиться, — жаловалась она мне. — Такая уж я уродилась. У меня, конечно, есть слуги, но пока сама все не сделаю, не успокоюсь. Ну, как держался мой сын Агустин?

— Как подобает, сеньора, — ответил я. — Он храбрый мальчик, у него призвание к военной службе, и я не удивлюсь, если через несколько лет увижу его генералом.

— Генералом? — удивленно воскликнула донья Леокадия. — Как только будет снята осада, мой сын отслужит свою мерную мессу! Вы же знаете, он предназначен нами для духовного поприща. Да сохранит его в этой войне господь бог и пресвятая дева Пилар, а уж после все опять пойдет своим чередом. Наставники в семинарии уверяют меня, что я еще увижу своего сына в митре и с посохом в руках.

— Не сомневаюсь, что так оно и будет, сеньора. Но, когда я вижу, как он владеет оружием, мне трудно свыкнуться с мыслью, что той же рукой, которую спускает курок, он будет благословлять верующих.

— Вы правы, сеньор Арасели: я всегда говорила, что духовным лицам не пристало братья за оружие. Но что вы хотите? У нас теперь такие люди заделались солдатами, что просто оторопь берет: дон Сантьяго Сас, дон Мануэль Ласартеса, дон Антонио де ла Каса, владелец бенефиция Сан-Пабло, дон Хосе Мартинес, викарий в приходе Сан Мигель де лос Наваррос; дон Висенте Касанова, первый богослов Сарагосы, — и тот туда же. Если все так поступают, пусть мой сын тоже повоюет, хотя он, наверное, вне себя оттого, что не может вернуться в семинарию да с головой уйти в свои книги. Вы не поварите: в последнее время он целыми днями возился с

огромными книгами, такими толстенными, что каждая кинтала на два тянула. Вот какого сына послал мне Бог! Я только диву даюсь, когда слышу, как он читает вслух что-то длинное-предлинное, и все, конечно, по-латыни и, наверное, о нашем госпoде бoге Иисусе Христе и o любви eгo к святой церкви, потому что в речах eгo больно уж много разных «amor, formosa, pulcherrima, inflamavit»^[26] и других таких же словечек.

— Насколько я понимаю, — ввернул я, — он читает наизусть четвертую книгу одного богословского труда под названием «Энеида», который сочинен неким отцом Вергилием из ордена Проповедников и в котором немало говорится о любви Иисуса Христа к святой церкви.

— Видно, так, — согласилась донья Леокадия. — А покамест не поможете ли мне вынести вот этот стол, сеньор Арасели?

— С превеликим удовольствием, сеньора. Я управлюсь с ним и один, — ответил я, взвалив стол себе на спину как раз в ту минуту, когда в комнату вошел дон Хосе де Монторя, с благочестивых уст которого непрерывно срывались упоминания о дьяволе и всех чертях.

— Что здесь творится, черт побери? — воскликнул он. — Мужчины заняты женским делом? Не для того вам, сеньор Арасели, дали ружье в руки, чтобы вы перетаскивали тут мебель и прочую рухлядь. А ты, жена, зачем отвлекаешь мужчин, когда они нужны в другом месте? Разве ты с девчонками сама не можешь вынести мебель, черт побери? Не стеклянные — не ломаетесь. Выгляни-ка на улицу. Видишь, графиня Бурета тащит на спине матрас, а две ее горничных несут на носилках раненого солдата.

— Хорошо, хорошо, только не поднимай такого шума! — сказала донья Леокадия. — Ну что ж, мужчины, уходите отсюда. Марш все на улицу и оставьте нас одних. Ты, Агустин, тоже уходи, дитя мое, и да хранит тебя господь в этом аду!

— Все за мной! — приказал Монторя. — Нужно перетащить двадцать мешков муки из монастыря Тринитариев на склад Продовольственной хунты.

Мы вышли на улицу, и он добавил:

— В Сарагосе столько войск, что скоро нам придется перевести всех на половинный рацион. Правда, друзья мои, кое-кто припрятал немало провианта, и хотя населению было строго-настроено приказано представить сведения о запасах продовольствия, многие плюют на этот приказ и прячут съестное в надежде сорвать потом за него баснословные деньги. Ах, подлые души! Попадись они мне в руки, я им покажу, кто такой Монторя, председатель Продовольственной хунты!

В приходе Сан-Пабло нам встретился падре Матео дель Бусто. Очень усталый, он с трудом передвигал ноги; рядом с ним шел другой монах, по имени падре Луэнго.

— Есть чтонибудь новое, святые отцы? — осведомился Монторя.

— Есть: у дoнa Хуана Гальярта было несколько арроб колбасы, и он предоставляет ее в распоряжение Хунты.

— Дон Педро Писуэта, лавочник с улицы Москас, великодушно отдает нам шестьдесят мешков шерсти да всю муку и соль из своих кладовых, — добавил Луэнго.

— А с дядюшкой Кандьолой мы только что выдержали настоящее сражение, почище, чем битва при Эрас, — сказал отец Бусто.

— В чем дело? — удивился дон Хосе. — Неужели этот несчастный сквалыга сомневается, что мы заплатим ему за его муку? Ведь он единственный из всех сарагосцев, кто крошки не дал на прокормление гарнизона.

— А вы попробуйте сами усовестить Кандьолу, — возразил Луэнго. — Он велел нам не соваться к нему, пока мы не согласимся выложить по сто двадцать четыре реала за мешок муки, а мешков у него в амбаре целых шестьдесят восемь.

— Экая низость! — взорвался Монторя, оглушив нас залпом своих «черт побери», которые

я не повторяю, чтобы не утомлять читателя. — Значит, сто двадцать четыре реала за мешок? Нет, придется-таки объяснить этому бесчувственному скряге, в чем заключается сейчас долг сына Сарагосы. Генерал-капитан предоставил мне право в случае необходимости реквизировать продовольствие и платить за него по твердой цене.

— А знаете ли вы, мой достопочтенный сеньор дон Хосе, что он нам сказал? — отозвался Бусто. — Он сказал, что кому нужна мука, пусть раскошеливается. И если город нельзя отстоять, пусть его сдадут, а сам он не обязан чем-либо жертвовать для войны — не он ее затеял.

— Идем к нему, — бросил Монторья, охваченный яростью, которую со всей очевидностью выдавали его жесты, взволнованный голое и помрачневшее, изменившееся лицо. — Мне не впервой брать за шиворот эту каналью, этого стервятника и кровопийцу.

Я шел позади с Агустином, наблюдая за ним, и увидел, как он побледнел и потупился. Я хотел было заговорить, но он дал мне знак молчать, и мы пошли дальше, желая поскорее узнать, чем же все это кончится. Когда мы оказались на улице Антон Трильо, Монторья скомандовал:

— Вперед, молодцы! Постучитесь к этому наглому скряге, а если вам не откроют, высадите дверь, войдите в дом и велите ему тотчас выйти ко мне. Если потребуется, тащите его за уши, только остерегайтесь, чтобы он вас не укусил, — ведь это бешеная собака, ядовитая змея.

Мы пошли вперед, и я снова взглянул на Агустина: он был мертвенно-бледен и весь дрожал.

— Габриэль, — чуть слышно прошептал он, — как мне хочется убежать!.. Лучше бы уж земля разверзлась и навек поглотила нас. Нет, пусть отец убьет меня, но я не могу сделать то, что он нам приказал.

— Обопрись на мое плечо и сделай вид, что ты подвернул ногу и не можешь больше идти. — посоветовал я ему.

Тут я и остальные наши спутники принялись дубасить в дверь дома Кандьола. Тотчас же в окно высунулась старуха и наговорила нам кучу дерзостей. Прошло еще немного времени, и мы увидели, как красивая женская ручка отодвинула занавеску, и на мгновение перед нами появилось испуганное бледное лицо с большими выразительными черными глазами, боязливо смотревшими на улицу. В эту минуту мои спутники и мальчишки, окружавшие нас, подняли оглушительный крик:

— Выходи, дядя Кандьола! Выходи, собака, Кайафа!

Вопреки нашим ожиданиям, Кандьола повиновался — вероятнее всего потому, что рассчитывал встретить лишь толпу уличных мальчишек, которые частенько устраивали ему подобные серенады. Он не подозревал, что сам председатель Продовольственной хунты с двумя ее наиболее влиятельными членами стоит внизу и жаждет побеседовать с ним о весьма важном деле. Но едва разъяренный Кандьола, сверкая злыми глазками, открыл дверь и с палкой в руке накинулся на нас, как сразу же столкнулся лицом к лицу с Монторьей и, сообразив, что происходит, в испуге остановился.

— А, это вы, сеньор Монторья! — с откровенной досадой произнес он. — Коль скоро вы член городской Хунты безопасности, вы могли бы прогнать этих каналий, которые ни с того ни с сего ломятся в дом честного горожанина.

— Я не из Хунты безопасности, — заявил Монторья, — а из Продовольственной хунты. Вот почему я явился к сеньору Кандьоле и вызвал его на улицу. А входить в этот мрачный дом я не желаю: там полно мышей и паутины.

— Мы, бедняки, живем не в таких дворцах, как дон Хосе де Монторья, казначей городской общины и многолетний поставщик при городских властях, — сухо парировал дядюшка Кандьола.

— Свое состояние я нажил трудом, а не лихоимством, — отрезал Монторья. — Но довольно об этом, дон Херонимо: я пришел за мукой. Этих два добрых христианина, кажется, уже разъяснили вам, о чем речь.

— Да, я продаю муку, готов ее продать, — ответил Кандьола, притворно улыбаясь. — Но я не могу отдать ее по цене, которую назначили эти сеньоры. Это слишком дешево. Я прошу сто шестьдесят два реала за мешок в четыре арробы, никак не меньше.

— Я не спрашиваю вас о цене, — сдерживая гнев, перебил его дон Хосе.

— Пусть Хунта распоряжается своим добром, а в моем хозяйстве распоряжаюсь один я, — ответил скряга. — Вот и весь сказ. На том и разойдемся — вы к себе, и я домой.

— Сюда, кровопиец! — закричал Монторья, схватив дону Херонимо за руку и рванув так, что тот невольно повернулся. — Сюда, чертов Кандьола! Я сказал, что пришел за мукой, и без нее не уйду. Защитников Сарагосы нельзя морить голодом, трижды черт тебя побери, долг всех жителей города — помочь нам кормить гарнизон.

— Кого кормить? Солдат? — прошипел скупец, задыхаясь от злости. — Я их на свет родил, что ли?

— Презренный скряга! Неужели в твоей черной и пустой душе нет ни капли любви к родине?

— Я не кормлю бродяг. Да и кому нужно, чтобы французы обстреливали и разрушали город? Будь она проклята, эта война! И вы еще хотите, чтобы я раздаривал хлеб солдатам? Отравы бы я им дал, а не хлеба!

— Каналья, тварь, язва Сарагосы, позор Испании! — заорал мой покровитель, размахивая кулаками перед уродливым морщинистым лицом скряги. — Уж лучше до скончания века гореть в адском огне, чем хоть на минуту стать таким, как ты. Кандьола! Совесть у тебя чернее ночи и душа закоснела в пороках, но неужели тебе не стыдно быть единственным среди сарагосцев, кто отказывается помогать армии-освободительнице? Неужели всеобщее презрение, которые ты навлек на себя своей подлостью, не тяготит тебя так, словно тебе на плечи взвалили все скалы Монкайо?

— Довольно болтать, и оставьте меня в покое, — изрек дон Херонимо, направляясь к двери.

— Назад, грязная гадина! — останавливая его, заревел дон Монторья. — Я же тебе сказал, что не уйду без муки. Если ты не сдашь ее добровольно, как честный испанец, я возьму ее силой и заплачу по сорок восемь реалов за мешок — столько, сколько она стоила до осады.

— Сорок восемь реалов? — злобно воскликнул Кандьола. — Да я скорее умру, чем продам муку за такую цену. Она мне самому обошлась дороже. Проклятые солдаты! Разве они меня защищают, сеньор Монторья?

— Благодарю их, гнусный ростовщик, уже за то, что они не отняли твоей никчемной жизни. Как ты можешь не замечать великодушия нашего народа? В первую осаду, когда мы отдавали последние гроши и последний кусок хлеба, твое каменное сердце осталось бесчувственным — от тебя не удалось получить даже драной рубахи, чтобы прикрыть наготу несчастных солдат, даже куска хлеба, чтобы утолить их голод. Сарагоса не забыла твоей низости. А помнишь, как после боя четвертого августа раненых размещали по домам, и на твою долю пришлось двое, которым так и не удалось переступить твой презренный порог? Я-то все помню! В ночь на пятое они подошли к твоей двери и, обессиленные, стучали в нее, прося убежища. Их жалобные стоны не тронули твое жестокое сердце. Ты появился в дверях и ногой вытолкнул несчастных на мостовую, крича, что твой дом не лазарет. Где же у тебя душа, где совесть, недостойный сын Сарагосы? Да что там? У тебя нет души, и ты не сын Сарагосы, помесь майоркинца с евреем!

Глаза Кандьолы метали молнии, челюсть у него дрожала, скрюченными пальцами он судорожно сжимал палку, заменившую ему трость.

— Да, в тебе кровь майоркинца и еврея, и ты не сын нашего благородного города. Разве стоны двух несчастных раненых не звучат еще в твоих поганных ушах, вампир? Один из них истек кровью и умер вот здесь, где мы сейчас стоим. Другой ползком добрался до рынка и рассказал

нам о случившемся. Мерзкое страшилище! И как только сарагосцы не разорвали тебя утром на части? Дражайший Кандьола, отдай мне муку и разойдемся с миром.

— Дражайший Монторья! — передразнил его ростовщик. — Мое добро и плоды моего труда не достанутся бродягам и лентяям. Вот так! Рассказывай другим про милосердие, великодушие и заботу о бедных солдатах! Те, кто об этом беспрестанно болтает, сами сущие паразиты и кормятся за счет общественного кармана. Продовольственной хунте меня не провести. Будто мы не знаем цену всем этим рассказам о помощи армии! Монторья, друг Монторья, ведь и тебе кое-что из этих поборов перепадает, не так ли? Славные пышки, наверно, пекутся в доме такого патриота, как ты, из муки, которую сдают доверчивые дурни. Сорок восемь реалов! Ничего себе цена! А в счетах, которые пойдут к Генерал-капитану, эту муку поставят по шестьдесят, да еще припишут, что «святая Дива Пилар не станет служить французам».

Услыша эти речи Кандьолы, дон Хосе де Монторья, и без того уже задыхавшийся от ярости и возмущения, закусил, как говорят в народе, удила и, не в силах больше сдерживаться, пошел прямо на ростовщика с явным намерением ударить его по лицу: однако догадливый Кандьола, предвидя этот порыв своего недруга, заранее изготовился к защите и немедленно предпринял контрнаступление. Он, как кошка, бросился на моего покровителя, схватил его обеими руками за шею, вцепившись в нее сильными костлявыми пальцами и так крепко стиснув зубы, словно впился ими во врага. Произошла короткая схватка. Сперва Монторья силился разжать эти кошачьи лапы, столь внезапно сдавившие его, но уже через несколько секунд стало ясно, что отчаянные усилия скряги не идут ни в какое сравнение с мощной хваткой арагонского патриота. Монторья лишь разок тряхнул ростовщика, и тот как подкошенный повалился на землю.

Из верхнего окна дома раздался женский крик; затем послышался стук закрываемой решетки. В этот драматический момент я посмотрел вокруг, ища Агустина, но он исчез.

В припадке безумной ярости дон Хосе де Монторья ударил ногой лежавшего на земле Кандьолу и, заикаясь, выдавил:

— Подлый грабитель, разбогатевший на крови бедняков! Ты осмеливаешься обзывать ворами меня и членов Продовольственной хунты? Тысяча чертей тебе в глотку! Я научу тебя уважать честных людей! Благодарю еще, что я не вырвал твой грязный язык и не бросил его собакам.

Окружающие онемели от страха. Наконец мы опомнились, подняли несчастного Кандьолу и оттащили его в сторону; ростовщик попытался вновь броситься на своего врага, но тот уже отошел к дому и кричал:

— Эй, ребята, марш в кладовые и тащите оттуда мешки с мукой! Да побыстрее! Время не ждет.

Толпа, собравшаяся на улице, помешала старику Кандьоле вернуться к себе. Ватага мальчишек, сбежавшихся на шум, окружила его и стала глумиться над ростовщиком: одни толкали его из стороны в сторону, другие рвали на нем одежду, остальные издали забрасывали грязью. Между тем мы были уже в нижнем этаже дома, где помещались кладовые. Навстречу нам вышла девушка, в которой я тотчас же узнал прелестную Марикилью; она изменилась в лице, дрожала и пошатывалась: скованная страхом, она боялась опереться о что-либо и заговорить. Ужас ее был безграничен, и все мы, даже Монторья, почувствовали сострадание к ней.

— Вы дочь сеньора Кандьолы? — спросил отец Агустина и вытащил из кармана горсть монет, потом куском угля, поднятым с полу, быстро подсчитал на стене стоимость муки. — Шестьдесят восемь мешков по сорок восемь реалов составит три тысячи двести шестьдесят четыре реала. Мука не стоит и половины — я слышу, как от нее несет затхлым. Но все равно,

девушка, получите то, что вам причитается.

Мария Кандьола не шевельнулась и не взяла деньги; тогда Монторья положил их на ларь и сказал:

— Вот они.

Движимая чувством оскорбленного достоинства, девушка неожиданно сделала резкое движение и, схватив золотые, серебряные и медные монеты, швырнула их в лицо Монторье с таким видом, словно бросала в него камни. Деньги рассыпались по полу, закатились под дверь, и потом их не сразу удалось отыскать.

Дочь Кандьолы, по-прежнему молча, выбежала на улицу и обвела глазами густую толпу, ища отца; наконец, с помощью нескольких молодых людей, которые не остались безразличны к горю женщины, она освободила старика от позорного плена, в котором его держали сорванцы.

Отец с дочерью прошли через калитку и скрылись в саду, а мы принялись вытаскивать мешки с мукой.

Покончив с мешками, я отправился разыскивать Агустина, но не нашел его ни в родительском доме, ни на складе Продовольственной хунты, ни на Косо, ни в Санта-Энграсия. Наконец, под вечер, я отыскал его на пороховой мельнице около Сан-Хуан де лос Панетес. Я забыл упомянуть, что предусмотрительные сарагосцы наскоро соорудили мастерскую, где ежедневно изготовляли девять-десять кинталов пороха. Я увидел там Агустина Монторя, который с лихорадочным иступлением помогал рабочим наполнить мешки и бочонки намолотым за день порохом.

— Видишь эту гору пороха? — спросил он, когда я подошел к нему. — Видишь эти мешки и бочонки, заполненные все тем же добром? Но для меня мало даже этого, Габриэль.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду.

— А то, что я был бы только счастлив, если бы эти кучи пороха увеличились во сто крат и заполнили собой всю Сарагосу. Вот уж тогда я хотел бы стать единственным обитателем этого большого города. Какое это было бы наслаждение, Габриэль! Я сам поджег бы порох и, подхваченный чудовищным взрывом, понесся бы к небесам, словно маленький камешек, который выброшен из кратера вулкана и стремительно летит на сотни миль. Я взлетел бы на седьмое небо, и от моего брэнного тела, разорванного в клочья и развеянного по белу свету, не осталось бы даже воспоминаний. Смерти, Габриэль, смерти, — вот чего я хочу! Да, да, смерти... Не знаю, как тебе это объяснить, но мое отчаяние столь велико, что для меня мало погибнуть от пули или удара сабли. Я хочу взорваться, чтобы мой прах рассеялся в пространстве тысячами раскаленных частиц, я хочу почувствовать, как охватывает меня пылающее облако, хочу, чтобы мой дух хотя бы на краткий миг с радостью ощутил, что грешное тело превращается в огненную пыль. Я в отчаянии, Габриэль. Видишь этот порох? Представь себе, что в моей груди бушует пламя посильнее, чем то, которое может вырваться из него... Ты видел, как Мария выбежала на помощь к своему отцу? Видел, как она швырнула деньги?.. Я стоял за углом и наблюдал. Мария даже не подозревает, что человек, обидевший ее родителя, — мой отец. На твоих глазах мальчишки кидали грязью в бедного Кандьолу? Я понимаю, Кандьола — мерзкий скряга, но дочь-то его в чем виновата? А я? В чем мы виноваты с ней Габриэль? Ни в чем. Мое истерзанное сердце в тысячный раз жаждет смерти: у меня нет сил жить. Знай, я кинусь в самую гущу боя, сам подставлю грудь под французскую пулю! Сегодня я навидался такого, что мне уже нет места на земле, хоть я все еще пребываю на ней.

Я увел Агустина к городской стене, и мы присоединились к тем, кто возводил укрепления в предместье Тенериас, которое после падения монастырей Сан-Хосе и Санта-Энграсия стало наиболее уязвимым местом города. Я уже говорил, что от устья Уэрвы до Сан-Хосе французы установили пятьдесят орудий. Что значила полоска наших укреплений в сравнении с этой грозной силой, готовой обрушиться на нас свой смертоносный огонь?

Предмесье Тенериас расположено в восточной части Сарагосы между Уэрвой и старым городом, от которого оно до сих пор четко отделено широкой улицей Косо. В начале века оно представляло собою скопление ветхих домишек, в большинстве своем заселенных ремесленниками и крестьянами, церковные здания были здесь не столь великолепны, как в других частях города. Если взглянуть на план этого квартала, он напоминает сегмент, обращенный дугою к полю, тогда как хорда соединяет его с остальной частью города от Пуэрта Кемада до Кладбищенского холма. От этой прямой к окружности шло несколько улиц: короткие Аньон, Альковер и Аркадас, длинные Паломар и Сан-Агустин. Между ними в затейливом беспорядке вились узенькие переулки, вроде Дьесмы, Баррьо Верде, Клавоса и Павостре. Вдоль

некоторых из них тянулись не ряды домов, а лишь глинобитные заборы, порою же не было вообще никаких строений, и эти улочки превращались в маленькие бесформенные площади, вернее, в безлюдные пустыри или задворки. Впрочем, это не совсем точно: в дни, о которых я повествую, обломки строений, оставшиеся после первой осады, служили материалом для возведения батарей и баррикад в тех местах, где не было домов, а значит, и естественного прикрытия. Вдоль набережной Эбро высились остатки древней городской стены и несколько каменных башен, построенных, по мнению одних, еще римлянами, а по словам других — арабами. В мое время (как сейчас — не знаю) к этим уцелевшим частям городской стены примыкали жилые кварталы, вернее сказать, к изгибам и углам этого древнего сооружения, почерневшего за долгие века, но все-таки не развалившегося, были пристроены опирающиеся на него дома. Таким образом, новое вырастало среди старого и на его останках, создавая причудливые сочетания форм. Нечто подобное произошло и с самим испанским народом, который рос и формировался, смешиваясь с племенами иной крови, пока не стал таким, каков он ныне.

Квартал Тенериас своим видом вызывал в воображении несколько приукрашенные легендами воспоминания об арабском владычестве. Обилие кирпичных строений, длинные крытые переходы, беспорядочно расположенные здания, забранные решетками окна: полный архитектурный хаос, когда нельзя определить, где кончается один дом и начинается другой, сколько в них этажей — два или три, и не служит ли крыша одного жилища опорой для стен соседних жилищ; улицы, которые неожиданно превращаются в тупички; арки, через которые выходишь на площадь, — все это напоминало мне другой и далекий испанский город, где я побывал задолго до Сарагосы.

Итак, это нагромождение домов, бегло описанное мною, это предместье, возведенное многими поколениями крестьян и кожевников, каждое из которых сооружало его на свой лад, как придется, нимало не заботясь об архитектурной стройности, было готово к обороне, вернее, приготовилось к ней за двадцать четвертое и двадцать пятое января, как только было замечено, что крупные силы противника развертываются здесь в боевой порядок. Замечу попутно, что семьи обитателей предместья вели оборонительные работы, руководствуясь своими собственными стратегическими взглядами: там нашлось немало военных инженеров в юбках, которые показали глубокие познания в саперном искусстве, закладывая ненужные проемы в стенах и пробивая в них новые отверстия для ведения огня и доступа света. Все обращенные на восток стены были прямо-таки усеяны бойницами. В башнях «цезареавгустовой» стены, сооруженных некогда для защиты от стрел лучников и камней пращников, стояли теперь пушки.

Если ведению огня из орудия мешали соседняя крыша, навес или даже целый дом, подобная преграда незамедлительно сносилась. Многие улицы были забаррикадированы, а две из церквей предместья — Сан-Агустин и Лас-Моникас — превращены в настоящие крепости. Глинобитную стену перестроили и укрепили, батареи соединили друг с другом: наши инженеры, точно определив расположение вражеских фортификаций и дистанцию до них, рассчитали, какие ответные меры следует нам принять. Линия обороны Сарагосы опиралась на два передовых укрепленных пункта, а именно, мельницу Гойкоэчеа и дом, который принадлежал некоему дону Викториано Гонсалесу и потому вошел в историю под именем «дома Гонсалеса». Тот, кто двинулся бы вдоль этой оборонительной линии от Пуэрта Кемада, первым делом оказался бы у батареи Палафокса, затем у городской мельницы, потом у Эрас де Сан-Агустин, дальше у мельницы Гойкоэчеа, находившейся уже за городской чертой, потом у стены сада Лас-Моникас, у стены монастыря Сан-Агустин, еще дальше — у большой батареи и, наконец, у дома Гонсалеса. Вот все, что я помню о предместье Тенериас. Было там еще место, которое называлось «Кладбищем», так как оно находилось рядом с церковью, почему-то известной под именем

«Кладбищенской». Это название в ту пору гораздо лучше подходило ко всему предместью в целом, я не к какой-то его части. Но больше я не стану утомлять вас подробностями, которые, строго говоря, вовсе не нужны тому, кто знаком с этими овеянными славой местами, и слишком мало говорят тем, кому не довелось посетить их.

Мы с Агустином Монторьей, равно как и весь наш батальон, стояли у городской мельницы до самого вечера, когда нас сменили волонтеры из Уэски, и мы получили отпуск на всю ночь. Не думайте, однако, что в эти часы отдыха мы сидели сложа руки. Когда заканчивалась военная служба, начиналась другая, не менее трудная, внутри города. Мы относили раненых и соборы Сео и Пилар, переселяли погорельцев, доставляли материалы, необходимые для изготовления патронов, которым занимались в Сан-Хуан-де-лос-Панетес господа священники, монахи и судейские.

Мы с Монторьей шли по улице Павостре. Я с удовольствием жевал краюху черствого хлеба. Мой друг хранил мрачное молчание и крошил свой хлеб собакам, попадавшимися нам на пути; как я ни напрягал свое воображение, чтобы хоть немного развеять печаль Агустина, он оставался равнодушен и отвечал весьма уныло на мою шутливую болтовню. Когда мы вышли на Косо, он заявил мне:

— На Новой башне уже бьет десять. Знаешь, Габриэль, сегодня ночью я хочу пойти к ней домой.

— Сегодня этого делать нельзя. Скрой под пеплом пламя своей любви — сейчас не до нее, потому что в воздухе носятся огненные птицы, которые зовутся бомбами и рвутся в домах, разом убивая половину их обитателей.

Действительно, обстрел, длившийся весь день, не прекратился даже ночью, хотя стал менее ожесточенным. Снаряды то и дело падали на город, умножая жертвы, которых и без того было много.

— Нет, я все-таки пойду, — ответил он. — Видела ли меня Марикилья в толпе, которая ломилась к ней в дом? Неужели она решила, что я такой же, как те, кто глумится над ее отцом?

— Не думаю. Эта девушка понимает, что такое настоящий человек. В этом ты еще убедишься, но только не сегодня — момент уж очень неподходящий. Видишь? Из того дома зовут на помощь, и какие-то несчастные женщины спешат туда. Смотри, одна из них падает — ее уже ноги не держат. Возможно, сеньорита донья Марикилья Кандьола тоже ухаживает за ранеными в Сан-Пабло или в Пилар.

— Не думаю.

— Или набивает патроны в мастерской.

— Тоже нет. Она сидит дома, и я отправлюсь туда. Ступай переносить раненых, молоть порох или еще куда-нибудь, Габриэль, а я пойду к ней.

В эту минуту перед нами предстал Пирли в своей монашеской одежде, уже продырявленной во многих местах, и в кожаном с металлическими пластинами и султаном французском кивере, на котором было столько вмятин и царапин, что обладатель этого трофея больше смахивал на карнавального ряженого, чем на солдата.

— Вы на переноску раненых? — осведомился он. — Мы таскали их в Сан-Пабло, и у нас двое померло по дороге. Там нужен народ, чтобы выкопать ров и похоронить вчерашних убитых. Я-то уж вдоволь наработался и иду к Мануэле Санчо — сначала потанцую немного, а потом чуток вздремну. Пойдете со мной?

— Нет, мы к Сан-Пабло, — ответил я. — Надо же кому-то хоронить мертвых.

— Говорят, трупы отравляют воздух; потому в городе так много больных, которые отправляются на тот свет гораздо быстрее, чем раненые. По мне уж лучше «горячая пышка», чем эпидемия, да и «тещ»-то я боюсь меньше, чем жары и лихорадки, это уж точно. Значит, идете хоронить мертвецов?

— Да, — подтвердил Агустин. — Мы идем хоронить мертвых.

— В Сан-Пабло их, самое меньшее, сорок, и все лежат в часовне, — добавил Пирли. — Если дела и дальше так пойдут, то скоро мертвых станет больше, чем живых. Хотите поразвлечься? Тогда не ходите копать ров, а ступайте в патронную мастерскую — там полно девчонок... Там сейчас все городские красотки, и они то запоют что-нибудь, то спляшут — надо же им душу отвести.

— Они и без нас обойдутся. Мануэла Санчо тоже в мастерской?

— Нет, там только благородные сеньориты, те, которых вызвала Хунта безопасности. В больницах их тоже полно. Они сами напросились на эту работу. А если какая-нибудь из них увильивает от дела, то на нее все косятся, а значит, не сыскать ей жениха ни в этом году, ни в будущем.

Позади нас послышался гул торопливых шагов. Мы обернулись, увидели целую толпу и узнали в шуме голос дона Хосе де Монторя. Заметив нас, отец Агустина гневно крикнул:

— Что вы тут делаете, бездельники? Всюду людей не хватает, работать некому, а вы, трое здоровенных, сильных парней, стоите здесь и прохлаждаетесь! А ну-ка, марш отсюда, пошли за мной! Пошевеливайтесь, молодцы! Видите вон там, на холме Тренке, два столба с перекладиной, на которой болтаются шесть веревок с петлями? А эту виселицу, сооруженную сегодня днем для предателей? Ну так вот, она и для лодырей сгодится. Живо за дело, пока я вас кулаками не угостил!

Мы последовали за толпой мимо виселицы, с которой, торжественно раскачиваясь на ветру, свисали шесть петель в ожидании минуты, когда они затянутся на горле предателей или трусов.

Взяв сына за руку, Монторя энергичным жестом указал ему на ужасное сооружение и сказал:

— Вот что мы воздвигли сегодня днем. Полубуйся, какой славный подарок приготовлен тем, кто не выполняет свой долг! А теперь — вперед! Я старик, и то не знаю усталости, а вы, молодежь, здоровые парни, совсем раскисли. Куда девались те несгибаемые люди, что сражались здесь во время первой осады? Сеньоры, мы, старики, показываем пример этим франтикам, которые, поголодав какую-нибудь неделю, начинают ныть и кланчить бульончика. Эх, неженки, угостил бы я вас бульончиком из пороха да кашкой из картечи! А ну, пошевеливайтесь! Кто за вас хоронить мертвых станет да патроны к городским стенам подносить?

— И ухаживать за больными, а их все больше из-за этой проклятой эпидемии, — вставил один из спутников Монторя.

— Не знаю, что и думать об этой штуке, которую врачи называют эпидемией, а я называю страхом, сеньоры, обыкновенным страхом, — подхватил дон Хосе. — В самом деле, если человека пробрал озноб, слегка скрючило судорогой да в жар бросило, а он уже зеленеет и дух из него вон, так что это, как не страх? Нет, перевелись у нас крепкие люди, перевелись, сеньоры. Вот в первую осаду был народ так народ! А теперь побудет человек под огнем всего-навсего часов десять, это ведь сущий пустяк, — и готово — валится от усталости да твердит, что больше не может. А бывают и такие, что потеряют ногу или даже половинку ее и уже себя от страха не помнят, вопят во весь голос и молятся всем святым угодникам сразу, чтобы помогли им добраться до койки. Все это малодушие, одно лишь малодушие! Ведь сегодня с батареи Палафокса ушла куча солдат, и среди них было немало таких, у которых повреждена была только одна рука, а другая — здорова и невредима. И они еще просили бульончику!.. Нет, перевелись нынче храбрецы! А какие люди раньше были, черт, тысяча чертей в глотку!..

— Завтра французы наверняка атакуют Тенериас, — сказал кто-то. — Не представляю себе, где мы разместим раненых, если их будет много.

— Раненых! — воскликнул Монторя. — Да, раненые у нас не в почете. Мертвецы — не

помеха: их свалишь в кучу, и все, а вот раненые... Нет у людей прежнего бесстрашия! Бьюсь об заклад, что теперь солдаты обороняют позицию лишь до тех пор, пока не увидят, что от них десятая часть осталась: раз на каждого пришлось по две дюжины французов, значит, свой пост и бросить можно. Экое слабодушие! Впрочем, на все божья воля! Пусть будут и раненые, и больные, мы никого не оставим своими заботами. Ну как? Много кур сегодня собрали?

— Штук двести, из них больше половины нам пожертвовали жители; за остальных заплачено по шесть с половиной реалов за штуку. Но кое-кто из горожан отказывается их давать.

— Хорошо. До чего обидно, что в эти дни такому человеку, как мне, приходится заниматься какими-то курами!.. Погодите-ка, вы сказали, что кое-кто не хочет сдавать их, так? Сеньор Генерал-капитан уполномочил меня налагать штраф на тех, кто не помогает защитникам города, и мы с вами без шума и насилия призовем к порядку равнодушных и предателей... Стойте, сеньоры! У Новой башни упала бомба. Видите? Слышите? Что за ужасный грохот! Бьюсь об заклад, не французские мортиры, а само провидение направило ее в логово этого бесчувственного и бездушного скряги, который с безразличием и даже с презрением взирает на горе своих сограждан. Но туда бежит народ. Похоже, что дом загорелся или обрушился. Куда вы, несчастные? Не бегите! Пусть дом горит, рушится, пусть его разносит в щепы. Это же дом дядюшки Кандьолы, того, кто даже песеты не даст, чтобы спасти род людской от нового потопа... Эй, Агустин, куда ты? Как! Туда же? Назад, и ступай за мною: мы нужны в другом месте.

Мы проходили мимо Эскуала Пиа. Агустин, подчинившись, несомненно, велению сердца, стремглав кинулся вслед за густой толпой, спешившей к площади Сан-Фелипе, но тут его грубо остановил отец, и Агустин нехотя пошел с нами. Поблизости от Новой башни действительно что-то горело, на плитках и прекрасных арабесках, украшавших ее стены, играли красные отблески пламени, и, словно одетое в пурпур, это изящное, хотя и покосившееся сооружение отчетливо вырисовывалось в черном ночном небе, а его огромный колокол оглашал воздух протяжным стоном.

Мы добрались до Сан-Пабло.

— А ну, ребята, ну, лентяи, — воззвал к нам дон Хосе, — помогите-ка копать ров. И пусть он будет поглубже да попросторнее — ведь в нем найдут последнее пристанище целых сорок человек.

Мы принялись выбрасывать землю из рва, который рыли во дворе церкви; Агустин копал вместе со мною, но поминутно смотрел в сторону Новой башни.

— Там страшный пожар, — сказал он мне. — Хотя, гляди, пламя, кажется, немного затухает. Ох, Габриэль, лучше бы мне лежать в этой огромной могиле, которую мы роем!

— Не спеши, — ответил я. — Может быть, завтра мы угодим я нее и без нашего желания. Выкинь-ка глупости из головы и занимайся делом.

— Да посмотри же! По-моему, огонь погас.

— Да. Наверное, дом сгорел дотла. А дядюшка Кандьола, видимо, заперся со своими деньгами в подвале, где ему любой пожар нипочем.

— Габриэль, я сбегаю туда на минутку. Хочу взглянуть, не ее ли это дом. Если отец выйдет из церкви, скажешь ему, что я сейчас вернусь.

Неожиданное появление дона Хосе де Монторя помешало Агустину осуществить свое намерение, и мы оба продолжали копать большую братскую могилу. Из часовни начали вытаскивать трупы, а раненые или больные — их то и дело проносили мимо — взирали на удобное ложе, которое, возможно, уже завтра потребуется им самим. Наконец было решено, что ров достаточно глубок, и нам приказали перестать рыть. Сразу же после этого один за другим принесли трупы и побросали их в огромную могилу, а несколько священников и окружившие их

благочестивые женщины, преклонив колена, прочитали мрачные заупокойные молитвы. Вскоре все тела оказались во рву, и осталось лишь засыпать его. Дон Хосе де Монторья, обнажив голову и громко читая «Отче наш», бросил первую горсть земли, мы пустили в ход заступы и мотыги и быстро засыпали могилу. Закончив свое дело, мы встали на колени и принялись тихо молиться. Тут Агустин Монторья шепнул мне на ухо:

— Теперь пойдем... Мой отец уходит, а ты скажешь ему, что мы собираемся подменить двух товарищей, у которых дома больные, и им нужно их навестить. Ради бога, скажи ему об этом сам — я не отважусь... Потом мы сразу же отправимся туда.

Когда мы обманули старика и ушли, была уже глубокая ночь, потому что похороны, о которых я только что рассказал, длились более трех часов. Зарева пожара уже не было видно, громада башни опять затерялась в ночном мраке, и большой колокол на ней звучал лишь временами, предупреждая о летящем ядре. Мы быстро добрались до маленькой площади Сан-Фелипе и, заметив, как дымится крыша одного из зданий в начале улицы Темиле, поняли, что три часа тому назад пламя охватило именно это строение, а не дом дядюшки Кандьолы.

— Господь спас ее! — радостно воскликнул Агустин. — Если низость ее отца навлекает на их кров гнев божий, то добродетели и невинность Марикильи охраняют его. Пойдем туда.

На площади Сан-Фелипе еще толпился народ, но улица Антон Трильо была пустынна. Мы остановились у глинобитной стены сада и прислушались. Там царила мертвая тишина, дом, казалось, был необитаем. А что, если так оно и есть? Хотя этот квартал меньше остальных подвергался обстрелу, многие семьи переселились в другие места или скрывались в подвалах.

— Я пойду, и ты тоже иди со мною, — сказал Агустин. — Боюсь, что после сегодняшней сцены дон Херонимо, человек подозрительный и трусливый, как все истые скупцы, не сомкнет глаз до утра и всю ночь будет обходить свои владения, полагая, что обидчики вернутся и разграбят его добро.

— В таком случае, — ответил я, — нам лучше не ходить туда вовсе. Страшно не то, что ты можешь угодить в лапы этого изверга, а то, что он учинит большой шум, и тогда все жители Сарагосы завтра же узнают, что сын дона Хосе де Монторья, молодой человек, которому на роду написано увенчать свою голову митрой, завел шашни с дочерью дяди Кандьолы.

Я сказал еще многое другое, но все мои речи были гласом вопиющего в пустыне: Агустин не внял моим доводам, настоял на том, чтобы я шел с ним, подал условный знак своей возлюбленной и стал нетерпеливо дожидаться ответа. Мы стояли на тротуаре против дома Марикильи и, не отрываясь, смотрели на него, пока, наконец, не увидели свет в окне верхнего этажа. Потом мы услышали, как тихо отодвинулся засов калитки и она открылись без малейшего скрипа: очевидно, влюбленная девушка из предосторожности заблаговременно смазала дверные петли. Мы оба пошли в сад и столкнулись лицом к лицу не с ослепительно благоухающей красавицей, исполненной страстного томления, а с угрюмой особой, в которой я тотчас же признал донью Гедиту.

— Нашли время, когда приходить! — проворчала она. — Да еще вдвоем. Только, пожалуйста, не шумите, молодые люди. Идите на цыпочках и упаси вас бог наступить даже на сухой лист, мне кажется, хозяин не спит.

Она говорила так тихо, что мы еле разобрали слова; затем она пошла вперед, знаком велел следовать за нею, и приложила палец к губам, заклиная нас сохранять молчание. Сад был невелик, мы быстро пересекли его и остановились у каменного крыльца, которое вело в дом; не успели мы подняться на шесть ступенек, как навстречу нам вышла стройная девушка, закутанная в шаль, плащ или накидку. Это была Марикилья. Она жестом приказала нам соблюдать тишину, потом с тревогой посмотрела на боковое окошко, также выходившее в сад, и, наконец, заметив, что Монторья пришел не один, немало удивилась. Агустин постарался ее успокоить:

— Это Габриель, мой друг, мой лучший и единственный друг, о котором ты уже не раз слышала от меня.

— Говори тише! — попросила Мария. — Недавно отец вышел с фонарем из своей комнаты и осмотрел весь дом и сад. Мне кажется, он все еще не спит. К счастью, ночь сегодня темная. Спрячемся под кипарисом и поговорим шепотом.

Наверху крыльца было нечто вроде галереи или балкончика с деревянными перилами. За этой галереей в саду рос могучий кипарис, который отбрасывал вокруг густую тень и укрывал от лунного света. С другой стороны галереи тянулись обнаженные ветви вяза; их причудливые темные отражения на освещенном луною каменном полу галереи казались неведомыми письменами. Марикилья села в тени кипариса на стоявший там стул; Монторья опустил у ее ног и положил руки ей на колени; я тоже устроился на полу рядом с прекрасной парочкой. Как обычно в январе, ночь была тихая, ясная и холодная. Влюбленные, согретые жаром своих сердец, вероятно, не чувствовали холода, но я отнюдь не пылал любовным пламенем и потому поплотнее завернулся в шинель, чтобы не заоченеть на каменных плитах. Тетушка Гедита исчезла. Наконец Марикилья заговорила, и разговор, конечно, тотчас же коснулся весьма неприятной для Агустина темы.

— Сегодня утром я видела тебя на улице. Когда мы с Гедитой слышали крики толпы, которая ломилась в наши двери, я выглянула в окно и заметила тебя на той стороне улицы.

— Это правда, — смущенно ответил Монторья. — Я был там, но мне сразу же пришлось уйти, потому что пора было возвращаться в батальон.

— Неужели ты не видел, как эти звери сбили с ног моего отца? — удивилась взволнованная Марикилья. — Когда какой-то жестокий человек избивал его, я смотрела во все глаза, ожидая, что ты бросишься на защиту моего родителя, но тебя нигде не было видно.

— Я же объяснил тебе, милая Марикилья, что мне пришлось уйти раньше, — отозвался Агустин. — Потом мне рассказали, как грубо обошлись с твоим отцом. Я пришел в такую ярость, что хотел немедленно бежать к вам.

— Спасибо на добром слове. Среди стольких, стольких людей, — со слезами продолжала дочь Кандьолы, — никто, ни один человек даже пальцем не пошевелил, чтобы защитить моего отца. Я умирала от страха у себя наверху, видя его в такой опасности. С ужасом мы глядели на улицу. Там были одни враги... Ни одна благородная рука, ни один сострадательный голос не поднялись в его защиту. Среди этих людей был один, самый жестокий. Он сшиб с ног моего отца... Ох, я сама не своя, когда вспоминаю об этом! Наблюдая за этой сценой, я временами прямо цепенела от ужаса. До нынешнего дня я не знала, что такое истинная ярость, это пламя в сердце, этот внезапный порыв, который заставил меня метаться по комнатам, ища... Мой отец лежал на земле, а злодей топтал его ногами, словно ядовитую змею. Глядя на это, я чувствовала, как кровь закипает у меня в жилах. Я уже сказала тебе, что металась по дому в поисках хоть какого-нибудь оружия — ножа, топора, чего угодно. Но я ничего не нашла... Снаружи до меня доносились стоны отца, и, ни на что больше не надеясь, я выскочила на улицу. Потом я оказалась в кладовой, в окружении многих мужчин: непреодолимый ужас снова охватил меня, я не могла сделать ни шагу. Тот же человек, что избил моего отца, протянул мне горсть золотых монет. Сперва я не хотела их брать, но потом взяла и с силой шнырнули их ему в лицо. Мне казалось, что в руках у меня громовые стрелы и я, мстя за отца, мечу их в негодаев. Потом я опять вышла на улицу и, глядя по сторонам, снова стала искать тебя, но не нашла. Мой отец, окруженный бесчеловечной толпой, лежал в грязи и молил о пощаде.

— О, Мария! Марикилья моя! — воскликнул опечаленный Агустин, целуя руки несчастной дочери скупца. — Не надо больше об этом, тырываешь мне сердце. Я не мог защитить его... Я должен был уйти... Я же ничего не знал... Я не предполагал, что толпа собралась, чтобы учинить что-нибудь подобное. Разумеется, ты права, но оставь, пожалуйста, эти разговоры: они огорчают и обижают меня, причиняя мне невыносимые страдания.

— Если бы ты встал на защиту моего отца, он был бы тебе благодарен. А от благодарности недалеко и до любви. Ты, наверное, стал бы вхож к нам в дом...

— Твой отец не способен любить, — возразил Монторья. Не надейся, что таким путем мы

чего-нибудь добьемся. Будем уповать лишь на то, что неисповедимая воля господня в самую неожиданную минуту приведет нас к исполнению наших желаний. Оставим мысли о мирских тревогах и о том, что ждет нас впереди, нас окружает слишком много опасностей, препятствий и запретов; будем лучше думать о непредвиденном, о божественном провидении и, преисполняясь веры в бога и в силу нашей любви, подождем чуда, которое соединит нас, а оно свершится, Мария, это чудо, подобное тем, какие, говорят, происходили в старину, хотя мы теперь отказываемся в них верить.

— Чудо! — печально воскликнула подавленная Мария. — Ты прав. Уповать можно только на него. Ты — знатный человек, сын благородных родителей, и они никогда не согласятся на твой брак с дочерью сеньора Кандьолы. Весь город ненавидит моего отца. Все избегают нас, никто не приходит к нам в гости: стоит мне выйти на улицу, как люди показывают на меня пальцами, смотрят свысока и презрительно. Моим сверстникам неприятно мое общество, а здешние юноши, которые ночами бродят по городу и распевают любовные серенады под окнами своих невест, проходя мимо нашего дома, поносят моего отца и обзывают меня самыми бесстыдными словами. О, боже мой! Я понимаю, что только чудо может сделать меня счастливой. Агустин, мы знакомы уже четыре месяца, а ты все еще не сказал мне, кто твои родители. Но ведь имя их не столь ненавистно, как мое. Почему же ты его скрываешь? Не потому ли, что ты, наверное, постеснялся бы взглянуть в глаза друзьям и с ужасом отвернулся бы от дочери дядюшки Кандьолы, если бы нам пришлось предать огласке нашу любовь?

— О, не говори так! — взмолился Агустин и, обняв колени Марикильи, уткнулся в них лицом. — Не говори, что я стыжусь любви к тебе, не гневи бога. Это неправда. Наша любовь остается сейчас в тайне, потому что так нужно: но при первой же возможности я открою ее, не страшась отцовского гнева. Да, Мария, мои родители проклянут меня и выгонит из дома. Не так давно, ночью, ты сказала мне, глядя на виднеющееся отсюда здание: «Лишь когда эта башня выпрямится, я перестану любить тебя». А я клянусь тебе, что сила моей любви прочнее этой башни, надежнее этого сооружения, которое вот уже много веков сохраняет свое величественное равновесие и скорее рухнет, нежели выпрямится. Но создания рук человеческих непрочны, творения же природы неизменны и вечно пребывают на постоянных местах. Видела ты Монкайо, этот огромный утес, окруженный множеством других, который, если смотришь из предместья, возвышается на западе? Так вот, я разлюблю тебя не раньше, чем Монкайо надоест стоять на одном месте и он сойдет с него двинется на Сарагосу, наступит на наш город своей пятой и втопчет его во прах!

В таких гиперболических выражениях и с цветистостью, присущей поэтической речи, высказывал мой друг свою безмерную любовь к прекрасной Кандьоле, услаждая и волнуя воображение девушки, отличавшейся природной склонностью к подобным прикрасам. На мгновение они смолкли, но вдруг оба, а вернее, все мы втроем, вскрикнули и взглянули на башню, с которой тревожно донесся двойной удар колокола. В тот же миг черное небо прочертил огненный шар, оставлявший за собой короткий светящийся след.

— Бомба! Это бомба! — в страхе воскликнула Мария, бросаясь в объятия возлюбленного.

Страшный светляк стремительно пронесся над нашими головами, над садом и домом, озарив по пути башню, соседские крыши и уголок, где мы укрылись. Затем раздался взрыв. Колокол Новой башни снова зазвонил, его тревожный зов подхватили звонкие и глухие, пронзительные и робкие голоса других ближних и дальних колоколов, и мы слышали беспорядочный гул толпы, бежавшей по улицам.

— Эта бомба в нас не попадет, — успокоил Агустин свою милую. — Ты боишься?

— Очень, очень боюсь! — отозвалась она. — Правда, иногда мне кажется, что храбрости у меня хоть отбавляй. Я провожу ночи в молитвах, прося бога уберечь наш дом от огня. До сих пор

— и в ту, и в эту осаду — беда миновала нас. Но ведь погибло столько несчастных, сгорело столько домов, принадлежавших честным людям, которые никому не делали зла! Мне очень хочется вместе с другими девушками ухаживать за ранеными, но отец не позволяет и сердится, когда я завожу об этом речь.

Едва она договорила, как из дома донесся глухой шум голосов сеньоры Гедиты и чем-то рассерженного дядюшки Кандьола. Мы втроем, словно по приказу, забились в угол и затаили дыхание, чтобы не выдать себя. Затем голос скупца раздался уже совсем близко:

— Что вы делаете тут, сеньора Гедита, да еще в такой поздний час?

— Да разве уснешь, когда такой ужасный обстрел, сеньор? — ответила старуха, высовываясь из окна, выходящего на галерею. — Вдруг к нам пожалует сюда сеньора бомба и застанет нас в постели, а соседи сбегутся вытаскивать наши пожитки и гасить огонь... О, какой срам! Я не рискну раздеться, пока не закончится этот дьявольский обстрел!

— А дочь моя спит? — спросил Кандьола, выглядывая из окошка на другом конце дома.

— Спит у себя наверху, как сурок, — заверила его дуэнья. — Верно говорят: невинный ребенок опасности не понимает. Девочка думает, что бомба — это вроде потешной ракеты.

— Увидеть бы отсюда, куда упал снаряд! — сказал Кандьола и высунулся из окна, вглядываясь в темноту поверх крыш соседских домов, не столь высоких, как его собственный. — Сверкает так, словно там пожар, только вот не разберу, близко это или далеко.

— Или я ничего не смыслю в бомбах, или эта упала у рынка, — отозвалась с галереи Гедита.

— Похоже, что так. Дай бог, чтобы они падали только на дома тех, кто отвергает капитуляцию и не желает положить конец стольким бедствиям!.. Если я не ошибаюсь, сеньора Гедита, пламя занялось где-то около Мясной улицы. Не там ли помещаются склады Продовольственной хунты? Ах, благословенная бомба, почему ты не упала на улицу Иларса, прямо на дом этого злодея и презренного вора!.. Сеньора Гедита, я, пожалуй, выйду на улицу да посмотрю, не упал ли этот сюрпризец на Иларсу, на дом Хосе де Монторья, этой чванной и наглой каналы, этого убийцы. Сегодня ночью я с превеликим усердием молил об этом деу Пилар, присноблаженных угодников и святого Доминго дель Валь и верю, что они, в конце концов, вняли моим молитвам.

— Оставьте прогулки до другого раза, дон Херонимо, — возразила старуха. — Ночь холодная, вас проберет до костей, а стоит ли получать воспаление легких ради одного лишь удовольствия увидеть, куда упала бомба? Довольно с нас и того, что она не долетела сюда. Если ядро не угодило сейчас в дом этого изверга и грубияна, то попадет в него завтра: у французов глаз наметан. Ложитесь-ка лучше спать, ваша милость, а я на всякий случай поброжу тут еще да покараулю.

Вняв благоразумным советам служанки, Кандьола отказался от своего намерения выйти на улицу: он закрыл окошко, удалился в глубь дома и до самого рассвета уже никому не мешал. Но влюбленные из боязни, что их услышат или застигнут врасплох, долго хранили молчание даже после его ухода. Прерванный диалог возобновился лишь тогда, когда Гедита явилась сообщить нам, что сеньор храпит, как простой крестьянин.

— Отцу хочется, чтобы бомбы падали на дом его врага, — начала Мария. — Я-то предпочла бы, чтобы они не падали вовсе, но уж если человек имеет право желать ближнему зла, то именно в таком случае, какой был с моим отцом, не правда ли?

Агустин промолчал.

— Жаль, что ты тогда ушел, — продолжала девушка. — Ты не видел, как этот человек, самый жестокий, злой и низкий из всех, что там были, свалил отца на землю и, ослепленный гневом, топтал его ногами. Но за это демоны будут так же топтать его душу в аду, правда?

— Да, — коротко ответил юноша.

— Днем, когда это кончилось, мы с Гедитой принялись лечить отца — он был весь в синяках от побоев. Отец лежал на кровати и, обезумев от отчаяния, корчился, кусал себе кулаки и сокрушался, что у него оказалось меньше сил, чем у его врага. Мы пытались утешить его, но он приказал нам замолчать. Затем он стал укорять меня — в такую он пришел ярость! — за то, что я вышвырнула на улицу деньги за муку; он страшно рассердился на меня и заявил, что уж если нельзя было получить больше, то не следовало бросаться тремя с лишним тысячами реалов; что я сошла с ума, что я мотовка и разоряю его. Мы так и не могли его успокоить. Под вечер мы снова услышали шум на улице и решили, что опять явилась та же шайка и тот же злодей, что в полдень. Отец вне себя от гнева порывался вскочить с постели. Я сперва очень испугалась, но потом взяла себя в руки, решив, что настало время доказать свое мужество. Я вспомнила тебя и сказала себе: «Если бы он был с нами, никто не посмел бы оскорбить нас». Шум на улице становился все громче, но я набралась храбрости, накрепко заперла двери и, упросив отца не вставать с постели, стала ждать. Гедита, упав на колени, молилась всем святым, а я перерыла весь дом в поисках оружия и, наконец, нашла большой нож. Обычно один вид его вызывал во мне ужас, но сегодня я решительно взялась за него. О, я была сама не своя, и мне даже сейчас страшно вспомнить об этом! При виде раненого я чуть не падаю в обморок; я пугаюсь и дрожу при первой же капле крови; и с трудом сдерживаю слезы, если на моих глазах бьют собаку; я муху — и ту не обижу, но в этот вечер, Агустин, когда я слышала шум на улице и мне показалось, что в дверь снова стучат, когда я ожидала, что передо мной вот-вот появятся те же люди... Клянусь тебе, если бы то, чего я боялась, действительно случилось, если бы в ту минуту, когда я была в спальне отца, у изголовья его постели, к нам вошел тот человек, который несколько часов тому назад избивал его, клянусь тебе, я бы тотчас же зажмурилась и, не колеблясь, вонзила ему нож в сердце.

— Замолчи, бога ради! — в ужасе вымолвил Монторья. — Ты пугаешь меня, Мария: когда я слышу такие слова, мне кажется, что ты собственными руками, своими божественными руками направляешь мне в грудь холодное лезвие. Твоего отца больше не тронут. Ты же убедилась, что весь этот вечерний переполох на улице ничем вам не грозил. Нет, ты не способна сделать то, о чем говоришь; ты женщина, притом женщина слабая, впечатлительная, застенчивая, которая не способна не то что убить человека, но даже обречь его на смерть от мук неразделенной любви. Нож выпал бы у тебя из рук — ты никогда не осквернишь себя кровью ближнего. Все эти ужасы — наш мужской удел, мы с колыбели предназначены для борьбы, и оттого нам выпадает порою печальный жребий лишать людей жизни. Не говори больше об этом случае, Мария, не вспоминай о тех, кто оскорбил тебя. Прости их и, главное, не убивай даже в помыслах своих.

Пока они разговаривали, я приглядывался к Марии Кандьола. Во мраке ночи лицо ее казалось вылепленным из воска и ровным матовым цветом кожи напоминало слоновую кость. Ее темные глаза лучились, когда она поднимала их к небу. Черные зрачки, отражавшие, словно зеркало, чистый ночной небосвод, поблескивали в густой тени нашего убежища, как две светящиеся точки, которые то появлялись, то исчезали в зависимости от того, куда устремлялся ее взгляд. Странно было видеть мятежный порыв, который внезапно овладел этим нежным хрупким созданием, этим олицетворенном самой страсти, и преобразил все ее чувства, воодушевив девушку и вселив в нее мужество. Сладостное самозабвение, воркующий говорок (не нахожу более точного эпитета, чтобы выразить свою мысль) и тихое радушие, столь характерные для всего ее облика, никак не вязались с героизмом, проявленным ею при защите оскорбленного отца; однако, повнимательнее присмотревшись к девушке, нетрудно было понять, что это две стороны одной медали.

— Я восхищаюсь твоей беспримерной любовью к отцу, — продолжал Агустин. — Но взгляни на вещи и по другому. Я не оправдываю тех, кто плохо обошелся с ним. Однако ты не должна забывать, что твой отец — единственный из сарагосцев, кто ровно ничего не сделал для защиты города. Дом Херонимо, возможно, прекрасный человек, но в сердце его нет ни капли патриотизма. Он равнодушен к несчастьям сограждан и даже как будто радуется нашим поражениям.

Девушка тяжело вздохнула и возвела глаза к небу.

— Это правда, — вымолвила она наконец. — Каждый божий день, каждый час я умоляю его поступиться чем-нибудь ради победы. Но я ничего не могу добиться, хотя постоянно твержу о нуждах бедных солдат и незавидной роли, которую мы играем в Сарагосе. Слушая меня, он только злится и отвечает, что за войну должны расплачиваться те, кто ее затеял. В первую осаду я просто ликовала, когда приходили вести о наших победах, а четвертого августа не сдержала любопытства и одна вышла на улицу. Как-то вечером я была в доме семьи Урьес, где праздновали одержанную в тот день блистательную победу; я тоже всячески выражала свой восторг. Тогда одна старая женщина, бывшая там, громко и сердито сказала мне: «Глупая девчонка, чем восторгаться, ты бы лучше отнесла в лазарет хоть какую-нибудь старую простыню! Неужели в доме сеньора Кандьола, у которого подвалы ломятся от золота, не найдется даже старой тряпки для раненых? Твои папенька — единственный, понимаешь, единственный из всех сарагосцев, кто ничего не дал для защиты города». В ответ на это все засмеялись, а я стояла, умирая от стыда, готовая провалиться сквозь землю и не решаясь слова вымолвить. Весь вечер я просидела в углу, и ни одна душа не заговорила со мною. Мои немногочисленные подруги, прежде так любившие меня, тоже старались держаться подальше; в разговорах я часто слышала имя моего отца, сопровождавшееся оскорбительными замечаниями и прозвищами. Ох! Сердце у меня разрывалось на части. Когда я уходила, гости едва удостоили меня холодного кивка, да и сами хозяева дома расстались со мной далеко не ласково. Домой я вернулась уже ночью, легла спать, но не смогла заснуть и проплакала до зари: я сгорала от стыда.

— Марикилья, — нежно сказал Агустин, — доброта твоя так велика, что бог простит за нее твоего жестокосердого отца.

— Потом, — продолжала Кандьола, — как мне помнится, вскоре после четвертого августа, к нам явилось двое раненых, которыми сегодня, во время перепалки, попрекал отца его недруг. Когда нам сказали, что Хунта поместила к нам двух раненых, мы с Гедитой очень обрадовались и с превеликим удовольствием взялись готовить бинты, корпию и постели. Мы с таким

нетерпением ждали постояльцев, что каждую минуту высовывались из окна и смотрели, не идут ли они. Наконец они пришли, но отец, который незадолго до этого вернулся в самом дурном расположении духа, сетуя на то, что многие из его должников погибли, а значит, унесли с собой и надежды на возврат долгов, встретил раненых крайне грубо. Я со слезами обняла его, умоляя дать им пристанище, но он не послушался меня и, ослепленный гневом, выставил их на улицу, запер дверь, поднялся наверх и сказал: «Кто их родил, тот пускай и возится с ними». Был уже вечер. Мы с Гедитой просто умирали от отчаяния. Мы не знали, что делать. До нас доносились стоны двух несчастных, которые ковыляли по улице, взывая о помощи. Отцу было уже не до раненых и не до нас: он заперся у себя и углубился в свои подсчеты. На цыпочках, чтобы не услышал отец, мы добрались до комнаты, выходившей на улицу, и через окно бросили беднякам тряпки, надеясь, что они перевяжут ими свои раны. Но они не подобрали их — для этого у них не было сил. Тогда мы окликнули раненых, они нас увидели и протянули к нам руки. Мы привязали к концу палки корзиночку и передали им немного съестного; но один из них уже находился при смерти, а другому было не до еды — так он страдал. Мы подбадривали их ласковыми словами и молили за них бога. Наконец мы решились хотя бы на миг спуститься вниз и помочь им, но отец застал нас врасплох и пришел в ярость. Пресвятая дева, что это была за ночь! Один из раненых умер прямо на мостовой, а другой пополз искать милосердия где-нибудь в другом месте.

Мы с Агустином молчали, размышляя о чудовищном несходстве обитателей этого дома.

— Марикилья! — воскликнул, наконец, мой друг. — Я безмерно горд тем, что люблю тебя! Сарагосцы не знают, какое у тебя золотое сердце, а нужно, чтобы им стало известно об этом. Я хочу объявить всем, что люблю тебя, и доказать своим родителям, когда они узнают о моей любви, что я сделал разумный выбор.

— Я обыкновенная девушка, такая же, как все другие, — смиренно сказала Мария, — но твои родители увидят во мне лишь дочь того, кого называют «евреем с Майорки». О, позор убивает меня! Как мне хотелось бы уехать из Сарагосы и никогда не возвращаться! Да, мой отец родом из Пальмы, но он потомок христиан, а не евреев; мать моя — арагонка из дома Ринкон. За что нас презирают? Что мы сделали людям?

С этими словами девушка сжала губы, которые искривила полунедоверчивая, полупрезрительная улыбка. Агустин положил голову на руки возлюбленной и молчал, терзаемый, без сомнения, печальными мыслями. Казалось, между молодыми людьми, разделяя их, грозно витают страшные призраки, и влюбленные с трепетом чувствуют их роковое присутствие.

Агустин долго молчал, затем поднял голову.

— Почему ты молчишь, Мария? Скажи что-нибудь.

— А ты почему, Агустин?

— О чем ты задумалась?

— А ты о чем?

— Я? О том, что бог поможет нам, — ответил юноша. — Кончится осада, мы поженимся. Если ты покинешь Сарагосу, я поеду за тобой хоть на край света. Твой отец когда-нибудь говорил с тобой о замужестве?

— Никогда.

— Он не станет препятствовать нашему браку, однако мои родители будут против. Я знаю это, но мое решение непоколебимо. Не представляю себе жизни без тебя; я умру, если утрачу тебя. Ты нужна моей душе, как воздух; без тебя она все равно что вселенная без солнца. Пока ты любишь меня, нас не властна разлучить никакая человеческая сила. Я так проникся этим убежденным, и одна мысль о том, что нам суждено, быть может, расстаться еще при жизни,

кажется мне настоящим светопреставлением. Я без тебя? Но это же величайшая нелепость! Я без тебя? Что за бред, что за вздор! Это же немыслимо — скорее море покроеет вершины гор, снег пойдет в бездонных глубинах океана, реки потекут с земли на небо, небесные светила превратятся в огненную пыль и осядут на земных равнинах, деревья заговорят, а человек уйдет в недра земли и поселится там среди камней и драгоценных металлов. Меня иногда страшит и приводит в трепет мысль о преградах, стоящих перед нами, но меня воодушевляет надежда, озаряющая мою душу, словно вера в святое провидение. Иногда я боюсь смерти, но тайный голос говорит мне, что я не умру, пока ты жива. Ты видишь, на какие бедствия обрекла нас осада? Видишь, как дождем сыплются бомбы, гранаты и ядра, как падает на землю бесчисленное множество моих сотоварищей, которые уже никогда не встанут? Но теперь, когда прошел первый страх, эти сцены больше не повергают меня в ужас, и я верю, что дева Пилар спасет меня от смерти. Такой чувствительный человек, как ты, несомненно, общается с ангелами небесными, да ты и сама ангел; поэтому любить тебя и быть любимым тобой — значит обрести божественную силу, которой не могут противостоять никакие силы человеческие.

Агустин, наделенный богатой фантазией, довольно долго разглагольствовал подобным образом и изливал в страстных признаниях любовь, которая властвовала над всем его существом.

— Я тоже разделяю твою уверенность, — сказала Марикилья. — Я очень боюсь, что тебя убьют, но какой-то неизвестный голос в глубине души твердит мне, что ты не погибнешь. Не потому ли это, что я непрестанно молюсь за тебя и прошу господина уберечь моего возлюбленного от ужасного вражеского огня? Не знаю. По ночам, когда я, засыпая, думаю о ядрах, которые упали, падают и еще упадут, мне снятся сражения и слышится несмолкающий грохот пушек. Я часто брежу, и Гедита, которая спит рядом со мной, уверяет, будто я несусь во сне всякий вздор. Наверно, это действительно так, потому что мне все время снятся сны: я вижу, как ты стоишь на городской стене, а я разговариваю с тобой, и ты мне отвечаешь. Пули не задевают тебя, и мне чудится, будто этим ты обязан тому, что я непрестанно, и во сне и наяву, читаю «Отче наш». Несколько ночей назад мне снилось, что я вместе с другими девушками ухаживала за ранеными, и мы тотчас же их вылечили, чуть ли не воскресили их нашей корпией. В другой раз я видела во сне, что, возвратясь домой, встретила здесь тебя вместе с твоим отцом; это был очень любезный, улыбающийся старичок, и он разговаривал с моим отцом; оба они сидели в гостиной на диване и казались добрыми друзьями. И еще я видела, что твой отец смотрел на меня, улыбался и о чем то расспрашивал.

А иногда я вижу печальные сны. Просыпаясь, я прислушиваюсь и, если не стреляют, говорю себе; «Может быть, французы сняли осаду». А если грохочут орудия, я устремляю взор на изваяние девы Пилар, которое стоит у меня в комнате, и мысленно вопрошаю ее, а она отвечает, что ты не убит, хоть я и не понимаю, каким образом она дает мне об этом знать. Целыми днями я мысленно нахожусь на городской стене; я высовываюсь в окно, чтобы послушать, о чем говорят парни, проходящие мимо по улице. Иногда меня так и подмывает спросить их, не видели ли они тебя... Затем спускается ночь, я встречаюсь с тобой и чувствую себя наверху блаженства. Наутро мы с Гедитой тайком от отца стряпаем какую-нибудь еду и, если представляется случай, сохраняем ее до твоего прихода, а если нет, то эту пищу относит раненым и больным монахам падре Бусто, который вечерами приходит к нам провести свою родственницу донью Гедиту. Мы расспрашиваем его, как идут дела, и он отвечает: «Превосходно. Войска совершают чудеса храбрости, и французам, как и в прошлый раз, придется убираться восвояси». Услышав о том, что все идет хорошо, мы забываем себя от радости. Правда, грохот падающих бомб приводит нас в уныние, но мы начинаем молиться и вновь обретаем спокойствие. Вечерами, оставшись одни у себя в комнате, мы щиплем корпию и делаем бинты, которые падре Бусто после уносит тайком, словно краденое. Заслышав шаги отца мы быстро прячем все и гасим свет: он ведь придет в

ярость, если застанет нас за этим занятием.

С покоряющей простотой рассказывая о своих страхах и радостях, Марикилья заулыбалась и даже развеселилась. У меня нет слов, чтобы описать все очарование ее голоса: произносимые ею слова звучали поразительно мелодично, вызывая в душе слушателя гармонический отклик. Она закончила свой рассказ, когда на лице ее уже играл первый отблеск зари.

— Занимается день, Марикилья, — сказал Агустин. — Нам пора уходить. Сегодня нам предстоит оборонять Тенериас; канонада, наверно, будет ужасная, и многие погибнут, но пресвятая дева Пилар защитит нас, и мы насладимся победой. Мария, Марикилья, верь: пуля минует меня.

— Подожди немного, — взмолились дочь Кандьолы. — Еще только рассветает, и на городской стене покамест обойдутся без вас.

На башне ударил колокол.

— Посмотри, вот и первые птицы появились над нами, возвещая зарю, — с горькой иронией сказал Монторья.

Одно за другим по уже светлевшему небу пролетели три ядра.



— Как мне страшно! — воскликнула Мария, бросаясь в его объятия. — Сохранит ли бог нас и сегодня, как сохранил вчера?

— Бежим на стену! — закричал я, вскакивая с места. — Разве ты не слышишь, как звонят колокола и барабаны бьют сбор? На стену!

Марикилья, охваченная неопишущим ужасом, плакала, пытаясь задержать Агустина, а я, твердо решив идти, старался увести его.

Гул колоколов и грохот барабанов разносился по городу, призывая его защитников к оружию, и, медля вернуться в строй, мы рисковали попасть под расстрел или прослыть трусами.

— Я уйду, я уйду, Мария, — с глубоким волнением сказал мой друг. — Ты боишься обстрела? Не страшись: этот дом священен, ибо в нем живешь ты. Вражеский огонь пощадит его, и гнев господен не падет на твою благословенную голову за жестокосердие твоего отца. Прощай!

В эту минуту неожиданно появилась донья Гедита и объявила, что хозяин вскочил с постели. Тут уж сама Мария прогнала нас в сад и велела немедленно уходить. Агустин был совершенно убит разлукой. У калитки он в нерешительности остановился, потом повернулся и сделал несколько шагов по направлению к несчастной девушке, которая, помертвев от страха, молитвенно скрестив руки и заливаясь слезами, провожала нас взглядом, по прежнему скрытая тенью кипариса, дававшего нам приют минувшей ночью.

В тот момент, когда мы открывали калитку, с верхнего этажа донесся окрик, и мы увидели, как из дома выбежал полураздетый дядюшка Кандьола и с угрожающим видом направился прямо к нам. Агустин хотел было вернуться назад, но я вытолкнул его, и мы оказались на улице.

— Немедленно в батальон! В строй! — закричал я. — Нас же хватаются, Агустин! Оставь в покое своего будущего тестя, он сам разберется с твоей будущей супругой.

Мы во весь дух побежали на Косо, где воочию убедились, что количество бомб, обрушившихся на несчастный город, не поддавалось исчислению. Все куда-то торопились — кто в Тенериас, кто к Портильо, кто к монастырю Санта-Энграсия или к обители Тринитариев. Возле арки Синеха мы столкнулись с доном Хосе де Монторья, который вместе с сотоварищами спешил к Альмудии. В тот же миг за нашей спиной раздался страшный грохот, возвестивший о том, что где-то рядом упал вражеский снаряд. При этом звуке Агустин повернулся, намереваясь возвратиться туда, откуда мы только что ушли.

— Куда ты, черт тебя побери? — рывкнул его отец. — В Тенериас, скорей в Тенериас!

Бежавшие мимо нас люди мгновенно сообразили, где случилась беда, и мы услышали, как кто-то сказал:

— В дом дяди Кандьолы угодили три ядра сразу.

— Наверное, сами ангелы небесные наводили французские мортиры, — громко расхохотался дон Хосе де Монторья. — Посмотрим, как этот еврей с Майорки выкрутится из такого переплета и где найдет надежное местечко для своих денег, если, конечно, сам уцелел.

— Бежим спасать этих несчастных! — с горячностью предложил Агустин.

— В строй, трусы! — воскликнул отец, железной рукой останавливая сына. — Помогать несчастным — это дело женское. А мужское — умирать в бою.

Нам нужно было спешить к себе в батальон, и мы двинулись в путь, а вернее сказать, были подхвачены и унесены стремительным потоком людей, бежавших защищать предместье Тенериас.

Мортиры, установленные французами с южной стороны Сарагосы, осыпали ядрами центр города, а пушки, размещенные на восточной параллели, стреляли по непрочной глинобитной стене монастыря Моникас и сооруженным из земли и кирпича укреплениям у оливковой маслобойни и батареи Палафокса. Как только французы пробили три большие бреши, стало ясно, что приступ неминуем. Опорным пунктом противнику служила мельница Гойкоэча, которую он захватил накануне, после того как наши, отступив, подожгли ее.

Вражеская пехота, уверенная в победе, маршировала по полю, развертываясь в боевой порядок перед штурмом. Наш батальон занимал на улице Павостре дом, в стенах которого, по всей их длине, были проделаны бойницы. Множество горожан и выделенные различными полками роты стрелков, кипя ненавистью к врагу, ожидали его на куртине; их не страшила даже мысль о неизбежности смерти — так сильно им хотелось отбить неистовый натиск противника.

Шли часы. Французы до конца исчерпали мощь своей артиллерии, пытаясь уstrasшить нас и заставить без боя сдать предместье. Глинобитные стены разваливались, дома дрожали от страшного грохота, но героические сарагосцы, которые получили на завтрак лишь жалкий кусок хлеба, по-прежнему стояли на городской стене и криками вызывали врага на бой. Наконец мощные неприятельские колонны, поддержанные частями арьергарда, двинулись к центральной бреши и к той, что была правее. Это свидетельствовало о твердом намерении французов овладеть всей линией наших фортификаций, которая представляла теперь собой груды битого кирпича и которую защищало несколько сот безумцев; противник решил любой ценой захватить ее и двинул на нас колонны пушечного мяса, заставляя живых солдат шагать по телам погибших.

Дабы не умалить заслуг наших воинов, следует сказать, что не только французы, но и сами защитники шли в бой без прикрытия: куртина была настолько разрушена, что за нею нельзя было спрятать даже голову. Нужно было видеть, как дрались врукопашную люди и с каким остервенением, присущим скорее зверю, нежели человеку, вонзали друг в друга штыки! Мы непрерывно стреляли из домов; пораженные свинцом и сталью, враги рядами валялись у тех самых руин, которые собирались захватить. На смену шли новые колонны, и теперь вражеских солдат вела уже не только отвага, но и свирепая жажда мести.

Мы тоже несли огромные потери; защитники города десятками падали наземь там, где когда-то высилась стена, а теперь виднелись лишь беспорядочные кучи земли, кирпичей и трупов. Было бы вполне естественно и человечно оставить позиции, которые приходилось защищать от натиска противника, обрушившего на осажденных всю боевую мощь в сочетании с военной мыслью. Но теперь речь шла уже не о человеческом и естественном, а о том, чтобы напрячь способность сарагосцев к обороне до пределов, неведомых науке и не поддающимся привычным оценкам, упоая при этом лишь на безмерную душевную силу арагонцев, запасы которой никому не известны.

Итак, сопротивление продолжалось; живые с величайшей самоотверженностью заменили павших; смерть казалась всего лишь случайным происшествием, досадной мелочью, не стоящей внимания ошибкой.

В это самое время другие, столь же мощные вражеские колонны пытались овладеть домом Гонсалеса, о котором я уже упоминал выше; однако из близлежащих строений и башен городской стены по французам был открыт такой неистовый ружейный и орудийный огонь, что они отказались от своего намерения. Более успешные атаки были предприняты противником на нашем правом фланге в направлении сада Кампо Реаль и батареи Великомучеников: враг одновременно бросил в бой на узком участке огромные силы, и это не могло не принести

известных результатов.

Как я уже говорил, мы стреляли по наступающим французам из дома на улице Павостре, стоявшего рядом с городской мельницей. Но вот батареи Сан-Хосе, сокрушавшие своими ядрами городскую стену, перенесли огонь на наше ветхое здание, и мы почувствовали, как задрожали стены, заскрипели балки, словно шпангоуты настигнутого бурей корабля, и затрещали разлетающиеся в щепы доски. Короче говоря, дом разваливался.

— Черт побери! — воскликнул дядюшка Гарсес. — Крыша вот-вот рухнет нам на голову!

Клубы дыма и пыли мешали нам разглядеть, что творится вокруг.

— На улицу, на улицу! — крикнул Пирли и выскочил в окно.

— Агустин, Агустин где ты? — кричал я, вызывая к своему другу.

Но Агустин не появлялся. В минуту столь большой опасности и смятения мне уже некогда было искать двери или лестницу, чтобы спуститься вниз, и я бросился к окну, собираясь выпрыгнуть в него, но взору моему предстала картина, при виде которой я затаил дыхание и в бессилии отступил назад. Пока на правом фланге батарея Сан-Хосе огнем своих орудий хоронила наших под обломками дома и, в общем, довольно легко добивалась своей цели, в центре и у кладбища Сан-Агустин французской пехоте удалось прорваться через брешь, и солдаты добивали несчастных защитников города, которые уже едва походили на людей, ибо агонию нельзя именовать жизнью. Из соседних переулков наши непрерывно стреляли по французам; пушки на улице Дьесма заменили собой орудия доставшейся врагу батареи. Однако, с бою заняв брешь, французы закреплялись теперь у городской стены. Положение было настолько отчаянное, что любой упал бы духом.

Не помня себя от ужаса, я отскочил от окна. Внезапно часть стены отвалилась и, падая вниз, раскололась на несколько больших кусков; квадратное окно приобрело вид равнобедренного треугольника; в углу комнаты на потолке зияло отверстие, через которое виднелось небо; в лицо мне полетели куски штукатурки и острые щепки. Я побежал в глубь здания вслед за товарищами, кричавшими: «Сюда, сюда!»

— Агустин, Агустин, — еще раз позвал я своего друга.

Наконец я заметил его среди тех, кто, подобно мне, перебегал из одной комнаты в другую и поднимался по лесенке на чердак.

— Жив? — спросил я его.

— Сам не знаю, — ответил он. — Да это и неважно.

На чердаке мы без труда сломали перегородку и прошли в другой дом, где наткнулись на крутую лестницу; мы спустились по ней и оказались в маленькой комнатке. Кое-кто отправился искать выхода на улицу, другие остались в помещении...

Вид этой убогой комнаты, щедро залитой лучами света, которые проникали в нее через распахнутое на улицу окно, неизгладимо запечатлелся в моей памяти. Стены ее были увешаны литографиями разной величины, изображавшими богородицу и святых. У передней стены стояло несколько старых сундуков, обитых козьими шкурами. На другой стене, на гвоздях и крючках, висела женская одежда, и тут же стояла неказистая высокая кровать с измятыми простынями. На окне размещались три больших горшка с цветами; они служили бруствером двум женщинам, которые, просунув между ними ружья, целились и стреляли в французов, входивших в брешь. У женщин было два ружья. Одна заряжала, другая вела огонь; та, что стреляла, клала ружье между горшками и склонялась над ним, а выстрелив, поднимала голову и поверх цветов оглядывала поле боя.

— Мануэла Санчо! — воскликнул я, опуская руку на плечо героической девушки. — Сопротивляться бесполезно! Пора отступать. Соседнее здание разрушено огнем батареи, что у Сан-Хосе, и ядра уже начинают падать на крышу нашего дома. Пойдемте!

Она не обратила на меня внимания и продолжала стрелять. Но тут ее дом, столь же ветхий, как и соседний, и еще менее способный выдержать прямое попадание снаряда, заходил ходуном, словно земля задрожала под его фундаментом. Мануэла Санчо бросила ружье. Вместе со второй девушкой они кинулись в соседнюю спальню, из темноты которой до меня доносились жалобные стоны. Мы пошли туда и увидели, что обе женщины обнимают разбитую параличом старуху, которая в страхе пытается сползти с постели.

— Не бойтесь, матушка! — успокаивала Мануэла старуху, закутывая ее в первые попавшиеся под руку тряпки. — Идемте на улицу — дом, того и гляди, порушится.

Старуха молчала: она не могла говорить. Девушки собрались было поднять ее, но мы сами взяли больную на руки, а им велели тащить наши ружья и весь скарб, который они могли унести с собой. Затем мы выбрались во двор, откуда был выход на другую, еще не обстреливаемую улицу.

Французы захватили батарею Великомучеников и в тот же день овладели развалинами монастырей Санта-Энграсия и Тринитариев. Можно ли представить себе, чтобы город, лишившись важнейших своих укреплений, продолжал сопротивляться? Нет, это невозможно: история военного искусства не знает случаев, когда войска, овладевшие городской стеной и имевшие несоизмеримое превосходство в численности, остановились бы перед обычными домами, превращенными по собственному почину горожан в новую линию фортификации. Разве можно себе представить, чтобы, захватив один дом, военачальники должны были разрабатывать целый план осады соседнего, прибегая к подкопам, минам, внезапным штыковым атакам и пуская в ход против жалкой лачуги самые хитроумные стратагемы? Разве можно себе представить, чтобы, овладев одним тротуаром и пытаясь захватить противоположный, войска вынуждены были применять на практике все теории Вобана; вести параллели, рыть апроши и крытые траншеи, и все это с одной-единственной целью — перебраться через мостовую.

Французские генералы хватались за голову, восклицая: «Это же ни на что не похоже! Такого мы еще не видели!» В сланных анналах империи можно найти немало звонких фраз, вроде следующей «Сегодня мы заняли Шпандау, завтра вступаем в Берлин». Но в них еще никогда не вносились такие, например, записи: «После боя, продолжавшегося двое суток, мы овладели домом № 1 по улице Павостре. Когда будет взят дом № 2 — неизвестно».

Нам было некогда отдыхать. Два орудия, установленные на углу улицы Павостре и Пуэрта Кемада, остались без прислуги. Несколько человек из нашего батальона побежали заменить погибших, остальные засели в домах по улице Паломар. Противник перестал стрелять из пушек по оставленным нашими зданиям и спешно принялся по мере возможности восстанавливать их. А то, что угрожало обвалом, разрушалось; проломы закладывали балками, камнями, мешками с шерстью.

Поскольку французы не могли без риска пересечь пространство между развалинами городской стены и своими новыми позициями, они стали рыть апроши от городской мельницы к дому, который прежде занимали мы; нижний этаж его был еще вполне пригоден для размещения солдат. Мы тотчас догадались, что, захватив этот дом, они проломают стены смежных зданий и овладеют всем кварталом; чтобы воспрепятствовать этому, наш батальон всеми наличными силами занял находившиеся под угрозой дома. Одновременно с этим на углах улиц начали сооружаться баррикады из обломков строений. Мы с неистовым рвением выполняли любые обязанности, среди которых самой легкой была, несомненно, обязанность сражаться с врагом. В домах мы вытаскивали на балконы мебель и сбрасывали ее на мостовую; на улицах подбирали раненых и оттаскивали трупы к стенам зданий: убрать мертвецов оттуда, где они могли помешать живым, — вот единственная почесть, которую мы могли тогда оказать павшим.

Французы попробовали захватить и монастырь Санта-Моника, расположенный на уровне Тенериас, севернее улицы Павостре, но стены служили ему надежной защитой, и овладеть им оказалось потруднее, чем ветхими домишками, которые сотрясались от одного грохота пушек. Волонтеры из Уэски мужественно защищали этот монастырь, и после нескольких бесплодных атак осаждающие решили осуществить свое намерение на следующий день. Овладев всего лишь несколькими домами, французы укрылись в них на ночь, словно в зверином логове, — горе тому, кто высовывал голову из окна! У бойниц, проделанных в стенах соседних домов, на крышах, на чердаках, у видневшихся тут и там слуховых окон стояли защитники города, настороженно следившие за вражескими солдатами, чтобы при их малейшей оплошности пустить в недруга пулю.

Когда стемнело, мы принялись делать проломы в стенах, чтобы соединить между собой все дома квартала. Несмотря на непрерывную канонаду и ружейную пальбу, в зданиях было слышно, как стучат кирки врагов, занятых тем же делом, что и мы. Французы тоже усердно трудились. Строения в Сарагосе не отличались прочностью, почти все стены были глинобитными, и нам удалось быстро сделать проходы между несколькими домами.

Часам к десяти вечера, когда мы уже проникли в здание, которое, видимо, находилось совсем рядом с домом Мануэлы Санчо, до нашего слуха совершение необъяснимым образом, через подвалы, коридоры или подземные ходы, донесся вдруг неясный гул вражеских голосов. Какая-то испуганная женщина поднялась к нам по лестнице и сказала, что французы ломают стену в конюшне. Мы поспешно спустились вниз, но не успели собраться в темном и узком дворе, как раздался выстрел и одному из наших оцарапало плечо.

Во мраке мелькнуло несколько фигур, одна за другой исчезнувших в конюшне; мы дали залп и бросались за ними. На звук выстрелов прибежали наши товарищи, остававшиеся наверху, и мы ворвались в темное помещение. Враги не задержались в нем, а через отверстие в стене мгновенно скрылись в том доме, откуда проникли в конюшню. Они встретили нас пулями. Было темно, но кое-что можно было разглядеть, потому что у французов горел костер; робкие отблески его пламени, проникая через пролом в конюшню, озаряли красноватым светом арену борьбы.

Я никогда не видел ничего подобного и никогда не участвовал в бою, который происходил бы среди четырех черных стен, в неверном свете костра, среди мечущихся вокруг причудливых теней.

Свет костра мешал французам: даже укрывшись за остатками стены, они служили нам прекрасной мишенью. Завязалась короткая перестрелка, и двое наших, убитые или тяжело раненные, рухнули на мокрый пол. Несмотря на эти потери, остальные продолжали бой, решив ворваться в пролом и уничтожить вражеский секрет, который неожиданно прекратил стрельбу, приготавливаясь, видимо, к серьезной контратаке. Вдруг костер погас, и мы оказались в полной тьме. Наталкиваясь друг на друга, мы бросились искать выход. Эта сумятица, а также опасение, что противник, имеющий численное превосходство, раздавит нас в этом склепе или забросает ручными гранатами, привели нас в замешательство и вынудили беспорядочно отступить во двор.

Тем не менее мы успели ощупью отыскать тела двух товарищей, сраженных во время стычки, и унести их. Выбравшись во двор, мы заперли дверь конюшни и заложили ее камнями, землею, бревнами, бочками — словом, всем, что попало под руку. Затем мы поднялись наверх, и наш командир выставил в разных местах здания сторожевые посты, а во двор отрядил двух часовых, приказав им внимательно прислушиваться к шуму в неприятельском проломе. Мне же и еще нескольким нашим он велел сходить в город и раздобыть немного еды, в которой все мы так нуждались.

На улице нам показалось, что из обители спокойствия мы угодили прямо в ад, потому что стрельба, которую французы вели от городской стены, а мы из домов, не прекратилась и с наступлением ночи. Лунный свет позволял свободно передвигаться с одного места на другое, и по улицам непрерывным потоком шли отряды солдат и горожан, спешившие туда, где, по общему мнению, опасность была особенно велика. Многие сарагосцы не присоединялись к отрядам и, руководствуясь собственным инстинктом, появлялись то тут, то там и стреляли по врагу с того места, которое им казалось наиболее подходящим. Колокола всех церквей звонили одновременно, разнося повсюду свой мрачный воинственный зов; на каждом шагу попадались группы женщин, переносивших раненых.

Повсюду и, особенно, в конце улиц, выходивших к городской стене через предместье Тенериас, высились груды тел; раненые лежали вперемежку с убитыми, и нельзя было

определить, с чьих уст срываются жалобные стоны и мольбы о помощи. Я никогда не видел столь ужасных разрушений; но еще сильнее, чем картина бедствий, причиненных вражеским огнем, меня потряс вид многочисленных жертв эпидемии; несчастные больные вытягивались у порога домов, ползли по мостовой в поисках безопасного уголка или медленно умирали, хотя на теле у них не было даже самой легкой раны. Они стучали зубами от жестокого холода и, не в силах произнести ни слова, отчаянными жестами умоляли сжалиться над ними, но мы сами так обессилели от голода, что нам было уже не до них.

— Где раздобыть еду? — спросил Агустин. — Сейчас о ней никто, кроме нас, не позаботится.

— Так или иначе, скоро конец, — ответил я. — Или город сдастся, или мы все погибнем.

Наконец у площади Косо мы наткнулись на людей из Продовольственной хунты, раздававших пайки. Мы жадно набросились на свою долю, а затем отнесли товарищам все, что могли взять с собой. Наше возвращение в отряд было встречено радостными криками и шутками; правда, они были не очень-то к месту, но таков уж испанский солдат! Люди грызли черствые, твердые, как камень, куски хлеба, но у всего батальона крепло убеждение в том, что Сарагоса не падет, не может, не должна пасть.

Перестрелка стала утихать лишь к полуночи. Французы не продвинулись больше ни на шаг, однако по-прежнему удерживали захваченные днем дома, откуда нам так и не удалось их выбить, — эту славную задачу пришлось отложить на следующие дни. Возвращаясь из монастыря Моникас, явившегося в ту ночь ареной великих подвигов, представители наиболее влиятельных в городе семей — Монторья, Сересо, Сас, Саламеро, Сан-Клименте — выказывали необычайную уверенность в себе и презрение к врагу, и речи их поднимали дух слушателей.

— Этой ночью сделано мало, — творил Монторья. — Наши земляки не очень-то старались. Но, по правде говоря, нам и незачем было ставить все на карту: к чему лезть на рожон, если французы атакуют без всякой прыти? Конечно, кое-кого и у нас поцарапало, ну, да это пустяки. Поставим пластыри — монахины уже приготовили для них смесь вина с маслом... Конечно, надо бы похоронить мертвых — их тут целые груды, да времени нет. Придется этим заняться после. Что? Эпидемия распространяется? Растирайте почаще тело. Растирание и еще раз растирание — вот моя система. А больные обойдутся и без бульона. Что такое бульон? Мерзкое пойло. Я бы лучше дал им всем по глотку водки — вот тогда они быстренько вернулись бы в строй. Итак, сеньоры, похоже, что на эту ночь представление кончилось. Вздремнем-ка полчасика, а утром... Утром, сдается мне, французы ударят уже всерьез.

Тут Монторья увидел своего сына, который вместе со мной подошел к нему, и продолжил:

— А, вот ты где, Агустин! Я уже спрашивал о тебе, сынок. Тут поневоле встревожишься: в таких делах, как сегодня, кое-кто обязательно погибает. Ты не ранен? Даже не задело? А здесь что? Вижу, простая царапина. Похоже, парень, ты вел себя не так, как подобает человеку по имени Монторья. А вы, Арасели, потеряли хотя бы ногу? Тоже нет? Смотрите-ка, оба, как херувимчики, даже волоска с головы не упало! Плохо, очень плохо! Похоже, что передо мной не мужчины, а пара мокрых куриц. Ну, ладно, отдохните покамест, но только немного. А если почувствуете, что к вам подбирается эпидемия, то растирайте тело, трите посильнее — это самое лучшее лекарство... Итак, сеньоры, условимся: завтра защищаем каждую стену этих домов. Так будет по всему городу. Пусть каждая комната станет полем боя! А теперь пойдете в штаб-квартиру и узнаем, согласен ли с нами Палафокс. Нам остается одно из двух: или сдать город, или драться за каждый кирпич так, словно это драгоценный камень. Французам не выдержать: сегодня они потеряли немало людей, тысяч шесть — восемь. Ну, пошли к его превосходительству дону Хосе. Спокойной ночи, ребята! Постарайтесь завтра поменьше трусить.

— Поспать бы немного, — сказал я своему другу, когда мы остались одни — Заберемся в

дом, который заняли наши. По-моему, я видел там несколько матрасов.

— Мне не уснуть, — ответил Монторья, продолжая путь по Косо.

— Я знаю, куда тебя тянет. Но нам нельзя так далеко уходить, Агустин.

Несмотря на поздний час, эта большая улица была полна народу, мужчины и женщины сновали по ней взад и вперед. Внезапно какая-то девушка бросилась к нам и, не говоря ни слова, обняла Агустина. Она была так взволнована, что голос не повиновался ей.

— Марикилья, дорогая моя Марикилья! — воскликнул Монторья, радостно обнимая ее. — Как ты сюда попала? А я как раз шел разыскивать тебя.

Марикилья не могла говорить, и, не держи ее возлюбленный в своих объятиях, измученная и обессиленная девушка рухнула бы на землю.

— Что с тобой? Ты больна? Почему ты плачешь? Правда ли, что ядро разрушило ваш дом?

Очевидно, это была правда, потому что во всем облике несчастной Марикильи угадывалось охватившее ее отчаяние. На ней было то же платье, что вчера вечером. Волосы были растрепаны, на руках, покрытых синяками, виднелись следы ожогов.

— Да, — упавшим голосом отозвалась она наконец. — Нашего дома больше нет; мы потеряли все. Утром, когда ты ушел, ядро разворотило крышу. Потом попали еще два. Мой отец остался на развалинах и не хочет уходить. Я целый день искала тебя, чтобы ты помог нам. Я ходила под огнем, обошла все улицы предместья, заглянула во все дома. Я уже решила, что ты убит.

Агустин сел у дверей какого-то дома и, укрыв девушку шинелью, прижал ее к груди, как малого ребенка. Придя, наконец, в себя, она опять принялась рассказывать и сообщила нам, что они с отцом ничего не успели спасти и сами едва унесли ноги. Несчастливая дрожала от холода. Накинув на Марикилью еще и мою шинель, мы решили отвести ее в дом, занятый нашим отрядом.

— Нет, — отказалась она. — Я хочу вернуться к отцу. Он обезумел от отчаяния, он поносит всех и вся, прокликает даже бога и святых. Я не смогла оттащить его от места, где стоял наш дом. Нам нечего есть. Соседи не хотят дать нам ни крошки. Если вы не можете проводить меня, я пойду одна.

— Нет, Марикилья, нет, ты никуда не пойдешь, — сказал Монторья. — Мы устроим тебя в каком-нибудь доме, где ты проведешь в безопасности, по крайней мере, хоть эту ночь, а тем временем Габриэль отыщет твоего отца, даст ему что-нибудь поесть и уговорит его уйти оттуда или уведет силой.

Дочь Кандьолы настаивала на том, что пойдет на улицу Антон Трильо, но у нее едва хватало сил двигаться, и мы под руки отвели ее в тот дом на улице Клавос, где находилась сейчас и Мануэла Санчо.

Канонада утихла, перестрелка прекратилась, и огромное зарево осветило город — горело здание суда. Начавшийся в полночь пожар постепенно принял грозные размеры, со всех четырех сторон охватив это прекрасное сооружение.

Думая только о своей цели, я быстро добрался до улицы Антон Трильо. Дом дядюшки Кандьолы горел весь день, потом кровля обрушилась, погребла пламя под обломками, и теперь лишь черный столб дыма поднимался вверх между растрескавшимися обгорелыми стенами. Оконные и дверные проемы, потеряв свою форму, превратились в безобразные дыры, сквозь которые виднелось небо. На том месте, где раньше, был архитрав, исковерканные кирпичи образовали нечто вроде причудливого ряда кривых зубцов. Часть стены, выходившей в сад, обвалилась, усеяв обломками всю землю и скрыв под ними каменную лесенку вместе с перилами; даже у глинобитной садовой ограды валялись куски штукатурки. Лишь кипарис, словно мысль, остающаяся нетленной даже тогда, когда разрушается материя, по-прежнему высился целый и невредимый среди хаоса разрушений, гордо, как памятник, вздымая свою темную вершину.

Ворота в первые же минуты пожара были разломаны людьми, прибежавшими с топорами тушить огонь. Я проник в сад и увидел у решетчатого подвального окна несколько человек. Часть дома, находившаяся передо мной, сохранилась несколько лучше, а подвальный этаж почти не пострадал; рухнувшая кровля подмяла под себя первый этаж, не разрушив подвального, хотя следовало ожидать, что и он вскоре обвалится под огромной тяжестью.

Я подошел к этой кучке людей, полагая, что Кандьола находится среди них; действительно, он был там и сидел около решетки, скрестив руки и опустив голову на грудь; одежда его была во многих местах изодрана и прожжена. Отца Марии окружали женщины и дети, которые, словно оводы, жужжали вокруг старика, осыпая его всяческими ругательствами и насмешками. Я без особых усилий разогнал этот назойливый рой, однако кое-кто из толпы все-таки не ушел от дома и продолжал рыскать вокруг, надеясь обнаружить среди развалин золото богача Кандьолы. Сам же он наконец был избавлен от толчков, от летевших в него комьев грязи, от безжалостно унижавших его оскорблений.

— Сеньор военный, — сказал он мне, — благодарю вас за то, что вы разогнали эту подлую сволочь. У человека дом сгорел, и никто не желает ему помочь! Видно, не осталось властей в Сарагосе. Ну и город, сеньор, ну и город! Да пропади все пропадом, чтобы я теперь платил пошрины, десятины и прочие налоги!



— Власти заняты обороной, — возразил я. — Здесь разрушено столько домов, что невозможно помочь всем их владельцам.

— Будь тысячу раз проклят тот, кто навлек на нас эти беды! — крикнул Кандьола, поднося руку к непокрытой голове. — Пусть во веки веков терзается он в аду, хоть и этим ему не искупить своей вины... Какого черта, однако, вам нужно здесь, сеньор военный? Не угодно ли вам оставить меня в покое?

— Мне нужен сеньор Кандьола, — ответил я. — Я хочу увести его туда, где ему окажут помощь, перевяжут ожоги и дадут поесть.

— Увести меня?.. Я не брошу свой дом, — мрачно отрезал он. — Хунта обязана мне его восстановить. Куда это вы собираетесь меня увести? Да, я уже... уже в таком положении, когда мне вот-вот подадут милостыню. Мои враги добились своего: я стал нищим, но я не буду просить подаяния, нет. Я скорее начну грызть собственное тело и пить свою кровь, чем унижусь перед теми, кто довел меня до такого состояния. Ах, негодяи!

Они отнимают у человека принадлежащую ему муку, а потом ставят ее в счет по девяносто или даже по сто реалов! Они продались французам и подстрекают нас продолжать сопротивление, чтобы округлить свои барыши. Когда же им станет выгодно, они сдадут город, а сами выйдут сухими из воды.

— Приберегите свои рассуждения до лучших времен, — сказал я, — и следуйте за мной: сейчас о таких вещах думать некогда. Ваша дочь нашла себе пристанище, для вас там тоже найдется кров.

— Я не сойду с места. Но где моя дочь? — с тревогой спросил он. — А, понимаю! Эта безумица не пожелала остаться в беде рядом с отцом. Она стыдится меня и поэтому бросила. Будь прокляты ее легкомыслие и та минута, когда я узнал о нем! Господи Иисусе и ты, мой присноблаженный заступник Домингито дель Валь, скажите мне: чем я навлек на себя столько несчастий в один день? Разве я не добр? Разве не творю все хорошее, что в моих силах? Разве не проявляю милосердия к братьям во Христе, ссужая им деньги под умеренные проценты всего за какие-нибудь жалкие три-четыре реала в месяц с полновесного звонкого песо? За что же на меня обрушилось столько несчастий, если я по всем статьям добрый человек? Спасибо еще, что я не потерял то небольшое, что собрал с такими трудами: оно спрятано там, куда бомбам не добраться! Ну, а дом, мебель, расписки и все, что осталось в кладовых? Будь я проклят, пусть я достанусь чертям на обед, если я не уеду из Сарагосы, как только эта передрыга кончится! Заберу все, что у меня осталось, и поминай как звали.

— Все это сейчас не относится к делу, сеньор Кандьола. Идемте со мной.

— Нет, — в бешенстве бросил он, — нет, все это относится к делу. Моя дочь покрыла себя позором. Не понимаю, почему я не убил ее сегодня утром. До сих пор Мария казалась мне образцом добродетели и чистоты; я радовался, что у меня такая дочь, и с каждой удачной сделки выделял целый реал ей на подарок. Деньги, брошенные на ветер! Я вижу, господи, ты караешь меня за то, что я промотал такой капитал на разные пустяки, — ведь я бы утроил его, если б отдал в рост! А я — то верил дочери! Поднявшись сегодня на рассвете, я усердно помолился пресвятой деве Пилар, чтобы она уберегла меня от обстрела, потом спокойно открыл окно и посмотрел, что за погода на улице. Поставьте себя на мое место, сеньор военный, и вы поймете мою растерянность и огорчение, когда я увидел внизу, вот здесь, двух молодых людей. Да, да, вот здесь, на этой галерее, у кипариса. Они до сих пор стоят у меня перед глазами. Оба они были в военной форме, и один из них обнимал мою дочь. Лиц я разглядеть не смог — было еще темно. Я быстро выбежал из моей комнаты, но не успел спуститься в сад, как оба молодчика оказались уже на улице. Видя, что я уличил ее в распутстве, моя дочь сперва молчала; а когда она прочла на моем лице возмущение ее наглостью, она упала передо мной на колени и стала просить прощения. «Бесстыдница! — взорвался я, ослепленный гневом. — Ты не моя дочь, потому что твой отец — честный человек, который никогда ни кому не причинил зла. Сумасшедшая беспутная девка, я тебя не знаю, ты мне не дочь, убирайся отсюда!.. Двое мужчин! Двое мужчин в моем доме, вместе с тобою, ночью! Пощадила хотя бы седины своего старого отца! Неужели ты не сообразила, что эти двое могут обокрасть меня? Неужели ты не подумала, что в доме множество ценных вещей, которые так легко спрятать в карман?.. Ты заслуживаешь смерти! Эти два молодчика, без сомнения, что-нибудь да унесли с собой. Двое мужчин! Два поклонника! И ты приняла их ночью, у меня в доме, обесчестив своего отца и презрев заповеди господни! А я — то глядел на свет в твоём окошке и думал, что ты сидишь без сна за какой-нибудь работой!.. Значит, дрянная девчонка, негодная вертихвостка, пока ты торчала в саду, у тебя в комнате понапрасну горела свеча». О, сеньор военный, высказав ей все это и не в силах сдержать гнев, я схватил ее за руку и поволок вон из дома. Я был в ярости и не сознавал, что делаю. Несчастная просила у меня прощения и твердила: «Я люблю его, отец; не стану отрицать, я люблю его». При этих словах мой гнев удвоился, и я закричал: «Да будет проклят хлеб, которым я кормил тебя девятнадцать лет! Приводить воров в мой дом! Да будет проклят час, когда ты родилась, да будут прокляты пеленки, в которые завернули тебя ночью третьего февраля девяносто первого года! Скорее небо упадет на землю, скорее пресвятая дева Пилар оставят меня своей милостью, чем я снова стану твоим отцом, а ты для меня Марикильей, которую я так любил». Не успел я сказать это, сеньор военный, как мне показалось, что небо разорвалось на части и обрушилось на мой дом! Какой страшный грохот, какое ужасное сотрясение! В нашу крышу угодило ядро, за ним в

течение пяти минут последовало два других. Мы бросились в дом: пламя с невероятной быстротой охватывало его, крыша грозила обвалиться и похоронить нас под обломками. Мы решили спасти хоть что-нибудь, но это было уже невозможно. Мой дом, дом, доставшийся мне в восемьдесят седьмом году почти даром — его описали у человека, который был должен мне пять тысяч реалов да еще на тринадцать тысяч с лишним процентов, — он рассыпался, как карточный домик: здесь падает балка, тут вылетает стекло, там валится стена. Мяучит кот, донья Гедита, выбежав из помещения, сдуру вцепляется мне ногтями в лицо. Я пытался пробраться к себе в комнату, чтобы взять расписку, оставленную на столе, но чуть не погиб...

Так говорил дядя Кандьола. Горе и глубокое душевное потрясение вызвали у него сильное нервное расстройство — сразу было видно, что человек приведен в полное смятение страхом, огорчением и голодом. Его словоохотливость не столько облегчала ему душу, сколько являлась следствием неудержимого внутреннего порыва: казалось, он говорил со мной, а на самом деле обращался к незримым существам, которые, судя по его жестам, тоже отвечали ему что-то. Поэтому, несмотря на мое молчание, он продолжал говорить, словно споря с воображаемыми собеседниками и отвечая на вопросы, которые они задавали ему:

— Я же сказал, что не уйду отсюда, пока не соберу все, что еще можно спасти. Вы что думаете, я оставлю свое добро? В Сарагосе больше нет властей. Если бы они были, они приказали бы прислать сюда сотню-другую рабочих и расчистить развалины, чтобы я мог извлечь из-под обломков хоть часть вещей. Но, сеньор, разве в городе не осталось ни души, в которой нашлась бы хоть капля сострадания, не осталось никого, кто пожалел бы несчастного старика, никогда никому не делавшего зла? Неужели человеку, всю жизнь отдававшему себя другим, не откроются дружеские объятия, которые поддерживали бы его в тяжелую минуту? Нет, не откроются. Никто не придет несчастному на помощь, а если кто-нибудь и появится здесь, то лишь затем, чтобы искать деньги среди развалин... Ха-ха-ха! — Старик засмеялся, словно одержимый. — Держи карман шире! Я всегда был человеком предусмотрительным — и на этот раз, едва началась осада, припрятал свои денежки в надежное место, где их никто, кроме меня, не найдет. Нет, грабители, нет, мошенники, нет, голубчики, ни одного реала вам не достанется, хоть переверните все вверх дном, переберите каждую пылинку, расколите каждую доску на мелкие щепочки, перетрите все в труху и просейте через сито!

— В таком случае, сеньор Кандьола, — сказал я ему и решительно взял его под руку, чтобы увести с собой, — зачем вам оставаться здесь сторожем, коль скоро ваше золото в безопасности? Пойдемте.

— Вам-то что за дело, неотвязный вы человек? — закричал он, вырываясь из моих сил. — Убирайтесь отсюда подобру-поздорову и оставьте меня в покое. Уж не хотите ли вы, чтобы я бросил свой дом, пока сарагосские власти не прислали воинский наряд для его охраны? Или вы думаете, что у меня в доме мало ценных вещей? Или надеетесь, что я уйду отсюда, не собрав их? Разве вы не видите, что подвальный этаж целехонек? Туда легко попасть — нужно только выломать эту решетку. Если я хоть на минутку отлучусь, тотчас же объявятся грабители, бездельники-соседи, и плакало мое добро, прощай, плоды моих стараний, прощай, утварь и все, что собрано за сорок лет непрестанных трудов! Послушайте, сеньор военный, у меня в комнате на столе стоит медный подсвечник весом самое меньшее три фунта. Его надо спасти во чтобы то ни стало. Ну, что бы Хунте прислать сюда отряд саперов — это же ее обязанность! Ведь там в буфете полно посуды, и она, наверное, еще цела. Нужно только осторожно проникнуть в помещение и подпереть потолок, и она будет спасена. Бедную посуду нужно обязательно вытащить! И не только ее, сеньор военный, и вы, сеньоры. В железной шкатулке хранятся расписки: я надеюсь спасти их. Кроме того, там стоит сундук, где лежат два старых камзола, несколько чулок и три шляпы. Все это оставалось здесь внизу и нисколько не пострадало. А вот

приданое моей дочери погибло безвозвратно. За ее платья, брошки, платки, флаконы с духами можно было бы выручить кучу денег, если бы их продать. Но, увы, все пропало! Боже, какое горе! Воистину господь решил покарать мою дочь за грехи и направил ядра прямо в ее флаконы с духами. А у меня в комнате на кровати остался камзол и в кармане его семь реалов десять куарто. И не прислать сюда каких-нибудь двадцати человек с заступами и кирками!.. Боже, боже праведный и милосердный, о чем только думают сарагосские власти! Лампа-то с двойной горелкой, наверное, цела. О, господи! Во всем мире нет второго такого светильника! Мы найдем ее вон там, стоит лишь осторожно расчистить угловую комнату от обломков. Пусть только мне дадут рабочую команду, и вы увидите, как быстро я управлюсь... И вы еще хотите, чтобы я ушел отсюда? Если я уйду или хоть на миг задремлю, тотчас же явятся грабители, да, придут грабители и украдут светильник!

Скупец был несокрушимо упрям, и я решил было уйти один, оставив его наедине со своими бредовыми тревогами. Но тут прибежала донья Гедита с заступом, киркою и корзиночкой, в которой я заметил кое-что из съестного.

— Вот вам заступ и кирка, сеньор, — сказала она, задыхаясь и устало садясь на развалины дома. — Я их выпросила у своего племянника. Ему они уже не нужны: укреплений, видимо, больше строить не будут... А вот изюм, правда, слегка попорченный, и несколько кусков хлеба.

С этими словами эконома жадно набросилась на еду, чего нельзя сказать о Кондьоле, который решительно оттолкнув угощение, схватил кирку и принялся ломать решетку. Работал он лихорадочно и приговаривал:

— Раз сарагосские власти не хотят мне помочь, мы с вами сделаем сами, донья Гедита. Берите заступ и расчищайте место. Осторожнее с балками: они еще дымятся. Остерегайтесь гвоздей.

Потом он обернулся ко мне, — а я в это время переглядывался с его ключницей, которая делала мне заговорщические знаки, — и сказал:

— Эй, вы, убирайтесь отсюда подобра-поздорову! Что вам надо в моем доме? Вон отсюда! Знаем мы, зачем вы сюда пожаловали, — того и гляди, стянете, что плохо лежит. Но здесь нет ничего. Все сгорело.

Увы, никакой надежды увести Кандьолу в Тенериас и успокоить бедную Марикилью не оставалось, и я ушел, не желая терять даром время, а хозяин и служанка продолжали самоотверженно трудиться.

Я проспал с трех часов до рассвета, а утром мы все пошли к мессе на площадь Косо. Каждое воскресенье на большом балконе дома, прозванного Лас-Монас и находившегося в самом начале улицы Эскуэла Пиа, ставили алтарь и служили обедню: здание было расположено так, что священник был виден с любого места на площади. Зрелище было очень волнующим, особенно в момент вознесения святых даров, когда все стояли на коленях и из конца в конец площади проносился гул молитвы.

Вскоре после мессы я заметил, что со стороны рынка к площади с криком валит густая толпа возбужденных людей. В толпе было несколько монахов, старавшихся ее успокоить, но люди оставались глухи к их доводам и с каждым шагом все громче выражали свое возмущение, они тащили с собой какую-то жертву и не было силы, способной вырвать ее у них из рук. Разгневанный народ остановился у холма Тренье, где стояла виселица, и вскоре на одной из веревок повисло тело человека. Несколько секунд оно судорожно дергалось, затем замерло, и на столбе появилась дощечка с надписью: «За человекоубийство путем сокрытия двадцати тысяч кроватей».

Повешенный оказался неким доном Фернандо Эстальо, кладовщиком торговца домашней утварью. В момент, когда больные и раненые выпускали дух прямо на мостовой или на холодных плитах храмов, у вышеназванного Эстальо нашли множество кроватей, и он не сумел оправдаться перед властями. Гнев народа сдержать было невозможно, и он не замедлил обрушиться на несчастного. Многие говорили, что этот человек невинен: кое-кто сожалел о его смерти; но как только в траншеях снова началась перестрелка, никто больше не вспомнил о нем.

В тот же день Палафокс, пытаясь поднять боевой дух осажденных, обратился с воззванием к населению. Он обещал звание капитана каждому, кто приведет с собой сотню людей и угрожал «смертью через повешение и конфискацией имущества каждому, кто не явится немедленно на позиции или покинет их». Все это свидетельствовало о серьезных затруднениях властей.

Памятен был этот день и боем у стен Санта-Моники, где оборонялись волонтеры из Уэски. Французы обстреливали здание монастыря в течение всего предыдущего дня и большей части ночи. Наши батареи, стоявшие в монастырском саду, уже не могли принести пользы; их нужно было вывезти оттуда, и храбрые защитники Сарагосы успешно провели эту операцию на глазах обстреливавшего их противника. Наконец французы пробили брешь в стенах и ворвались в сад, чтобы захватить затем и само здание монастыря; они, видимо, забыли о том, что в предыдущие дни их атаки дважды были отбиты. Ланн, взбешенный необычайным, неслыханным упорством сарагосцев, приказал сровнять монастырь с землей. Сделать это при наличии мортир и гаубиц было гораздо легче, чем захватить его. В самом деле, после шестичасовой бомбардировки большая часть восточной стены обрушилась, и нужно было видеть ликование французов, когда они, поддерживаемые косоприцельным огнем с городской мельницы, не теряя времени, ринулись на штурм монастыря. Заметив приближение французов, Вильякампа, командир волонтеров из Уэски, и подоспевший к опасному месту Палафокс попытались заделать брешь мешками с шерстью и пустыми ящиками из под ружей. Подошедшие французы яростно бросились в атаку, которая после короткой рукопашной схватки была отбита; затем они всю ночь продолжали обстрел монастыря.

Утром они вознамерились повторить приступ, будучи уверены, что ни одна живая душа не решится защищать этот постепенно разваливавшийся остов из камня и кирпичей. Они устремились вперед через ворота монастырской приемной, но за всю первую половину дня им не удалось захватить ни пяди земли во внутренней галерее.

К концу дня рухнула кровля восточной части монастыря. Сильно пострадавший третий этаж, не выстояв под такой тяжестью, упал на еще более непрочный второй; тот осел на первый, а он, не выдержав всей массы здания, обвалился на галерею и похоронил под собой сотни людей. Казалось вполне естественным, что такая катастрофа устрасит уцелевших защитников, но этого не произошло. Французы овладели лишь частью галереи, не больше; чтобы захватить остальное, им нужно было сперва проложить себе дорогу среди обломков. Пока они занимались этим, оставшиеся в живых волонтеры из Уэски укрепились на лестнице здания и пробили бойницы в полу верхней галереи, чтобы через них метать вниз гранаты.

Тем временем новому отряду французов удастся прорваться через церковь на крышу монастыря. Враги занимают чердак с деревянными перекрытиями, спускаются в верхнюю галерею и атакуют нестигаемых волонтеров. Их яростный напор подбадривает соотечественников, находящихся внизу, те удваивают усилия и ценой многочисленных жертв достигают лестницы. Волонтеры оказываются между двух огней и, хотя у них еще есть возможность выбраться через один из двух проломов верхней галереи и отступить, почти все они клянутся умереть, но не сдаться. Они перебегают по коридорам в поисках удобных и надежных позиций, а тем временем французские стрелки охотятся за ними. Последний выстрел явился сигналом того, что пал последний волонтер. Лишь немногие выбрались из монастыря через пролом, сделанный в самых укромных и ближайших к городу помещениях; этим путем вышел и сам дон Педро Вильякампа, командир батальона волонтеров из Уэски. Очутившись на улице, он машинально огляделся вокруг, ища своих солдат.

Весь этот день мы находились в домах, прилегающих к улице Паломар, и обстреливали французов, которые накапливались для штурма Моникас. Они еще только перешли в атаку, как мы уже поняли, что держаться в монастыре невозможно; это признал сам дон Хосе де Монторя, находившийся с нами.

— Волонтеры из Уэски дрались неплохо, — сказал он. — Как видно, это стоящие ребята. Теперь мы пошлем их защищать дома по правой стороне улицы... только вроде бы никого из них не осталось. Оттуда выбрался один Вильякампа. А где же Мендьета, Пауль, Бенедикто, Олива? Ладно, ладно, я вижу, все остались там.

Так монастырь Моникас перешел в руки французов.

Дойдя до этого места повествования, я прошу читателя простить меня за то, что не стану больше приводить в своем рассказе точные даты. В этот ужасный период между двадцать седьмым января и серединой следующего месяца события так перепутываются, переплетаются между собою и смешиваются в моей голове, что я уже не в силах различить ни дней, ни ночей и порой не знаю, произошли памятные мне стычки при свете солнца или во мраке. Мне кажется, что все это случилось за один долгий день или за одну бесконечную ночь и что время не измерялось тогда обычными мерками. События, люди, чувства и ощущения соединяются в моей памяти в непрерывный калейдоскоп, в котором мелькают одни и те же группы людей, различающихся лишь тем, что в один момент они охвачены необычайным страхом, в другой — необъяснимой яростью, в третий — паникой.

Поэтому я не в состоянии точно определить дату того происшествия, о котором собираюсь рассказать; если не ошибаюсь, это случилось на следующий день после боя за монастырь Моникас и, по моим предположениям, в период с тридцатого января по второе февраля. Мы занимала один из домов на улице Павостре. В соседнем засели французы, которые пытались выйти по задворкам квартала к Пуэрта Кемада. Бой внутри домов — самая трудная вещь на свете; ни один вид военных операций — ни самые кровопролитные сражения на бранном поле, ни осада крепости, ни борьба на уличных баррикадах — не идет в сравнение с непрерывными стычками между гарнизоном какой-нибудь спальни и армией, занявшей позиции в зале, между солдатами, захватившими нижний этаж, и теми, кто расположился этажом выше.

Когда мы слышали в разных местах глухой стук кирок, нас обуял страх: мы не понимали, откуда нас собираются атаковать. Мы поднимались на чердаки, спускались в подвалы и, прикладывая ухо к стене, пытались по направлению ударов угадать намерения противника. Неожиданно мы заметили, что стена в той комнате, где мы находились, сильно задрожала; мы соорудили баррикаду из мебели и неподвижно застыли в дверях. Французы сперва проломили в стене дыру, а затем начали отбивать доски и штукатурку прикладами, явно намереваясь захватить помещение. Нас было двадцать человек, их — меньше, и они не ожидали, что встретят достойный отпор; поэтому они отступили, но вскоре вернулись с таким сильным подкреплением, что вынудили нас отойти и нанесли нам значительный урон; мы оставили у баррикады из мебели пятерых сотоварищей, из которых двое были уже мертвы. В узком коридорчике мы обнаружили лестницу, быстро поднялись по ней, сами не зная куда, и очутились на чердаке, представлявшем собой прекрасную оборонительную позицию. Лестница была узкая, и любой француз, который осмелился бы пройти по ней, был заранее обречен. Там мы продержались довольно долго, подбадривая друг друга воинственными криками и возгласами, но когда стена за нашей спиной начала сотрясаться от сильных ударов, мы тотчас сообразили, что, если французы пробьют в ней проход, мы непременно попадем под перекрестный огонь. Нас оставалось всего тринадцать, потому что на чердаке тяжело ранило еще двоих.

Дядюшка Гарсес, командовавший нами, гневно воскликнул:

— Черт побери, не даваться же в руки этим собакам. Тут есть слуховое окно. Выберемся через него на крышу. Пусть шестеро продолжают стрелять. Каждому кто сунется на лестницу, пулю в лоб. Остальные пусть расширяют оконный проем. Прочь страх и да здравствует пресвятая дева Пилар!

Все было сделано, как он приказал. Отступление прошло в полном порядке: пока часть нашего отряда сдерживала наседавшего неприятеля, остальные готовили путь для отхода. Искусный маневр был проведен с лихорадочной быстротой, причем за все это время французы

не отвоевали у нас ни одной ступеньки; как только пролом оказался достаточно широк, чтобы через него могли одновременно пролезть три человека, мы тотчас же выбрались на крышу. Нас оставалось девять: трое так и не поднялись с пола, а четвертый был ранен у самого пролома и живым попал в руки врага.

Оказавшись на крыше, мы чуть не подскочили от радости. Далеко, за домами предместья, виднелись французские батареи. Мы оставили у пролома двух часовых, велев им стрелять в каждого, кто вздумает высунуться наружу, и на четвереньках проползли довольно большое расстояние, осматривая сверху местность. Но затем, не успев сделать и двадцати шагов, мы вдруг слышали громкой смех и голоса. Нам показалось, что это французы. В самом деле, из широкого слухового окна близлежащего дома на нас с хохотом глазели проклятые враги. Они не замедлили открыть огонь; укрываясь за трубами, за углами и выступами крыш, обычными для местных строений, мы отвечали им выстрелом на выстрел, а на их проклятия и брань — тысячью ругательств, на которые вдохновляла нас неисчерпаемая изобретательность дядюшки Гарсеса.

Наконец мы отступили и спрыгнули на крышу соседнего дома. Мы полагали, что в нем находятся наши, и потому безбоязненно пролезли через чердачное окно, надеясь затем спокойно спуститься на улицу, а там примкнуть к какому-нибудь отряду и продолжить рискованное путешествие по коридорам, лестницам, крышам и чердакам. Но не успели мы соскочить на пол, как слышали в комнатах над нами частую ружейную трескотню.

— Там дерутся, — объявил Гарсес. — Это наверняка те же французы, которые были в соседнем доме. Они перебрались сюда и, видимо, нарвались на наших. Черт побери! Сейчас же вниз! Все вниз!

Перейдя с этого чердака на соседний, мы увидели приставную лестницу, по которой можно было спуститься ко входу в большую комнату. Через двери ее доносился оживленный гул голосов, среди них преобладали женские. Шум боя слышался здесь гораздо слабее и шел откуда-то снизу. Мы скатились по лестнице и оказались в большом помещении, буквально набитом людьми, преимущественно стариками, женщинами и детьми, нашедшими здесь убежище. Многие лежали на тюфяках, и на лицах у них виднелись следы страшной болезни; несколько неподвижных тел распласталось на полу, и по всему было видно, что несчастные испустили последний вздох совсем недавно! Другие, раненые, будучи не в силах терпеть жестокую боль, стонали; кое-кто из старух плакал или молился. Временами раздавались жалобные голоса: «Воды! Воды!»

Как только мы спустились, я разглядел в конце зала дядю Кандьолу, который тщательно укладывал в кучу разное старье, одежду, кухонную утварь и посуду. Он сердито отгонял любопытных ребятишек, которым не терпелось порыться в этой никчемной рухляди, и, преисполненный тревоги, любовно перебирал свои сокровища, стараясь не проворонить ни одной вещицы. При этом он приговаривал:

— Две чашки у меня уже стащили. Не сомневаюсь, они у кого-то из присутствующих. Всюду беспорядок, властей больше нет, и никто не гарантирует человеку сохранность его имущества. Прочь отсюда, негодные мальчишки! Вот теперь все хорошо!.. Будь прокляты эти бомбы и тот, кто их выдумал! Добро пожаловать, сеньоры военные! Нельзя ли поставить здесь пару часовых для охраны этих ценных вещей, которые мне удалось спасти с таким трудом?

Нетрудно догадаться, что мои сотоварищи лишь посмеялись над столь нелепыми домогательствами. Мы уже собирались уйти, когда я увидел Марикилью. Несчастная девушка сильно изменилась — от бессонницы, слез и страха, но отчаяние, царившее вокруг и охватившее ее самое, лишь подчеркивало прелесть ее красивого лица. Она заметила меня и сразу же поспешила наперерез, явно желая поговорить со мною.

— А где Агустин? — спросил я ее.

— Внизу, — дрожащим голосом ответила она. — Там дерутся. Все, кто скрывался в этом доме, были в разных комнатах. Отец пришел с доньей Гедитой сегодня утром. Агустин принес нам поесть и отвел нас в комнату, где был тюфяк. Вдруг мы услышали удары в стену — это были французы. Явились наши солдаты и велели нам перейти в эту верхнюю комнату, потом перенесли сюда раненых и больных. Здесь нас всех и заперли, а французы, проломив стену, натолкнулись на испанцев и вступили с ними в бой... Ах! Агустин тоже внизу...

Пока она рассказывала, вошла Мануэла Санчо с двумя кувшинами воды для раненых. Несчастные, словно одержимые, со всех сторон кинулись к ней и кулаками стали оспаривать друг у друга стакан.

— Не толкайтесь, сеньоры, не торопитесь! — смеясь, урезонивала их Мануэла. — Воды хватит всем. Наши побеждают. Выбить французов из спальни было нелегко, но сейчас они удерживают лишь половину гостиной, потому что другая половина уже в наших руках. Из кухни и с лестницы их тоже скоро вышнырнут. А пол там весь завален трупами.

Марикилья вздрогнула от ужаса.

— Я хочу пить, — сказала она мне.

Я попросил воды у Мануэлы, но единственный принесенный ею стакан был занят, так как переходил от одного жаждущего к другому. Тогда я, чтобы не ждать, взял чашку из груды вещей, принадлежавших Кандьоле.

— Эй вы, нахал! — завопил он, хватая меня за руку. — Сейчас же положите чашку на место!

— Я взял ее, чтобы напоить эту девушку, — возмутился я. — Неужели вы так дорожите своим хламом, сеньор Кандьола?

Скупец ничего не ответил, но дал мне напоить его дочь: когда она напилась, один из раненых нетерпеливо выхватил у нее чашку, а после него посудина пошла по кругу. Уходя вдогонку за товарищами, я заметил, что дон Херонимо не спускал злых глаз со своей отбившейся от рук собственности, которая так долго не возвращалась к законному владельцу.

Мануэла Санчо была права, говоря, что мы побеждаем. Французов выбили из первого этажа, но они отступили на тот же этаж соседнего дома и теперь дрались там. Когда я спустился вниз, бой сосредоточился в кухне, где неприятель защищался особенно ожесточенно, все остальные комнаты были уже в наших руках. На залитом кровью полулежало множество трупов, как наших, так и французских солдат. Наконец отряд горожан и военных, взбешенных тем, что им никак не удастся захватить эту проклятую кухню, откуда так отчаянно стреляют, ворвался в нее со штыками наперевес, и, хотя многие из смельчаков погибли, их натиск решил дело: за ними ринулись другие и, наконец, все остальные.

Устрашенные такой дерзостью, солдаты императора в поисках выхода лихорадочно заметались по лабиринту, который они сами же создали, пробив в стенах комнат проходы. Осажденные гонялись за ними. По коридорам и помещениям, запутанная цепь, которых могла бы свести с ума самого опытного топографа. Настигая врагов, мы уничтожали их. Некоторые из французов отчаявшись, выпрыгивали через окна во двор. Отвоевав таким образом один дом, мы заодно захватили соседний и принудили французов отступить на прежние позиции, то есть в два дома, расположенные в самом начале улицы Павостре.

После этого мы выбрали убитых и раненых. К моему огорчению, среди последних я нашел Агустина Монторью, раненного в правую руку, хотя и не опасно. В этот день численность нашего батальона сократилась вдвое.

Несчастные, укрывшиеся на верхнем этаже, надумали вновь расположиться в разных комнатах, но военные, сочтя это опасным, заставили всех покинуть дом и искать себе убежища в более надежных местах.

С каждым днем, часом, мгновением защищать город становилось все труднее ввиду

огромных потерь, которые мы несли от огня противника и эпидемии. Тысячу раз счастливы те из сарагосцев, кто, подобно отважным защитникам улицы Паломар близ монастыря Санта-Энграция, оказался погребенным под руинами взорванных домов. Там, где изувеченные страшными ранами, лишенные всякой помощи люди лежали сотнями и медленно умирали, зрелище было поистине жуткое. Рассчитывать на медицинскую помощь могла лишь сотая доля тех, кто в ней нуждался. Милосердие женщин, усилия патриотов, напряженный груд в лазаретах — всего этого было слишком мало.

Настал день, когда защитниками города овладела какая-то бесчувственность, вернее, тупое нечеловеческое равнодушие. Мы привыкли смотреть на груды мертвецов, как на кучи мешков с шерстью; мы привыкли, не испытывая жалости, взирать на длинные вереницы раненых, жавшихся к стенам домов и лечивших себя как бог на душу положит. Страдания, казалось, заставили забыть о наших телесных потребностях, и жизнь в нас поддерживала одна лишь сила духа. Постоянная близость опасности изменила наш характер: в нем появилась совершенно новая черта — полное презрение ко всему материальному и совершенное безразличие к жизни. Каждый в любую минуту ожидал смерти, и мысль о ней никого не тревожила.

Я вспоминаю, как кто-то рассказывал о попытке выбить французов из монастыря Тринитариев — сказочные подвиги непостижимо отважных участников этой вылазки казались мне тогда чем-то естественным и обычным.

Не помню, говорил ли я о том, что рядом с монастырем Моникас находился монастырь Почтенных августинцев, весьма вместительное здание с довольно большой и архитектурно необычной церковью, отличавшейся просторными коридорами и обширной галереей. Было совершенно очевидно, что французы, овладев монастырем Моникас, приложат все усилия к тому, чтобы захватить второй монастырь и укрепиться, надежно и окончательно, в этой части города.

— В бою за Моникас нам не довелось участвовать, — сказал мне Пирли, — зато сегодня мы будем иметь удовольствие драться не на живот, а на смерть за монастырские стены Сан Агустина. Одним эстремадурцам его не отстоять, и нас посылают к ним на подмогу. А как насчет производства в чин, друг мой Арасели? Вам, вероятно, известно, что оба стоящие здесь достойные кабальеро уже стали сержантами?

— Ничего мне не известно, дружище, — ответил я, потому что действительно не подозревал о своем продвижении по иерархической лестнице.

— Это точно. Вчера вечером генерал отдал приказ. Сеньор Арасели произведен в сержанты, а сеньор Пирли — в младшие сержанты. Мы это вполне заслужили, и хорошо, что у нас сохранились плечи: будет куда эполеты прицепить. Слышал я также, что Агустин Монторя произведен в лейтенанты за то, что он отличился при защите домов. Вчера к вечеру в батальоне Пеньяс де Сан-Педро осталось лишь четыре сержанта, один прапорщик, один капитан и всего двести солдат.

— Есть основания надеяться, дружище Пирли, что сегодня мы заработаем парочку чинов повыше.

— Важнее всего не заработать себе пулю в лоб, — заметил мой товарищ.

— Пожалуй, те немногие волонтеры из Уэски, что остались живы, прямиком выйдут в генералы. Но уже играют сбор. Еда-то у тебя есть?

— Не густо.

— Мануэла Санчо дала мне четыре сардины; мы поделимся. А вот вдобавок горсть поджаренного горошка, если, конечно, ты не прочь. Кстати, ты еще не забыл вкус вина? Ведь нам уже несколько дней ни капли не перепадает... Ходят слухи, что сегодня днем, как только кончится бой у Сан-Агустина, нам дадут винца. Словом, будет очень прискорбно погибнуть, прежде чем мы увидим, какого цвета обещанное нам питье. Ну, что бы начальству послушаться

моего совета да выдать нам по глоточку перед боем — тогда бы, умирая, солдаты уносили с собой приятное воспоминание! Но Продовольственная хунта рассуждает, наверно, по-иному: «Вина мало, и если мы его раздадим сейчас, то на каждого не придется и по несколько капель. Подождем-ка лучше до вечера: будет чудо, если до тех пор от защитников Сан Агустина останется четвертая часть, и тогда на брата придется уже не меньше чем по целому глотку».

Пирли еще долго рассуждал бы о недостатке съестных припасов, однако времени развлекаться беседой у нас не было. Едва мы пришли на подмогу к эстремадурцам, защищавшим здание монастыря, как сильный взрыв заставил нас насторожиться; однако тотчас появился какой-то монах и закричал:

— Дети мои, они взорвали стену между нашим монастырем и Моникас! Они уже здесь. Бегите в церковь. Французы, наверное, захватили ризницу, но еще не все потеряно. Надо только успеть вовремя, и вы будете хозяевами всюду — и в главном приделе, и в боковых, и на хорах. Да здравствует пресвятая дева Пилар и батальон эстремадурцев!

Спокойно и уверенно мы направились в церковь.

Святые отцы воодушевляли нас своими увещаниями, а один из них, затесавшись в самую гущу наших рядов, наставительно взывал:

— Дети мои, не падайте духом! В предвидении этого часа мы приберегли в наших кладовых кое-что из съестного. Вино у нас тоже есть. Не давайте спуску этим канальям! Мужайтесь, милые юноши! Не бойтесь вражеского свинца. Вы одним взглядом нанесете им больший урон, чем они вам картечью. Вперед, дети мои! С нами пресвятая дева Пилар. Не думайте об опасности, бестрепетно смотрите на врага, и средь облаков небесных вам предстанет святой образ матери божией. Да здравствует Испания и Фердинанд Седьмой!

Мы подошли к церкви, но французы, проникшие туда через ризницу, успели опередить нас и занять главный алтарь. Мне никогда еще не доводилось видеть, чтобы огромный аляповатый алтарь, уставленный статуями и украшенный золотыми листьями, служил бруствером для стрелков; никогда еще я не видел, чтобы из сотен ниш, дававших приют деревянным святым, летели пули; чтобы лучи, сделанные из позолоченного дерева и холодно поблескивавшие в просветах усеянного ангелочками картонного облака, озарялись вспышками ружейных залпов; чтобы за изваянием самого Христа или золотым нимбом девы Марии сверкал мстительный взор француза, выбиравшего цель для своего смертоносного выстрела.

Читателю следует знать, что главный алтарь церкви Сан-Агустин представлял собой массивное сооружение с позолоченной резьбой, какие можно видеть во многих испанских храмах. Эта громадина поднималась от пола до самого свода, а в ширину тянулась от одной крайней колонны до другой; в нишах, расположенных параллельными рядами, была представлена вся небесная иерархия. Вверху вздымалось изваяние окровавленного Христа, раскинувшего руки на кресте; внизу стоял маленький ковчег со скрытыми в нем святыми дарами. Огромный алтарь непосредственно примыкал к задней стене церкви, но в нем были устроены небольшие внутренние проходы, облегчавшие причту уход за обитателями государства святых: по этим проходам ризничий мог подняться из ризницы и сменить облачение святой девы, зажечь свечи перед верхним распятием или стереть вековую пыль с древней парчи одеяний и покрытых киноварью деревянных ликов.

Итак, французы быстро овладели нишей, где стояла статуя пресвятой девы, и узкими проходами, о которых я только что упомянул; поэтому, когда мы вошли в церковь, в каждой нише, за каждым святым и в бесчисленных бойницах, наспех проделанных повсюду врагами, поблескивали ружейные стволы. Прячась за любым прикрытием, даже за святым престолом, который они выдвинули немного вперед, французы готовились по всем правилам оборонять приалтарную часть храма.

Нельзя сказать, что мы остались совсем без прикрытия: для защиты от огня со стороны алтаря мы воспользовались исповедальнями, боковыми алтарями и балконами. В наибольшей опасности оказались те из нас, кто вошел прямо в главный придел. Самые отважные решительно двинулись в глубину, другие заняли позицию на нижних хорах, за аналоем, за стульями и скамьями, сваленными кучей у решетки. И оттуда меткой стрельбой изрядно досаждали французам, засевшим в главном алтаре.

Дядюшка Гарсес с девятью храбрецами поспешил завладеть амвоном — еще одним причудливым, громоздким сооружением, навес над которым был украшен изваянием Веры, почти достигавшим потолка. Они разместились у самой кафедры и на лестнице и оттуда с поразительной меткостью били наповал каждого француза, который по алтарным ступеням пробовал спуститься в церковь. Но им самим тоже доставалось изрядно: засевшие в алтаре враги

осыпали их градом пуль, желая поскорее избавиться от неожиданно возникшего препятствия. Наконец из алтаря выскочили человек двадцать французов, решивших во что бы то ни стало захватить этот деревянный редут, без которого было бессмысленно пытаться овладеть остальной церковью. Все это удивительно напоминало настоящее большое сражение: как в сражении обе враждующие армии сосредоточивают порою свои усилия на одном наиболее важном пункте, за который ведут ожесточенный бой, поскольку его захват или потеря решает успех всей битвы, так и здесь усилия обеих сторон были направлены на алтарь, который испанцы яростно защищали, а французы атаковали с не меньшей яростью.

Двадцать нападающих были встречены сильнейшим ружейным огнем с хоров и взрывами ручных гранат, летевших с балконов, но, несмотря на потери, они решительно устремились к лесенке и завязали штыковой бой. Десять защитников форта не дрогнули и в свою очередь пустили в ход холодное оружие, благо в умении владеть им испанцы всегда превосходили неприятеля. Многие из наших, стрелявшие раньше из исповедален и из-за алтарей, бросились в обход, чтобы атаковать французов с тыла, воспроизводя тем самым в миниатюре перипетии регулярного сражения в открытом поле. Завязалась рукопашная: солдаты стреляли, кололи штыками, били кулаками, словом, каждый старался поразить противника, чем мог.

Тут из ризницы выступили главные силы неприятеля, навстречу которым двинулся наш арьергард, расположившийся на хорах. Некоторые из наших, стрелявшие с балконов правой стороны, легко перескочили на архитрав большого бокового иконостаса и, не довольствуясь одним ружейным огнем, сбросили на французов три статуи святых, украшавших углы сооружения. Между тем гарнизон амвона по-прежнему стойко держался: в этом аду я заметил дядюшку Гарсеса — он стоял во весь рост, бросая вызов пулям, размахивал руками, словно проповедник, и что-то громко кричал охрипшим голосом. Если бы я увидел самого сатану, проповедующего с церковной кафедры зло и скверну, а вокруг него всех исчадий ада, учиняющих в святом храме мерзостный шабаш, то даже такое зрелище меньше поразило бы меня.

Однако долго это продолжаться не могло, и вскоре дядюшка Гарсес, пробитый дюжиной пуль, с хриплым воплем рухнул на пол. В ризнице опять скопилось много французов, они выступили оттуда сомкнутой колонной и, словно несокрушимая стена, предстали нам на трех ступенях, отделявших алтарь от остальной церкви. Залп этой колонны решил исход боя за амвон: в один миг нас стало раз в пять меньше, и мы отступили к боковым приделам, оставив на каменных плитах множество трупов. Погибли и те, кто первыми обороняли амвон, и те, кто пришел к ним на подмогу, а дядюшку Гарсеса, уже после смерти исколотого вражескими штыками, разъяренные победители перебросили через перила. Так кончилась жизнь великого патриота, имя которого не сохранилось в анналах истории.

Наш капитан тоже остался лежать на полу храма. Беспорядочно отступая в закоулки церкви и потеряв друг друга из виду, мы не знали, кому повиноваться; правда, в данных обстоятельствах единственным, что еще могло связывать нас, была только предприимчивость каждого отдельного солдата или маленьких групп, по два-три человека в каждой; больше и речи не было ни о подразделениях, ни о субординации. Все подчинялось одной общей цели и удивительному природному инстинкту; они-то и определяли ту примитивную стратегию, которая отвечала потребностям каждой данной минуты боя. Это инстинктивное предвидение помогло нам понять, что, отступив в правый придел, мы обрекли себя на гибель и что упорствовать в защите церкви, занятой превосходящими силами неприятеля, значило совершить безрассудство.

Кое-кто предложил обороняться до последнего вздоха и немедленно возвести под аркой придела баррикаду из скамеек, статуй и старого деревянного иконостаса, который легко было разломать на куски, но двое монахов-августинцев воспротивились этой бесполезной затее, и один из них сказал нам:

— Дети мои, откажитесь от дальнейшего сопротивления: оно приведет лишь к тому, что вы без всякой пользы лишитесь жизни. Французы штурмуют сейчас здание на улице Аркадас. Спешите туда — быть может, нам удастся преградить им путь, и перестаньте думать о защите храма, оскверненного варварами.

Мы послушались его и выбрались на галерею; лишь несколько эстремадурцев остались на хорах и отстреливались от французов, которые уже захватили целиком весь главный придел.

Монахи лишь наполовину выполнили свое обещание вознаградить нас за стойкую защиту храма славным угощением; их *gaudeamus*^[27] состоял из нескольких кусков мяса и черствого хлеба, а что до вина, то, как мы ни напрягали наше зрение и обоняние, нам так и не пришлось увидеть его цвет и вдохнуть аромат. Монахи объяснили это тем, что французы, заняв весь верх здания, захватил и главную продовольственную кладовую; скорбя о случившемся, святые отцы попытались утешить нас похвалами нашей воинской доблести.

Отсутствие обещанного вина навело меня на мысль о мудром Пирли, и тут я внезапно вспомнил, что в начале схватки видел его на одном из балконов. Я спросил о нем, но о его судьбе никто ничего не знал.

Французы заняли церковь и часть верхних этажей монастыря. Несмотря на невыгодность нашей позиции на нижней галерее, мы были полны решимости продолжать сопротивление: в нашей памяти воскресли рассказы о героической стойкости волонтеров из Уэски, которые защищали монастырь Моникас, пока не оказались погребены под его обломками. Мы были словно в бреду, мы словно опьянели и считали, что покроем себя позором, если не победим; в отчаянные схватки с врагом нас вела какая то тайная неодолимая сила, которую я могу объяснить себе лишь как следствие огромного душевного подъема.

Наш порыв сдержал только доставленный нам приказ, который наверняка был отдан генералом Сен-Марчем, человеком весьма практичным и здравомыслящим.

«Монастырь уже не удержать, — гласил приказ. — Во избежание бесполезных для города потерь в людях приказываю всем идти защищать угрожаемые пункты на улицах Павостре и Пуэрта Кемада, где противник пытается возобновить наступление и овладеть домами, из которых он был уже неоднократно выбит».

Итак, мы выбрались из Сан Агустина. Проходя по одноименной улице, параллельной улице Паломар, к которой прилегает маленькая площадь, мы заметили, что с церковной колокольни кто-то метал ручные гранаты во французов, расположившихся на площади. Кто же бросал с колокольни эти снаряды? Чтобы ответить на вопрос наиболее кратко и красноречиво, обратимся к истории, и она сообщит: «Человек семь-восемь горожан, запасшись продовольствием и боевыми припасами, забрались на колокольню и укрепились там. Они продержались несколько дней, тревожа неприятеля и отказываясь сдаться». Там был и славный Пирли. О, Пирли! Ты счастливее, чем дядюшка Гарсес: для тебя нашлось место в истории.

Нас присоединили к батальону эстремадурцев и повели по улице Паломар к площади Магдалины, где мы слышали грохот боя, который шел в конце улицы Пуэрта Кемада. Нам сказали, что неприятель пытается продвинуться по улице Павостре и овладеть площадью Пуэрта Кемада, пунктом исключительно важным, откуда французы могли бы держать под огнем пушек всю одноименную улицу вплоть до площади Магдалины. Захват монастырей Сан-Агустин и Моникас позволял противнику без особого труда пробиться по улице Паломар до этой ключевой позиции, и они уже считали себя хозяевами предместья. Действительно, если бы французы из Сан-Агустина дошли до развалин семинарии, а с улицы Павостре — до Пуэрта Кемада, отстаивать предместье Тенериас стало бы совершенно невозможно.

После небольшой остановки мы добрались до улицы Павостре, где бой шел и внутри домов, и на мостовой; поэтому в первый квартал мы проникли с улицы Вьехос. Из окон дома, в котором мы засели, виден был лишь сплошной дым, и мы не сразу разобрались в происходящем, но вскоре я разглядел, что вся улица изрыта траншеями, а местами и настоящими рвами с бруствером из земли, мебели и обломков.

Из окон отчаянно стреляли. Говоря запомнившимися мне словами калеки Вонмигласио, мы в каждый выстрел всю душу вкладывали. Внутри домов кровь лилась рекою. Натиск французов был страшен, и, чтобы оказать врагу не менее жестокий отпор, колокола непрерывно созывали народ; генералы отдавали суровые приказы, повелевая карать дезертиров; монахи собирали людей по городу и чуть ли не силком тащили их в предместье; некоторые героические женщины, подавая пример мужчинам, с оружием в руках бросались в самое пекло.

Ужасный день! У каждого, кто его пережил, до сих пор стоит в ушах дикий оглушительный грохот; воспоминание об этом дне всю жизнь преследует тебя, словно кошмар.

Кто не изведал всего этого, кто не слышал этих воплей и рева, тот не знает, в каком облике предстает человеческим чувствам воплощенный ужас. Не говорите мне про кратер вулкана в минуту самого сильного извержения или про яростную бурю посреди океана, когда корабль, только что подброшенный до небес громадой волн, стремительно падает в разверзшуюся пучину. Не говорите мне, что вы это видели: все вулканы и бури не могут идти ни в какое сравнение со взрывом человеческих страстей, перед неистовством которых ничто даже стихия природы.

Нам невозможно было оставаться внутри дома — оттуда мы не могли нанести врагу серьезный урон, и, не обращая внимания на офицеров, пытавшихся удержать нас, мы один за другим спускались на улицу. В сражении была какая-то особая притягательная сила, которая влекла нас к себе, как бездонная пропасть влечет человека, стоящего на ее краю.

Я никогда не считал себя героем, но в эти минуты я действительно не боялся смерти, и меня не пугало зрелище катастрофы, развертывавшейся вокруг меня. Правильно считают, что героизм, когда он является следствием мгновенного порыва, детищем неожиданного вдохновения, не есть исключительное свойство храбрецов; вот почему его нередко выказывают и женщины, и даже тусы.

Чтобы не быть многословным, не стану рассказывать здесь о всех перипетиях боя на улице Павостре. Он весьма напоминал те схватки, которые я уже описывал, и если все-таки разнился с ними, то лишь исключительным упорством и напряжением, доведенным до той степени, когда кончаются человеческие возможности и начинаются чудеса. Внутри домов происходили сцены, подобные тем, о которых я уже рассказывал, но они отличались большей ожесточенностью, потому что победа в этих боях казалась уже чем-то окончательным.

Преимущество, которого французы добивались в одной комнате, они утрачивали в другой;

борьба, завязавшаяся на чердаке, продолжалась, ступенька за ступенькой, до самого подвала и там заканчивалась рукопашной, а в этой схватке сарагосцы неизменно брали верх. Команды на обоих языках, направлявшие действия солдат в этих лабиринтах, грозным эхом перекатывались из комнаты в комнату.

На улице французы применяли артиллерию, мы не отставали от них. Несколько раз осаждающие стремительно бросались врукопашную, пытаясь захватить наши пушки, но всякий раз теряли много людей, так ничего и не добившись.

Обескураженные тем, что все их усилия не приносят им победы и даже не помогают продвинуться по улице хотя бы метра на два, французы отказывались идти в бой, и офицерам пришлось гнать их палками.

К нам применять подобные средства не было нужды — нас убеждали слова. Монахи, не перестававшие ухаживать за умирающими, следили за всем и, заметив нависшую где-либо опасность, тотчас предупреждали о ней офицеров.

Находясь в траншее, вырытой на улице, храбрейшая среди женщин, Мануэла Санчо, которая до этого стреляла из ружья, вела огонь из восьмифунтового орудия. Она оставалась невредимой все утро, вдохновляя мужчин словом и служа им примером в деле, но часа в три дня ее ранило в ногу, и девушка упала на дно траншеи, где долго лежала вместе с убитыми, потому что, потеряв много крови, была без сознания и походила на мертвеца. Наконец кто-то заметил, что она еще дышит; мы вытащили ее из рва, оказали ей необходимую помощь, и через некоторое время Мануэла вполне выздоровела; много лет спустя я имел удовольствие встретиться с нею. История не забыла эту храбрую девушку; кроме того, улица Павостре, скромные дома которой говорят о подвиге красноречивее книжных страниц, носит теперь имя Мануэлы Санчо.

В начале четвертого страшный взрыв потряс дома, за которые французы с таким остервенением бились все это утро; сквозь пелену густого дыма и еще более густой пыли мы различили обломки стен и черепичной крыши, тысячами падавшие на землю с невообразимым грохотом. Это французы пустили в дело мины, чтобы захватить то, что им не удавалось отнять у арагонцев никаким другим способом. Они прорыли сапы, заложили снаряды и спокойно принялись ждать, пока порох доделает за них остальное.

Когда первый дом был взорван, мы и не подумали уходить из соседних зданий и с улицы; но когда с еще большим грохотом рухнул второй, началось беспорядочное отступление. Понимая, как много наших несчастных сотоварищей, не сломленных в открытом бою, погребено теперь среди развалин или взлетело на воздух, мы почувствовали себя беспомощными в борьбе со столь разрушительной силой; нам уже казалось, что заминированы и остальные дома и сама улица, что вот-вот извергнутся ужасные вулканы и наши тела, разорванные на окровавленные куски, разлетятся во все стороны.

Офицеры удерживали нас:

— Стойте, ребята! Назад! Они просто хотят запугать нас взрывами. У нас тоже довольно пороха, и мы сами сделаем сапы. Думаете, эти штучки принесут им пользу? Наоборот. Посмотрим, каково будет им защищаться на обломках.

Но тут в начале улицы появился Палафокс, и его приход остановил нас. Было очень шумно, и я не расслышал слов генерала, но по жестам его понял, что он закликает нас идти сражаться на развалинах.

— Слышите, ребята? Слышите, что говорит Генерал-капитан? — воскликнул рядом с нами монах из свиты Палафокса. — Стоит вам сделать еще одно небольшое усилие, и ни один француз не уцелеет, — вот что он говорит.

— Верно! — поддержал его другой святой отец. — Ни одна женщина в Сарагосе не взглянет на вас, если вы сейчас же не вернетесь на развалины да не вышвырнете оттуда французов.

— Вперед, дети пресвятой девы Пилар! — воззвал третий монах. — Видите вон там кучку женщин? Так вот, они говорят, что, если не пойдете драться вы, пойдут они. Как вам не стыдно за свою трусость?

Это удержало нас. Справа взорвался еще один дом, и тогда Палафокс сам двинулся вперед по улице. Не знаю уж, как и почему, но мы пошли за ним. А теперь самое время рассказать об этом выдающемся человеке, с чьим именем связаны самые славные страницы героической обороны Сарагосы. Своим влиянием Палафокс во многом был обязан необыкновенной личной храбрости, знатности рода и уважению, которым всегда пользовалась в городе семья Ласан, а также красивой и мужественной внешности. Он был молод, служил в гвардии и стяжал всеобщие похвалы тем, что пренебрег благосклонностью одной очень знатной сеньоры, известной как своим высоким положением, так и скандальными романами. Но больше всего молодой сарагосский военачальник внушал симпатию своим хладнокровием и неукротимой смелостью, тем юношеским задором, с каким он брался за самые опасные и рискованные предприятия из одного лишь стремления к славе.

У него не доставало талантов, чтобы руководить столь трудным делом, как оборона города, но у него хватило догадливости признать свою некомпетентность и окружить себя выдающимися людьми, сведущими в различных областях знаний. Они делали все, а Палафоксу отводилась чисто театральная роль. Наш народ, у которого столь развито воображение, не мог не подчиняться воле этого молодого генерала: он был знатного рода, отличался прекрасной наружностью и лично появлялся всюду, воодушевляя слабодушных и раздавая награды отважным.

Для сарагосцев он был олицетворением их доблестей, стойкости, их воинского пыла и поразительного, с налетом какой-то мистики, патриотизма. Любое приказание Палафокса сарагосцы считали разумным и правильным. По их мнению, Палафокс просто не мог сделать ничего плохого: во всем плохом были виноваты его советники. На самом же деле знаменитый вождь лишь царствовал, но не управлял. Управляли падре Басильо, О'Нейль, Сен-Марч и Бутрон; первый был прежде священником и врачом, остальные — известными генералами.

Палафокс, словно живое воплощение победы, неизменно появлялся в опасных местах. Его голос вселял силы в умирающих, и если бы пресвятая дева Пилар решила заговорить, она заговорила бы его устами. Лицо Палафокса всегда выражало непоколебимую уверенность, а победная улыбка вселяла в собеседников мужество, хотя чаще люди добиваются этой цели, грозно хмуря брови. Он гордился тем, что стал вдохновителем легендарной обороны. Инстинктивно понимая, что успеху способствуют не столько его военные дарования, сколько актерские способности, он всегда появлялся при всех парадных регалиях, в расшитом золотом мундире, украшенный перьями и орденами; оглушительные овации и крики «ура» были той музыкой, которая доставляла ему несравненное наслаждение. Но это было необходимо: между войском и его предводителем должно существовать нечто вроде взаимной лести, и тогда ликующая гордость победы будет увлекать всех к героическим подвигам.

Как я уже сказал, Палафокс остановил нас, и, хотя почти вся улица Павостре была занята врагом, мы стойко держались на Пуэрта Кемада.

Ожесточенное сражение шло до трех часов дня, когда мы сосредоточились у площади Магдалины; однако и после этого, до самой ночи, оно оставалось не менее кровопролитным. Французы начали осадные работы во взорванных минами домах, и было любопытно смотреть, как среди груд обломков и куч деревянных балок возникают небольшие плацдармы, крытые траншеи и артиллерийские позиции. С каждым часом эта война становилась все менее похожей на известные до сих пор войны.

Новый этап сражения имел для французов свои плюсы и минусы: разрушив дома, неприятель смог установить на их месте несколько орудий, но зато его солдаты остались без прикрытия. На свою беду мы не сумели воспользоваться этим — ужасные взрывы нагнали на нас страху, и мы во сто крат преувеличили опасность, хотя в действительности она уменьшилась; не желая отставать от врагов в этом губительном соревновании, сарагосцы начали поджигать дома на улице Павостре, которые не в силах были удержать.

Осаждающие и осажденные, сгорая желанием поскорее покончить друг с другом, но не добившись этого борьбой в закоулках зданий и лабиринтах комнат, принялись уничтожать строения — одни с помощью мин, другие — с помощью огня, и теперь оставались без всякого прикрытия, подобно нетерпеливому гладиатору отбросившему в сторону свой щит.

Ну и денек, ну и ночь! Дойдя до этого места, я невольно прерываю свой рассказ: меня охватывает усталость, дыхание спирает в груди, воспоминания притупляются, как притупились у меня в тот страшный день все мысли и чувства. Была минута, когда я, да и мои товарищи, на долю которых выпало счастье или несчастье остаться в живых, окончательно лишились сил; я полз по мостовой, наталкиваясь на непогребенных или кем-то наскоро засыпанных мертвецов. Находясь на грани безумия, я не представлял себе отчетливо места, куда попал; чувства мои ослабели, и лишь хаотически смутные восприятия и неслыханные страдания позволяли мне заключить, что я еще живу. Я не сознавал, день сейчас или ночь, потому что поле боя временами окутывал зловещий мрак или озаряли языки пламени, похожего на то, которое, по нашим представлениям, горит в аду, и заливавшего город багровым светом.

Я знаю только, что я полз, натыкаясь на окоченевшие тела и на те, в которых еще теплилась жизнь; я полз все дальше и дальше, надеясь найти кусок хлеба и глоток воды. Как я ослаб! Как мучил меня голод! Как хотелось пить! Я видел, как мимо меня легко пробегали люди, слышал, как они кричат: я смотрел на их беспокойные тени, плясавшие, словно призраки, на стенах домов; но я не понимал, куда и откуда они бегут. Я был не единственным, кого многочасовой бой начисто лишил физических и духовных сил. Немало других солдат, не обладавших железной выносливостью арагонцев, тащились, как и я, вымаливая друг у друга глоток воды. Более удачливые как-то умудрялись обшаривать трупы и находить куски черствого хлеба и испачканного землей вареного мяса, которые они с жадностью поглощали.

Несколько оправившись, мы тоже приняли участие в поисках, и мне перепало на этом пиршестве немного хлеба. Не знаю, был ли ранен я сам, но у многих, кто говорил со мною о своем страшном голоде и нестерпимой жажде, были видны следы ужасных ударов, ожоги и пулевые раны. Наконец мы встретили нескольких женщин, напоивших нас теплой мутной водой из глиняной кружки, которую мы вырывали друг у друга. Потом в руках какого-то мертвеца мы заметили узелок, где оказались две вяленые сардины и несколько лепешек, поджаренных на оливковом масле. Воодушевленные этими находками, мы продолжали мародерство, и, в конце

концов, скудная пища, а еще больше выпитая нами грязная вода в известной мере возвратили нам силы.

Я ощутил некоторый прилив бодрости и опять смог двигаться, хотя и с трудом. Заметив, что вся моя одежда в крови, и ощутив жгучую боль в правой руке, я счел, что меня тяжело ранило, однако эта боль была вызвана незначительной контузией, а пятна на одежде появились, когда я переползал через грязь и лужи крови.

Ко мне вернулась ясность мысли, я снова стал различать свет и темноту и отчетливо расслышал крики, торопливые шаги, далекий и близкий грохот орудий, по-прежнему дливших свой страшный диалог. Выстрелы, раздававшиеся то тут, то там, казались вопросами и ответами в этом смертоносном споре.

Пожары не прекращались. Над городом висела густая пелена пыли и дыма и, озаренная отблесками пламени, придавала всему вокруг зловещие очертания, которые могут пригрезиться лишь в кошмарном сне. Разрушенные дома с пробоинами, зиявшими на фоне неба и похожими на глазницы какого-то исчадия ада, угловатые выступы дымящихся развалин, горящие балки — даже это было зрелищем менее жутким, чем то, какое являли собой фигуры людей, неутомимо перебежавших с места на место или метавшихся впереди, почти в самом пламени. То были жители Сарагосы, которые еще сражались с французами, яростно отстаивая каждую пядь этого ада.

Я находился на улице Пуэрта Кемада, и все, что я сейчас описал, было видно с двух противоположных сторон — от семинарии и от начала улицы Павостре. Я сделал несколько шагов и в изнеможении снова упал. Какой-то монах, заметив, что я весь в крови, подошел ко мне и стал говорить о загробной жизни и вечном блаженстве, которое уготовано тем, кто пал за отечество. Я объяснил ему, что не ранен, а лишь сломлен голодом, усталостью и жаждой и что, по-моему, у меня появились первые признака болезни. Тогда добрый монах, в котором я уже признал отца Матео дель Бусто, сел рядом со мною и, глубоко вздохнув, сказал:

— Я сам еле держусь на ногах и, по-моему, вот-вот умру.

— Вы ранены, ваше преподобие? — спросил я, видя, что правая рука его перевязана платком.

— Да, сын мой, пуля раздробила мне руку и плечо. Боль страшная, но нужно терпеть: Христос страдал за нас еще больше. С рассвета я без передышки перевязываю раненых и напутствую умирающих. За шестнадцать часов я ни на минуту не присел, ничего не ел и не пил. Одна женщина перевязала мне платком правую руку, и я продолжал свое дело. Похоже, жить мне уже недолго... Боже мой, сколько убитых! А сколько раненых, которых никто не подбирает! Ты видел траншею в конце улицы Клавос? Там лежит бездыханным несчастный Коридон. Его погубила собственная отвага. Мы пришли туда помочь раненым и увидели у амбаров Сан Агустина отряд французов, перебежавших из одного дома в другой. Кровь у Коридона была горячая, она толкала его на самые героические поступки, вот он с руганью и кинулся на врагов, а они проткнули его штыком и сбросили тело в ров... Ах, Арасели! Сколько жертв за один только день. Однако вам повезло, коли вы целы и невредимы! Впрочем, вы можете погибнуть от эпидемии, а это не многим лучше. Сегодня я отпустил грехи шестидесяти умирающим от болезни. И вам отпущу, друг мой, ибо знаю, что за вами нет никаких проступков, даже малых, и что в эти дни вы вели себя мужественно... Как вы себя чувствуете? Вам хуже? В самом деле, вы желтей трупов, что вокруг нас. Но умереть от эпидемии во время ужасной осады — тоже значит умереть за отчизну. Мужайтесь, юноша! Рай распахнет перед вами свои врата, пресвятая дева Пилар укроет вас своим звездным плащом. Жизнь — ничто. Гораздо лучше принять достойную смерть и за один день страданий обрести вечное блаженство! Именем господним отпускаю вам грехи ваши.

Прошептав подобающую случаю молитву, он благословил меня, произнес: «Ego te absolvo!»^[28] — и во весь рост вытянулся на земле. Вид у него был весьма плачевный, и, как ни плохо я себя чувствовал, я понял, что доброму монаху сейчас хуже, чем мне. Это был не первый случай, когда духовник погибал раньше умирающего, а врач раньше больного. Я окликнул падре Матео, и так как он ответил мне лишь жалобным стоном, я отошел, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Мне попалось навстречу несколько мужчин и женщин, и я сказал им:

— Там падре Матео дель Бусто, он не может двигаться.

Но они не обратили внимания на мои слова и пошли дальше. Многие раненые одновременно звали меня на помощь, но я тоже не обращал на них внимания. Около Косо я встретил мальчика лет восьми или десяти; он шел один и безутешно плакал. Я остановил ребенка, спросил, где его родители, и он указал мне на ров поблизости, где лежало множество убитых и раненых.

Позднее я встречал этого мальчика в разных местах города, он всегда был один, всегда плакал, и никто о нем не заботился.

Повсюду слышались одни и те же вопросы: «Ты не видел моего брата? Ты не видел моего сына? Ты не видел моего отца?» Но ни брат, ни сын, ни отец не появлялись. Никто уже не переносил больных в церкви: все или почти все храмы были забиты до отказа. Подвалы и нижние этажи, прежде считавшиеся надежными убежищами, превратились теперь в рассадники смертоносной заразы. Пришел час, когда самым удобным местом для раненых стала мостовая.

Я отправился к центру Косо — мне сказали, будто там раздают пищу, но ничего подобного там не происходило. Я снова двинулся к Тенериас, и, наконец, напротив Альмуди мне дали немного горячей пищи. Я сразу же почувствовал себя лучше, и те явления, которые я принимал за признаки болезни, постепенно вовсе исчезли, так как все мои недуги оказались из тех, что легко излечиваются хлебом и вином. Затем я вспомнил о падре Матео дель Бусто и поспешил к нему на помощь вместе с присоединившимися ко мне сарагосцами. Несчастный старик лежал на прежнем месте, и когда, подойдя к нему, мы спросили, как он себя чувствует, падре ответил:

— Как! Уже звонят к заутрене? Но ведь еще рано. Дайте мне отдохнуть. Я страшно устал, падре Гонсалес. Шестнадцать часов подряд я собирал цветы в саду... Я совсем обессилел.

Несмотря на его мольбы, мы вчетвером подняли его и понесли, но вскоре он умер у нас на руках.

Мои товарищи поспешили на позиции, я было тоже собрался последовать за ними, но в этот миг мое внимание привлек человек, показавшийся мне знакомым. Это был Кандьола. В обгоревшей одежде, он вышел из ближайшего дома, неся в руках петуха, который громко кукарекал, чувствуя, что угодил в плен. Я остановил старика посреди улицы и спросил его о дочери и Агустине, на что он взволнованно ответил:

— Моя дочь?.. Не знаю. Она там, там... А я все потерял, все! Расписки, расписки сгорели!.. Спасибо еще, что, выходя из дому, я заметил этого цыпленка: он, как и я, убегал от страшного огня. Вчера курица стоила пять дурос!.. Но мои расписки! Пресвятая дева Пилар и ты, мой досточтимый патрон, святой Домингито, почему сгорели мои расписки?.. Их еще можно спасти. Не поможете ли мне? Они остались в железной шкатулке под большой балкой. Где бы отыскать человек шесть?.. Ах, эта Хунта, этот суд, этот Генерал-капитан! Боже мой, о чем они только думают?

Потом он закричал проходившим мимо людям:

— Эй, земляк, дружище, добрый человек, как бы нам поднять вон ту балку, что упала в угол?.. Эй, добрые люди, оставьте на минуточку умирающего, которого несете в лазарет, и подойдите сюда, помогите мне. Неужели здесь не найдется ни одной сострадательной души? У вас каменные сердца, что ли? Ну, погодите, безжалостные сарагосцы, бог вас еще накажет!

Видя, что никто не собирается ему помогать, он снова вошел в дом, но вскоре выбежал оттуда с отчаянным воплем:

— Спасти уже ничего нельзя — все горит! Пресвятая дева Пилар, почему ты не сотворишь чуда? Отчего ты не наделишь меня тем же даром, что и трех юношей в печи вавилонской, чтобы я мог войти в огонь и спасти свои бумаги?

Затем Кандьола сел на грудь камней и, не выпуская петуха, стал то бить себя по голове, то с глубокими вздохами прижимать руку к груди. Я снова спросил его о дочери, надеясь таким способом разузнать что-нибудь об Агустине, и он мне ответил:

— Я был в доме на улице Аньон, где мы вчера устроились. Все нас уверяли, что там небезопасно и что лучше всего нам перебраться в центр города, но я не люблю ходить туда, куда идут все, — я предпочитаю то место, откуда все уходят. Всюду полно воров и жуликов, и поэтому лучше держаться подальше от толпы. Мы поместились в комнате на нижнем этаже этого дома. Моя дочь очень боялась обстрела и все порывалась выйти на улицу. Когда в соседних домах взорвались мины, они с Гедитой в ужасе убежали. Я остался один, размышляя об опасности, которой подвергались мои вещи, как вдруг вошли солдаты с зажженными факелами и сказали, что сейчас подожгут дом. Эти подлые каналы даже не дали мне времени собрать добро и не посочувствовали моей беде, а лишь насмехались надо мною. Я спрятал шкатулку с расписками, боясь, что они подумают, будто она набита деньгами, и отнимут ее у меня; но я не мог там долго оставаться. Пламя обжигало меня, и я задышался от дыма. Несмотря на все, я пытался спасти шкатулку... бесполезно! Мне пришлось убежать, и я нечего не сумел вынести, о, боже всемогущий, ну ровным счетом ничего, кроме вот этой жалкой птицы, забытой хозяевами в курятнике! А сколько труда мне стоило поймать ее! Я чуть не сжег себе руку. Проклятье тому, кто выдумал огонь! Велико удовольствие терять свое состояние по прихоти этих горе-героев! У меня в Сарагосе два дома, не считая того, в котором я жил сам. Один из них, тот, что на улице Сомбра, стоит целехонький, хоть и без жильцов. А второй, который прозван «домом Привидений», тот, что позади церкви Сан-Франсиско, занят войсками, и они совсем его разрушили. От него остались одни развалины, сплошные руины! Что за нелепая мысль сжигать дома лишь для того, чтобы французы не захватили их!

— К этому вынуждает война, — пояснил я ему. — Ваш героический город решил защищаться до последней возможности.

— А что выгадает Сарагоса от этой защиты до последней возможности? Что, например, приобрели от этого мертвецы? Попробуйте потолкуйте с ними теперь о славе, героизме и прочей чепухе. Хватит с меня героических городов! Чем жить в них, я лучше уйду в пустыню. Допускаю, что иногда стоит сопротивляться, но не до таких же варварских пределов! Правда, эти здания стоили совсем немного, меньше, чем кучи угля, оставшиеся теперь от них. Нет, меня на мякине не проведешь. Всю затею с осадой выдумали городские тузы, чтобы потом погреть руки на этом угольке.

Я рассмеялся. Пусть читатель не думает, что я преувеличиваю: я лишь слово в слово повторяю то, что он говорил, и мою правдивость могут удостоверить люди, имевшие несчастье знать его. Живи Кандьола в Нумансии, он заявил бы, что нумансийцы были торговцы углем, строившие из себя героев.

— Я погиб, я разорен вконец! — добавил он и скорбно скрестил руки. — Расписки были важной частью моего состояния. Попробуйте-ка теперь взыскать денежки безо всякого документа, тем более что почти все должники погибли, а тела их лежат на улицах и гниют! Нет, я не перестану повторять, что все содеянное этими негодьями противно законам божеским. Дать себя убить, когда за тобой остались долги и кредитор не сможет получить их, — это же смертный грех, непростительное преступление! Конечно, расплачиваться — дело нелегкое; кое-кто прямо говорит: «Пусть умру, зато деньги при мне останутся». Господь должен быть неумолим к этим воинственным каналам — пусть в наказание за подлость он воскресит их,

чтобы они угодили в руки альгвасилу и нотариусу. Отче наш, воскреси их! Пресвятая дева Пилар, святой Домингито Дель Валь, воскресите их!

— А ваша дочь не пострадала от пожара? — спросил я.

— Не напоминайте мне о дочери! — раздраженно ответил он. — Это за ее грехи бог карает меня. Теперь я знаю, кто ее бесчестный соблазнитель. Кем же ему быть, как не сыном этого проклятого дона Хосе де Монторья, тем самым, что собирался стать священником! Мария сама мне во всем признались. Вчера она перевязывала ему рану на руке. Второй такой бесстыдницы свет не видел! И она делала это при мне.

В эту минуту появилась донья Гедита, с трудом отыскавшая хозяина: она принесла ему в миске немного еды. Он с жадностью съел все, и после долгих уговоров нам удалось увести его с пожарища; мы направились с ним на улицу Органо, где в одном из подвалов вместе с другими несчастными женщинами нашла себе прибежище и его дочь. Кандьола, выбравив свое чадо, проследовал с экономкой в дом.

— Где Агустин? — спросил я Марикилью.

— Только что был здесь, но ему сообщили о смерти брата, и он ушел. Я слышала, что его семья находится сейчас на улице Руфас.

— Как! Погиб его старший брат?

— Так ему сказали, и он побежал к своим, не помня себя от горя.

Не слушая больше ничего, я тоже бросился по улице Парра, чтобы хоть чем-нибудь помочь в несчастье этой великодушной семье, которой был так обязан; по дороге я встретил дона Роке, и он со слезами на глазах остановился поговорить со мною.

— Габриэль, — сказал он, — бог призвал к себе нынче нашего доброго друга.

— Умер Мануэль, старший сын Монторьи?

— Да, но это не единственное горе в семье. Ты же знаешь, Мануэль был женат и у него был сынишка четырех лет. Видишь вон там женщин? Среди них жена несчастного первенца семьи Монторья, а на руках у ней дитя, которое в муках умирает от эпидемии. Какой страшный удар! Одно из лучших семейств Сарагосы, и дошло до такого плачевного состояния — ни крова над головой, ни самого необходимого! Несчастливая мать с больным ребенком на руках провела всю ночь на улице под открытым небом, а ведь он при смерти. Впрочем, здесь все-таки лучше, чем в зловонных подвалах, где и дышать-то нечем. Хорошо еще, что я и другие друзья дома помогали ей по возможности, да ведь много ли сделаешь, когда хлеба почти нет, вино кончилось, а куска говядины не достанешь даже за кусок собственного мяса?

Светало. Я подошел к группе горожанок и увидел потрясающую сцену. Мать вместе с несколькими женщинами старалась спасти умирающего ребенка, и каждая на свой лад врачевала его, но они лишь мучили несчастного младенца напрасными заботами: стоило взглянуть на их невольную жертву, и сразу становилось ясно, что спасти это создание, за которое смерть уже ухватила своей костлявой рукой, было невозможно.

Тут я услышал голос дона Хосе до Монторья. Это заставило меня двинуться дальше, и на углу улицы Руфас я стал свидетелем еще одного из страшных бедствий, которые обрушились на семью славного сарагосца. На земле лежал труп Мануэля Монторьи, молодого человека лет тридцати, при жизни не менее приятного и великодушного, чем отец и брат. Пуля пробила ему голову, и с той стороны, где она вошла, из маленькой ранки еще текла струйка крови; она спускалась по виску, щеке, шее и уходила под рубаху. Других следов смерти на теле не было.

Когда я подошел к ним, мать Мануэля все еще никак не могла поверить в смерть сына и, положив его голову к себе на колени, пыталась страстными мольбами вернуть своего первенца к жизни. Монторья стоял на коленях справа от трупа и, сжимая в ладонях руку сына, неотрывно и молча смотрел на него. Отец убитого был сам бледен как мертвец, но не плакал.

— Жена, — сказал он наконец, — не проси господ о невозможном. Нашего Мануэля больше нет.

— Нет, он не умер! — в отчаянье вскрикнула мать. — Это ложь. Зачем меня обманывать? Не может быть, чтобы бог отнял у нас нашего сына! Чем мы заслужили такую кару? Мануэль, дитя мое, почему ты не отвечаешь? Почему не двигаешься? Почему молчишь?.. Сейчас мы отнесем тебя домой... Но где наш дом? Мой сынок простудится — ему нельзя лежать на голой земле. Вы же видите, у него и руки и лицо совсем застыли!

— Уходи, жена, — сказал Монторья, сдерживая рыдания. — Мы позаботимся о несчастном Мануэле.



— Господи, боже мой, — воскликнула мать. — Что с моим сыном? Почему он молчит? Почему он неподвижен и не просыпается? Он не дышит, но он не мертв, он не может умереть. Пресвятая дева Пилар! Ведь это неправда что мой сын умер?

— Леокадия, уходи отсюда, бога ради, уходи! — повторил Монторья, смахивая слезы, сильно теперь брызнувшие у него из глаз. — Примирись со своей участью, ибо господь уготовил нам тяжкое испытание и сына нашего больше нет в живых. Он умер за отчизну...

— Что? Мой сын умер? — вскрикнула мать и сжала труп в своих объятиях словно его хотели отнять у нее. — Нет! Нет! Что мне отчизна: Верните мне моего сына! Мануэль, дитя мое, не покидай меня. Тебя не вырвут из моих рук, пока я жива.

— Господи, боже мой! Пресвятая дева Пилар! — глухо сказал дон Хосе де Монторья. —

Никогда я вольно или невольно не оскорбил вас. Я отдал достояние свое и детей своих за отчизну, веру и короля. Зачем же вы призвали к себе моего первенца, хотя тысячу раз могли отнять жизнь у меня, жалкого, ни на что не годного старика? Сеньоры, вы все свидетели моих слез, и я не стыжусь плакать перед вами. Сердце мое разрывается, но я остаюсь прежним Монторьей. Стократ счастлив ты, сын мой, — ты честно пал на боевом посту. Горе нам, оставшимся жить без тебя, но так угодно господу. Склонимся же перед волей вседержителя. Жена, бог послал нам мир, счастье, благоденствие и хороших детей; теперь он видно, решил взять обратно свои дары. Смирим же наши сердца и не дерзнем проклинать свою участь. Благословенна рука, карающая нас, и да будем спокойно ждать великого благодеяния — нашей собственной смерти.

Донье Леокадии оставалось только плакать и непрестанно целовать холодное тело сына. Наконец дон Хосе, решил прервать невыносимые страдания жены, поднялся и твердо сказал:

— Встань, Леокадия. Нашего сына пора хоронить.

— Хоронить!.. Хоронить его? — вскрикнула мать и, не сказав больше ни слова, упала без сознания.

В этот миг поблизости от нас раздался душераздирающий вопль, и какая-то женщина, охваченная ужасом, бросилась к нам. Это была жена несчастного Мануэля, разом лишившаяся и мужа и ребенка. Некоторые из нас поспешили остановить невестку дона Хосе и избавить ее от повторения сцены, не менее страшной, чем та, которую она только что пережила. Бедная женщина вырывалась и умоляла позволить ей взглянуть на мужа.

Тем временем дон Хосе, отойдя от тела сына, приблизился к тому месту, где лежал бездыханным его внук; он взял ребенка на руки, принес и положил рядом с Мануэлем. Больше всего нуждались в нашей заботе женщины: донья Леокадия, все еще не приходя в себя и не двигаясь, обнимала тело сына, а ее невестка, словно обезумев от невыносимого горя, металась в поисках воображаемых врагов, которых ей не терпелось разорвать на части. Мы удерживали ее, но она упорно сопротивлялась, то раздражаясь диким хохотом, то падая перед нами на колени и умоляя нас вернуть ей живыми два существа, которых мы отняли у нее.

Мимо проходили люди — солдаты, монахи, горожане, и все равнодушным взором смотрели на это зрелище: подобные картины встречались тогда на каждом шагу. Сердца людей окаменели, и души их, казалось, утратили высокие свои достоинства, сохранив один лишь неистовый героизм. Наконец усталость и полная опустошенность, порожденные горем, сломили бедную женщину, и она, как мертвая, упала нам на руки. Мы попросили у соседей сердечных капель и немного еды, чтобы привести ее в чувство и поддержать в ней силы, но так ничего и не раздобыли: у всех, кого я там видел, хватало хлопот со своими собственными близкими. Между тем дон Хосе с помощью своего младшего сына Агустина, который тоже силился побороть глубокую скорбь, высвободил труп Мануэля из объятий доньи Леокадии. Несчастливая женщина была в таком ужасном состоянии, что мы боялись, как бы нам не пришлось оплакивать в этот день еще одного покойника.

Затем Монторья повторил:

— Пора хоронить моего сына.

Он осмотрелся вокруг, мы сделали то же самое и увидели великое множество мертвецов, так и не преданных земле. Их было полным-полно на улице Руфас; а на соседней улице, называвшейся Импрента, образовалось нечто вроде целого склада трупов. И я отнюдь не преувеличиваю. Поперек узкой улицы штабелями лежали бесчисленные тела, образуя от дома к дому нечто вроде широкой стены. На нее было так страшно смотреть, что каждый зритель зловещей картины был обречен всю жизнь видеть перед глазами этот погребальный костер, сложенный из тел его ближних. Пусть читатель не думает, что я фантазирую; все это правда.

Один человек вышел на улицу Импрента и окликнул соседа. Тот выглянул в окошко и ответил: «Поднимись ко мне». Тогда первый, полагая, что входить в дом по лестнице нет смысла, влез по груди тел на второй этаж, и одно из окон послужило ему дверью.

На многих других улицах происходило то же самое. Был ли расчет рыть могилы? На каждую пару здоровых рук и каждый заступ приходилось полсотни мертвецов. Ежедневно эпидемия уносила от трехсот до четырехсот горожан. Каждая ожесточенная схватка стоила жизни нескольким тысячам человек. Сарагоса из большого, густо населенного города прекращалась в огромное кладбище.

Увидев, что творится вокруг, Монторя сказал:

— У моего сына и внука не будет преимущества перед остальными: мы не станем предавать их прах земле. Души их уже на небе, остальное не имеет значения. Положим их здесь, на улице Руфас, вон у этих дверей... Агустин, сын мой, иди-ка ты лучше туда, где дерутся. Начальство, того и гляди, хватится тебя, и потом, думается мне, на улице Магдалины сейчас каждый человек на счету. У меня теперь один сын — ты. Что останется у меня, если ты погибнешь? Но долг превыше всего, и лучше уж мне видеть тебя мертвым, с головой, простреленной французской пулей, как у твоего брата, нежели трусом.

Он положил руку на обнаженную голову сына, преклонившего колени у трупа Мануэля, и, подняв глаза к небу, продолжал:

— Господи, если ты решил призвать к себе и второго моего сына, то возьми прежде меня самого. Когда кончится осада, мне незачем будет жить. Мы с моей бедной женой были достаточно счастливы, на нашу долю выпало довольно благ, и мы не проклянем десницу, карающую нас. Но разве испытаний, пережитых нами, еще мало? Неужели должен погибнуть и второй наш сын? Что ж, сеньоры, — добавил он, помолчав, — покончим с этим делом: мы наверняка нужны в другом месте.

— Сеньор дон Хосе, — плача, сказал дон Роке, — уходите-ка вы тоже: мы, ваши друзья, сами выполним печальный долг.

— Нет, я сделаю все, что нужно: бог дал мне душу, которую не согнешь и не сломишь.

С помощью дона Роке он поднял труп Мануэля, а мы с Агустином взяли на руки тело ребенка и отнесли мертвецов к началу улицы Руфас, где многие другие семьи оставляли покойников. Монторя положил наземь тело, опустил руки, словно лишившись от напряжения последних сил, и с тяжелым вздохом сказал:

— Да, сеньоры, не могу отрицать: я устал. Еще вчера я чувствовал себя молодым, а сегодня состарился.

Действительно, Монторя казался дряхлым стариком; одна эта ночь стоила ему десяти лет жизни.

Он сел на камень, уперся локтями в колени и сжал голову руками; так он просидел некоторое время, и мы не нарушали его скорбного молчания. Донья Леокадия, ее дочь и невестка с двумя домочадцами оставались на Косо. Дон Роке, ходивший от одной группы к другой, сказал:

— Сеньора совсем убита горем. Все они исступленно молятся и плачут. Бедняжки ужасно ослабели. Ребята, порыскайте по городу да поищите для них чего-нибудь съестного.

Монторя встал и вытер слезы, потоком струившиеся из его покрасневших глаз.

— Думаю, кое-что все-таки найти можно. Дон Роке, друг мой, поищите-ка вы сами что-нибудь поесть, да не торгуйтесь — дайте любую цену.

— Вчера на Мясном рынке за курицу просили пять дуро, — сказал один из старых слуг дона Хосе.

— А сегодня птица и вовсе исчезла, — отозвался дон Роке, — я как раз там недавно

проходил.

— Друзья, поищите по соседству, может быть, что-нибудь и найдется. Для меня самого ничего не нужно.

В это мгновение раздался приятно удививший нас крик петуха. Мы радостно устремили взгляд в конец улицы и увидели там дядю Кандьолу, который нес в левой руке уже известную читателю живность, а правую гладил ее черные перья. Мы еще не успели обратиться к нему с просьбой, как он уже подошел к Монторье и весьма ехидно предложил:

— Унцию за петушка.

— Постыдились бы! — возмутился дон Роке. — Да разве это птица? Одни кости.

Видя столь наглядный пример отвратительной скупости и жестокосердия скряги, я не сдержался, гневно подошел к старику и, вырвав петуха у него из рук, грубо приказал:

— Этот цыпленок краденый! Убирайся отсюда, подлый ростовщик! Если бы хоть свое продавал! Унцию! Да вчера на рынке курица шла по пять дуро. Слышишь, каналья, грабитель, пять дуро — и не песо больше!

Кандьола раскричался, требуя вернуть ему петуха, и наверняка был бы безжалостно избит, если бы не вмешался дон Хосе де Монторья.

— Заплатите ему, сколько он просит, — сказал он. — Вот вам унция за вашу птицу, сеньор Кандьола.

Он дал ему унцию, которую мерзкий скряга не постеснялся взять; потом дон Хосе продолжал:

— Нам надо поговорить, сеньор Кандьола. Я понимаю, что обидел вас... Помните, несколько дней назад, историю с мукой? Человек порой не властен над собою и теряет голову... Правда, вы сами вывели меня из себя, требуя за муку больше той цены, которую установит Генерал-капитан. Конечно, друг мой дон Херонимо, я погорячился, но вы же видели — я был вне себя... Ну, словом, я дал волю рукам, и, похоже, между нами что-то там произошло...

— Сеньор Монторья, — проворчал скупец, — придет день, когда в Сарагосе снова будут власти. Вот тогда мы и встанем лицом к лицу.

— Вы собираетесь припутать сюда судейских крючкотворов? Нехорошо. Дело-то ведь прошлое... Ну, пришел я в ярость, ну, не сумел я сдержаться. И вот ведь что любопытно: мне до сих пор не приходило в голову, что я поступил дурно, очень дурно: грех оскорблять ближнего...

— Особенно после того, как его ограбишь, — процедил дон Херонимо и, презрительно улыбаясь, обвел нас всех взглядом.

— Ну, насчет грабежа вы не правы, — возразил дон Хосе де Монторья. — Я только исполнял приказ Генерал-капитана. А вот словом и действием я вас, действительно, оскорбил, и сейчас, когда вы попались нам навстречу с цыпленком в руках, я понял, что поступил дурно. Мне это подсказывает совесть. Ах, сеньор Кандьола, я так несчастлив! Когда человеку хорошо, он не сознает своих ошибок. Но сейчас... Поверьте, дорогой мой дон Херонимо, когда я увидел, что вы направляетесь сюда, мне захотелось попросить у вас прощения за удары, которые... У меня тяжелая рука, и бывают минуты, когда я не ведаю, что творю... Да, я умоляю вас простить меня, и давайте дружить. Станем друзьями, дон Херонимо, помиримся и простим друг другу обиды. Ненависть отравляет душу, и воспоминание о том, что ты когда-то поступил дурно, становится для человека невыносимым бременем.

— И вы, сеньор Монторья, надеетесь лицемерным пустословием загладить причиненный мне вред? — возразил скряга и, повернувшись спиной к дону Хосе, поспешил выскользнуть из окружавшей его группы. — Подумали бы лучше, как возместить мне стоимость муки. А в извинениях ваших я не нуждаюсь: хуже, чем теперь, мне уже не будет!

Он произнес эти слова, понизив голос, и медленно удалился. Кто-то из присутствующих

побежал за стариком, осыпая его бранью; увидев это, Монторья крикнул:

— Не трогайте его — пусть уходит. Будем сострадательны к несчастному.

Третьего февраля французы заняли Иерусалимский монастырь, расположенный между Санта-Энграсия и Больницей. Захвату этой очень важной позиции предшествовало сражение, столь же кровопролитное, как и бой в Тенериас; в нем погиб дон Маркос Симоно, прославленный командир саперов. Со стороны предместья осаждающие продвигались медленно, и за два дня, шестого и седьмого, им не удалось захватить даже улицу Пуэрта Кемада.

Сарагосские власти, понимая, как трудно продолжать сопротивление, пытались воодушевить патриотов почестями и денежными наградами. Второго февраля Палафокс, обращаясь к населению с просьбой о помощи, заявил в своей прокламации: «Я сам отдаю все, что у меня осталось, — двое часов и двадцать серебряных кувертов». Четвертого февраля он обещал пожаловать дворянство двенадцати наиболее отличившимся и учредил для награждения их дворянский военный орден «Инфансонес», а девятого осудил равнодушие и «пренебрежение, с которым кое-кто из сарагосцев относится к участи отчизны». Предполагая, что подобное безразличие оплачено «французским золотом», он угрожал суровым наказанием каждому, кто проявит трусость.

Бои, происходившие с третьего по пятое, были уже не столь ожесточенными, как последнее из описанных мною сражений. Как испанцы, так и французы изнемогали от усталости. Выходы на улицы с площади Магдалины остались в наших руках и были прикрыты стоявшими там пушками; обе атаки, предпринятые неприятелем вдоль улиц Паломар и Павостре, были отбиты. Развалины семинарии также оцетинились орудиями, и французы, убедившись что нас невозможно выбить оттуда обычными средствами, безостановочно рыли сапы.

Наш батальон был слит с остатками эстремадурского, но и после этого в нем не набралось даже трех полных рот. Агустин Монторя был уже капитаном, а меня второго февраля произвели в лейтенанты. В Тенериас мы больше не вернулись — нас направили оборонять монастырь Сан-Франсиско: это большое здание представляло собой позицию, откуда было удобно держать под огнем французов, засевших в Иерусалимском монастыре. Паек нам выдавали чрезвычайно скудный, и все мы, числившиеся уже офицерами, получали то же довольствие, что и солдаты. Агустин берег свой хлеб для Марикильи.

С четвертого февраля французы, стремясь захватить Больницу и монастырь Сан-Франсиско, подвели под них сапы, так как прекрасно понимали, что добиться этой цели иным способом невозможно. Препятствуя их намерениям, мы закладывали контрмины, чтобы подорвать неприятеля прежде, чем он поднимет на воздух нас самих. Этот лихорадочный труд в недрах земли не сравним ни с какой другой работой. Казалось, мы перестали быть людьми и превратились в каких-то особых существ, в бесчувственных и мрачных пещерных жителей, не знающих, что такое солнце, чистый воздух и дневной свет. Словно черви, прокладываящие себе в темных недрах земли узкую, под стать их телу нору, мы непрерывно рыли длинные сапы. В ответ на стук наших кирок до нас, словно эхо, доносились глухие удары неприятельских заступов; сначала французы и мы сражались и умирали на земле, а теперь оставшиеся в живых искала друг друга в страшной тьме этих могил и завершали здесь взаимное истребление.

В монастыре Сан-Франсиско, внизу под хорами, были огромные погреба. Такие же подземные хранилища имелись и в других городских зданиях, занятых французами: в редком доме не было глубоких подвалов. Во всех этих помещениях гибло множество французов — кто под обломками рухнувших зданий, кто от наших пуль, повсюду настигавших врага. Наши и неприятельские подкопы встречались вдруг в каком-нибудь из таких погребов; лучи наших фонарей освещали французов, которые, словно призраки, озаренные красноватым светом,

внезапно появлялись среди причудливых изгибов подземелья; враги тоже замечали нас, и немедленно завязывалась перестрелка. Мы всегда носили при себе ручные гранаты и незамедлительно пускали их в дело, обращая французов в бегство и добывая их штыками в подземных ходах. Все это походило на кошмар, на ту отчаянную борьбу, которую иногда, в тревожном сне, мы ведем с отвратительными видениями; но все это происходило наяву, повторяясь непрестанно и повсеместно.

На этих утомительных работах нас часто сменяли, и мы выходили отдыхать на Косо, которое служило осажденным главным местом сбора, а заодно складом, лазаретом и центральным кладбищем. Однажды днем (было это, по-моему, пятого февраля) мы, несколько парней из батальона Сан-Педро и эстремадурцев, стояли у входа в монастырь и рассуждали о перипетиях осады. Все сходились на том, что скоро сопротивляться станет уже невозможно. К нашей группе присоединялись все новые собеседники. Подошел к нам и дон Хосе де Монторя. Он поздоровался с нами и с грустным видом сел на деревянную скамейку, стоявшую у дверей.

— Послушайте, дон Хосе, о чем говорят люди, — сказал я ему. — Народ считает, что нам долго не продержаться.

— Не падайте духом, ребята, — ответил он. — Генерал-капитан в своей прокламации верно говорит, что по городу растеклось немало французского золота. За слухи заплачено.

Тут в разговор вмешался францисканец, пришедший отпустить грехи нескольким десяткам умирающих.

— Смотреть больно на то, что делается, — сказал он. — Со всех сторон только и говорят, что о сдаче. Не узнаю Сарагосу! Где те нестигаемые люди, что защищали ее в первую осаду?..

— Его преподобие дело говорит, — подхватил Монторя. — Какой позор! Даже мы, у кого сердца выкованы из стали, и то поддаемся унынию, а оно пострашнее эпидемии. Но в конце-то концов я не понимаю, к чему вся эта болтовня о сдаче, если мы все равно никогда не сдадимся? Черт побери! Раз существует загробная жизнь, — а этому нас учит религия, — нам должно быть безразлично, проживем мы днем больше или меньше.

— Верно и то, дон Хосе, — отозвался монах, — что запасы провианта вот-вот кончатся, а где хлеб иссяк, там до смуты шаг.

— Вздор и глупости, падре Луэнго! — взорвался Монторя. — Если, конечно, народ так привык к былому изобилию, что не может нынче обойтись без хлеба и мяса, словно на свете нет другой еды, то и говорить не о чем. Но я решительно стою за то, чтобы защищать город любой ценой. Я перенес страшные несчастья: мой первенец и внук умерли, в сердце моем навсегда поселилась печаль, но душа моя преисполнена чувством чести, и для других чувств во мне просто нет места. У меня остался еще один сын, единственное утешение в жизни, последний хранитель моего имени и дома. Но я не ограждаю его от опасности и сам велю ему продолжать сопротивление. Честь нации превыше всего, даже если ради нее погибнет мой единственный наследник!

— Я слышал, — сказал падре Луэнго, — что дон Агустин явил чудеса отваги. Как видно, первые лавры в этой войне достанутся славным воителям святой церкви.

— Нет, мой сын не станет служителем церкви. Ему придется отказаться от духовной карьеры: мне нужен продолжатель моего рода.

— А вы поговорите с ним о потомстве да о женитьбе, и увидите, что он ответит! Став солдатом, он ничуть не изменился, а ведь прежде у него на уме были только *re theologia*^[29] и я никогда не слышал от него разговоров *de erotica*^[30]. Этот юноша всего святого Фому Аквинского от корки до корки выучил, а где у девушки на лице глаза, так и не знает!

— Ради меня Агустин пожертвует призванием, которому так пылко предан. Если мы выдержим осаду и пресвятая дева Пилар сохранит ему жизнь, я намерен безотлагательно женить

его на девушке, равной ему по положению и состоянию.

В эту минуту мы заметили, что к нам спешит запыхавшаяся Марикилья Кандьола; подойдя ко мне, она спросила:

— Сеньор Арасели, вы не видели моего отца?

— Нет, сеньорита, — ответил я ей. — Со вчерашнего вечера я его не видел. Может быть, он у развалин вашего дома, — смотрит, нельзя ли что-нибудь спасти.

— Там его нет, — уныло сказала Мария. — Я весь город обошла.

— А здесь, за монастырем, у Сан Дьего, вы были? Сеньор Кандьола обычно ходит туда поглядеть, уцелел ли его дом, который прозван «домом Привидений».

— Я сейчас же пойду туда.

Когда Марикилья ушла, Монторья сказал:

— Это как будто дочь дяди Кандьолы. Право, она прехорошенькая и совсем не похожа на этого волка... — прости, господи, за такое слово!.. — этого доброго человека, хотел я сказать.

— Девушка, действительно, прехорошенькая, — подтвердил монах. — Но, думается мне, она тоже дрянь изрядная. Каков корень, таково и семя.

— Не следует говорить дурно о ближнем, — возразил дон Хосе.

— Так ведь это же дядя Кандьола. Хорош ближний! А с той поры, как они остались без крова, девица постоянно вертится в обществе солдат.

— Наверное, ухаживает за ранеными.

— Может быть, но сдается мне, ей больше нравятся здоровые и сильные. На прелестном личике красавицы словно написано, что у нее нет ни капельки стыда.

— Не язык у вас, а жало скорпионье!

— Поверьте, я говорю чистую правду, — настаивал монах. — Верно говорится, что яблоко от яблони недалеко падает. Разве не ходят слухи, что мать ее, Пепа Ринкон, была публичной женщиной или чем-то в этом роде?

— Наверное, просто вела себя легкомысленно...

— Хорошенькое легкомыслие!.. Дон Херонимо подобрал Пепу, когда ее бросил третий любовник.

— Довольно злословить! — отрезал Монторья. Пусть они самые дурные люди на свете, нам-то что? Это дело их совести.

— Я гроша ломаного не дал бы за души всех родичей Кандьолы, вместе взятых, — не унимался монах.

— Если не ошибаюсь, сюда направляется сам дон Херонимо. Он увидел нас и сейчас будет здесь.

Действительно, дядя Кандьола, медленно проследовав по Косо, остановился у входа в монастырь.

— Добрый день, дон Херонимо! — поздоровался с ним Монторья. — Итак, порешили — кончены наши ссоры?

— Здесь только что было ваше невинное чадо и справлялось о вас, — ехидно вставил Луэнго.

— Где она?

— Пошла к Сан-Дьего, — ответил кто-то из солдат. — Там поблизости шныряют французы, того и гляди, сцапают ее.

— Возможно, они отнесутся к ней с уважением, когда узнают, что она дочь дона Херонимо, — сказал Луэнго. — Это правда, дружище Кандьола, что нынче про вас рассказывают?

— Что рассказывают?

— Что вы на этих днях ходили к французам и вели переговоры с этими канальями.

— Я? Какая подлая клевета! — воскликнул скряга. — Так могут говорить мои враги, замыслившие погубить меня. Не вы ли, сеньор Монторья, распускаете эти слухи?

— И не думал, — ответил патриот. — Но не скрою, разговор об этом слышал. Помнится, я даже защищал вас, уверяя, что сеньор Кандьола не способен продаться французам.

— Это все мои враги! Они решили разделаться со мной! Какие только мерзости не выдумывают обо мне! Они хотят, чтобы я потерял и свою честь, как уже потерял имущество. Сеньоры, у меня в доме на улице Сомбра обвалилась часть крыши. Да это же сущее разорение! Правда, дом, что за монастырем Сан-Франсиско, у самого сада Сан-Дьего, пока еще цел, но он занят солдатами, а они-то уж отделают его на славу.

— Этому зданию грош цена, дон Херонимо, — заметил монах. — Насколько мне помнится, в нем уже лет десять никто не хочет жить.

— Это все потому, что людям взбрело в голову, будто там появляются привидения... Но оставим это. Вы говорите, здесь была моя дочь?

— Эта девственная лилия отправилась в Сан-Дьего разыскивать своего симпатичного папашу.

— Моя дочь не в своем уме.

— Очень похоже.

— И это тоже по вине сеньора Монторьи. Мои враги, мои коварные враги не дают мне ни минуты покоя.

— Что? — воскликнул мой покровитель. — Я виноват в том, что эта девица унаследовала дурные наклонности своей матери? Я хочу сказать... Проклятый язык! Ее мать, конечно, была примерной особой.

— Брань сеньора Монторьи на меня не действует — я слишком ее презираю, — язвительно ответил разгневанный скупец. — Вместо того чтобы оскорблять меня, дону Хосе следовало бы обуздать своего сынка Агустина, распутника и соблазнителя, так как именно из-за него моя дочь лишилась рассудка. Нет, я ни за что не отдам ее за него, даже если он ради нее звезду с неба достанет. Он хочет отнять ее у меня. Хорош гусь этот дон Агустин! Нет, он ее в жены не получит. Моя Мария достойна лучшей участи, гораздо лучшей.

Услышав это, дон Хосе де Монторья побледнел и шагнул к Кандьоле, намереваясь, без сомнения, повторить бурную сцену, происшедшую на улице Антон Трильо. Но он вовремя сдержался и печально проговорил:

— Господи, дай мне силы побороть в себе приступы гнева! Но возможно ли поступиться гордостью и стать смиренным, когда имеешь дело с таким человеком? Я попросил у него прощения за нанесенную ему обиду, повинился перед ним, протянул ему дружескую руку, а он является ко мне и вновь осыпает меня еще более ужасными оскорблениями... Накажи меня, презренный, убей меня, выпей до капли мою кровь, продай мои кости и пусть из них делают пуговицы, но только не черни своим подлым языком моего любимого сына, не смей говорить о нем мерзости! Что ты сказал? Что вы сказали о моем Агустине?

— Правду.

— Не понимаю, как я еще сдерживаюсь! Сеньоры, будьте свидетелями моей кротости. Я не хочу выходить из себя, не хочу гневить бога. Я прощаю этому человеку его подлости, но пусть он немедленно избавит меня от своего присутствия: я не отвечаю за себя, когда вижу его.

Напуганный этими словами, Кандьола скрылся в портале монастырского здания. Падре Луэнго увел Монторью, и они пошли вниз по Косо.

Не успели они отойти, как солдаты, собравшиеся у входа в монастырь, стали говорить о Кандьоле, не скрывая своих враждебных чувств, в чем не было ничего удивительного, если

принять во внимание прежнее поведение отца Марикильи. Скупец хотел было убежать, но солдаты не выпустили его и стали толкать из стороны в сторону; вокруг него грозно смыкалось кольцо, и, наконец, непостижимо быстрым движением солдаты выпихнули скрягу на галерею. Тогда кто-то в бешенство воскликнул:

— В колодец его! Бросай его в колодец!

Сильные руки схватили Кандьолу, измятого, побитого и совсем оборванного.

— Он из тех, кто раздает народу деньги и уговаривает сдаваться, — сказал кто-то из толпы.

— Правильно! Верно! — закричали другие. — Вчера говорили, что он ходил по рынку и предлагал деньги.

— Сеньоры, — сдавленным голосом взмолился несчастный, — клянусь вам, я никогда никому не раздавал денег.

Это была сущая правда.

— Говорят, вчера вечером видели, как он переходил через наши линии во французский лагерь.

— И вернулся оттуда лишь утром. В колодец его!

Один из моих друзей и я попытались спасти Кандьолу от верной смерти, но добиться этого нам удалось лишь мольбами и уговорами:

— Друзья, не будьте дикарями! Ну, какой вред от этого презренного старикашки!

— Верно, — в припадке отчаяния подхватил Кандьола. — Какой может быть от меня вред, если я только и делал, что помогал нуждающимся? Пожалуйста, не убивайте меня. Я же знаю все: вы солдаты из Пеньяс де Сан — Педро и Эстремадуры, вы славные ребята, вы еще поджигали те дома в Тенериас, где я поймал цыпленка, которого потом уступил за унцию. Кто сказал, что я продался французам? Я ненавижу их, терпеть не могу, а вас люблю, как собственную плоть. Детки мои, отпустите меня с миром. Я все потерял, оставьте же мне хотя бы жизнь.

Эти причитания скупца, равно как просьбы моего друга и мои, несколько смягчили сердца солдат, и, поскольку первый взрыв ярости улегся, мы без особого труда спасли несчастного старика. А когда солдатам пришло время идти на позиции, чтобы сменить своих товарищей, Кандьола и вовсе оказался в безопасности; однако он даже не поблагодарил нас, когда мы, избавив его от смерти, предложили ему кусок хлеба. Вскоре, собравшись с силами, он вышел на улицу, где и встретился наконец с дочерью.

В тот день французы бросили войска на штурм предместья на левом берегу Эбро. Они решили взять приступом монастырь Иисуса и обстреливали из пушек собор Пилар, где нашло себе убежище множество больных и раненых, полагавших, что святое место гарантирует им большую, чем где бы то ни было, безопасность.

В центре же в тот день царило относительное затишье. Все внимание было сосредоточено на сапах: мы изо всех сил старались доказать противнику, что, прежде чем он взорвет нас, мы постараемся взорвать его самого или, по крайней мере, взлетим на воздух вместе с ним.

Ночью обе армии, казалось, отдыхали. В подземных галереях смолк глухой стук заступов. Я вышел из монастыря и около Сан Дьего встретил Агустина и Марикилью; они сидели на пороге дома Привидений и спокойно разговаривали. Увидев меня, оба страшно обрадовались; я сел рядом и стал жевать черствый хлеб, которым молодые люди поделились со мной.

— Нам с отцом негде приютиться, — сетовала Марикилья. — Мы устроились в парадном одного дома в переулке Органо, но нас оттуда прогнали. Почему люди так ненавидят моего отца? Что он сделал плохого? Потом мы укрылись в маленькой каморке на улице Урреас, но нас выгнали и оттуда. Тогда мы расположились под какой-то аркой на Косо, но все, кто там был, немедленно ушли от нас подальше. Мой отец вне себя от бешенства.

— Душа моя, Марикилья, — сказал Агустин, — надеюсь, осада так или иначе скоро кончится. Пусть господь призовет к себе нас обоих вместе, если мы не можем обрести счастье на земле. Не знаю отчего, но, несмотря на такое множество бед, сердце мое преисполнено надежды и я все время думаю о нашем счастливом будущем. Почему бы нет? Неужели не будет конца несчастьям и бедам? Горе моей семьи безгранично. Моя мать не хочет слушать никаких утешений. Ее невозможно увести оттуда, где лежат трупы моего брата и племянника; мы силой оттаскиваем ее от этого места, но стоит нам отойти, и она уже ползет обратно по мостовой. На нее, на мою невестку и на мою сестру страшно смотреть: они отказываются от пищи, а когда молятся, то разум их туманится, и они путают имена господни! Сегодня днем нам наконец удалось увести женщин под крышу, где их уговорили немного отдохнуть и поесть. Марикилья, какую страшную участь уготовил господь моей семье! Так разве нет у нас оснований ожидать, что он сжалится наконец, над нами?

— Да, — отозвалась девушка. — Сердце подсказывает мне, что черные дни для нас миновали и на смену им придут спокойствие и благоденствие. Осада скоро кончится — по словам отца, это дело нескольких дней. Сегодня утром я ходила в храм Пилар. Когда я опустилась на колени перед святой девой, мне показалось, что она посмотрела на меня и улыбнулась. Потом я вышла из церкви, и сердце мое забило сильнее от искренней радости. Я взирала на небо, и бомбы казались мне игрушками; я смотрела на раненых, и мне чудилось, что все они выздоровели; я глядела на людей, и мне представлялось, что душа каждого из них переполнена такой же радостью, как и моя. Не знаю, что сегодня творится со мной, но я довольна. Господь бог и пресвятая дева, без сомнения, сжалились над нами. Беспокойное биение моего сердца и это радостное волнение — все предвещает, что после стольких слез мы, наконец, обретем счастье.

— Ты права, — согласился Агустин, нежно прижимая к своей груди Марикилью. — Как ты сказала, так и будет; на тебя низошло божественное прозрение, и оно не обманет нас; когда я слушаю тебя, мне кажется, что пора страданий прошла, тучи рассеялись, и я с наслаждением вдыхаю воздух счастья. Надеюсь, твой отец не станет противиться нашему браку.

— Мой отец — добрый, — сказала девушка. — Если бы сарагосцы не унижали его, он бы, я

думаю, стал человечнее. Но они видеть его не могут. Сегодня днем в монастыре Сан-Франсиско над отцом снова глумились, и когда он встретился со мною на Косо, то был в ярости и клялся отомстить за себя. Я попробовала успокоить его, но безуспешно. Нас отовсюду гнали, а отец, сжав кулаки и выкрикивая оскорбления, грозил прохожим. Затем он пустился бежать сюда; я думала, что он собирается посмотреть, не разрушен ли и этот наш дом, и поспешила за ним; он же, словно испугавшись шума моих шагов, повернулся ко мне и сказал: «Не лезь не в свое дело, глупая девчонка! Кто тебя просил идти за мной?» Я ничего не ответила, но, заметив, что он направляется к передней линии французов с явным намерением перейти ее, я решилась остановить его и спросила: «Куда ты, отец?» А он ответил: «Разве ты не знаешь, что во французской армии состоит мой друг, капитан швейцарцев Карл Линденер, который в прошлом году служил в Сарагосе? Я иду к нему: за ним, если ты помнишь, числится небольшой должок». Он приказал мне остаться здесь, а сам ушел. Я боюсь, как бы враги отца, узнав, что он перешел через линию фронта и отправился во французский лагерь, не объявили его изменником. Не знаю, может быть, слишком сильная любовь к отцу ослепляет меня, но я почему-то думаю, что он не способен на предательство. Я так опасаясь, что с ним стряется беда, и потому с нетерпением жду конца осады. Но она скоро кончится, правда ведь, Агустин?

— Да, Марикилья, скоро. И мы поженимся. Мой отец хочет, чтобы я женился.

— Кто твой отец? Как его зовут? Неужели и теперь нельзя открыть мне его имя?

— Я уже говорил тебе о нем. Он видный человек, и его очень любят в Сарагосе. Зачем тебе знать большее?

— Вчера я хотела выяснить, кто он, — ведь мы, женщины, так любопытны. Встречая знакомых на Косо, я расспрашивала их: «Не знаете ли вы сеньора, у которого погиб старший сын?» Но сейчас подобных отцов так много, что люди в ответ лишь смеялись надо мною.

— Все узнается в свое время; я назову его имя, когда приду к тебе с радостной вестью.

— Агустин, если я выйду за тебя замуж, увези меня на несколько дней из Сарагосы. Мне так хочется хоть немного посмотреть на другие дома, деревья, места, я хотела бы прожить несколько дней в других краях, а не здесь, где я столько выстрадала.

— Конечно, Марикилья, родная! — восторженно воскликнул Агустин. — Мы поедем, куда ты захочешь, далеко отсюда и завтра же... Нет, не завтра, конечно, потому, что осада еще не снята; но тогда послеза... словом, когда будет угодно богу.

— Агустин, — чуть слышно прошептала одолеваемая сном Марикилья, — а когда мы вернемся из нашего путешествия, отстрой заново дом, в котором я родилась. Ведь кипарис все еще стоит там.

Марикилья склонила голову, почти побежденная сном.

— Бедняжка, ты засыпаешь? — сказал мой друг и обнял ее.

— Я не спала уже несколько ночей подряд, — ответила девушка, закрывая глаза. — Тревоги, горе, страх не давали мне уснуть. А сейчас я совсем засыпаю: так одолела меня усталость и так мне спокойно рядом с тобой.

— Усни в моих объятиях, Мария, — сказал Агустин, — и пусть спокойствие, преисполнившее твою душу, не оставит тебя, когда ты проснешься.

Некоторое время спустя, когда мы уже считали, что Марикилья уснула, она вдруг заговорила, словно в полусне:

— Агустин, я не хочу, чтобы ты прогонял нашу добрую донью Гедиту: она ведь нам так помогала, когда мы были женихом и невестой... Вот видишь, я была права: отец ушел к французам получать долг...

Тут она умолкла и заснула крепким сном. Агустин сидел на земле и, обняв Марикилью, держал ее на коленях. Я укрыл ноги девушки своим плащом. Мы с Агустином молчали, чтобы не

потревожить сон бедняжки. Место было довольно пустынное: позади нас высился дом Привидений, примыкавший к монастырю Сан-Франсиско; перед нами находилась коллегия Сан-Дьего, ее сад был обнесен длинной глинобитной стеной, в которую упирались кривые и узкие переулки. По ним проходили часовые, заступавшие на пост или сменившиеся с него; маршировали отряды, направлявшиеся на позиции или в тыл. Вокруг царило полное спокойствие, но эта передышка предвещала лишь одно — завтра нам предстоят жестокие схватки.

Вдруг в ночной тишине я расслышал глухие удары, раздававшиеся прямо под нами, глубоко под землей. Я тотчас же сообразил, что это орудуют кирками французские саперы; я поделился своими опасениями с Агустином, и тот, прислушавшись, согласился со мной:

— Ты прав, они ведут подкоп, но только куда? Сапы, которые они прорыли от Иерусалимского монастыря, уже перерезаны нашими, и французам стоит только шаг ступить, как они столкнутся с нами.

— Судя по шуму, они ведут подкоп у Сан-Дьего: они уже завладели частью этого здания, но до сих пор не добрались до подвалов Сан-Франсиско. Они, наверное, предположили, что пробраться от Сан-Дьего к монастырю легче всего через подвальные помещения, и, видимо, прокладывают сейчас проход туда.

— Беги живей в монастырь, — приказал мне Агустин, — спустись в подземелье и, если услышишь шум, сразу извести Реновалеса. Если что случится, немедленно зови меня.

Агустин остался с Марикильей. Я поспешил к монастырю Сан-Франсиско; спустившись в подвалы, я обнаружил там в числе других защитников города офицера-сапера, которому и высказал свои опасения, на что он ответил:

— Через подкопы под улицей Санта-Энграсия со стороны Иерусалимского монастыря и Больницы им сюда не подобраться: мы свели на нет всю их работу, перерезав их подземные ходы своими и теперь там достаточно нескольких солдат, чтобы остановить неприятеля. Все церковные подвалы под этим зданием, а также погреба и кладовые, которые выходят на восточную галерею, сейчас в наших руках. В западной и южной части монастыря мы не вели саперных работ, потому что там нет подвалов и не к чему делать подземные ходы — маловероятно, чтобы неприятель напал на нас с той стороны. Соседний дом тоже наш, и я сам осмотрел его погреба, которые почти соприкасаются с подземельем, находящимся здесь, под залом капитула. Если французы займут дом Привидений, они без труда заложат мину и взорвут западную и южную часть монастыря. Но мы еще удерживаем этот проклятый дом, да и расстояние от него до французских позиций у Сан-Дьего и Санта-Росы тоже довольно большое. Вряд ли французы рискнут атаковать нас с этой стороны, не соединив ходами сообщения дом Привидений с коллегией Сан-Дьего или Санта-Росой, — без таких ходов к нам не подобраться незаметно.

Мы проговорили с сапером до самого рассвета, когда к нам присоединился Агустин. Он вошел с довольным видом и сообщил мне, что ему удалось найти Марикилье пристанище там же, где приютилась его семья. Затем мы стали готовиться к предстоящему сражению, потому что противник, овладев Больницей, точнее говоря, ее развалинами, намеревался пойти на штурм монастыря Сан-Франсиско не по мрачным подземным переходам, а во весь рост, под яркими лучами солнца.

Захват монастыря Сан-Франсиско решил бы судьбу города: тот, в чьих руках находилось это огромное здание, расположенное в самом центре Косо, обладал бесспорным преимуществом перед противником. Французы с раннего утра держали монастырь под огнем, рассчитывая пробить в его стенах брешь для штурма, а сарагосцы стянули на защиту монастырских строений свои лучшие силы. Так как число солдат у нас непрерывно сокращалось, за оружие взялось множество почтенных горожан, занятых прежде на тыловых работах. Сас, Сересо, Ла-Каса, Пьедрафита, Эсковар, Лейва, дон Хосе де Монторья — словом, все выдающиеся патриоты поспешили на защиту монастыря.

В начале улицы Сан-Хиль и у арки Синеха стояло несколько наших пушек, сдерживавших натиск врага. Вместе с отрядом эстремадурцев я был послан на эту батарею, где уже почти не осталось прислуги; когда я прощался с Агустином, оставшимся командовать ротой в монастыре, мы крепко обнялись, решив, что видимся в последний раз.

Дон Хосе де Монторья был ранен в ногу на баррикаде у Крус дель Косо и вынужден был уйти с позиции; он прислонился к стене дома у самой арки Синеха и некоторое время крепился, стараясь не упасть в обморок из-за потери крови. Наконец, понимая, что он вот-вот лишится чувств, Монторья подозвал меня:

— Сеньор Арасели, у меня в глазах темнеет... Ничего не вижу... Проклятая кровь, ну, зачем она течет ручьями, когда каждая капля ее так нужна! Дайте мне руку!

— Сеньор, идите-ка лучше домой, — посоветовал я, подбежав к отцу Агустина и поддерживая его.

— Нет, я останусь здесь... Так вот, сеньор Арасели, если я потеряю слишком много крови... Куда, к дьяволу, она утекает, проклятая?.. Ноги прямо ватные, а сам я — как пустой мешок: сейчас свалюсь.

Он сделал нечеловеческое усилие, чтобы не упасть, но сознание почти покинуло его, и причиной тому была не только серьезная рана и потеря крови, но и голод, бессонные ночи и пережитые несчастья. Несмотря на все просьбы дон Хосе оставить его здесь, у стены — он, видите ли, хотел не упустить ни одной подробности начинавшегося сражения, — мы все же отнесли старика в его жилище, которое находилось тут же на Косо, на углу улицы Рефухьо. Семья Монторья разместилась в одной из комнат верхнего этажа. Дом был полон раненых, а трупы, лежавшие у двери, почти загораживали вход в здание. Ни в узком подъезде, ни в комнатах нельзя было шагу ступить потому, что везде лежали люди, пришедшие сюда умирать, а живых было трудно отличить от мертвых.

Когда мы внесли Монторью на первый этаж, он попросил:

— Не тащите меня наверх — там моя семья. Оставьте меня в этой комнате. Видите вон там свободный прилавок? На нем мне будет удобно.

Мы положили его, куда он хотел. Помещение на нижнем этаже было когда-то лавкой. В этот день под прилавком уже скончалось несколько раненых и больных, но и сейчас на грязном полу, кое-как застеленном рваным тряпьем, лежало множество несчастных.

— Посмотрим, — продолжал Монторья, — не найдется ли здесь хоть одна добрая душа, которая заткнет мне куском пакли эту дыру, откуда хлещет кровь.

Какая-то женщина подошла к раненому. Это была Марикилья Кандьола.

— Да вознаградит тебя бог, дочка, — сказал дон Хосе, увидев у нее в руках корпию и кусок полотна. — Мне бы только малость ногу залатать. Кость-то, я думаю, цела.

В это время в дом ворвалось человек двадцать горожан, которые, встав у окон, открыли

огонь по развалинам Больницы.

— Сеньор Арасели, вы идете к ним? Погодите немного и возьмите меня с собой — похоже, что без вашей помощи я не могу двигаться. Пускай стреляют из окон только по вашей команде. Цельтесь точнее, ребята! Не давайте даже носа высунуть тем, кто засел в Больнице... Послушайте, девушка, нельзя ли побыстрее? Нет ли под рукой ножа? Надо бы отрезать этот кусок мяса, а то он болтается без толку... Ну как там дела, сеньор Арасели? Наша берет?

— Дела идут неплохо, — ответил я ему, стоя у окна. — Французы отступают к Больнице. Монастырь Сан-Франсиско — твердый орешек, его не так-то просто разгрызть.

Между тем Мария, внимательно поглядывая на Монторью, продолжала с большой осторожностью и старанием перевязывать его.

— Вы настоящее сокровище, дитя мое, — сказал ей дон Хосе. — Перевязываете так, словно и не прикасаетесь к ране. Но почему вы смотрите на меня? Чем вас заинтересовало мое лицо? Ну, готово?.. Попробую-ка встать... Нет, не получается... Неужели у меня в жилах не кровь, а розовая водичка?.. Эх, опять чуть не вы ругался — никак не избавиться от этой проклятой привычки, просто никак. Ну, что там, сеньор Арасели? Как дела?

— Великолепно, сеньор! Наши храбрые земляки творят чудеса.

В эту минуту к нам подошел раненый офицер и попросил перевязать его.

— Все идет как по маслу, сказал он. — Французам не взять Сан Франсиско. Тех, что атаковали со стороны Больницы, уже трижды отбрасывали назад. Но самое поразительное, сеньоры, случилось у Сан-Дьего. Неприятель ворвался в сад дома Привидений, тогда храбрые солдаты из Орихуэлы под командой Пино Эрмосо пошли в штыки и не только выбили оттуда французов, но и уничтожили многих из них, а тринадцать человек взяли в плен.

— Хочу к ним. Да здравствует батальон Орихуэлы! Да здравствует маркиз Пино Эрмосо! — исступленно воскликнул дон Хосе де Монторья. — Идемте, сеньор Арасели. Отведите меня туда. Нет ли где-нибудь здесь пары костылей, сеньоры? Правда, ноги не держат меня, но я все-таки дойду — сердце доведет. Прощайте, прекрасная моя исцелительница! Но почему вы так на меня смотрите? По-моему, вы меня знаете, да и я где-то видел ваше лицо, но где — не припомню.

— Я тоже вас видела, правда, всего один раз; но похоже, что я не ошиблась, — уверенно сказала Марикилья.

— Я не забуду вашего благодеяния, — продолжал Монторья. — Вы, наверное, добрая девушка... и, без сомнения, очень красивая. Прощайте, я весьма признателен вам, весьма признателен. Хорошо бы, сеньор Арасели, раздобыть пару костылей или хоть палку — без этого мне не дойти. Дайте-ка мне руку... Да что это за пелена застилает мне глаза?.. Пойдемте туда и вышвырнем французов из Больницы.

Я попытался отговорить Монторью от его безумного намерения и уже собирался уйти один, когда раздался такой страшный взрыв, что его невозможно описать словами. Казалось, взлетел на воздух весь город, поднятый ввысь извергшимся под ним чудовищным вулканом. Дома заходили ходуном, небо потемнело — его закрыла огромная туча дыма и пыли; по всей улице падали комья земли, куски стен, разнесенные в щепки бревна, осколки черепицы и разные обломки.

— Спаси нас, пресвятая дева Пилар! — воскликнул Монторья. — Сдается мне, земной шар взорвался.

Больные и раненые громко кричали, решив, что настал их последний час; все мы обратили наши помыслы к богу.

— Да что же случилось? Существует ли еще Сарагоса? — спросил кто-то.

— А вдруг мы тоже взлетели на воздух?

— Должно быть, этот ужасный взрыв произошел в монастыре Сан-Франсиско, — предположил я.

— Бежим туда, — воззвал Монторья, напрягая последние силы. — Сеньор Арасели, вы же говорили нам, что для защиты монастыря приняты все меры предосторожности... Неужто здесь нет пары костылей?

Мы вышли на Косо и тотчас убедились, что большая часть монастырского здания взорвана.

— Мой сын был там, — произнес бледный как смерть Монторья. — Господи, если ты решил отнять у меня и его, пусть он погибнет за отчизну на боевом посту!

К нам приковылял тот словоохотливый нищий, о котором я упомянул на первых страницах моего рассказа; он с трудом передвигался на своих костылях, и вид у него был совсем больной.

— Вонмигласио, — сказал ему Монторья, — отдай мне свои костыли — они тебе ни к чему.

— Позвольте мне, ваша милость, — ответил калека, — дойти вон до того подъезда, и я отдам их. Не хочу умирать посреди улицы.

— Да разве ты умираешь?

— Кажется, да! Я весь горю. Вчера меня ранило в плечо, и пуля все еще там. Чувствую, что мне конец. Берите костыли.

— Ты идешь из монастыря?

— Нет, сеньор, я был у арки Тренке. Там стояла пушка, мы долго из нее стреляли. Но тут, неожиданно для нас, взлетел на воздух Сан-Франсиско. Вся южная и западная часть здания обрушилась, под обломками погибло множество народу. В городе говорят, что тут не обошлось без предательства... Прощайте, дои Хосе... Я остаюсь здесь. В глазах у меня темно, язык заплетается, мне каюк... Да поможет мне пресвятая дева Пилар! Вот вам мои костыли.

Взяв костыли, Монторья с грехом пополам поплелся к месту взрыва, но нам пришлось свернуть на улицу Сан-Хиль, потому что дальше двигаться было невозможно. Прекратив обстрел монастыря со стороны Больницы, французы повели наступление от Сан-Дьего, чтобы поскорее захватить руины, которые никто не защищал. Из монастырских зданий уцелели только церковь и башня Сан-Франсиско.

— Эй, падре Луэнго, — окликнул Монторья монаха, появившегося на улице Сан-Хиль. — Как дела? Где Генерал-капитан? Погиб под развалинами?

— Нет, — ответил святой человек и остановился. — Он с командирами находится на площади Сан-Фелипе. Могу обрадовать вас: ваш сын Агустин остался жив — он был в башне.

— Слава богу! — вымолвил дон Хосе, молитвенно складывая руки.

— Вся южная и западная часть монастыря разрушена, — продолжал Луэнго.

— Непонятно, как французы сумели подвести подкоп с той стороны. Они заложили мины под залом капитула, а там мы не вели никаких работ: считалось, что с той стороны нам ничто не грозит.

— К тому же, — вмешался какой то ополченец, подошедший к нам, — соседний дом был в наших руках, и французы не могли беспрепятственно подойти сюда со стороны Сан-Дьего и Санта-Росы.

— Потому и считают, — заметил некий вооруженный монах, тоже присоединившийся к нашей группе, — что противнику стало известно о каком-нибудь потайном ходе между Санта-Росой и домом Привидений. Французы захватили подвалы этого дома и, проделав лаз, проникли в подземелье под залом капитула.

— Все уже выяснено, — сказал армейский капитан. — В доме Привидений есть большой подвал, о котором мы не знали. От него наверняка шел тайный ход к монастырю Санта-Роса, которому в старину принадлежал этот проклятым дом, служивший монахам амбаром и складом.

— Но если все это так и ход существует, — добавил Луэнго, — то я знаю, кто рассказал о

нем французам. Вам ведь известно, что, выбив неприятеля из сада Сан-Дьего, наши взяли несколько пленных. Среди них оказался Кандьола, который в эти дни несколько раз бывал в стане врага, а со вчерашнего вечера окончательно перебежал к французам.

— Так оно и есть, — подтвердил Монторья, — дом Привидений принадлежит Кандьоле, и уж он-то, проклятый, знал там все ходы и выходы. Идемте к Генерал-капитану, сеньоры. Хотел бы я знать, можно ли еще защищать Косо.

— А почему же нельзя? — отозвался военный. — Взрыв монастыря — пустяки: несколько лишних убитых, и только. Если постараться, то можно вернуть себе даже церковь Сан-Франсиско.

Все поглядели на человека, который столь серьезно говорил о невозможном. Его простой и великий замысел казался шуткой; однако в этой невероятной эпопее подобные шутки чаще всего оборачивались делом.

Пусть тот, кто не верит моим словам, откроет учебник истории и убедится в том, что несколько десятков человек, замученных, голодных, разутых, полураздетых, израненных, целый день продержались в башне Сан-Франсиско; более того, они выбрались на крышу церкви и, не обращая внимания на огонь, открытый по ним из Больницы, пробили в кровле множество отверстий, через которые забросали французов ручными гранатами, вынудив противника к концу дня оставить церковь. Весь вечер и ночь французы пытались отбить храм, но достигли своей цели лишь на следующий день, когда наши спустились с крыши и перешли в дом Састаго.

Сарагоса сдается? Смерть каждому, кто это скажет!

Сарагоса не сдается. Пусть ее превратят во прах, пусть от ее овеванных легендами зданий не останется камня на камне, пусть рухнут все сто ее храмов, пусть, изрыгая пламя, разверзнется твердь, взлетят под небеса фундаменты и дождем посыплется в бездну черепица кровель — все равно среди обломков и трупов найдется один еще живой испанец и скажет, что Сарагоса не сдается.

Пробил час беспредельного отчаяния. Франция больше не сражалась — она рыла подкопы. Чтобы завоевать испанскую землю, нужно было сперва перекопать ее. Одна сторона Косо уже принадлежала Франции, истерзанная Испания отступала на противоположный тротуар. В Тенериас и в левобережном предместье французы тоже брали верх: там беспрестанно рвались их мины.

Хоть это и кажется невероятным, но в конце концов мы привыкли к взрывам мин, как в свое время притерпелись к бомбардировкам. Иногда откуда-то доносился грохот, равный по силе тысяче громовых раскатов одновременно. Что это? Да ничего: просто взлетает на воздух университет, часовня Крови господней, дом Аранды, какой-нибудь монастырь или церковь. Мы жили уже не на нашей мирной и тихой планете, а в безумном мире, пронзенном молниями, в мире, где царили грохот и разрушения, где некуда было ступить, потому что вся земля была разворочена и всюду зияли воронки от взрывов. И тем не менее люди продолжали сдерживать чудовищный натиск врага, чьи неисчислимые полчища походила на поток лавы, беспрерывно и неумолимо выбрасываемый вулканом, или на бурю, которой нет конца. Рушились крепости — их заменяли монастыри; падали монастыри — в дело вступали дворцы; исчезали дворцы — в ход шли простые дома: ведь и у них есть стены.

Люди уже ничего не ели. К чему еда, если смерть может настигнуть в любую минуту? Сотни и тысячи гибли при взрывах, эпидемия распространялась с быстротой молнии. Уцелеет человек под градом пуль, свернет за угол, а у него тут же начинается нестерпимый озноб, его бросает в жар, и через несколько часов он мертв. Больше не было ни родных, ни друзей, люди перестали узнавать ближних.

Лица защитников города, вымазанные землею, копотью и кровью, походили на лица мертвецов, и, встречаясь после боя, соратники спрашивали друг друга: «Кто ты?», «Кто вы?»

На колокольнях больше не били в набат, потому что не стало звонарей; на площадях не читались прокламации, потому что никто их не печатал; в церквях не служили обеден, потому что не было священников; на улицах уже не распевали хоту и, по мере того как гибло население, все реже и реже раздавались даже крики. На город постепенно опускалась гробовая тишина. Говорили только пушки; солдаты на аванпостах уже не развлекались, обмениваясь с противником отборными ругательствами. На смену ярости в души вползала печаль; гибнущий город дрался молча, чтобы не расходовать на неуместные крики ни одной крупички своих сил.

Мысль о неизбежности капитуляции овладела умами всех сарагосцев, но никто не выражал ее вслух: ее скрывали в глубинах сознания, подобно тому как скрывает свой умысел тот, кто собирается совершить преступление. Сдаться? Это казалось настолько невозможным, настолько трудным, что умереть было гораздо легче.

После взрыва монастыри Сан-Франсиско прошел день, страшный день, который, казалось, был не прожит нами наяву, а существовал лишь в обманчивом царстве воображения.

Я был на улице Аркадас незадолго до того, как на ней рухнула большая часть домов. Потом я побежал на Косо выполнять отданное мне приказание. Помню, что я еле двигался — так

трудно было дышать из-за нависшего над городом тяжелого зловония. По дороге я встретил того самого бездомного мальчика, который несколько дней назад плакал в Тенериас. В этот раз он тоже шел один и плакал. Несчастный то и дело совал в рот руку, словно собираясь жевать свои пальцы, но никто не обращал на него внимания. Я тоже равнодушно прошел мимо, но потом в моем сознании что-то шевельнулось, я вернулся, подозвал мальчика и дал ему хлеба.

Выполнив приказание, я поспешил на площадь Сан-Фелипе, где после боя на улице Аркадас собрались несколько человек, оставшихся от нашего батальона. Была уже ночь, и хотя на Косо наши и французы все еще отчаянно обстреливали друг друга из противоположных домов, мой батальон был оставлен до утра в резерве, потому что люди валились от усталости.

На площади Сан-Фелипе я увидел человека, закутанного в шинель; он расхаживал взад и вперед, не обращая внимания решительно ни на кого и ни на что. Это был Агустин Монторья.

— Это ты, Агустин? — спросил я, приближаясь. — Как ты побледнел и изменился! Ты не ранен?

— Оставь меня, — резко ответил он. — Мне сейчас не до праздных разговоров.

— Да ты рехнулся! Что с тобой?

— Кому я говорю? Отстань! — вспыхнул он и с силой оттолкнул меня. — Сказано тебе, что я хочу быть один. Не желаю я никого видеть.

— Друг мой, — ответил я, сообразив, что какое-то страшное горе омрачило душу моего товарища, — если стряслась беда, расскажи мне о ней, и я разделю с тобой твоё несчастье.

— Разве ты ничего не знаешь?

— Конечно, ничего. Тебе же известно, что меня с двадцатью солдатами послали на улицу Аркадас. А с тобой мы не виделись со вчерашнего дня, с той минуты, когда взорвали монастырь Сан-Франсиско.

— Верно, — согласился он. — Габриэль, я искал смерти на баррикаде, здесь, на Косо, но смерть отвернулась от несчастного. Многие мои товарищи погибли рядом со мной, а для меня не нашлось пули. Габриэль, дорогой друг, приставь один из твоих пистолетов к моему виску и лиши меня жизни. Поверишь ли? Я уже хотел покончить с собой... Не знаю, почему я этого не сделал. Просто мне вдруг показалось, будто чья-то руки отвела оружие, а потом другая рука, нежная и теплая, прикоснулась к моему лбу.

— Успокойся, Агустин, и расскажи толком, что с тобой.

— Что со мной? Который час?

— Девять вечера.

— Остался всего час! — воскликнул он, нервно вздрогнув. — Шестьдесят минут! Но, может быть, французы уже подвели мину под эту площадь Сан-Фелипе, где мы стоим с тобой, может быть, через мгновение земля разверзнется под нашими ногами и страшная бездна послужит нам всем могилой, всем — и жертве и палачам.

— Что еще за жертва?

— Как! Ты не знаешь? Это же несчастный Кандьола. Он заперт здесь, в Новой башне.

У дверей Новой башни стояло несколько солдат, слабый свет озарял вход.

— Да, — сказал я, — мне известно, что этот подлый старик был взят в плен вместе с несколькими французами в саду Сан-Дьего.

— Его преступление несомненно. Он показал врагам проход из Санта-Росы в дом Привидений, а знал об этом проходе только он. Улики налицо, кроме того, несчастный сегодня сам сознался во всем, рассчитывая этим спасти себя.

— И его приговорили к...

— Да. Военный суд заседал недолго. Через час Кандьолу расстреляют как предателя. Он там, Габриэль! А здесь я, капитан батальона Пеньяс де Сан-Педро. Проклятые эполеты!.. Здесь

я, и у меня в кармане приказ, который предписывает мне сегодня, в десять часов вечера, привести в исполнение приговор вот тут, на этом самом месте, на площади Сан-Фелипе, у подножья башни. Вот приказ, видишь? Он подписан генералом Сен-Марчем.

Я молчал, не зная, что сказать моему товарищу, оказавшемуся в столь ужасном положении.

— Мужайся, друг мой! — воскликнул я наконец. — Приказ должен быть выполнен.

Агустин не слушал меня. Он вел себя так, словно лишился разума: отходил и тут же возвращался, бормоча слова отчаяния, затем он взглянул на прекрасную величественную башню, гордо вздымавшуюся над нашими головами, и в ужасе вскрикнул:

— Габриэль, Габриэль, взгляни на башню! Разве ты не видишь, что она стоит прямо? Башня выпрямилась. Не видишь? Неужели не видишь?

Я посмотрел на башню. Она, конечно, как и прежде, стояла наклонно.

— Убей меня, Габриэль, — продолжал Монторья, — я не хочу жить. Нет, я не отниму жизнь у этого человека. Возьми это на себя. Раз уж я жив, я убегу. Я болен. Я сорву с себя эполеты и швырну их в лицо генералу Сен-Марчу. Нет, нет, не уверяй меня, что Новая башня попрежнему остается наклонной. Разве ты не видишь, что она выпрямилась? Друг мой, ты обманываешь меня. Раскаленный докрасна стальной клинок пронзил мне сердце, и брызги крови разлетаются, как искры. Я умираю от боли.

Я пытался утешить его, но в эту минуту на площади со стороны улицы Торресекас появилась фигура в белом. Взглянув на нее, я вздрогнул от страха — это была Марикилья. Агустин не успел скрыться, и несчастная девушка, обняв его, возбужденно заговорила:

— Агустин, Агустин! Слава богу, ты нашелся. Как я люблю тебя! Когда мне сказали, что ты охраняешь моего отца, я чуть не сошла с ума от радости: я уверена, ты спасешь его. Эти людоеды из военного суда приговорили его к смерти! Осудить на смерть того, кто никому не причинил зла! Но бог не допустит, чтобы погиб невинный: он отдал его в твои руки, чтобы ты помог ему спастись.

— Марикилья, Мария, родная моя! — застонал Агустин. — Оставь меня, уйди — я не могу тебя видеть... Поговорим потом, завтра. Я тоже люблю тебя, я обезумел от любви к тебе. Пусть погибнет Сарагоса, только люби меня по-прежнему. Они надеются, что я казню твоего отца...

— Господи Иисусе! Но говори так, Агустин!

— Нет, тысячу раз нет! Пусть другие карают его за предательство.

— Это ложь. Мой отец не предатель. Ты тоже осуждаешь его, но я никогда не поверю, что он виновен... Агустин, сейчас ночь. Развяжи ему руки,ними с ног его кандалы, выпусти старика на свободу. Его никто не увидит. Мы убежим и скроемся здесь, поблизости, в развалинах нашего дома, под сенью кипариса, в том самом месте, откуда мы столько раз смотрели на шпиль Новой башни.

— Подожди немного, Мария, — в необычайном волнении взмолился Монторья. — Это не так просто сделать — на площади столько народу, да и солдаты готовы разорвать узника. Завтра...

— Завтра? Ты сказал — завтра? Ты смеешься надо мною! Выпусти его, Агустин, сейчас же выпусти. Если ты откажешься, я стану думать, что любила самого подлого, трусливого и презренного из мужчин.

— Мария, господь слышит нас, а он знает, как я люблю тебя. Клянусь всевышним, я не обагрю рук кровью этого несчастного — скорее уж сломаю свою шпагу; но зову бога в свидетели — я не могу освободить твоего отца, Мария, само небо карает нас.

— Ты обманываешь меня, Агустин, — тоскливо и растерянно сказала девушка. — Ты в самом деле не можешь его освободить?

— Да, не могу. Если бы даже сам господь в образе человека пришел просить у меня свободы

тому, кто продал наших героических земляков, кто подставил их головы под меч французов, я и тогда ответил бы отказом. Есть высший долг, и я не могу его нарушить. Бесчисленные жертвы предательства, сданный город, попранная честь, нации — это не забывается, это такое бремя, которое безжалостно давит на мою совесть.

— Мой отец не мог стать предателем, — вспыхнула Марикилья, отчаяние которой внезапно сменилось приступом гнева. — Это все наветы его врагов. Те, кто называют его предателем, подло клеветают, и ты, самый жестокий, самый бесчеловечный из всех, тоже клеветал на него. Неужели я тебя когда-то любила? Нет, это невозможно, мне стыдно даже подумать об этом. Ты сказал, что не отпустишь его? Зачем же ты тогда живешь, на что ты годеи? Неужели ты надеешься своей кровожадностью снискать благоволение этих бесчеловечных дикарей, которые, делая вид, что защищают город, разрушили его? Что для тебя жизнь невинного и отчаяние сироты! Ничтожный эгоист и честолюбец, я ненавижу тебя сильнее, чем любила! Неужели ты думал, что ко мне можно явиться с руками, запятнанными кровью моего отца? Нет, он не предатель! Предатели — это ты сам и твои друзья. Боже мой! Неужели ничья благородная рука не протянется, чтобы защитить меня? Неужели среди стольких мужчин не найдется ни одного, кто решился бы помешать преступлению? Несчастливая женщина мечется по городу в надежде встретить сострадательную душу и наталкивается на одних лишь зверей!

— Мария, — умолял Агустин, — не разрывай мне сердце: ты требуешь невозможного. Этого я не сделаю, не могу сделать, хотя бы ты обещала мне в награду вечное блаженство. Я уже пожертвовал всем и заранее знал, что ты возненавидишь меня. Если есть человек, который собственными руками вырвал из груди свое сердце и втоптал его в грязь, считай, что этот человек — я. Сделать больше — не в моих силах.

Мария Кандьола была в состоянии крайнего возбуждения: яростный гнев сменялся у нее самой трогательной нежностью. Только что она была в совершенном неистовстве, теперь же разразилась горькими слезами и простонала:

— Боже, что я наговорила! А ты сколько глупостей наболтал! Нет, Агустин, ты не можешь отказать мне в моей просьбе. Я же так любила тебя и люблю! С того дня, когда я впервые увидела тебя в нашей «башне», я ни на миг не переставала думать о тебе. Ты казался мне самым любезным, благородным, скромным и храбрым из всех мужчин. Я любила тебя, не зная, кто ты такой: ты не назвал мне ни своего имени, ни имени своих родителей, но если бы даже ты был сыном сарагосского палача, я все равно любила бы тебя. А ты забыл обо мне, Агустин, как только мы расстались. Это же я, Марикилья! Я всегда верила и продолжаю верить, что ты не отнимешь у меня отца, которого я люблю так же, как тебя. Он добрый, он никому не сделал зла; он просто несчастный старик... У него есть свои недостатки, но я их не замечаю, — я вижу в нем только хорошее. Я не знала матери: она умерла, когда я была совсем еще ребенком; я всегда жила одна, отец вырастил меня вдали от людей, и вот среди этого одиночества появился ты, которого я полюбила. Не встретить я тебя, мне был бы безразличен весь мир, кроме моего отца.

На лице Монторьи я отчетливо прочел колебание. Он испуганно поглядывал то на девушку, то на часовых у входа в башню; дочь Кандьолы, проявив поразительное чутье, сумела воспользоваться слабостью юноши и, бросившись ему на шею, прибавила:

— Освободи его, Агустин. Мы спрячемся так, что нас никто не найдет. Если тебя будут бранить, если обвинят в том, что ты не выполнил свой долг, не обращай ни на кого внимания и пойдем со мною. Как полюбит тебя мой отец, убедившись, что ты спас ему жизнь! Сколько счастья ожидает нас, Агустин! Какой ты добрый! Я чувствовала это, и, когда узнала, что бедный узник находится в твоей власти, мне показалось, что врата неба распахнулись передо мной.



Мой друг сделал несколько шагов по направлению к башне, но тут же отступил назад. На небольшой площади толпилось довольно много солдат и вооруженных горожан. Вдруг перед ними появился человек на костылях, которого сопровождали несколько сарагосцев и старших офицеров.

— Что здесь происходит? — осведомился дон Хосе до Монторя. — Мне показалось, тут кричит женщина. Ты плачешь, Агустин? Что с тобой?

— Сеньор, — в ужасе вскричала Марикилья, поворачиваясь к Монторье, — умоляю вас, не мешайте ему освободить моего отца. Разве вы не помните меня? Это я делала вам перевязку вчера, когда вас ранило.

— Верно, дитя мое, — с важностью подтвердил дон Хосе. — И я премного вам благодарен. Теперь я понял: вы дочь сеньора Кандьолы.

— Да, сеньор. Вчера, перевязывая, я узнала вас в лицо. Вы — человек, который много дней тому назад обидел моего отца.

— Да, дочь моя, я поддался приступу гнева, внезапной вспышке и не сумел сдержаться: у меня крутой нрав... А вы меня вылечили. Так поступают добрые христиане. Господь завещал нам платить благодарениями за обиды и делать добро тем, кто ненавидит нас.

— Сеньор, — воскликнула Мария, обливаясь слезами, — я прощаю своим врагам, но простите и вы своим. Почему не хотят отпустить моего отца? Он же не сделал ничего дурного.

— Выполнить вашу просьбу несколько затруднительно. Сеньор Кандьола виновен в непростительном предательстве. Солдаты в ярости.

— Это ошибка! Стоит вам только вступить за него... Вы же один из тех, кто всем здесь распоряжается.

— Я?.. — удивился Монторья. — Такие дела мне неподведомственны. Но успокойтесь, пожалуйста, дитя мое. Вы, кажется, действительно добрая девушка. Я помню, с каким старанием вы перевязывали мою рану, и ваша доброта запала мне в душу. Я нанес вам жестокую обиду, а вы, тот самый человек, которого я оскорбил, сделали мне столько добра, может быть, даже спасли жизнь. Вот пример того, какими должны мы быть, ибо господь учит нас смирению и милосердию, черт... Проклятый язык! Опять я чуть не выругался.

— Как вы добры, сеньор! — воскликнула Мария. — А я — то считала вас таким злым!.. Помогите же мне спасти моего отца. Он тоже забыл о нанесенной ему обиде.

— Послушайте, — сказал Монторья и взял девушку за руку. — Не так давно я просил у сеньора дона Херонимо прощения за свой дурной поступок, но ваш отец отнюдь не помирился со мною; напротив, он самым грубым образом оскорбил меня. Нам с ним все равно не поладить, дитя мое. Скажите же хоть вы, что прощаете мне побои, которые я нанес вашему отцу, и с моей души спадет тяжкое бремя.

— Мне не за что вас прощать, сеньор, — вы так добры! И вы наверняка здесь самый главный. Велите же освободить моего отца.

— Это не в моей власти. Сеньор Кандьола совершил страшное преступление. Его нельзя простить, нельзя... Но я понимаю ваше горе, я искренне вам сочувствую, особенно когда вспоминаю ваше милосердие... Я возьму вас под свою защиту, не сомневайтесь в этом.

— Мне самой ничего не надо, — сказала Мария голосом, охрипшим от крика и слез. — Я хочу только одного: освободите несчастного, который не сделал ничего дурного. Агустин, разве не ты командуешь здесь? Как же ты поступишь?

— Этот молодой человек выполнит свой долг.

— Этот молодой человек, — яростно возразила Мария, — сделает то, что я ему прикажу, потому что он любит меня. Не правда ли, ты отпустишь моего отца? Ты же обещал... Что вам здесь нужно, сеньоры? Вы, кажется, собираетесь помешать нам? Не обращай на них внимания, Агустин, а если надо, будем защищаться.

— Что такое? — изумленно воскликнул Монторья. — Агустин, эта девушка говорит, что ты намерен изменить своему долгу. Ты ее знаешь?

Охваченный беспредельным ужасом, Агустин не отвечал.

— Да, он отпустит его, — в отчаянии воскликнула Мария. — Прочь отсюда, сеньоры! Нечего вам здесь делать.

— Как это понимать? — вскричал дон Хосе, хватая сына за руку. — Если бы слова этой девушки были правдой и я узнал, что мой сын решил обесчестить себя, нарушив воинскую присягу, принятую под знаменами отчизны; если бы я узнал, что мой сын не подчинится приказу, выполнение которого возложено на него, я бы сам скрутил ему руки веревкой и отвел его на военный суд, чтобы он получил по заслугам.

— Отец! — ответил бледный как смерть Агустин. — Я никогда не помышлял о том, чтобы нарушить свой долг.

— Так это твой отец? — сказала Мария. — Агустин, скажи ему, что ты любишь меня, — быть может, он сжалится и надо мною.

— Она сошла с ума, — объявил дон Хосе. — Несчастливая девочка, ее страдания терзают мне душу. Я облегчу ее сиротскую долю... Но успокойтесь, пожалуйста. Да, да, я позабочусь о вас, если вы, конечно, будете вести себя по-другому. Бедняжка, у вас, у вас доброе сердце, прекрасное сердце, но понимаете ли... мне сказали что вы немного легкомысленны... Жаль, что порочное воспитание губит добрые задатки. Ну, как, будете вы хорошей?.. Думаю, что будете.

— Агустин, почему ты позволяешь позорить меня? — воскликнула глубоко оскорбленная Мария.

— Я не позорю вас, — возразил дон Хосе. — Я только даю вам совет. Разве я решился бы позорить вас, мою благодетельницу? Если вы будете вести себя хорошо, мы окружим вас заботой. Рассчитывайте на мое покровительство, несчастная сиротка... Но при чем тут мой сын? Ну, полно, полно, побольше рассудительности, и перестаньте волноваться... Может быть, мальчик действительно знаком с вами: мне говорили, что во время осады вы постоянно были в обществе солдат. Исправьтесь, и я позабочусь о вас. Я не забуду вашего благодеяния, и, потом, я знаю, душа у вас хорошая... Такое лицо не может лгать; в нем есть что-то божественное; но вы должны отказаться от мирских наслаждений и обуздать свои порочные наклонности. Ведь...

— Нет! — в порыве гнева вдруг закричал Агустин, да так, что голос его и вид заставили нас вздрогнуть. — Нет, никому, даже своему отцу, я не позволю оскорблять ее в моем присутствии. Я люблю ее, и если прежде скрывал это, то теперь, не боясь и не стыдясь никого, заявляю об этом во всеуслышанье. Сеньор, вы сами не понимаете, что говорите, не знаете, как далеки вы от истины, — вас наверняка ввели в заблуждение. Убейте меня, если считаете, что я непочтителен с вами, но при мне не глумитесь над нею: если я еще раз услышу подобные речи, я забуду, что передо мною мой отец.

Монторья, не ожидавший от сына такой ex abrupto^[31], удивленно взглянул на своих друзей.

— Правильно, Агустин! — воскликнула Мария. — Не обращай на них внимания. Этот человек тебе не отец. Поступай так, как велит сердце. Прочь отсюда, сеньоры, прочь!

— Ошибаешься, Мария, — возразил юноша. — Я не думал и не думаю освободить узника; я только говорю, что я не предаю его смерти. В нашем батальоне есть другие офицеры, пусть они и выполняют приказ. Я уже не военный и не буду им больше даже перед лицом врага; я бросаю шпагу и иду к Генерал-капитану — пусть он сам распорядится моей судьбой.

С этими словами Агустин обнажил шпагу, переломил клинок о колено, бросил куски под ноги собравшимся, которые кружком стояли вокруг него, и ушел, не сказав больше ни слова.

— Теперь я совсем одна! Нет у меня больше заступника! — безнадежно воскликнула Марикилья.

— Не обращайтесь внимания на выходки моего сына, — сказал нам Монторья. — Я сам займусь им. Вероятно, он в самом деле увлечен девушкой... Впрочем, оно и не удивительно: с этими желторотыми семинаристами вечно случаются такие истории. А вы, сеньорита донья Мария, возьмите себя в руки и успокойтесь. Мы позаботимся о вас. Обещаю вам: если вы будете хорошо себя вести, я устрою вас в монастырь кающихся грешниц... А сейчас уведите ее.

— Нет, пусть меня разорвут на куски, но я не уйду! — в порыве беспредельного отчаяния вскричала девушка. — О, сеньор дон Хосе де Монторья, вы же просили прощения у моего отца! Даже если он вас не простил, я тысячу раз вас прощаю, только...

— Я не могу сделать того, о чем вы просите, — сокрушенно ответил дон Хосе. — Ваш отец совершил страшное преступление. Прошу вас, уходите. Я понимаю: ваше несчастье безмерно. Но вы должны покориться судьбе, несчастная сиротка, и господь отпустит вам ваши прегрешения. Положитесь на меня: все, что в моих силах... Мы поможем вам, не оставим вас... Благодарность и жалость к вам разрывают мне сердце. Пойдемте, пойдемте со мною — ведь уже без четверти десять.

— Сеньор Монторья, — молила Мария, падая перед ним на колени и целуя ему руки, — с вами считаются в городе, вы можете спасти моего отца. Вы разгневались на меня, потому что Агустин признался вам в своей любви ко мне. Но я не люблю его, нет; и больше не взгляну на него. Я честная девушка, но он не ровня мне, и я не могу даже мечтать о браке с ним. Сеньор Монторья, ради спасения души вашего покойного сына исполните мою просьбу. Мой отец

невиновен. Нет, он не мог стать предателем. Скажи мне об этом сам дух святой, я и то не поверила бы. Говорят, мой отец не был патриотом. А я утверждаю, что это ложь, ложь. Говорят, он ничего не дал на войну; зато теперь он отдаст все, что у нас есть. В подвале нашего дома зарыто много денег. Я покажу, где они закопаны, и вы заберете все целиком. Говорят, он не взялся за оружие. Ну, что ж, за него это сделаю я. Я не боюсь пуль, меня не пугает гром орудий, меня ничто не страшит; я брошусь в самое пекло и там, где не устоят мужчины, одна пойду под пули. Я стану голыми руками рыть сапы и заложу мины под каждым клочком земли, на который ступил хоть один француз. Если нужно овладеть укреплением, если нужно отстоять стену, скажите мне, и я сделаю это, потому что я ничего не боюсь потому что из всех, кто еще жив в Сарагосе, я сдамся последней.

— Несчастливая девочка! — прошептал дон Хосе, поднимая ее с земли. — Пойдемте, пойдемте отсюда.

— Сеньор Арасели, — приказал старший из офицеров, присутствовавших при этой сцене, — так как капитана дона Агустина де Монторья нет на посту, благоволи́те принять командование ротой.

— Стойте, убийцы! — закричала Мария теперь уже не с отчаянием, а с яростью львицы. — Вы не смеете казнить моего отца — он невиновен. Предатель не он, а вы сами, трусливые палачи! Вы не в силах победить врага и вознаграждаете себя тем, что лишаете жизни несчастного старика. Зачем вы болтаете о чести, горе-вояки, если не знаете, что такое честь? Где ты, Агустин? Знайте, дон Хосе де Монторья: то, что сейчас творится здесь, — это подлая месть, подстроенная вами, злопамятный и бессердечный человек. Мой отец никому не сделал зла, а вот вы пытались ограбить его... Правильно он поступил, когда не пожелал отдать свою муку: ведь те, кто именуют себя патриотами, — всего лишь торгаши, которые наживаются на несчастьях сограждан... О господи, да из этих зверей даже слова жалости не вырвешь! Каменные сердца, варвары, мой отец невиновен, а если и виновен, то он хорошо сделал, предав ваш город: ему, по крайней мере, дали больше того, что вы стоите. Но неужели здесь нет никого, ни одной души, которая сжалилась бы над ним и надо мною?

— Уведем ее отсюда, сеньоры, хоть на руках да унесем. Несчастливая девушка! — повторил Монторья. — Так больше не может продолжаться. Куда это запропастился мой сын?

Марикилью увели с площади, но я еще долго слышал ее душераздирающие крики.

— Доброй ночи, сеньор Арасели! — попрощался со мной Монторья. — Пойду попробую раздобыть чуточку воды и вина — надо же привести в себя несчастную сироту.

Прочь от меня, кошмарное видение! Не буду я спать. Но ужасный сон, который я упорно пытаюсь отогнать, вновь овладевает мной и мучает меня. Я силюсь стереть в памяти зловещую сцену, но одна ночь сменяет другую, а видение не исчезает. Мне не раз доводилось сталкиваться лицом к лицу со смертью, и я не опускал глаз, а сейчас я весь трясусь; тело мое бьет мелкая дрожь, на лбу выступает холодный пот. Шпага, обагренная кровью французов, вываливается у меня из рук, и я закрываю глаза, чтобы не видеть того, что встает передо мной.

Тщетно я гоню тебя, роковое видение! Я прогоняю тебя, но ты вновь возникаешь передо мною, ибо в моем сознании оставлен тобою слишком глубокий след. Нет, я не в силах хладнокровно лишить жизни себе подобного, хотя неумолимый долг солдата повелевает мне сделать это. Почему я не знал страха в траншеях, а сейчас весь дрожу? Могильный холод пронизывает меня. Свет фонарей выхватывает из тьмы мрачные лица, и одно из них кажется мне особенно страшным. О, это мертвенно-бледное, дикое, искаженное сверхъестественным ужасом лицо!.. Как блестят ружейные стволы! Все готово, остается только произнести одно слово, и оно — за мной. Я пытаюсь выговорить его, но тут же прикусываю себе язык. Нет, это слово никогда не сорвется с моих уст.

Прочь, прочь, кошмарное видение! Я закрываю глаза, стараюсь крепче сжать веки, но чем плотнее смежаю их, тем отчетливей зрю тебя, зловещее видение. Все замерли в мучительном ожидании; но никакие страдания не могут сравниться с моей мукой — она раздирает мне душу, восстающую против закона, который велит мне положить конец существованию моего ближнего. Время тянется, и вот повязка скрывает от меня глаза, которые я хотел бы никогда не видеть. Я не в силах взирать на это зрелище, я жажду, чтобы и мне завязали глаза платком. Солдаты глядят на меня, а я, пряча свое малодушие, силюсь придать взгляду суровость. Увы, даже в самые страшные минуты мы остаемся все теми же тщеславными глупцами. Мне кажется, что окружающие смеются над моей нерешительностью, и это, наконец, придает мне силы. Я отрываю от неба свой язык, словно прилипший к нему, и команду: «Пли!»

Как вчера, как позавчера, проклятый кошмар не дает мне покоя и этой ночью: он терзает меня, воскрешая перед моими глазами то, что я не желаю видеть. Уж лучше не спать, лучше томиться бессонницей. Я гоню от себя сон, а проснувшись, мучаюсь, как минуту назад мучился во сне. Опять все та же канонада. Наглые бронзовые пасти орудий не смолкают до сих пор. Прошло еще десять дней, а Сарагоса по прежнему не сдалась, потому что есть еще безумцы, непреклонные в своем желании сохранить для Испании эту груды пепла и праха. Здания по-прежнему взлетают на воздух, и Франция, ступившая одной ногой на испанскую землю, продолжает терять тысячи солдат и расходовать кинталы пороха, чтобы взять с бою место, куда поставить другую ногу. Испания не отступит, пока остается хотя бы один кирпич, на который может опираться здание ее беспримерного мужества.

Я изнемог, я больше не в силах двигаться. Люди, проходящие мимо, уже не кажутся мне людьми. Они измождены и вялы, их лица пожелтели, хоть это и незаметно под слоем пыли и копоти. Из-под опаленных бровей блестят глаза, которые видят лишь одно — врага, которого надо убить. Тела прикрыты грязными лохмотьями, головы повязаны платками, скрученными, как веревки. Люди так истощены, что кажутся мертвецами, которые восстали из страшной груды трупов на улице Импрента и пришли на смену живым. Там и сям в облаках дыма видны умирающие и над ними — монахи, которые шепчут им на ухо отходную. Но тот, кто умирает, уже не понимает их, да и сами святые отцы не слышат, что говорят. Даже слово господне утратило всякий смысл и значение. Все смешалось — генералы, солдаты, штатские, монахи, женщины,

нет больше ни сословий, ни полов. Никто уже не командует, и каждый защищает город на свой страх и риск.

Я не понимаю, что происходит. Не просите меня продолжать рассказ: вокруг нет больше ничего, и мне просто не о чем рассказывать. То, что я вижу, уже не кажется мне действительностью. В моей памяти явь смешивается со сном. Я лежу в подъезде какого-то дома на улице Альбардерия и дрожу от холода; левая рука у меня обвязана тряпкой, мокрой от крови и грязи. Я пылаю в жару, но мне безумно хочется собраться с силами и вернуться туда, где идет перестрелка. Вокруг меня лежат не только трупы. Я протягиваю руку и касаюсь плеча своего приятеля, который тоже еще жив.

— Как дела, сеньор Вонмигласио?

— Похоже, что французы уже перебрались через Косо, — слабым голосом отвечает он. — Они взорвали половину города. Кажется, время сдаваться. Эпидемия не пощадила даже Генерал-капитана: он лежит больной в лазарете на улице Предикадорес. Наверное, ему уже не встать. Скоро сюда придут французы. Лучше умереть, лишь бы не видеть их. А как вы, сеньор Арасели?

— Очень плохо. Сейчас попробую встать.

— Я тоже, кажется, все еще жив. Сам не ожидал. Ну ничего, господь не забудет меня, и я скоро отправлюсь прямо на небо. Сеньор Арасели, никак, вы уже померли?

Я поднимаюсь, делаю несколько шагов. Хватаясь за стены, бреду вперед и добираюсь, наконец, до Эскуала Пиа. Несколько высших военных чинов провожают до двери маленького худого священника, который говорит им на прощание: «Мы исполнили свой долг, а сделать больше — не в силах человеческих». Это падре Басильо.

Чья-то дружеская рука поддерживает меня, и я узнаю дону Роке.

— Друг мой Габриель, — горестно говорит он. — Сегодня город будет сдан.

— Какой город?

— Наш.

При этих словах мне кажется, что все вокруг сорвалось со своего места, что люди и дома куда-то стремительно мчатся. Новая башня тоже спрыгивает с фундамента и бежит, исчезая вдаль, а ее колокольня, похожая на свинцовый шлем, съезжает на сторону. Над городом уже не стоит зарево пожара. Облака черного дыма плывут с востока на запад; туда же тянутся тучи пыли и золы, взметенные порывами ветра. Небо уже не похоже на небо: оно словно полог из серой парусины, которая беспрестанно колышется.

— Все бежит, все спешит прочь из этой обители запустения, — говорю я дону Роке. Французам здесь ничего не достанется.

— Да, ничего. Сегодня они вступят в город через ворота Анхель. Говорят, мы капитулировали на почетных условиях. Посмотрите-ка, вон идут призраки, защищавшие город.

Действительно, по Косо проходят последние бойцы, те единственные из тысяч, кого не скосили ни пуля, ни эпидемия. Это отцы, утратившие детей; братья, потерявшие братьев; мужья, лишившиеся жен. Тому, кто не отыщет своих близких среди живых, нелегко будет найти их и среди павших, потому что на улицах, в подъездах, подвалах, траншеях лежат пятьдесят две тысячи трупов.

Французы, вступающие в город, останавливаются при виде этого страшного зрелища: объятые ужасом, они готовы повернуть назад. Слезы навертываются у них на глаза, и победители спрашивают друг друга, кто же эти существа, еще способные двигаться и редкой цепочкой скользящие мимо них, — люди или призраки.

Ополченец, возвращаясь к себе в дом, спотыкается о тела своей супруги и детей. Жена ищет мужа, бегая по траншеям, среди развалин домов, между баррикад. Никто не знает, где он: тысячи мертвецов немые и не скажут, лежит он среди них или нет. Многие семьи истреблены до

последнего человека, и в них уже некому вести счет погибшим родственникам. Это сберегло много слез: смерть одним взмахом скосила отца и сироту-сына, мужа и жену, жертву и того, кто должен был бы ее оплакивать.

Франция, наконец, наступила пятой на город, возведенный на берегах древней реки, которая дала имя нашему полуострову; она захватила его, но не покорила. Взирая на бесчисленные разрушения и на руины Сарагосы, императорская армия не могла считать себя победительницей героических защитников города — она стала лишь их могильщицей. Столица Арагона прибавила пятьдесят три тысячи жизней к тем сотням тысяч жертв, которыми человечество заплатило за военную славу Французской империи.

Но этот страшный дар был не напрасен, как и всякая жертва, приносимая во имя идеи. Империя была преходящим и случайным порождением изменчивой фортуны, смелости, военного гения, а такие порождения всегда играют в истории второстепенную роль, потому что они не служат идее, а существуют как самоцель. Французская империя — это буря, которая пронеслась над миром в первые годы девятнадцатого века, потрясла Европу молниями, громами и зарницами, а теперь прошла, как всякая буря, ибо естественное состояние как природы, так и общества — покой. Все мы видели закат этой империи, а в 1815 году стали очевидцами ее агонии. Правда, через несколько десятилетий она воскресла, но ненадолго; Вторую империю, как и Первую, погубило ее высокомерие. Если же это иссохшее древо даст ростки в третий раз, оно все равно уже не принесет благодатной тени и, лишь будучи срублено на дрова, согреет горстку людей, усевшихся вокруг костра.

Единственное, что не исчезло и не исчезнет, — это национальная идея, которую Испания защищала от завоевателя и узурпатора. В то время как другие народы сдавались на милость победителя, Испания ценою крови и жизни отстаивала свое право на независимость, подобно тем древнеримским мученикам, которые на арене цирка жертвовали собою во имя христианства. И это принесло свои плоды: права Испании были несправедливо ущемлены на Венском конгрессе, она по заслугам утратила свое бывшее достоинство из-за непрерывных гражданских войн, плохих правителей, беспорядков, явных и тайных банкротств, бесчестности партий, из-за своих сумасбродств, коррид и пронунсиамьенто^[32], и все-таки после 1808 года уже никто не ставил под сомнение ее право на национальную независимость. Даже сейчас, когда мы дошли до последней степени унижения, когда мы еще больше, чем Польша, заслуживаем того, чтобы нас подвергли разделу, никто не отваживается захватить эту страну безумцев.

Мы, испанцы, — люди не слишком благоразумные, а подчас и вовсе безрассудные; поэтому мы и впредь будем делать тысячи ошибок, то падая, то поднимаясь в борьбе между нашими прирожденными пороками и теми высокими добродетелями, которые мы сохранили в себе или постепенно приобретаем под влиянием идей, перенятых нами у Центральной Европы. Однако взлеты и падения, великие неожиданности и тревожения, почти неминуемая гибель и чудесное воскрешение — это участь, уготованная нашему народу самим провидением, потому что призвание его — жить в кипении страстей, как саламандра живет в огне, но всегда сохранять неприкосновенной свою национальную независимость.

Было двадцать первое февраля. Ко мне подошел какой-то незнакомец и сказал:

— Пойдем, Габриэль, ты мне нужен.

— Кто говорит со мной? — спросил я. — Мы с вами незнакомы.

— Я Агустин Монторья, ответил он. — Неужели я так сильно изменился? Вчера мне сказали, что ты умер. Как я тебе завидовал! А теперь вижу, что ты так же несчастен, как я: ты еще жив. Знаешь, друг мой, что я сейчас видел? Труп Марикильи. Она лежит на улице Антон Трильо, у входа в сад. Пойдем похороним ее.

— Я сам гоюсь скорее в покойники, чем в могильщики. Кому сейчас до похорон! От чего умерла девушка?

— Ни от чего, Габриэль.

— Странно! Без причины люди не умирают.

— У Марикильи нет ни ран, ни следов болезни, которая свирепствует в городе. Кажется, будто она уснула. Она уткнулась лицом в землю и закрыла уши руками.

— И правильно сделала. Ей просто надоел грохот выстрелов. То же самое творится со мною — я их до сих пор слышу.

— Пойдем, поможешь мне. Заступ у меня с собой.

Я с трудом дошел до того места, куда вели меня мой друг и двое его товарищей. В глазах у меня было темно, я едва различал предметы; и поэтому я разглядел лишь что-то темное на земле. Агустин и его спутники подняли и понесли тело — не то призрак и бестелесный образ, не то подлинную плоть, когда-то живую, а ныне лишенную жизни. Теперь мне кажется, что я тогда разглядел лицо Марикильи, и вид его наполнил мое сердце безысходной тоской.

— У нее нет даже самой крошечной ранки, — говорил Агустин, — на одежде ни пятнышки крови, и веки не распухли, как у жертв эпидемии. Мария умерла просто так, ни от чего. Ты видишь ее, Габриэль? Мне кажется, что это тело, которое я держу на руках, никогда и не было ж иным, что оно — прекрасная восковая фигура, которую я любил в сновиденьях, — в них она оживала, говорила, двигалась. Видишь ее? Как жаль, что все жители города лежат мертвыми на улицах! Будь они живы, я позвал бы их сюда и сказал им, что любил ее. Зачем я скрывал это как преступление? Мария, Марикилья, супруга моя, от чего же ты умерла, если на твоём теле нет ни ран, ни следов болезни? Что же произошло, что случилось с тобой в последний миг? Где ты теперь? О чем думаешь? Вспоминаешь ли ты обо мне, знаешь ли ты, что я еще жив? Мария, Марикилья, зачем у меня осталось то, что называют жизнью, если ее отняли у тебя? Где я смогу услышать тебя, поговорить с тобой, встать перед тобою и заглянуть в твои глаза? С тех пор как они закрылись, вокруг меня непроницаемый мрак. Доколе же в моей душе будут царить ночь и одиночество, на которые ты обрекла меня? Все мне опостылело. Отчаянье овладело моей душой, и я тщетно молю бога исцелить ее. С тех пор как не стало тебя, Марикилья, господь отвернулся от меня и мир опустел.

Пока он говорил, до нашего слуха донесся громкий гул голосов.

— Это французы занимают Косо, — пояснил кто-то.

— Копайте скорее, друзья, — поторопил Агустин двух товарищей, рывших глубокую могилу у подножья кипариса. Иначе придут французы и помешают нам похоронить ее.

Какой-то человек медленно бредет по улице Антон Трильо. Остановившись у разрушенной стены, он заглядывает внутрь сада. Разглядев человека, я вздрагиваю. Изменившийся, сгорбленный, мертвенно-бледный, с запавшими глазами и потухшим взором, он идет неверными шагами, и мне кажется, что я уже лет двадцать не видел его. Его одежда превратилась в

лохмотья, перепачканные кровью и грязью. В другом месте и при других обстоятельствах его приняли бы за восьмидесятилетнего нищего, пришедшего просить подаяния. Он подходит к нам и таким слабым голосом, что мы одни слышим его, говорит:

— Агустин, сын мой, что ты здесь делаешь?

— Хороню Марикилью, отец, — спокойно отвечает юноша.

— Зачем? К чему такая забота о посторонних, когда твой бедный брат все еще лежит без погребения среди других павших патриотов? Почему ты оставил мать и сестру?

— Моя сестра окружена любящими сердобольными людьми, они позаботятся о ней; а у этой бедняжки нет никого, кроме меня.

Дон Хосе де Монторя — я никогда не видел его таким мрачным и задумчивым — промолчал и стал засыпать яму, на дно которой опустили тело юной красавицы.

— Бросай землю, сынок, бросай, да побыстрее! — воскликнул он наконец. — Все кончено. Французов впустили в город, хотя можно было держаться еще месяца два. Эх, нет у людей души! Пойдем со мною и поговорим о тебе.

— Сеньор, — твердым голосом ответил Агустин, — французы в городе, но ворота еще открыты. Сейчас десять, а в полдень я покину Сарагосу и отправлюсь в монастырь Веруэла, где проведу остаток своих дней.

По условиям капитуляции гарнизон должен был выйти с военными почестями через ворота Портильо. Я был так измучен и обессилен голодом, усталостью и раной, полученной в последние дни, что моим товарищам приходилось временами нести меня. Я едва различал французов, которые скорее с грустью, чем с ликованием занимали то, что прежде было городом и от чего теперь остались лишь бесконечные, внушающие ужас руины. Увы, этой юдолью запустения стал легендарный город, достойный того, чтобы его оплакал Иеремия и воспел Гомер!

В Муэле, где я задержался на отдых, меня разыскал дон Роке, который тоже покинул город, опасаясь преследований.

— Габриэль, — сказал он мне, — я никогда не думал, что эти каналы-французы так вероломны. Я надеялся, что они воздадут должное героизму защитников города и станут человечнее. Несколько дней тому назад мы видели, как по Эбро, уносимые волнами, плыли тела двух жертв разъяренной французской солдатни из армии Ланна, — это были Сантьяго Сас, командир отважных стрелков из прихода Сан-Пабло, и падре Басильо Боджиеро, наставник, друг и советник Палафокса. Говорят, падре вызвали ночью из дома под предлогом какого то важного дела, а когда он оказался среди предателей-французов, его отвели на мост, прикончили штыками и бросили тело в реку. Такая же участь постигла и Саса.

— А наш покровитель и друг дон Хосе де Монторя?

— Он остался цел — за него вступился председатель суда, но французы уже собирались расстрелять его, и дело с концом. Видел ты подобных дикарей? Палафокса, кажется, отправляют в плен во Францию, хотя и обещали ему там личную неприкосновенность. Одним словом, сын мой, это такой народ, с которым мне бы не хотелось еще раз увидеться даже на небесах. А что ты скажешь об их хваленом маршале Ланне? Нужна отменная наглость, чтобы пойти на то, что сделал он. Он ведь взял и приказал принести ему не что-нибудь, а украшения пресвятой девы Пилар — дескать, в храме они не в безопасности. А уж как он увидел такую уйму драгоценных камней — бриллиантов, изумрудов, рубинов, глаза у него и разгорелись... И все, с тех пор он не расстаётся с этим богатством. Чтобы скрыть грабеж среди бела дня, он представил дело так, будто сама Хунта преподнесла сокровища ему в дар. Вот уж когда я искренне сожалею, что стар и не могу, как ты, драться с этим разбойником с большой дороги. Я так и сказал Монторье, когда расставался с ним. Бедный дон Хосе, как он опечален! Сдается мне, он недолго протянет: смерть

старшего сына и решение Агустина сделаться священником, монахом или даже схимником сильно расстроили его и привели в крайнее уныние.

Дон Роке решил сопровождать меня, и мы с ним вместе ушли из Муэлы. Выздоровев, я проделал всю кампанию 1809 года: принимал участие во многих сражениях, встречался с новыми людьми, завязывал знакомства, возобновлял былую дружбу. В дальнейшем я поведаю о некоторых событиях этого года и о том, что рассказал мне Андресильо Марихуан, с которым мы встретились в Кастилии, когда я возвращался из Талаверы, а он из Хероны.

Март — апрель 1874 г.

Стр. 25. *Театр «Дель Принсипе»* — крупнейший мадридский театр. Открыт в 1583 году на улице Принца (исп. Принсипе).

Стр. 26. *Мария-Антуанетта* (1755–1793) — французская королева, жена Людовика XVI. Аристократия всей Европы считала ее законодательницей мод.

Комелья Лусиано Франсиско (1716–1813) — испанский поэт и драматург. Написал более ста пьес, преимущественно мелодрамы на исторические сюжеты. Хотя его произведения искажали историю и не отличались хорошим вкусом, они пользовались в свое время большим успехом у публики.

Театр «Де ла Крус» — один из старейших мадридских театров. Основан в 1579 году; помещался на улице Де ла Крус (Крестовой).

«Когда девицы говорят «да» — пьеса Леандро Фернандеса де Моратина (1760–1828), решительного противника «развлекательной драматургии». Моратин придавал огромное значение просветительной роли театра и считал театр действенным средством борьбы с общественными пороками. Был поклонником и переводчиком Мольера. Сторонники испанской театральной традиции встретили идеи Моратина в штыки.

...речей актеров театра «Де ла Крус» против актеров театра «Дель Принсипе». — Актеры этих театров издавна враждовали. В начале XIX века театр «Де ла Крус» был оплотом сторонников классицизма (моратинистов), а театр «Дель Принсипе» — сторонников испанской национальной драматургии.

Бандерильеро — участник боя быков, втыкающий в туловище быка острые дротики — бандерильи.

Стр. 27....*наставлять «мушкетеров»*... — речь идет о клакерах — людях, которых нанимали актеры, чтобы они аплодировали им во время спектакля.

Тонадилья — песенно-танцевальный номер, предшествовавший комедии или исполнявшийся между актами; в дальнейшем превратился в самостоятельное вокальное и танцевальное произведение с несложным сюжетом.

Майкес Исидоро (1768–1820) — выдающийся испанский актер.

...все рассуждения Овидия в его поэме... — Имеется в виду «Наука любви», поэма римского писателя Публия Овидия Назона (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.).

Стр. 28. *Каньисарес Хосе де* (1676–1750), *Аньорбе-и-Коррехель Томас де* (ум. в 1741 г.), *Вальядарес-и-Сотомайор Антонио* (1760–1819) *Монсин Луис* (ум. в начале XIX в.) — авторы многочисленных пьес, лишенных серьезных литературных достоинств.

Стр. 29. *Театр «Де лас Каньос»* (полное наименование: театр «Каньос дель Перраль») — Основан в 1708 году. Вначале в этом театре ставили только итальянские оперы. С 1799 года, когда в Испании были запрещены представления на иностранных языках, в нем начали ставить испанские музыкальные и драматические произведения.

«Лос Ситиос» (точнее: «Лос Ситиос Реалес») — название королевских резиденций и создававшихся при них придворных театров.

Мария дель Росарио Фернандес (1755–1803) — одна из выдающихся испанских актрис конца XVIII века. Прозвище «Ла Тирана» («тиранка») получила, выйдя замуж за актера Франсиско Кастьяноса, которому обычно поручали роли жестоких деспотов.

Стр. 30. *Рита Луна* (1770–1832) — талантливая актриса, достойная соперница Ла Тираны. В 1806 году неожиданно покинула сцену и больше не вернулась в театр.

Мария Фернандес, прозванная «Ла Карамба» (1751–1787) — первоклассная комическая

актриса, лучшая исполнительница тенадий. Прозвище «Ла Карамба» получила после исполнения песенки, каждый куплет которой заканчивался восклицанием «Карамба!», соответствующим русскому «Черт возьми!».

Ла Прадо (Антония де Прадо; (1765–1830) — певица и драматическая актриса.

Вирг Мария Хосефа (1776–1843) — драматическая актриса.

Ривера Мария (1765–1821) — известная драматическая актриса.

Гарсиа Мария (1765–1827) — известная драматическая актриса.

Лусан Игнасио (1702–1754) — испанский поэт и теоретик литературы, автор трактата «Поэтика, или Правила поэзии в ее целом и важнейших ее родов». Придерживался эстетических теорий классицизма.

Монтиано-и-Луийяно Агустин (1697–1764) — историк, литератор и критик, член Королевской академии испанского языка.

Питильяс Хорхе — псевдоним испанского сатирика — священника де ла Торре (1688–1742).

Баттё Шарль (1713–1780) — французский священник-гуманист, автор ряда трактатов об искусстве.

Блэр Хью (1718–1800) — шотландский литератор и теоретик искусства.

Депрео — Никола Буало-Депрео (1636–1711), французский теоретик литературы, сформулировавший основные принципы классицизма.

Элеутерио Криспин де Андорра — персонаж пьесы Леандро Моратина «Новая комедии, или Кафе». В образе Криспина де Андорра Моратин вывел Комелью.

...обоснования трех единств... — Речь идет о единстве места, единстве времени и единстве действия, обязательном каноне античной трагедии, возрожденном драматургами-классицистами.

...босоногие монахи... — монахи католических нищенствующих орденов.

Кладера Кристоаль (1760–1813) — испанский священник и писатель, автор моралистических исторических трудов.

Гермохенес — персонаж комедии Л. Моратина «Новая комедия». Имя Гермохенеса стало нарицательным для образа ученого-педанта.

«Великая осада Вены» — название пьесы, якобы написанной в стиле Комельи персонажем пьесы Л. Моратина «Новая комедия».

Стр. 31. *«Милосердие Леопольда Великого», «Петр Великий во время осады Полтавы»* — пьесы испанского драматурга Гаспара де Сабала-и-Самора (1760–1813).

...именно потому, что классицисты их презирали. — Сторонники классицизма осуждали Лопе де Вега. Кальдерона и других испанских драматургов эпохи Возрождения за то, что они, по мнению классицистов, нарушали законы развития подлинного искусства, прежде всего каноны античной трагедии, и подчиняли искусство изменчивым вкусам публики.

Стр. 32. *...во время нашумевшей премьеры...* — Описываемая Гальдосом сцена произошла три года спустя, во время премьеры пьесы Л. Моратина «Барон». Противники Моратина подготовили все, чтобы провалить премьеру спектакля «Когда девицы говорят «да», но не решились осуществить свой план, так как в зале присутствовал покровитель автора — первый министр Испании Мануэль Годой.

Стр. 32. *...театр «Дель Принсипе», сгоревший несколько лет назад, еще не был отстроен.* — Пожар в здании театра «Дель Принсипе» произошел в июле 1802 года. Восстановление и реконструкция театра были закончены в августе 1807 года.

Князь Мира — титул Мануэля Годоя (1767–1851) — первого министра Испании в 1792–1798 и 1801–1808 годах.

«Ханжа» (в другом переводе «Святоша»), *«Барон»* и *«Новая комедия»* — пьесы Леандро

Моратина, впервые поставленные соответственно в 1804, 1803 и 1792 годах.

Стр. 33....*назлого писаку, которого Меркурий избирает из галдящей толпы...* — Имеется в виду эпизод из поэмы Сервантеса «Путешествие на Парнас», где говорится о бездарных поэтах, позорящих поэзию.

Стр. 34. *Коцебу Август* (1761–1819) — реакционный немецкий писатель, автор сентиментально-нравоучительных пьес.

«*Орест*» — трагедия итальянского поэта-классициста Витторио Альфиери (1749–1803).

Стр. 37. «*Долой колбасников!*» — Приверженцев театра «Дель Принсипе» их противники называли «колбасниками». Прозвище это утвердилось за ними после скандала, который в присутствии зрителей один из актеров учинил гардеробщику театра за то, что тот забыл принести ему колбасу, требовавшуюся по ходу действия пьесы.

Кои про кво (qui pro quo; лат.) — недоразумение, вызванное тем, что одно лицо ошибочно принимают за другое.

Стр. 38. «*Долой полячишек!*» — Приверженцев театра «Де Ла Крус» называли «поляками» по имени их страстного поклонника — священника, прозванного «Брат Поляк».

Стр. 39. «*Фридрих Второй*», «*Екатерина, владычица России*», «*Рабыня Негропонто*» — пьесы Комельи.

Стр. 40. «*Астраханский маг*» — пьеса Антонио Валядареса; «*Испании святой закон Астурия признала и Леон*», «*Торжество дона Пелайо*» — пьесы неизвестных авторов, поставленные в Мадриде соответственно в 1798 и 1795 годах.

Стр. 42. *Кабальеро Хосе Антонио, маркиз де* (1760–1821) — министр юстиции в 1798–1808 годах, реакционер и мракобес, ярый противник Моратина.

Стр. 43. *Санбенито* — одеяние лиц, приговоренных инквизицией к смертной казни.

Стр. 44. *Капеллания* — должность священника при домашней католической церкви.

Бенефиций — доходы, связанные с церковной должностью.

Пребенда — имущество и доходы, предоставляемые духовному лицу за выполнение определенных административных обязанностей.

Стр. 47. *Архиепископ Толедо* — примас (глава) испанской католической церкви.

Стр. 51....*у него-то крылья были, да вокруг не было воздуха...* — Речь идет об эпизоде, описанном Сервантесом в «Дон Кихоте» — попытка Дон-Кихота и Санчо Пансы взлететь на деревянном коне Клавилельо (том 2, главы XL, XLI).

Стр. 52. *Вильянуэва Хуан де* (1739–1810) — знаменитый архитектор, построивший в Мадриде много зданий.

Гарсиа Мануэль Висенте (1775–1832) — певец, композитор и педагог, отец знаменитых певиц Малибран (1808–1836) и Полины Виардо (1821–1910).

«*Санчо Ортис де лас Роэлас*» — пьеса испанского драматурга XVIII века Кандидо Мария Тригероса, переработка «Звезды Севильи» Лопе де Вега.

«*Гарсиа дель Кастаньяр*» — популярная пьеса испанского драматурга Франсиско Рохаса де Соррилья (1607–1648).

Стр. 53. *Артемидор* — греческий царь Бактрианы (I в. до н. э.).

«*Флорида*» — ресторан в Мадриде.

Пене Хильо (настоящее имя: Хосе Дельгадо; 1754–1803) — прославленным севильский матадор.

Стр. 56. *Барахас* — городок близ Мадрида. *Какабелос* — небольшой городок в провинции Леон. Бродячим актерам разрешали выступать только в маленьких городах, расположенных не ближе чем в одной миле от Мадрида.

Стр. 57. *Десима* — десятистишие.

Стр. 58. *Россини Джоаккино Антонио* (1792–1868) — знаменитый итальянский композитор. Упоминание его имени в этом контексте — анахронизм, так как в описываемое Гальдосом время ему было всего пятнадцать лет.

Стр. 59. *Фаринелли* — театральный псевдоним знаменитого итальянского певца Карло Броски (1705–1782). Был придворным певцом в Мадриде.

Пико де ла Мирандола Джованни (1463–1494) — итальянский философ-гуманист.

Менгс Антонио Рафаэль (1728–1779) — немецкий художник, живший много лет в Испании; был придворным художником испанского короля Карла III.

«*Буэн-Ретиро*» — королевский дворец и придворный театр в Мадриде. В XVIII веке в нем ставились оперы и балеты. В 1734 году «Буэн-Ретиро» сгорел.

Стр. 59. *Эстрада* — часть гостиной, расположенная на небольшом возвышении.

Стр. 60. *Чамартин-де-ла-Роса* — северный пригород Мадрида, где находился женский монастырь.

Святой Бенедикт (480–549) — основатель монашеского ордена бенедиктинцев и автор его устава.

Стр. 61. *Немврод* — согласно библейской легенде, смелый охотник, основатель Вавилона.

Стр. 62. *Тарифа* — город в Испании на берегу Гибралтарского пролива.

Стр. 63. *Флоридабланка Хосе* (1728–1808) — государственный деятель, в 1777–1792 годах был первым министром Испании. Ярый враг французской революции.

Аранда (настоящее имя Педро Пабло Абарка-де-Болеа, граф; 1718–1799) — видный испанский государственный деятель, просветитель, возглавлял правительство в 1792 году, но вскоре был заменен Годоем.

Стр. 64....*по делам Индий...* — Индиями называли испанские колонии в Латинской Америке.

Кобленц — город в Пруссии, в котором во время Великой французской революции находился центр роялистской эмиграции.

Вольтерьянцы и конституционалисты — последователи французского философа и писателя-просветителя Вольтера (1694–1778), выступавшего за конституционную монархию во главе с «просвещенным королем».

Стр. 66....*идет слух, будто в эти часы войска Наполеона вступают в Испанию.* — Французские войска вступили на испанскую территорию 18 октября 1807 года.

Стр. 67....*северную отдадут королеве Этрурской...* — По соглашению между Наполеоном и Карлом IV в 1801 году в Италии было образовано государство Этрурия (Тоскана и Парма), переданное родственникам испанского короля. В 1807 году Наполеон решил аннексировать Этрурию, а взамен обещал королеве Этрурии (испанской инфанте) северную часть Португалии.

...опубликовал знаменитый октябрьский манифест... — Лавируя между Наполеоном и антифранцузской коалицией, Годой в октябре 1806 года опубликовал манифест, в котором говорилось, что вся нация должна подняться против врага, но не указывалось, кто именно является этим врагом — Франции или же Пруссия, Англия и Россия.

Стр. 71. *Боргезе Камилло* (1775–1832) — итальянский князь, вставший на сторону Наполеона: женился на его сестре Полине Бонапарт; в 1807 году стал правителем Пьемонта.

Стр. 72. *Князь Пьомбино* (Феликс Баччоки 1762–1841) — корсиканский офицер; муж сестры Наполеона Элизы. В 1806 году Наполеон передал им княжество Пьомбино.

Аренберг Луи-Проспер (1785–1861) — офицер армии Наполеона; муж племянницы жены Наполеона Жозефины Богарнэ.

Бонапарт Люсьен (1775–1840) — брат Наполеона; в 1800–1802 годах был послом в Мадриде. Женившись вопреки воле своего брата, попал в немилость и в 1804 году поселился в

Риме. Упоминание Гальдоса о переговорах Годоя с Люсьеном в 1807 году — ошибка.

Стр. 74....*при дворе императора Леопольда...* — Речь идет о Леопольде II, который был германским императором с 1790 по 1792 год.

Стр. 74....*объявил войну Франции...* — Здесь Гальдос допускает неточность: в 1793 году не Испания объявила войну Франции, а революционная Франция объявила войну Испании в ответ на провокационную антифранцузскую политику ее правительства.

...*вступлению сеньоров Сааведры и Ховельяноса на посты министра финансов и министра юстиции.* — Стремясь укрепить свое пошатнувшееся положение, Годой решил привлечь в правительство людей, пользующихся авторитетом в стране. С этой целью он назначил в 1797 году Франсиско Сааведру (1746–1819) министром финансов, а видного политического деятеля и писателя Гаспара де Ховельяноса (1744–1811) — министром юстиции. Однако удержаться у власти Годой не удалось, в марте 1798 года он был вынужден уйти в отставку. Главой правительства на короткое время стал Сааведра, а с августа 1798 года Мариано Уркихо (1768–1817). В 1801 году Годой был возвращен на пост первого министра.

Стр. 76. *Дюрок Жерар-Кристоф* (1772–1813) — французский генерал, приближенный Наполеона.

Стр. 77. *Кампоформио* — деревня в Италии, где в октябре 1797 года был подписан мирный договор между Францией и Австрией.

Пресбург. — В этом городе в декабре 1805 года был подписан мирный договор между Францией и Австрией.

Люневиль — город во Франции, в котором в феврале 1801 года был подписан мирный договор между Францией и Австрией.

Стр. 79....*франт из Лаваньеса или гуляка из Маравильяса...* — Лаваньес и Маравильяс — кварталы Мадрида.

Стр. 85....*припоминая легенду о Диане и Эндимионе...* — В греческой мифологии Эндимион — юноша-красавец, которого полюбила богиня Диана (Артемида).

Стр. 89. *Колбасник* — прозвище Годоя.

Браганца — династия португальских королей.

Стр. 90....*в поддержке знатока Гиппократова искусства...* — Гиппократ (около 460–377 гг. до н. э.) — знаменитый древнегреческий врач, один из основоположников научной медицины.

Диоскорид Педаний — греческий врач (I в. н. э.).

Стр. 91....*по праву мертвой руки...* — Светские и духовные феодалы имели право после смерти крестьянина изымать имущество, принадлежавшее крестьянской семье.

...*светило Галлии...* — Имеется в виду Наполеон.

Стр. 93. *Гравина Федерико Карлос* (1756–1806) — испанский адмирал; был смертельно ранен под Трафальгаром.

Фридрих Великий — король Пруссии (1740–1786).

«*Святейшая Троица*» — флагманский корабль испанского флота во время битвы при Трафальгаре.

Стр. 95....*клака Эстала, Мелона и Моратина...* — Педро Эстала и Хуан Антонио Мелон — второстепенные драматурги, современники и подражатели Моратина, противники Комельи.

Стр. 98. *Принцесса Астурийская* — первая жена Фердинанда; умерла в 1806 году.

Стр. 110. *Эскоикис Хуан де* (1762–1820), *Инфантадо* (Педро Алькантара де Толедо, герцог де Инфантадо; 1773–1841), *Оргас Луис Мария*, граф (1766–1840) — испанские аристократы, приближенные Фердинанда, ярые противники Годоя.

Стр. 1!2....*предстать перед Кастильским советом...* — В описываемое Гальдосом время Кастильским советом назывался консультативный орган, состоявший из назначенных королем

представителей высшей знати.

Стр. 113....*мрачные стены, воздвигнутые Филиппом...* — Эскориальский монастырь и дворец были построены при короле Филиппе II в 1563–1584 годах.

Стр. 119....*пойти в иеронимитский монастырь...* — Иеронимиты — монахи религиозного ордена, основанного в честь одного из «отцов церкви» Иеронима Блаженного (IV–V вв.).

Стр. 122. *Сайнете* — небольшая комическая пьеса.

Стр. 123. *Эрменегильд* — вестготский принц (VI в.), сын вестготского короля Испании Леовигильда, принявший католицизм. По приказу отца был обезглавлен, впоследствии причислен церковью к лику святых.

Стр. 128. *Луис де Бурбон*, кардинал Эскала (1777–1823) — двоюродный брат Карла IV; в юности был епископом Севильи.

...*принял присягу депутатов на острове Леон...* — Речь идет о присяге депутатов Кадисских кортесов, собравшихся в 1810 году на острове Леон для выработки конституции Испании.

Стр. 128. *Лоренсана Франсиско Антонио де* (1722–1804) — кардинал, архиепископ Толедский.

Хиль Альварес-и-Каррильо де Альборнос (1310–1367) — кардинал, основатель испанской коллегии в Болонье.

Мендоса Педро Гонсалес (1428–1495) кардинал, ближайший советник королей Испании Изабеллы и Фердинанда, архиепископ Севильский и Толедский. Его называли «великим кардиналом Испании».

Силисео Хуан Мартинес-Муньос (1475–1557) — ученый, кардинал, исповедник короля Карла I.

Петр Ломбардский (1110–1160?) — итальянский схоласт; автор произведения «Четыре книги сентенций», изучавшегося во всех духовных учебных заведениях.

Стр. 129. *Дон Карлос* (Карлос Мария Исидро де Бурбон; 1788–1855) — второй сын Карла IV и Марии Луисы. Впоследствии стал основателем реакционной династической партии карлистов, которая оспаривала престол у Изабеллы, дочери его брата, и стремилась восстановить абсолютистский режим.

Франсиско де Паула Антонио де Бурбон (1794–1865) — младший сын Карла IV.

...*пунцовый костюм мамелюка...* — Мамелюк — солдат египетской лейб-гвардии. После похода в Египет Наполеон создал кавалерийский эскадрон мамелюков, составлявший часть его охраны.

...*аркадский пастух...* — Пастух из гористой области Аркадии (Греция). В литературе — идиллический образ счастливого, беззаботного человека.

Антонио-Паскуаль (1775–1817) младший брат Карла IV.

Габриель (ум. в 1778 г.) — брат Карла IV.

Приор — настоятель католического монастыря.

Стр. 130....*по возвращении из Валансэ...* — С 1808 по 1815 год Фердинанд, дон Карлос, Луис Бурбон и Антонио Паскуаль содержались Наполеоном в замке Талейрана Валансэ (Франция).

Стр. 132. *Касик* — племенной вождь индейцев; здесь: неограниченный властитель.

Альгвасил — полицейский чин.

Стр. 133. «*Дель Новисиадо*» — часть Эскориала, где обычно жили послушники.

Мария-Хосефа — сестра Карла IV.

Стр. 141. *Аранхуэс* — город неподалеку от Мадрида, летняя резиденция испанских королей.

Стр. 144. *Симония* — продажа церковных должностей за деньги.

Стр. 151. *Сантьяго* — святой, покровитель Испании; день его празднуется 25 июля.

Секретный договор с Францией. — Имеется в виду секретное соглашение между Францией и Испанией, подписанное в Фонтенбло 29 октября 1807 года.

Стр. 152. *Орден Золотого Руна* — высший орден Испании, учрежденный Карлом I (XVI в.).

Стр. 153....*мое праздное присутствие при Трафальгарском сражении...* — Об участии Габриэля в Трафальгарском сражении Гальдос рассказывает в первой книге «Национальных эпизодов» — в романе «Трафальгар».

Стр. 158. *Лицензиат* — одна из младших ученых степеней в западноевропейских университетах.

Сиеста — послеобеденный отдых.

Стр. 159....*с Чафаринских островов...* — Острова близ побережья Марокко, принадлежавшие Испании.

Стр. 160....*совет алькальдов.* — Алькальды — судебные, финансовые и таможенные чиновники.

Стр. 165. *Коадьютор* — помощник епископа католической церкви.

Стр. 166. *Вице-король* — правитель испанских колоний.

Капитан-генерал — командующий военным округом.

Стр. 168....*архидиакон из Алькараса...* — В Алькарасе Эсконкис начинал свою духовную карьеру в должности архидиакона.

...*чтобы подчинить волю своего ученика...* — Эсконкис был наставником принца Астурийского.

Богарнэ Франсуа (1756–1846) — брат первого мужа Жозефины Богарнэ. В начале XIX века был послом в Мадриде. Через него велись секретные переговоры между Фердинандом и Наполеоном.

Стр. 173. *Крус Рамон де ла* (1731–1795) — известный испанский драматург, автор множества талантливых сайнете.

Манифест 5 ноября. — Имеется в виду покаянное письмо Фердинанда родителям.

Стр. 177. *Пантоха де ла Крус Хуан* (1551–1610), *Санчес Коэльо Алонсо* (1527–1590) — испанские художники-портретисты, работавшие при дворе Филиппа II.

Стр. 178. «*Капричос*» — серия офортов Гойи.

Стр. 179. *Ифигения* — героиня греческих мифов, персонаж многих пьес античных драматургов.

Стр. 180. *Дюсис Жан-Франсуа* (1733–1816) — французский драматург, адаптировавший для французской сцены трагедии Шекспира, нередко извращая при этом его идеи.

Стр. 181. *Арриаса Хуан Батиста* (1770–1837) — драматург и поэт, пользовавшийся покровительством королевского двора.

Варгас Понсе Хосе де (1760–1828) — поэт и писатель, член Академии языка и истории.

Стр. 186....*подобно Иосифу, отверг чувства той высокопоставленной особы...* — Библейская легенда гласит, что юный Иосиф, живший в услужении, отверг домогательства жены своего хозяина, которая в отместку обвинила его в попытке учинить над нею насилие.

Ретиро — парк в Мадриде, где тайно встречались французский посол в Мадриде Богарнэ и принц Астурийский.

Стр. 187....*во время республиканских войн...* — Имеются в виду войны республиканской Франции против иностранных интервентов (1792–1799 гг.).

Стр. 217. *Мятеж в Аранхуэсе* — народное восстание против Годоя 19 марта 1808 года.

...*наступило второе мая...* Имеется в виду 2 мая 1808 года, день всеобщего восстания населения Мадрида против французских захватчиков. Об Аранхуэсском мятеже и восстании второго мая Гальдос рассказывает в третьем романе «Национальных эпизодов» «Девятнадцатое

марта и второе мая».

Д. Прицкер

Стр 221....18 декабря вечером. — К 18 декабря 1808 года французские войска завершили окружение Сарагосы, положившие начало ее второй осаде (20 декабря 1808 г. — 21 февраля 1809 г.).

Новая башня (другое название: Наклонная башня) — одна из главных архитектурных достопримечательностей Сарагосы; сооружена в XVI веке.

...и мы бежали. — Об упоминаемых здесь событиях сообщается в романе Б. Переса Гальдоса «Наполеон в Чамартине», предшествующем «Сарагосе» в первом цикле «Национальных эпизодов».

Реал — испанская мелкая серебряная монета.

Столица Арагона — Сарагоса.

Куарто — испанская денежная единица, равноценная в начале XIX века $\frac{1}{4}$ реала.

«Эскуэла Пиа» — церковная школа-интернат. Такие бесплатные школы создавались специально учрежденным в конце XVI века испанским католическим орденом того же названия.

Стр. 222. *Дом. Гигантов* — дворец графов Мората, выстроенный в конце XVI века, получил в народе название дома Гигантов в связи с тем, что у его главного входа были помещены два скульптурных изображения Геркулеса.

...при снятии первой осады... — В конце первой осады (15 июня — 14 августа 1808 г.) французское командование, не добившись успеха в ходе десятидневных уличных боев, отказалось от дальнейших попыток овладеть Сарагосой. Решению о снятии осады способствовали также поражения французских войск и в других районах Испании. В середине августа 1808 года, оставив большую часть ранее захваченных территорий, французская армия отступала на широком фронте к реке Эбро и далее к франко-испанской границе.

Стр. 223. *Труко* — популярная в народе испанская игра, напоминающая бильярд, но отличающаяся от него тем, что сталкивающиеся шары кидают, а не ударяют кием.

Стр. 224... 4 августа... — 4 августа 1808 года участники первой обороны Сарагосы завязали ожесточенные уличные бои с ворвавшимися в этот день в город французскими войсками.

...бой в Лас Эрас... — 15 июня 1808 года в пригороде Сарагосы, на кладбище в Кампо де Лас Эрас, защитники города задержали наступавшие французский войска. После провала попытки захватить Сарагосу с ходу неприятель приступил к ее планомерней осаде (первая осада).

Стр. 225. *Арагонские волонтеры* — отряды народного ополчения, создававшиеся в Арагоне, как и в других испанских провинциях, после известия о восстании в Мадриде 2 мая 1808 года.

Артиллеристка — прозвище Агустины Доменеч (Агустина де Арагон Доменеч; 1780–1858). 1 июля (а не 4 июня, как ошибочно указывает Гальдос) 1808 года Агустина заменила выбывших из строя артиллеристов одной из испанских батарея и до конца первой осады Сарагосы оставалась в составе орудийной прислуги.

Стр. 226. *Мигель Саламеро*. — В разгар уличных боев вечером 7 августа 1808 года французы попытались продвинуться вперед на одном из ключевых участков обороны Сарагосы и, подкатив пушку, начали атаку. Сарагосский гражданин Мигель Саламеро метким огнем из ружья один сдерживал французский отряд до подхода подкреплений. Попытка французов пробиться на этом участке была сорвана. В память о подвиге Мигеля Саламеро одна из улиц Сарагосы впоследствии была названа его именем.

Альфакерия (или Альфакерия) — крепость и дворец, сооруженные при мавританском правителе Сарагосы Ибн аль-Хафе (или аль Фахе, 864–889 гг.).

Стр. 228. *Лоренсо Кальво* (Лоренсо Кальводе Росас) — один из создателей и командиров арагонского народного ополчения в мае 1808 года. Во главе отряда волонтеров участвовал в первой обороне Сарагосы. В дальнейшем входил в немногочисленную группу радикально настроенных членов Центральной хунты (см. коммент. к стр. 231).

Реновалес (Мариано Реновалес; 1774–1819) — офицер испанской регулярной армии, отличившийся во время первой и второй обороны Сарагосы. После захвата города неприятелем был взят в плен, но бежал из Франции и возглавил партизанский отряд в Наварре.

Пресвятая дева дель Пилар. — Под этим именем католическое духовенство объявило деву Марию покровительницей Сарагосы. Собор дель Пилар — главный городской собор, в котором находилась пышно украшенная статуя богоматери. Сохранив религиозную оболочку, культ девы дель Пилар приобрел в сознании сарагосских граждан светское патриотическое содержание, особенно отчетливо проявлявшееся в обстановке национально-освободительной борьбы (см. также коммент. к стр. 242).

Стр. 229. *Палафокс* (Хосе де Ребольедо Палафокс-и-Мелси; 1776–1847) — представитель высшей аристократии, принадлежавший к древнему арагонскому роду. До начала войны за независимость и революции 1808–1814 годов Палафокс проводил большую часть времени при дворе Карла IV. С помощью интриг ему удалось добиться звания генерала испанской регулярной армии. Когда сарагосцы, поднявшиеся на борьбу против французских захватчиков, арестовали наместника Карла IV в Арагоне Х.-А. Гильельми, они доверили пост Генерал-капитана Арагона Палафоксу (27 мая 1808 г.), который официально руководил первой и второй (до начала февраля 1809 г.) обороной Сарагосы. В ходе первой осады 8 августа 1808 года во главе отряда регулярных войск Палафокс предпринял вылазку, которая оказалась удачной, так как французские войска были измотаны уличными боями.

Франсиско Инас. — 4 августа 1808 года, когда французские регулярные части прорвали внешнюю линию обороны, народные ополченцы под командованием Франсиско Инаса самоотверженно сражались за каждый дом и, нанеся противнику тяжелые потери, задержали его. Из тридцати волонтеров, составлявших отряд Франсиско Инаса, двадцать четыре пали в этом бою.

Стр. 231. *Падение Мадрида*. — Имеется в виду вторая (после начала наполеоновской интервенции) оккупация французскими войсками испанской столицы. 3 ноября 1808 года во главе трехсоттысячной армии Наполеон начал новое наступление в глубь Пиренейского полуострова. 4 декабря 1808 года на направлении главного удара, где Наполеон лично командовал войсками, французская армия вступила в Мадрид и вышла на линию реки Тахо. Эти исторические события, происходившие между первой и второй обороной Сарагосы, отражены в романе Б. Переса Гальдоса «Наполеон в Чамартине».

Стр. 231....с 15 июня по 14 августа... — то есть во время первой осады Сарагосы (1808 г.).

Хунта. — Имеется в виду Верховная центральная хунта, исполнявшая с 21 сентября 1808 по 29 января 1810 года функции высшего законодательного и исполнительного органа на неоккупированной испанской территории. Характеризуя деятельность Хунты, членами которой были в основном представители высшей испанской знати, К. Маркс писал: «... Центральная хунта не только повисла мертвым грузом на испанской революции, она фактически действовала на руку контрреволюции, восстанавливая прежние власти, снова выковыывая уже разбитые цени, гася пламя революции всюду, где ему удавалось пробиться, оставаясь сама в бездействии и мешая действовать другим» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 10, стр. 451). Центральная хунта, в частности, занималась раздачей выгодных должностей в заокеанских колониях.

Бой у Пуэрта-де-лос-Посос — столкновение жителей испанской столицы с войсками Наполеона на подступах к Мадриду в начале декабря 1808 года (см. коммент. к стр. 230),

происшедшее после того, как члены Мадридской хунты, представители испанском знати, постановили сдать город французам.

Стр. 233. *Босоногие августинцы* — монахи католического ордена, основание которого приписывается Аврелию Августину (354–430). В действительности орден возник из мелких монашеских объединений в середине XIII века. Орден Августинцев — один из так называемых нищенствующих орденов, с помощью которых католическая церковь хотела показать народу, как само духовенство следует своему призыву отказываться от земных благ.

Тринитари — члены католического монашеского ордена Пресвятой троицы (лат. «sanctissimae trinitatis»), основанного в конце XII века.

...героическая битва 15 июня... — См. коммент. к стр. 224.

Стр. 235. *Нумансийцы* — жители города Нумансии, принадлежавшие к кельтиберскому племени ареваков, прославившемуся своей упорной борьбой против римских завоевателей во II веке до н. э. Особенно знамениты стойкость и героизм нумансийцев во время многомесячной осады города (134–133 гг. до н. э.) римскими легионами во главе с разрушившим Карфаген полководцем Сципионом Эмилианом.

Альпаргаты — самодельные холщовые сандалии на плетеной веревочной подошве.

Стр. 236....*приказ Палафокса от 13 декабря... Новый приказ, который обязывал солдат армии Центра, рассеянной в сражении под Туделой, незамедлительно явиться на сборный пункт.* — 23 ноября 1808 года тридцатишеститысячный корпус маршала Ланна (см. коммент. к стр. 278) нанес под Туделой поражение армии Центра под командованием генералов Кастаньоса и Палафокса, пытавшихся сдержать второе наступление французской армии. После этого сражения главные французские силы, не опасаясь за свой левый фланг, продолжили движение к Мадриду (см. коммент. к стр. 230), а корпус Ланна, преследуя части Палафокса, вышел к Сарагосе. Несмотря на опыт первой обороны города, в начале второй обороны Палафокс делал основную ставку на остатки находившихся под его командованием регулярных войск.

Я защищал Мадрид и дрался при Байлене... — Имеются в виду восстание в Мадриде против французских войск 2 мая 1808 года и сражение под Байленом 19–22 июля 1808 года, в котором испанские войска нанесли крупное поражение французским. Эти события изображены Гальдосом в романах «Девятнадцатое марта и второе мая» и «Байлен».

Разговоры о приближении французов я слышал с самого моего приезда, но лишь двенадцатого слухи стали неопровержимым фактом. — Здесь у Гальдоса неточность: на подступах к Сарагосе французские части, участвовавшие во второй осаде, появились 24 ноября (а не 20 декабря) 1808 года (см. также коммент. к стр. 221).

Сюше (Луи-Габриэль Сюше, герцог Альбуфера; 1770–1826) — маршал Франции.

Монсе (Бон-Адриан Жанно Монсе, герцог Конеглиано; 1754–1842) — маршал Франции; руководил второй осадой Сарагосы с 20 декабря 1808 до 1 января 1809 года. Был смещен Наполеоном, заменившим его маршалом Жюно (см. коммент. к стр. 262).

Стр. 237....*двадцать первого...* — Закончив окружение Сарагосы 20 декабря 1808 года, французские войска начали штурм города утром следующего дня.

...батарея Великомучеников. — Имеется в виду батарея, установленная у стен монастыря Великомучеников.

Стр. 241. *Унция* — испанская золотая монета, равноценная тремстам двадцати реалам.

Стр. 242. *«Сказала святая дева Пилар...»* — начальная строка песни, сложенной защитниками Сарагосы во время первой обороны города. Дальше в песне говорится, что пресвятая дева, не желая быть французской подданной, собирается стать капитаном войска арагонского.

Канонизировать — причислить к лику святых и воздать особые почести.

...подлинный *Эльзефир*. — Эльзевиры (середина XVI — середина XVII в.) — голландские книгопечатники, издания которых отличались изяществом и были выполнены особым шрифтом. Среди книг, напечатанных Эльзевирами, почетное место занимали произведения римских классиков.

Стр. 243. *«Энеида»*. — См. коммент. к стр. 280.

Стр. 245. *Фердинанд VII* (1784–1833) — старший сын Карла IV Бурбона, принц Астурийский, с марта по апрель 1808 года и в 1814–1820, 1824–1833 годах — испанский король.

Стр. 246. *Педро Вильякампа* (1776–1848) — офицер испанской регулярной армии. Во время первой и второй обороны Сарагосы командовал частями арагонского народного ополчения, а затем возглавлял партизанские отряды.

Стр. 247....*солдаты только что прибыли из Силезии...* — Заключив Тильзитский мир с Россией и Пруссией (7–9 июля 1807 г.), Наполеон передислоцировал из Центральной Европы для военных операций в Испании болсе двухсот тысяч солдат (см. также коммент к стр 222 и 230).

Стр. 248. *Куртина* — часть крепостной стены между двумя бастионами.

Стр. 249. *Гекатомба* — массовое жертвоприношение (*греч.*); зд.: массовое убийство, единовременная гибель множества людей.

...*15 июля...* — У Гальдоса ошибка: имеется в виду 15 июня 1808 г. (см коммент. к стр. 224).

...*4 августа* — 4 августа 1808 года. — См. коммент к стр. 224.

Стр. 250....*нынешняя война с Пруссией*. — Речь идет о франко-прусской войне 1870–1871 годов.

...*21 декабря* — 21 декабря 1808 года. См. коммент. к стр. 237.

Стр. 257. *Апсида* — полукруглая, иногда многоугольная, выступающая часть здания, перекрытая сводом.

...*в те времена в Сарагосе уже была своя «Газета»*. — «Газета» — официальный периодический вестник, первоначально существовавший лишь как орган центрального правительства и издававшийся в Мадриде. С мая 1808 года в Сарагосе начала выходить своя «Газета» — орган властей Арагона.

Генерал-капитан — Палафокс (см. коммент. к стр. 229).

Боджиеро (Басилио Боджиеро; 1752–1809) — ученый монах, главный советник Палафокса во время второй осады Сарагосы.

Стр. 258. *Параллель* — траншея, ров вдоль крепостной стены.

Стр. 259. *Валлонские гвардейцы* — сохранявшееся по традиции название созданной в конце XVI века личной охраны испанских королей, которая в то время комплектовалась из валлонцев (жителей Валлонии — области во Фландрии, входившей в состав испанских владений). В изображаемое время валлонскую гвардию составляли испанцы.

Стр. 262. *Генерал* — то есть Палафокс (см. коммент. к стр. 229).

...*столь же важную роль...* как *битве при Эрас*. — См. коммент. к стр. 224.

Жюно (Андош Жюно, герцог Абрантес; 1771–1813) — маршал Франции, назначенный Наполеоном командовать второй осадой Сарагосы вместо маршала Монсе и пробывший на этом посту с 1 по 22 января 1809 года, когда Наполеон заменил его маршалом Ланном (см. коммент. к стр. 278).

Стр. 263. *Тетдепон* — предмостное укрепление (*франц.*).

Хунта. Здесь имеется в виду Продовольственная хунта, входившая в созданную Палафоксом лишь в начале февраля 1809 года Сарагосскую хунту, которой он передал власть, заболев в конце второй осады. Большинство членов Хунты составляли назначенные Палафоксом представители местной знати и духовенства. Не справляясь с решением практических задач, связанных с

обороной города и снабжением его жителей, Хунта уделяла много внимания раздаче титулов и наград.

Стр. 264. *Минориты* (букв: «меньшие братья» от лат. *minor* — меньший). Минориты входили в католический монашеский орден Францисканцев, основанный в 1209 году Франциском Ассизским (1182–1226).

Стр. 265. *Рик* (Педро Мариа Рик) — арагонский аристократ, пользовавшийся особым покровительством Палафокса и введенный им в Сарагосскую хунту (см. коммент. к стр 263). Рик представлял его на переговорах с французами, завершившихся сдачей Сарагосы неприятелю.

Хота — испанский народный танец, часто сопровождаемый песней.

Стр. 266. *Бандурия* — испанский народный музыкальный инструмент наподобие гитары.

Стр. 269. *Мануэла Санчо, вторая Артиллеристка* — народная героиня, повторившая во время второй осады Сарагосы подвиг Агустины Доменеч. — См. коммент. к стр. 225.

Каста Альварес — народная испанская героиня, участвовавшая с оружием в руках в первой обороне Сарагосы.

Стр. 270. *Лефевр Денуэт* (Франсуа-Жозеф Лефевр Денуэт, герцог Данцигский; 1755–1820) — маршал Франции; руководил первой осадой Сарагосы (см. коммент. к стр. 222).

Стр. 271....*книга Маккавейская*... — Имеется в виду часть Ветхого завета (три книги), в которой излагается история семи братьев-мучеников, погибших под пыткой во время гонений на христианство.

Стр. 275. *Апроши* — змееобразные и зигзагообразные земляные рвы, которые устраивались атакующими для скрытого приближения к укреплениям противника.

Стр. 277. *Рединг* (Теодоро Рединг; 1755–1809) — генерал испанской регулярной армии, участвовавший в победоносном сражении под Байленом (см. коммент. к стр. 235).

Ласан — генерал испанской регулярной армии, маркиз Ласан (брат Палафокса), снискал печальную известность тем, что в начале июня 1808 года, потерпев поражение под Туделой и Мальяном, дал французским войскам прорваться к Сарагосе и начать первую осаду.

Инфантадо (Педро Алькантара де Толедо, герцог Инфантадо; 1773–1841) — возглавлял депутацию к Наполеону испанской высшей знати, перепуганной народным восстанием в Мадриде (2 мая 1808 г.). В своей речи в Байонне 7 мая 1808 года Инфантадо выразил готовность служить Жозефу Бонапарту как королю Испании. После поражения французских войск в июле — августе 1808 года Инфантадо покинул сторонников Наполеона, но сколько-нибудь существенного вклада в национально-освободительную борьбу испанского народа не внес.

Блейк (Хоакин Блейк; 1759–1827). — Став генералом испанской армии до наполеоновского вторжения, Блейк в разгар наступления Наполеона с ноября 1808 года избрал себе место не на поле сражения, а в Центральной хунте (см. коммент. к стр. 231), где с помощью интриг боролся за власть и привилегии.

Ла Романа (Педро Каро-и-Сурада, маркиз де Ла Романа; 1761–1811). — Как и герцог Инфантадо, маркиз де Ла Романа вначале отправился к Наполеону в Байонну и лишь после поражений французских войск в июле — августе 1808 года стал командовать частями испанских регулярных войск. Некомпетентность в военном деле сделала его виновником ряда поражений и объектом насмешек со стороны находившихся под его началом солдат. В изображаемое время маркиз де Ла Романа нашел прибежище в Центральной хунте (см. коммент. к стр. 231).

Бертье (Луи Александр Бертье, князь Ваграмский и Невшательский; 1753–1815) — маршал Франции, начальник штаба Наполеона, сопровождавший его во время похода в Испанию в конце 1808–1809 года.

Ней (Мишель Ней, герцог Эльхингенский; 1769–1815) — маршал Франции, участник наполеоновской интервенции в Испанию.

Савари (Рене Савари, герцог Ровиго; 1774–1833) — французский генерал, участник наполеоновской интервенции в Испанию.

Дуро — испанская серебряная монета, равноценная в изображаемое время двадцати пяти реалам.

...в Кадис доставлено шестнадцать миллионов дуру, присланных англичанами на военные расходы. — Помощь английского правительства Испании в ее борьбе против Наполеона носила ограниченный и отнюдь не бескорыстный характер. Так, Англия предоставила лишь двести тысяч винтовок вместо запрошенных Центральной хунтой шестисот тысяч, а в качестве компенсации за свою помощь получила значительные привилегии в торговле с испанскими колониями. Кроме того, английское правительство пыталось добиться у Центральной хунты передачи Англии Кадиса для создания там своей военной базы.

Стр. 278. *Ланн* (Жан Ланн, князь Севрский, герцог Монтебелло; 1769–1809) — маршал Франции. Требование капитулировать Ланн направил защитником Сарагосы 22 января 1809 года, то есть в тот самый день, когда он принял командование у смещенного Наполеоном маршала Жюно (см. коммент. к стр. 236 и 262). Это был второй ультиматум о капитуляции, предъявленный французским командованием сарагосцам (первым был ультиматум маршала Монсе от 31 декабря 1808 г.).

Стр. 280. *Кинтал* — испанская мера веса, равная 40 кг.

...четвертая книга одного богословского труда под названием «Энеида», который сочинен отцом Вергилием... и в котором говорится о любви Иисуса Христа к святой церкви. — Здесь пародируется официальная трактовка католической церковью наследия классика римской литературы Публия Вергилия Марона (70–19 гг. до н. э.). Слова Габриэля Арасели о том, что в 4-й книге «Энеиды» речь идет «о любви Христа к святой церкви» (на самом деле эта книга посвящена любви Энея и Дидоны), осмеивают толкование католической церковью другого произведения Вергилия — четвертой эклоги его «Буколик». Эта эклога была написана по случаю предстоящего появления потомства у римского императора Октавиана Августа. Католическая же церковь усматривала в ней предсказание пришествия Христа. Такое беспочвенное объяснение служило папской курии предлогом для того, чтобы разрешить духовенству использовать некоторые произведения Вергилия в качестве пособия при изучении латыни.

Стр. 281. *Арроба* — испанская мера веса, равная 11,5 кг.

Стр. 282. *Кайафа* — согласно евангельскому преданию, один из первосвященников, настаивавший, чтобы Христа осудили на смерть.

Стр. 284....*скалы Монкайо*... — гора на границе провинций Сория и Сарагоса.

...*после боя 4 августа* (1808 г.). — См. коммент. к стр. 224.

Стр. 290. «*Цезареавгустова*» стена — то есть стена, сооруженная в Сарагосе еще в I веке до н. э. во времена римского владычества. Свое происхождение название города Сарагоса (*лат.* Caesaraugusta; *исп.* Zaragoza) ведет от имени римского императора (цезаря) Октавиана Августа.

Стр. 305....*4 августа*. — См. коммент. к стр. 224.

Стр. 317. *Вобан* (Себастиан ле Претр Вобан; 1633–1707) — французский военный инженер, разработавший теорию фортификационных сооружений. За заслуги в развитии военно-инженерного искусства Вобан получил звание маршала Франции.

Стр. 325. *Песо* — испанская денежная единица, соответствовавшая в изображаемое время пятнадцати реалам.

Стр. 356....*тем же даром, что и трех юношей в печи вавилонской*... — Имеется в виду библейская легенда о юношах, которые остались невредимы, когда их бросили в пылающую печь.

Стр. 357....*живи Кандьола в Нумансии...* — См. коммент. к стр. 235.

Стр. 370. *Фома Аквинский* (1225–1274) — один из крупнейших богословов западноевропейского средневековья гонитель, антифеодального вольномыслия.

Стр. 401....*древней реки, которая дала имя нашему полуострову.* — Имеется в виду река Эбро. Как предполагает Б. Перес Гальдос, от названия этой реки происходит возникшее в древности название полуострова — Иберия. Однако, поскольку Иберия означает буквально («западная земля» (*греч.* Гесперия), более вероятно предположить, что название страны было перенесено на реку Эбро, а не наоборот.

Стр. 402. *Все мы... в 1815 году стали очевидцами ее* (империи) *агонии.* — Имеется в виду так называемые Сто дней Наполеона (март — июнь 1815 г.), завершившиеся его окончательным поражением в битве при Ватерлоо (18 июня 1815 г.).

В то время как другие народы сдавались на милость победителя, Испания... — Такое принижение освободительной борьбы других европейских народов против наполеоновских захватчиков особенно неправомерно в связи с тем, что эта борьба была одним из факторов, способствовавших окончательному освобождению Испании от наполеоновского ига. Так, огромное значение для испанского (как и других европейских народов), имел разгром Наполеона Россией в ходе Отечественной войны 1812 года.

Венский конгресс (сентябрь 1814 — февраль 1815; июнь 1815). — Наиболее тяжелые для испанского народа последствия имело образование на этом конгрессе Священного союза между Россией, Австрией и Пруссией. В соответствии с решением Священного союза, принятым на конгрессе в Вероне в 1822 году, французские войска под командованием герцога Ангулемского вторглись в Испанию и, подавив испанскую революцию 1820–1823 годов, возвратили престол Фердинанду VII.

Стр. 405....*по условиям капитуляции.* — Французское командование грубо нарушило эти условия; над военными и мирными жителями Сарагосы учинялись насилия, многие граждане были перебиты, а полуразрушенный город разграблен.

Стр. 406. *Иеремия* — библейский пророк, оплакавший разрушение Иерусалима.

К. Цуринов

notes

F. C. Sainz de Robles. Don Benito Pérez Galdós, su vida y sus obras. В книге: В. Pérez Galdós, Obras completas, t. 1, Madrid, 1945, p, V.

См. предисловие Гальдоса к иллюстрированному изданию «Национальных эпизодов» 1885 г. Цит. по: «Los prólogos de Galdós. Por Willam H. Schoemaker, Mexico, 1962, p. 57.

К. Маркс, Революционная Испания. — К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 10, стр. 433.

Los prólogos de Galdós..., p. 55–56.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 10 стр. 436.

J. Gómez de Arteche, Reinado de Carlos IV, t. II, Madrid, 1853, p. 475.

Цит. по: Лависс и Рамбо, История XIX века, т. I, М. 1938, стр. 198.

R. Ford. A Handbook for Travelers in Spain, t. II, London, 1869, p. 221.

Цит. по: F. C. Sainz de Robles, Don Benito Pérez Galdós..., p XXXIV.

Б. Перес Гальдос, Золотой фонтан, Л. 1937, стр. 420–421.

Цит. по: А. Fugier, *Napoleon et l'Espagne, 1799–1808*, vol. II, Paris 1930, p. 298.

Los prólogos de Galdós..., p. 55.

Е. В Тарле, Наполеон, Сочинения, т. VII, М, 1959, стр. 209.

S. Gilman, Realism and the Epic in Galdos' Zaragoza. — В книге: Estudios hispánicos. Homenaje Archer M. Huntington, Wettesley, 1952, p. 174.

По желанию, сколько угодно (лат.).

Смейтесь, граждане! (лат.)

Но здесь для этого не место *(лат.)*.

Втайне (лат.).

Действительно ли подаяние... (лат.).

Истина превьше всего (лат.).

навечно (лат.).

букет жертвы (франц.).

«Кто этот юноша на ложе пышных роз...» (лат.) — Гораций, «Оды», 1, 5, перев. Фета.

...Жжет пламень бессильные кости

Между тем и под грудью жива безмолвная рана (*лат.*), — Вергилий, «Энеида», IV, 66–67, перев. В. Брюсова.

вѣрхом (лат.).

Любовь прекраснейшая, прелестнейшая, воспламенила (*лат.*).

Будем веселиться! (*лат.*); здесь: пир, благодарность, дар.

Отпускаю тебе грехи! (лат,)

Дела богословские (лат.).

О делах любовных (лат.).

Внезапная вспышка *(лат.)*.

Восстание, мятеж, военный переворот (*исп.*).